

Вячеслав
ОВСЯННИКОВ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

Т. 2

**ПОСЛЕДНИЙ
ВСПЛЕСК**

Санкт-Петербург
2012 - 2019

Редактор В. И. Чернышев

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

© *В. А. Овсянников*, Последний всплеск 2019.

© *Издательство «SUPER»*, 2019



СЕРЕБРЯНАЯ ПЫЛЬ

В раскрытое окно моего третьего этажа заглядывают зеленые кленовые носики. Стучу с утра на машинке. Дятел, долблю буквы. Тополиный пух летит, летит, июньский путешественник, гуляет по квартире из комнаты в комнату. Ах, уж этот неотвязный, вездесущий тополиный пух.

Первый час! Где туфли? На охоту идти – собак кормить.

У метро старухи продают ландыши. Последние ландышки.

В саду тенисто. Свежая травка. У фонтана толпа. Серебряная пыль, ключ отрадный. Лжедмитрий, Мнишек.

На дорожке остро блестят кристаллики кварца. Идет, задумчивая, увидев, вздрагивает. Она, видите ли, забыла начисто, в котором часу мы договорились встретиться. Вылетело у нее из прекрасной медноволосой ее головы, вылетело, как воробышек. Ах, ландыши! Я их уморил, изверг, они же едва дышат! Такая уж их участь, говорю. Она не согласна, надеется бедные цветочки оживить, несет к фонтану. Перегнулась через барьер, окунает букет в мутную, бурную, замусоренную бумажками, в пене и пузырьках кружащую, вихрастую воду. Этот ее жаркий, пышный, медно-блещущий конский хвост на спине, это марево, этот мираж, ум мутится, голова кругом...

Свободная скамья в конце аллеи. Рупор орет, приглашая на освежительную автобусную прогулку к Петергофским фонтанам. Мраморная нимфа разомлела на своем пьедестале. Голуби-бродяги, клюя, крутятся у наших ног.

– Как дела? – спрашивает.

– Плачевны, – отвечаю. – Пишущая машинка на ладан дышит.

– Который час? – спохватывается она. О! Ей пора! Она же предупреждала: у нее только одна минута. За ней слежка, за каждым ее шагом. Бинокли с балкона. С Купчино, как на ладони, все видят. Нет, нет, провожать не надо.

Зимний, площадь-пустыня. Столп нерукотворный. Понурые лошадки, запряженные в прогулочные кареты с поблекшими золотыми орлами, страдая от жары, поджидают чудаков-пассажиров. Удаляется, легкая, гордая. "Куда!" кричу. "Стой! Проглотит арка Главного штаба!" Не слышит. Машины.

КЛУБНИКА

Лиловый пепел. Столбик ртути у нас за окном ясно говорит о тридцати градусах по Цельсию. И это только начало, до каких вершин жары он еще поднимется, он не берется предвещать. Не исключено, что мы спечемся по дороге, как картошка в золе костра. На ней пляжная соломенная шляпа с широкими полями; по выражению ее лица не скажешь, что она горюет.

Лужская электричка. Мы – последняя капля, переполнившая вагон. Стоим, стиснутые, в проходе. Она обмахивается шляпой, смахивая столб за столбом, станцию за станцией, до Сиверской. Тут народ вышел. А мы дальше.

Не доезжая Луги, вышли и мы. Мшисто, болота, чахлые березки, черно, гарь пожарища. Бредем по расплавленному шоссе, ее хоть спасает соломенная шляпа, и она надеется, что ей, все-таки, хватит сил доплестись до тенистого, прохладного места; что касается меня, то, по всей вероятности, меня с минуты на минуту свалит солнечный удар.

Домики, огороды. Вот он! Труба блестит. Две сороки, белобокая парочка, растрещались, как на базаре, хвостами машут. В доме прохлада, отдохнуть. Торопиться надо. Не отдыхать мы сюда приехали, а клубнику собрать с грядок. Успеть до грозы. Смотри: стоит на краю неба, темная, как Сатана, ведрами погромыживает. Грядки полымем полыхают, жар, как из печи; голову словно в огонь окунаем; а корзины бездонны, в глазах кровавые чертики скачут...

Собрали, внесли в дом. О, боже! Какое блаженство! Лежим, в чем мать родила, я на диване, она – на тахте, отдуваемся в прохладе, как рыбы в пруду, на дне, в тине. Вдруг она подняла голову: "Гремит!" Точно: гром. Брызнула змейка. Раздался другой удар, резче, будто рядом. Осинки у канавы низко согнулись. "Успеем. На шоссе автобус ходит".

На шоссе. Корзины. У меня две больших, у нее – две поменьше. Стемнело, как ночь. Кто-то с громким треском разорвал на груди рубаху от края до края. Ударили капли. Ну вот... Прошумели шины. Старичок из дверцы: "До станции?". Только влезли – и ахнуло! На краю дороги – фигура. Пытается накрыться прозрачно-синим плащом из пленки.

ЭДДА

Июль. Знойно. Уезжает в город, оставляя меня наедине с грядками. Тыквы поливать. На дороге спохватилась: "Шляпку забыла!". Жасмин осыпается. "Приеду в четверг" говорит мне. Дошла до поворота, обернулась, кричит: "Береги огород!". "А ты себя береги! Себя!" кричу в ответ. Она как-то грустно улыбнулась.

Живу привольно, радуюсь одиночеству. Погода не меняется. Люблю жару. Зной этот, ни ветерка, купаюсь в реке, пишу. Пишется хорошо, не остановиться, время летит. Сажу в тени под яблоней на скамейке, марая лист за листом. И не замечу, как уж пятый час. Живот есть просит. Вечером поливаю огород: помидоры, огурцы, кабачки, тыквы. И цветы в палисаднике. Потом иду гулять по дороге, километров шесть, до разлива. Мое любимое место, на крутом берегу, над обрывом. Сосна моя. Каждый вечер я прихожу сюда, стою, прислонясь спиной к теплomu, шершавому стволу сосны, смотрю на закат. Смотрю, не мигая, провожаю солнце – оно уходит, золотое, за рекой, за лесом. Оно поет, уходя, и играет на злато струнной арфе. И каждый раз я слышу эту музыку и жду с тоской: вот замрет последний звук, и в мире сделается темно. В реке купаются, плеск, крики. Под обрывом идут женщины с детьми. Дети удивляются: почему я так долго стою и смотрю на солнце? А женщины объясняют: дядя глаза лечит, есть такая методика – посмотреть на закатное солнце, лучи тогда мягкие, нежгучие, и надо посмотреть, часто-часто моргая. Вернувшись домой, качаю воду из колонки, наполняю бочки и корыта для завтрашнего полива, чтобы вода успела нагреться за день. Потом читаю до полуночи, потом – в постель. И сплю до восьми утра, и вижу сны, и не помню их, проснувшись, так, мелькнут какие-то хвостики. Распахнув дверь, выхожу на крыльцо. А там новый день, новое голубое небо, новое солнце, уже высоко, горячее, поет петухом. Блестят маслом листья малины. Стрижи и ласточки чертят небо.

Ни дождинки. Парит. Снял первый огурец. Четверг. Приедет вечером, как обещала, обрадуется урожаю.

Полночь. Не приехала. Видно, дела задержали. Завтра утром приедет.

Утром прислушиваюсь. Она приедет до жары, иначе в электричке спечешься. Вагоны бегут, рья, за соседним садом. Через десять минут она будет здесь.

Выпив чая в саду под яблоней, беру ручку и начинаю писать; увлеченный, строчу лист за листом, не отрываясь, забывшись, давно так не работалось. Затылок печет, безотчетно передвигаюсь в тень. Очнувшись, замечаю, что солнце прошло полукруг и уже склоняется к западу. Шестой час. Приедет ли она сегодня? Мне так хорошо пишется.

Вот уже десятый день, как она не едет. Погода переменялась, задул ветер, ураганные порывы. Он не холодный, он – теплый. Огурцы прут, снимаю по 20 в день. Куда мне такую прорву? Кабачки вымахали. Невиданной величины. Уложил в доме на полу, в ряд, как фугасы. Гляжу: и тыквы выкатились – желтые шары под широкими зелеными лапами.

Вечером, как всегда, к разливу. Стою, прислонясь к сосне; ураганный ветер, налетая, размахивает хвойными лапами у меня над лицом. Солнце ушло в тучу, и в мире потемнело раньше, чем вчера. Не знаю, что же это за дела такие, что так долго задерживают ее в городе. Можно бы позвонить с почты. А то – сесть на поезд и поехать. Да нет. Наверное, она хочет дать мне побыть одному.

Погода испортилась. Грозы, ливни. Теперь поливать огород не надо. Тучи работают. Вечером, после грозы, иду гулять, как всегда. Две девушки голышом купают коня в реке. Конь вороной, белая звездочка на лбу. Выхала верхом на берег, амазонка, без седла, подгоняя пятками и хлеща рукой по мокрому лоснистому крупу. Другая бежит следом, кричит, груди бьются. Стою у моей сосны над обрывом, смотрю сверху. Солнце, уходя, золотит травинки за дорогой и зонтики дудочника.

Снилось: будто бы я играю с каким-то диковинным существом – полукошка-полудевочка. Эту девочку-кошку я обнимаю, лежа, глажу ее по животу и груди, а она говорит, что не любит ласк с тех пор, как у нее умерли родители. Ее зовут: Эдда.

Купаюсь перед грозой, вода в реке теплая, черная; трава подняла удивленно высокие дуги бровей. Плыву и кричу ей: "Эдда!" Мигнуло. Капли клюют воду. Высоко на берегу, над обрывом, под елями стоят две голые молодые женщины. Я вылезаю из воды и смотрю на них снизу. Одна – юная, белокожая, красивая, с тонкой талией и крутыми бедрами, широко расставив ноги и закинув руки за затылок, густые черные волосы тучей падают на плечи, – поет, беззаботно поет какую-то веселую песню. Ей хорошо, светло, она счастлива, это – Эдда. Гроза

начинается... Ласточка слетела с ольхи, как серебряный лист. Мы с ветром читаем книгу в саду на скамейке. Ветер так быстро листает страницы, то к концу, то к началу, читая в обе стороны, что я за ним не поспеваю, и все у меня в голове перепуталось: трава, листва, тучи, ласточки.

Снилось: будто бы я в какой-то компании сижу за столом и пью вино. Подходит Эдда и садится рядом со мной. Статная, красивая. Солнечный день, ветер продувает комнату, залитую ярким светом. "Когда же мы будем одни?" спрашиваю ее. "Позже" отвечает "позже".

Вернулся с гулянья. Отворяя калитку, вижу, что занавеска на окне веранды также полуотдернута, как я ее оставил. В саду мелькнуло платье, и знакомый голос позвал меня по имени. Нет, показалось. Пусто. Бочки и корыта с водой.

Гуляю. Мглистый вечер, накрапывает, дорога в лужах. Обогнали четыре девочки, идут, взявшись за руки, озорничают, толкая друг друга в лужу, смеются.

Не едет уже третью неделю. Июль кончается. Лодка в тумане. На плотике отец и сын, голые, гребут руками. Отец брюхатый, сынишка, как лягушонок. Костерок, музыка. Девушка лежит навзничь, руки под затылком. Юноша сидит на корточках, подкладывает в костер ветки. Пламя пляшет, веселое, золотое, языки разговаривают, торопясь, захлебываясь, перебивая друг друга. И эта мелодия. Ах, тоска, тоска! Болтаюсь вот один по берегу. Темнеет. Мокрый мох на березе. Стою тут, прижавшись к этому мху щекой.

Тревожно шелестит сад, трава пригибается, лопухи выворачиваются серебряной изнанкой, как раковины. В этом саду поселился дух тревоги.

Снилось: будто бы кто-то дал мне ружье и повелел стрелять в петуха на дворе. Поднял ружье, целюсь. А петух черный. В черного стрелять нельзя.

Цыгане идут в лес за черникой. Ведрами машут. Сидят на берегу под елью, когда я иду купаться. Тарабарят на своем языке, громко смеются. Смола горит янтарем. Ель статная, липкие губы. Эдда, Эдда... Цыгане собираются ее спилить. Я случайно подслушал их разговор. Они вполголоса обсуждали это злодейство, поглядывая на ель, один цыган держал в руке топор, другой – пилу. Днем они не решаются. Придут ночью.

Почему бы не позвонить с почты? Тут два шага. Через пять минут все узнаю. Или – ехать в город. Два часа – я там. Тревога растет. Незнестность. Не выдержать мне этой страшной тревоги.

Заперев дом, иду к реке. На том берегу – крутой, красно-песчаный обрыв, где мы приставали на лодке. Там, на обрыве, сосна высокая, к суку привязан трос с перекладиной: раскачавшись, прыгать в воду. Тот берег похож на этот, близнецы. Раздевшись, связываю одежду в узел. Вхожу в воду. Молоко. Держа узел, гребу одной рукой. Узел тяжелый. Тяжелей свинца. Захлебываюсь, но узел выпустить не хочу. Сжимаю еще крепче. Ни за что не выпущу. Утону, но не выпущу.

РЕБЕНОК

Второй месяц беременности. "Буду понемногу собирать для младенца – что полагается" говорит она мне. Она подсчитала: событие должно произойти в конце октября. Тридцать три года – возраст опасный для первых родов.

Февраль кончается. Метель отбесилась. Свет забрезжил в этом туннеле. Все висит на волоске... Прибор такой есть: утробу просвечивает. Беременность протекает без отклонений, плод развивается нормально. Гора с плеч. Веселая, распевает. Уже купила комплект для новорожденного и по вечерам шьет распашонки.

Март. Ребенок уже оформился. Душа есть, вселилась, слетела с безымянной звезды. В газете: астролог, составляет гороскопы за доступную плату. Петроградская сторона, Большая Пушкарская. Нашей почте требуется почтальон. Мутно. Небо пустое.

Август, сентябрь, октябрь. Ребенок уже стучал ножкой, пробуя прочность материнского чрева. А вчера и головкой повернулся, к выходу, готов на старт. Последняя консультация в поликлинике. Все в порядке. Предвещают – как по маслу. Она извелась, у нее тревожные предчувствия, сны: акушер руки моет, а тут – собаки, мясо со стола стащили, пучеглазые, как жабы. Каштан золотой у нас в переулке.

Родила, ночью, 29 октября, сын. Поехал к ней в родильный дом. Хризантемы. "Почему я не чувствую никакой радости?" спрашивает она меня. "Должна бы радоваться, а радости почему-то нет". Сегодня она спала без снов, как мертвая.

Я смотрю на свои ладони пусто – нет судьбы. Будущего у меня нет.

КАРИАТИДА

Муж у нее в командировке. Мы могли бы вместе выпить. И вот я вообразил себе... Про нее говорили...

В винном очередь. Она предпочитает водку. Мы с ней пара: она – высокая, статная, пышная, голова гордо закинута, улыбочка эта двусмысленная на алых губах блуждает, я – воробей, до плеча ей не достаю. Мы должны пройти в дом незаметно, она не хочет, чтобы соседи видели. Доложат мужу. Сначала она, я подожду под липами минут десять, потом поднимусь к ней на шестой, а она будет следить в шелку приоткрытой двери: нет ли кого на лестнице.

Вот я у нее в квартире. Ни одна душа не видела, как я вошел в дом, как она меня впустила в дверь. Пьем водку по четверть стакана. Она показывает свой свадебный альбом фотографий. Вдруг выпал снимок: она стоит голая в какой-то комнате, и улыбочка эта. Ее ничуть не смутило явление такого снимка, она спокойно позволила мне себя рассматривать. Потом она легла на кровать, потому что у нее голова кружилась. Я лег рядом с ней, но она попросила ее не трогать. Уже поздно. Час ночи. Мне пора уходить. Просто ей скучно одной, смертельная скука, она не выносит одиночества, ей делается жутко, когда она остается наедине сама с собой, подруг у нее нет, родителей нет, никого нет, муж в отлучке второй месяц, ни поговорить, ни выпить – не с кем. А я такой человек, меня нечего бояться, она сразу раскусила, я – воск, лепи, что хочешь... Ее клонит в сон от выпитого, размягшая, язык заплетается, но она непреклонна, подталкивает меня к двери.

Нечего делать, раздосадованный, я ухожу. Иду по шпалам всю ночь. Теплая июльская ночь, заря разливается на бледном востоке.

Проходит неделя. Она пригласила меня искупаться вместе в озере. Такая жара, а она еще ни разу не купалась за лето. Одной скучно, к тому же она плохо плавает. Воскресенье. Встречаю ее на платформе. Улыбаясь, выходит из электрички, на голову выше всех. Кариатида.

Искупавшись в озере, она замерзла. Солнце спряталось, небо затянуто тучами, ветер налетел, раскачивает клены у платформы, пахнет грозой. Сидим на скамье, она дрожит, не согреться. Обнимаю ее крепко-крепко, прижав к себе, она дрожит все сильнее, губы посинели от холода, сидит неподвижно, не шевелясь, не слушая моих утешительных слов, по ее щекам катятся слезы, катятся и катятся, как капли дождя по вагонному стеклу.

ГРЕЗЯЩИЙ ЧАСОВОЙ

Невский. Троллейбус несется на всех парусах. Матросы, всплеск за бортом, светлей лазури. "Северная Пальмира" – обрывок разговора. Морозные пальмы растут на льдистом стекле. Растут в середине мая. Северная Пальмира, северная Пальмира, утес горячий...

Удар грома. Илья-пророк. Лиловый, забрызганный. Пассажиры, пузыри с бульвара, лопаются. Дождь долго не протянет. Рога, повернув, стряхнули молнию. Чижик-пыжик, где ты был?.. Мокрые липы. Лужи дрожат. Круги тревоги и смуты. Шаги, шины. Кваренги, глаза, облако, жеребец, афиша.

Не мелькнет ли тот плащ? Нью-Йорк, Нагасаки. Проспекты, стертые солнцем. На каждом углу ждут приключения. За спиной звенит мое имя. Как упавшая на тротуар монета. Смотрю: никого. Нотный магазин. С нашим атаманом не приходится тужить...

Часами стою, задрав голову на какое-нибудь дерево, здание. Тополь в мокрой листве, дворец. Целый день не расстаюсь с книгой. Забываю обо всем.

Рыбак, землекоп. Черный, как туркмен. У Казанского. Шлем майского шума, клинопись теней. Встряхнуться. Юные, яснолобые. Что у них на уме? Эти истории – у всех, со всеми. Болен, влюблен. Вечер и ночь. Сон под утро, растаявший, как лепесток вишни. Мойка, Фонарный мост, переулок Пирогова. Дама червей, заигранная, затасканная, из той колоды. Морозный узор, Пальмира, Иштар, Зенобия. Бродить, бормотать, пересыпая из ладони в ладонь, из ковшика в ковшик (что они все таращатся на меня, как на утопленника!) пригоршню жемчужных женских имен.

Эта лестница вызубрена наизусть. Круглый год. Плюю на погоду. Дождь, снег, мчусь сюда. Мы, кажется, знакомы?.. Метель, сумасшедшая, в мае, машет мокрыми рукавами. Тут фотоателье, надо подняться на третий этаж. Метель гиблая, падает, бьется головой о тротуар, о стены, разметались седые космы. Брат, муж, никто. Зачем я сюда забрался?.. Попросят улыбнуться, чтоб снимок получился веселый. А я разучился улыбаться. Хоть режь. Корчить рожу, как желтый ботинок с развязанным шнурком, кислей лимона.

Книги кричат с витрины. Новинки. Песчаная буря, охра пустынь. "Как он обрадуется!" Автор смерчей и вихрей. Сирокко, самум. "Ты что,

с луны свалился? Горячка? Глаза залепило? Той песчаной книги нет. Рассыпалась. Приснилась..." Пожимают плечами. Бывает. Зрительный обман. Глядишь на что-нибудь, а черт тут как тут: подменяет эту вещь на другую, так ловко, что и не заметишь фокуса. Злые шутки. Как с этим жить? Мне к Московскому вокзалу. Там встреча. Невстреча. Чует сердце: зря. Попаду впросак. Беда со мной.

Захлестнут. Мост. Душит шею вожжой. Что-то такое в воздухе. Дышу, не надышусь, как смертник. Приговор во всем: в шуме листьев, в звуках, запахах, красках. Опоздал. Прости. В глазах темно. Часы встали.

УДАР ДРАКОНА

Смывая, спеша. Горный хрусталь. Осенью поздней, порою ночной. "Эй, на задней площадке!" Свернет на Суворовский". Черти занесли... Заячий переулок. Кафе "Грета".

Из-под арок. Монашки прячутся. Брызжет, шерстинки бурнуса, трехглавый Эльбрус. Каменные. Не любят гордых. Надменный, намокший, шумел камыш. Пивная, раки. Мужчина и женщина, квадрат и круг, небо и земля.

Бесповоротно. Лелеемые бумаги. Исход. Ячейка с номером. Белел краешек. "Спасибо, не надо".

Падало, пело, переливалось через край. Радость! Захлопал в ладони. Далеко ехать, туда... Водопад, буря пены: голубь чистит перья.

Возносятся, в ожерельях золотистых пузырьков, спеша к двенадцатому удару, к подножию стены далекого Китая...

В ресницы, в ноздри. Куда ветер дует. Триста лет, при Петре. Перины на тротуарах. Что тут мыли? Качается, катер, береговой ее гранит. Бутузы с гроздьё пыльного винограда. На третьем. Раскрыто!..

Сказала: в десять. А все наоборот. Сдаст ключ на вахте. Рушатся миры. Мокрый рентгеновский снимок. Эти вот косточки?.. Стоит передо мной, как лист перед травой. Куда нам плыть? Нет, это изумительно! Майский ветер у тебя в голове! Растеряла все свои наполеоновские планы. Вот доживем до возраста ее тетушки, тогда будут у нас "Былое и думы". Вперед, вперед, рабочий народ! Тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой. На красный, под колеса...

Она так и знала: первый же наш совместный шаг кончится катастрофой. Свеженаложенная тушь, как сова, среди бела дня глазами хлопать.

Пора поднять, забыл... Это уже третий, с таким грохотом, в город. Стерлось, хвостик. Мутно, туман, накурили, стучат по клавишам. Осколки, не склеить. "Оставь их в покое!" Машинистка, рыба чешуя, пруд.

Рассыпал соль. Ножницы серебристой рыбкой: рот косым крестиком, на хвосте два колечка. Мрачно, сыро, Днепр, Дунай, ревела буря, гром гремел. Черные, остроконечные. Воду возят в железных бочках. Басы на лестнице, вносят, ставят на попа. Зеркальный карп. Отречемся от старого мира! Начнем новую жизнь. Начнем, начнем!..

Метался, бред, смятая постель. Светло. Свернуться калачиком... На песке долины... Завесить, зеркало, двойники, масоны, айсберги, титаны, удар бортом, сине море. Адам, закат, для чего вышел я из утробы? Не дочитал. Стерто, смыто.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

На Мойке. Швейная. Июнь, тополиный пух. Болтали. Пошел, оглянулся: машет ручкой. Сирень, жара. Приезжала. Голубая блузка, рыжие кудри. Вздонованность. Сентябрь. С юга. Абхазия, Новый Афон. Октябрь, споры, доказывал свое. Вышел, ночь, окно, звонкий смех. Ноябрь, седьмое, мокрые хлопья. Камышового цвета плащ с капюшоном, на меховой подкладке. Стол, локоть. "Идите-ка прогуляться!" Вино, яблоко. Ночь, снег тает, парк, по глоточку, поцелуй, ель, пальто... Вокзал, голуби. Зачем я заглядываю ей в глаза? Поезд, позвоню, через денька три. Распевал песни. Набрал номер. В трубке тревожный голос: "Где? Когда?". Михайловский сад, скамья, замерзли, как кочерыжки. Натоплено. Скатерть белая. Хризантемы. Тихого голоса звуки любимые. Виноград, на свечку дуло. Молния зимой. Стрела Амура. Брачная ночь, голод не тетка. Утром стучит в окошко, в ватничке, картошечка, закутанная в кастрюльке. Ах, вкуснятина! Туманное, седое. Талый снежок. Не уезжай ты, мой голубчик. Я ехала домой, душа была полна... Пора, пора! Дома у нее с ума сходят.

Простудилась, голос пропал, потеряла голову, слезы разлики. Мосты сожжены. Рабочая электричка. Мчится, предупредив своих, что не будет ночевать дома, током трясет, шлея под хвост, спит и видит мою походку враскачку. Вот кто-то с горочки спустился. Моряк красивый сам собою. Стук в окно. Пугливая птичка. Палец к губам, просит шепотом: "Тише! Тише! Всех разбудишь!" Снимала черные венгерские сапоги на высоком каблуке и, держа их, шла в чулках, на цыпочках, крадучись, в мою спальню, как будто она совершает преступление. В ноябре, в декабре...

Хмельные головушки, морозная ночь, озеро. Легли на лед, лицом к звездам. Тишина. Кружатся. Серебряные чешуйки рыб.

В НАШЕМ ДОМЕ НЕТ ТИШИНЫ.

В нашем доме нет тишины. Голоса, голоса – весь день, всю ночь. Стук дверей, скрип пола. Кто посмотрит в круглое, глубокое, как омут, зеркало у нас на стене, тот непременно умрет. Пойдет по тонкому льду, провалится и утонет. Возраст смерти отца. Веселый гуляка был мой отец. Струна, туго натянутая, вот-вот лопнет с жалобным звоном. Надел чистую смертную рубаху. Льяная, навывпуск, как у крестьянина. Отцова рубаха. Сижу, белый петух, шея длинная, жертвенная, жду-жду. Нож придет в гости – полоснет по горлу. Спасибо скажу, низко поклонюсь в ножки.

ГОЛУБАЯ ЦАПЛЯ

Выпив чая, сидел у окна. В сад опустилась птица в серебристо-голубом оперении, с золотым хохолком, похожа на цаплю, большая, человеческого роста. Ходит на длинных ногах, грациозно покачивая туловищем, среди цветущих яблонь, как сияние, и зовет меня, произнося незнакомое имя, странно звучащее, составленное из гортанных звуков, на каком-то неизвестном языке. Может быть, это древний язык гор, которых уже давно нет в мире. Тогда меня звали так.

Я вышел в сад. Цапля ждет. Смотрит в лицо. Не как птицы, а – по-человечьи, двумя глазами, не мигая. Взгляд спокойный, царский, черный, как пруд ночью.

ПАУТИНКА

Прилетает из Цюриха. Просит встретить. Почему-то восьмое ноября, а только что было седьмое. Это не холмы. А что? Смятая постель горюет о снеге. Безутешная вдовушка. Мертвый летчик в траурной раме сада. Ночью упал с неба. Лежит, бездыханный, башкир, голова разбита, зубы оскалены, как у волка.

Тучи строят крепость. Бастионы, башни. Чует беду. Колеса ревут, замирая. Во сне видел Швейцарию. Будто бы мы живем у Женевского озера. Там, у озера, проложены рельсы, везде рельсы, вот и гуляй, спотыкайся. И о чем только думают эти швейцарцы? Шлиман, Елена. Они с севера. Монах на берегу Балтийского моря. Альбом. Пустынные волны несут свинец. Поезд, свистнув, ушел. Она в плаще, на перроне, как десять лет назад, глаза.

Заптело. У дверей вечности. Ветер расчистил дорогу в небе. Альпы, Анды. Паутинка бьется. Буре не сорвать, дождю не смыть. В осень глухую, порою ночной. Петушиное число семь: это оно скосило неделю. Календарь брызнул праздником. Площадь-ура, Кремль-пряник. Рой мокрых хлопьев. Друг пропащий, дно стакана. Лежит: бездыханный глиняный пласт. Нагорный парк разбит по приказу императрицы Александры Федоровны. Излюбленное место прогулок для петербуржцев. Поллюбоваться увядшей природой, грустными красками. Под горой лежат матросы. И крепок их могильный сон.

Сырые кружочки на снегу. Враждебные вихри. Первый брак распался, как комок глины. Улица Тухачевского, затянутая ремнем на последнюю дырку. Весь мир тюрьма. Мельпомена. Плащ камышовый, намокший, озером пахнет, колышется на крючке вешалки. Черная вода, мостки, тонкий ледок. Жаркий шепот, зеница ока. Волосок хмурый, упал с головы, без ведома. Медная паутинка не выпалась на моей подушке.

ГОРА

Черная стая. Летят, каркая, на Лысую гору. Спит. Еловые веки, пещеры ноздрей. Бульдозер, расчищая дорогу, сломал свою железную челюсть. Намело, не пробьешься. Без крыльев – никак, локоть кусать. На столбах звенят стеклянные сливы. Прожектор! Шарит на вершине. Что он там ищет? Бутылку с шабаша? Молоденьких ведьм, прилетевших на метле?.. Гора крута, уши под шапкой. Кровоагрудый снегирь ехал вверх, держась за трос. Кандидат в чемпионы. Приятного катанья!.. Крик отскочил от горы и ударил в грудь. В груди что-то лопнуло. Трос? Струна?.. Разлилось горячее. Пещера, сидит человек со свечой. Бульдозер под горой ожил, дернулся. Начал расчищать снег на дороге. Огонек свечи качнулся.

СМУТНЫЙ ГОД

Тополиная метель. Набивается в желобки и ямки в растресканном асфальте. Пух взвевается и падает. Мойка. Мутная борозда тянется за катером. Казанский. Барклай де Толли. Обещали грозу во второй половине. Алфа и омега, первый и последний. Толпа. Яблоку негде упасть.

В саду сыро. Лист отделился от массы сестер и братьев и плясал одиноко, как пьяный. Черная, мохнатая гусеница. Первый час. Охотничьи товары. Летит в ресницы рой стальных спин. На тротуаре масло разлито. Фрукты. Желтоэтажно. Пыль, грузчики. Дверь с тугой пружиной. На лестнице темно.

Театр теней: тонкие, высокие, выпячивают губы – дуть на воду. Пальцы – козьи рожки на белой, как мел, стене. Лебединые шеи труб за облаками. Лесенка-пунктир. Вzbираться – безумцам... Овчинка стара. Круглый гул. В скобках. Тревожно. Зарежут. Те тополя, они и ночью... Не-ветер. Скамейка с двумя оторванными планками. Песчаная дорожка, скрип новой осенней обуви. Чемоданы. Мертвый час. Двери с двух сторон распахнуты настежь, подушки-чайки, сонно-синие одеяла спящих.

Оса-почтальон. Жирный типографский запах. Склонились черные, мохнатые знамена. Нескончаемый некролог. Час ранний, чулок

свисает со стула. Где-то с шумом льется вода. Стон в переулке с паузой в три секунды. Темно, дует. Скамья-цыпленок и что-то железное. Куда-то едем, молчим. Мандарины, грецкий орех. Сидит, подогнув ноги. Горькие чурбаки. Колонна усталых солдат на дороге, бегал под ногами луч бойкого фонарика. Память-смола, комья на сапогах. Небо-стакан, полный звездочек.

Бессонница, Борис Годунов, смутный год, песчаная шинель с рукавами в камышах. Боты месят грязь, рыданье, улицы-плакальщицы в шaliaх. Горечь сломанной черемуховой ветки. Целует глаза, прощаясь. "Мария! Постели скатерть с петухами! Гулять будем! Эх, гульнем!" Створки в сад. На белых рамах, на подоконнике – май. Щурится в панамке. Два холма веют прохладой, гроза брызжет свежим венником молний, выметает сор, гнет молодую травку. Снилось суровая местность, там текли могучие, бурные реки. Ревели реки, бесновались. Мы, вся семья, перебирались по шатким жердочкам. А тот берег – далеко-далеко, едва видим, смутный, в тумане.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Холодный май. Ледяная крупа. Оделись, как зимой. Проводил до метро. Каштаны цветут назло всем смертям. Задыхается, сердце. "В семь?" спрашиваю. "Думаю, не раньше" отвечает. Ее зеленое пальто с черным меховым воротником, понурая спина. Спускается по ступеням. Не обернулась.

Ну, настоящая метель! Когда-то меня и непогода радовала. Что непогода? Каждый день для меня был праздник. А теперь не то, не то... Бреду вот обратно домой один.

В квартире мрачно. Собачка, золотистая, как солнце, с ней щенята, два черных слепых комочка, сосут ее, пиявки, оттопырив хвостики. Собачка меньше кошки, шерсть, как золотые волосы, длинные, до пола. А щенята такие махонькие, на ладони у меня помещаются. Все семейство укрыто шалью. Собачка наша оценилась 9 мая, в День Победы. Победительница. Насосались. Отвалились, сытые. Животики, как барабанчики. Спят. Ничего, ничего. Через неделю глаза откроются, начнут из коробки вылезать, на простор, на волю.

ПО МОРЯМ

Дай якорь!.. Архангельск, Таллин, Владивосток, Одесса. Ледокол "Юрий Лисянский". Идет в Канаду. Заход в Гавр. Капитан – Владислав Августович. Шкура белого медведя. Иллюминатор поднял веко. Насос забортной воды. Авось. Кривая вывезет. Июнь. Балтика тихая, трется у борта. Берега бегут, друг Горацио. Пролив Скагеррак защемил руку. Посинела. Огни Стокгольма. Переключка гудков. Струйка гари. Медный поручень. В машинном отделении поет одессит Горькуша, в наушниках. Собачья вахта. Бесшумное падение. Моторист Юхновец свалился с трапа. Лежит на стальных плитах, подбородок разбит. Блаженны спящие на своей койке. Под подушкой штормит Ла-Манш. Гавр! Кудрявое пробуждение. Аврал над головой. Стадо слонов пробежало. Иллюминатор-лимон, сочится к чаю. Готовь швартовы!.. Гульнем, гаврики!.. Посейдон морщится. Проснись! Каюта в носу, под якорным ящиком. Качка. Грохочут цепи клубком змей. Тормозит Липовка, третий механик. Уплетать макароны по-флотски. Лбом к переборке. Тонкий дюймовый листик стали, отделяет от бессонных плесканий. Море-нянька десятый день качает в штормовой люльке. "Берег!" Бац о стальной бимс! Выполз на палубу, кровь глаза заливает, не видно желанного берега, не видно ничего. Отвели в лазарет. Перекись водорода, марля – Земной шар три раза обинтовать. Царапина. Заживет, как на панцире морской черепахи. Горло "Святого Лаврентия". Стая китов пускает фонтаны. Катерок лоцманский летит, маша кленовым листом. Монреаль. Кок Шульце. Эстонец. Боцман Зобнин. Линда с подносом. Кокосы катаются. С Зеленого мыса. Дакар, Гана, Берег слоновой кости. Африка в жгутиках косичек. Вентилятор-шмель крутит на столе гудящую голову, дуя зноем. На баке, на шканцах – как мертвые... Штиль. Акула-молот, у борта, приклеенная. Ниже, ниже, к Нигерии. Рвать ленточку экватора. Рогатый черт в анархистской тельняшке. Пуэнт-нуар. Черная бухта. Кожа банана плавает. Акулий плавник. Грузить красное дерево. Ночь с Южным крестом. Простыня на носовой надстройке. Кинозал под созвездьями. "Белый рояль". Смотрят с матрасов, покуривая. Во фракте. Тащить док за шнурок вокруг Европы. Бискай бушует. Оторвался. Ловили трое суток за хвост. Триест. Куба. Гавана курит сигару. Запахи зерна и зноя. Маис, какао. В глазах черно. Короткий рукав тропической рубашки.

Мотор рулевого устройства сгорел. Угольные щетки, бензин. Купаться в Карибском море с мулатками. Ром, Родриго. Аквалангист. Снабжает осьминогами гаванский аквариум. Принесет одного, для чучела. Амиго? Одеколон "Кармен"? Стакан аккумуляторной кислоты вместо водки. Спутал сослепу. Севастьянов. Однокашник. Встреча в Риге. Друг детства. Засиделись с бутылочкой. Через ночную Ригу, в порт, к своей скорлупке, пошатываясь, легкая бортовая качка. Трап из-под ног прыгает. Наутро отчалили. Гамбург. Бомбей. Люди ходят все наги.

ДОМ

Станция "Медвежий угол". Замер гул. Две стальных змеи ползут. Рюкзак, сапоги. Через лес часа два, дорога ровная, доберусь, и не замечу. Иду, пою. Лунный свет льется на ели, реет серебряной пылью. Тяжелый рюкзак кажется невесомым, как на луне. Он воистину невесом. Это чудо! Что-то с гравитацией. Сила притяжения не та. Неземной танец. Оттолкнусь и – лечу! Чуть ли не до вершин. Вот, кажется, протяну руку и сорву шишку, которая висит в колючем ухе красавицы-ели, как серьга. Один мой шаг – стометровый прыжок, полет, легче пушинки. Опускаюсь, опускаюсь... Опять толчок... Лес светится, он весь в бегающих огоньках, он играет. Гирлянды, бусы, свисают, раскачиваются, смеются. Кто-то за кем-то гонится под ветвями, под лапами, кто-то кого-то ловит. Шалят, куролесят, жмурки, пятнашки. Веселый лес! У него какое-то торжество? Я попал на праздник? То хлопнут по плечу, то толкнут в спину. Обернусь: никого. Только хвоя шевелится, и удаляется чей-то звонкий, задорный хохот. Леший? Кикимора? Сколько их тут, лесных чертей? Кругом глаза – озорные огоньки, бесенята, вьются, прыгают, скачут. Дотронуся до ветки – палец вспыхивает с треском и рассыпает рогатенькие искры, а они летят мне в волосы, и уж, кажется, волосы загорелись, и одежда, и весь я горю, не сгорая, белым огнем...

Лес отступил. Мост из бревен. Вода поет, заплетая косу. Струится коса, звенит песня. На том берегу, на бугре – дом, старый, некрашенный. Петушок на крыше. Петушок-флюгер. Глядит на восток. Там зарозовело. Пить хочется. Умираю от жажды. Колодец, ведро на цепи. Поднял, полное, прильнул губами, а вода в заре, зарумянилась. Утро разгорается. Цепь порвалась, колодец крякнул, открылась, визгнув, дверь в доме.

ЯРОЕ ОКО

В сентябре – на два дня в Новгород. Ярое Око. Ночевали у знакомой. Квартира новая, обои, мебель. За стеклом полное собрание каких-то петушьих томов. Для растущей дочери. Дочь спит. Так мы ее и не увидели. Нам тут постелено, на одной кровати. Она уж уплыла в сон, ровно дышит в стену, а я на краю лежу, боясь шевельнуться. Не спится. Часы тикают. Лепетанье, беготня. Ромашку обрывает: день-ночь, сушь-дождь. Подмочит нашу прогулку к Георгиевскому монастырю.

В отличие от меня она "сказочно" выпалась. Лучи янтарно горят на паркетных плитках. Один я смотрю тучей, омрачая день.

Клены в багрянце, золотая шапка Софии, мост, через который мы идем, идем, идем и оглядываемся. "Как пройти на Ильину улицу?" спрашиваем у мальчика на велосипеде. Он рукой махнул, и его уже нигде нет. Ничего мы не поняли: куда он махнул. Как же мы найдем эту улицу, там Феофан Грек, мы на него посмотреть приехали, а иначе стоило бы трястись в автобусе.

Стоим у какого-то сарайчика на берегу, прячась от свирепости ветра. Она замерзла, жметесь ко мне, ухо горит – розовеющая раковина. Серебрится чешуей Ильмень-озеро. Лодочник в резиновых сапогах несет весла. Бряца цепью, отмыкает на лодке замок. Златоперые рыбы плывут у нас сквозь пальцы.

ЛОДКА

Бубенчик. В Батуми я не бывал. Она только что оттуда. Бронзовая. Южный загар не держится. Прут-струна в каплях. Бутылка, столбы, двоятся, троятся. Парк, ты, мы, сырая ночь, ель наша. Пальто на снегу. Направо пойдешь – женатым быть.

Стук в окно. В темноте лицо улыбается, бледное, взволнованное. Башня-свеча тает... С чемоданом к ней, в город. Квартира полна голосов. В тесноте, не в обиде. Май – маяться. Купим лодку и повесим у себя в спальне на стене. В рамке. Лодка пустая, без весел, на взморье под грозowymi облаками.

Ломоносов, бурный поток. На горе рынок, булки. Белый ажурный стул. На свежем воздухе посидеть. Солнце с поцелуями лезет. Ее черная велюровая шляпа с алым бантом, ее зеленые русалочьи глаза в смеющихся искорках. Ледяное шампанское.

Будка стрелочника. Поет петух. Шавка лает, рвется с цепи. Две струны – в Лугу. Пригревает на откосе. В бору нашли цветы. Не знаем, как называются.

Июль. Тополя пожухли. В кинотеатре "Комсомольский" неделя бразильских фильмов. "Дона Флора и ее два мужа". Очередь – год стоять. В сандалиях. Третий звонок. Ночи безумные. Одна возлюбленная пара...

Купили лодку. Катаемся по нашему Оредежу. Выкопаем в лесу калину да рябину, посадим перед домом. Латвия, Карпаты, снятся. Молоко с земляникой. Солдаты из траншеи на нее смотрят, лопаты свои забыли. Она в новом голубом платье с кушачком.

Огонек сигареты светился в темно-ореховом. Лежащий курильщик. Да он табак в рот не брал. Что-то мы с тобой перепутали.

Бессонница. Мать, беременная мной, ела зайчатину. Или давала соседям вечером жар из своей печи? Или, может быть, гость, пришедший к ней в дом, не присел хоть бы на мгновение? Положу я под подушку нож, топор, иглу, ключ, замок, веретено, гребень, зуб мертвеца. Поставлю за дверь, перевернутую вверх прутьями метлу, перекрещу окна кочергой. Осыплю постель маком, порог – дремой. Окурю укропом и тмином кровать. Ночная ночница, забери от меня бессонницу, отнеси ее в дальние места, в пустые горы, где петух не поет, где собака не лает. Курочки-рябочки, возьмите хлеб-соль, а мне дайте сон...

Сплю и вижу: женщина в темном плаще из речных камышей с откинутым на спину капюшоном неслышно проникает в наш дом, дотрагивается до меня спящего, и я лишаюсь сна навсегда. И сна и покоя. Это судьба, от судьбы не уйдешь.

Отцовская шинель с оборванным хлястиком...

Пойдем в лес, срежем барвинок на свадебный наш венок. На лодке поедem на тот берег. А весел нет, весла-то мы с тобой и забыли.

ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Июнь, занавески. Крым, Кавказ. Реки сохнут, горы крошатся. Бессонные глаза, ржаные поля. Зерна ночных огней, букет семафоров на скором столике. Туя, самшит. Зыбко, узор волны на полу. По полтинничку. А то так и умрем. Финский нож под боком. Челн убогого чухонца. Тапочки, мочалка. Ничего не забыли? С севера на юг – ногтем. На холмах Грузии, Арагва предо мною... Амурно-лирово. Адлер, арбуз прибой. Тельняшка шпал. Лель с дудочкой. Дело к вечеру, солнце переломилось. Воробей-акробат под ярко-зеленым куполом березы. Пыльно-солнечно, вокзально. Прибытия-отбытия. Подали! Одиннадцатый, украинский акцент, отбирает билеты. Дрогнуло, поплыло. Вилами на воде. Серебряный подстаканник. Впусти воздух с поля. Кубань, купе, мухи, семечки, блестящие головки водяных змей. Лимонад теплый, выдохся. Белье дают сырое, за рубль. Раскошегарила кипяточек. Толчок под ребро. Туманная рябь взятых с собой букв. Не прочитать без фонаря на верхней полке. Прилегла, ноги поджала, голову прикрыла от солнца вафельным полотенцем. Свет и тень поровну делят власть над ее спящим телом. Ей снится Юсуповский сад, небо в парашютах, сердце колотится по-апрельски. Дом без полов, сирень-гроза, последний сеанс, волна экрана. Ах, кино! Кто тебя не любил в те незабвенные годы! Школа, липы, май, без чулок, тепло ногам. Сумрачно, Мойка, народный артист, клей и прохлада. Вещие сны, гуси у реки, молоко с земляникой, у бабушки, с луга. Пробужденье. Брови-колосья, ворона-станция. Локти гуляют по проходу. Курица в фольге, огурцы, помидоры. Лязг тормозов. Голоса на перроне, беготня, топот, ночные лучи. Что за черт! Стоять сорок минут! Безбилетные лезут в голову поезда. Проводница, золотые зубы, воркует с курилками. Убирает подножку. Душная клеть, потный лоб, щека отекала. Трясло, раскачивало, лес черной пилой летит в глаза, болтовня колес. Раки ползли, трава шевелилась. Тульские пряники. Родился там, где блеют бараны. Оставь, оставь в покое спящих. Жизнь полная. Ком в горле. Мокрая подушка. С бугров, косогоров, бессонно, бесшумно. Шторка-луна, набережная южного рая. Убаюкает в колыбели, бульканье, вздохи, затонувшие города. Спит, царица Савская. Стрелы огненные. За бесповоротной спиной. Орел? Белгород? Паспорт показать. Блеск, тень. Ехать и ехать, слушать и слушать.

МОЯ ЕЛЬ

6 марта

Вот я и вернулся под крышу родного дома. Теперь уж, надеюсь, я никуда отсюда не уеду и дотяну тут до своего конца. Последний раз я был тут десять лет назад. Теперь я тут один. Все мои в земле. Елочка, которую мои родители посадили в саду в год моего рождения – ее не узнать! Это ель! Не обхватить! Красавица! Стройная, разлапистая, шишки развесила. Радость ты моя! Ладно, проживем еще. Я книг с собой привез, кучу книг, целый кузов. Грузовик чуть не сломался, таща мою библиотеку сюда из города. Ничего, ничего, скучать не будем. Правильно я говорю? Чтения на мой век хватит, а это для меня главное.

7 марта

Эту ночь я плохо спал. Дом промерз. Пришлось встать посреди ночи и опять затопить печь, хотя с вечера я жарко натопил, не жалея дров. Толстое ватное одеяло, лыжный костюм, шерстяная шапка на макушке, только лыж и палок не хватало, вот как я спал и проснулся в восьмом часу с головной болью. Еще темно, сад в снегу, моя ель и над ней месяц – яркий гребешок. Не знаю, что меня потянуло, я надел пальто и пошел к ели. Она в углу сада, снегу много, я перелезал через сугробы, проваливался, наконец, добрался. Стоял, гладил ее по потресканной коже, прижался щекой. Мне было так хорошо, как никогда еще не бывало в моей жизни, несмотря на холод в мире, тело ели было теплое и пахло смолой.

14 марта

Яркие, голубые дни. Колесо повернулось к теплу и сегодня утром я слышал, синичка пиликала у меня в палисаднике. Я не бил баклуши. За эту неделю я совершил много полезных, практических дел. Надо хорошо меня знать, чтобы оценить по достоинству проявленную мной предприимчивость и незаурядный энтузиазм. Не каждому дано так решительно преодолеть свою природную лень, победить вялость духа и из апатичного слюнтяя превратиться вдруг в человека с энергичным, кипучим характером. Не мешало б взглянуть

в зеркало: не раздались ли у меня скулы и не стал ли подбородок квадратно-волевым, как у героя кино? Что ж скромничать, я горжусь своими подвигами. Во-первых, я сходил в поселковый совет и уладил там свои отношения с государством. С одного маху не удалось, я ходил в это учреждение четыре дня: там так много кабинетов, что в глазах рябит, и у каждой двери уже с раннего утра посетители толпятся, а очередь – черепаха быстрее ползет. Но я не роптал, а набрался терпения и справился с великим делом. Теперь у меня на руках документы с печатями и подписями юридических лиц. Любой может удостовериться, что я имею полное законное право владеть моим домом, в котором родился 60 лет назад. Кроме того, я хозяин целого поместья: в моем владении 12 соток земельного участка! Во-вторых, я побывал в местном отделении милиции и получил новую прописку в паспорте. В-третьих, я нашел лесобазу и договорился, что мне привезут машину дров. Зима еще не махнула ручкой, а в сарае у меня три щепки. Это не все. Я насадил новый черенок на лопату (старый сломался в сучке при первом же моем напористом нажатии) и расчистил от снега дорожку к моей ели. Теперь я могу навещать ее, когда захочу, беспрепятственно.

20 марта

Мне привезли самосвал дров, пять кубометров. Свалено на дороге перед моим домом. Береза, осина, толстые, тяжелые бревна. Теперь их перетаскать на двор, распилить и расколоть. Сам справлюсь. У меня есть топор и двуручная пила. Я очень хорошо приспособился пилить один двуручной пилой, кладу бревно на козлы, прижму и – вжик-вжик. Словно я с невидимкой на пару пилую. Зачем мне чья-то чужая помощь? Кого-то просить... Просить для меня – хуже смерти. А нанимать – я не так богат; обдерут как липку. К тому же все они балаболы, у меня с некоторых пор появилось отвращение к новым знакомствам, я решил ни с кем тут не знакомиться, и пока, к счастью, не видел ни одного соседа, ни справа, ни слева.

Весь день до позднего вечера я таскал бревна. Я вот что придумал: взял канат, связал петлю, затянул на конце бревна, с другого конца каната тоже петлю завязал, надел на себя через голову, на грудь, взялся, уперся, сдвинул рывком, и волоку, как бурлак, по снегу все равно что по маслу идет. Таким способом всё и переправил к себе на двор. Устал, работа, все-таки, тяжелая. Но зато никто теперь не

будет меня упрекать, что я загородил дорогу и создал препятствие их ногам и колесам. Я человек аккуратный, люблю порядок, я даже весь сор убрал, ни щепки после себя не оставил, чисто подмел улицу, как будто тут ничего и не было. Совсем уж в темноте, когда заря погасла и первая звезда прорезалась, я пошел навестить мою ель. Стоял, обхватив руками и прижавшись щекой, без мыслей, в каком-то беспамятстве.

29 марта

Работа закончена. Я один без посторонней помощи распилил бревна, расколол чурбаки на ровные полешки и сложил в поленницу. Сарай заполнен доверху, и теперь я спокоен, дровами я обеспечен на новую зиму и в доме у меня будет тепло. А эта зима, похоже, растаяла в одну ночь и ее студеная душа улетела к своему суровому отцу – Северному полюсу. Она, как и я, вернулась в свой родной дом. Еще вчера снег пластом лежал в саду, а сегодня – ни клочка. как слизано, ручьи бегут. В канаве – бурный поток. Так тепло, что я снял ватник и шапку, повесил их на колышки забора, стою тут у калитки и смотрю на быструю воду. Я люблю смотреть на бегущую воду, и на огонь тоже люблю смотреть, как он полыхает, яростный, и на черную, взрытую землю, и на ветер. Все четыре стихии мне любы. Есть и пятая...

– Что, утопленника нашел? – раздался голос с дороги. – Тут каждую весну утопленники всплывают. Оттают и всплывают в канавах. В прудах – как плоты, распухшие, мужик или баба, не разберешь. Тащи к себе в сад! Чего на него любоваться! Удобрение – высший сорт!

Смотрю: седобородый, в ватнике, как у меня, шапка набекрень, дед Мазай. Я машинально провел пальцами по подбородку – зарос, щетина. Так был занят заготовкой дров, что забыл бриться. Вот, думаю, стоит передо мной незнакомый человек, а как будто мой брат, у него есть тень, я тоже – отбрасываю свою, мы с ним родня, братья тени. Голова у него круглая – как небо, ступни квадратные – как земля...

Ель моя посветлела, каких-то птах приютила у себя в лапах, маленькие птички с желтой грудкой, а звону от них – заливаются колокольчиками – дин-дин-дин. В городе есть такие магазины, у них входная дверь с колокольчиком,ходишь-выходишь – звенит, тонко, мелодически, серебряной трелью. Я там бывал и не раз, с кем-то, кто

был дорог моему сердцу, в старые, забытые годы, но что там, в этих магазинах продают – убей, не помню.

Я пошел к вокзалу купить бутылку вина. Никто тут мне не удивляется, ватник, сапоги, небрит – свой в доску. Туда шел по шоссе, солнце слепит, самосвалы с песком проносятся, ревя колесами, расплескивая лужи. Обратно – через лес, по корням, они, как жилы, змеятся. Железная кровать, чемодан, ржавый газовый баллон, черные волнистые диски с дырочкой в центре, сосновая иголочка по ним в вальсе кружится. А на этой что? Сличенко?..

Устроил пирушку: поставил табуретку под моей елью, сел, бутылочку откупорил, налил красного вина в стакан. «За что пить будем?» спрашиваю «Твой тост!». «Последний луч пурпурного заката» поет она. «Я ехала домой, я думала о вас». Захмелел, не встать. Крепкие градусы. Крутятся, меридианы. Звезд! Числа им нет! Вселенная!..

4 апреля

У меня столько хлопот по хозяйству, что некогда посидеть с книгой. Прежде всего, я решил выбросить весь хлам, накопленный поколениями. Чего только я не нашел в доме, в подполе на чердаке, по всему участку. Обувь без пары, ведра без доньев, морской китель без пуговиц, тазы, чайники, банки, склянки, кости, гвозди, ржавье, тряпье, склад бутылок, поршни, шланги, провода, пружины, части неизвестных механизмов, что-то похожее на швейную машинку, как бы точильный мотор с наждачным кругом, как бы половина слесарных тисков, корпус от чего-то, сгнившие шкуры. Горы барахла, казалось, век не перетаскаю. Я нагружал тележку доверху и вез к лесу. Там у местных жителей устроена гигантская свалка, которая простирается на версту вдоль дороги. Я возил пять дней, с утра до ночи. Последнюю тележку, самую тяжелую, с железом, отвез сегодня. Едва дотащил, долго не мог отдышаться, сидя на пне в лесу. Зато теперь у меня и в доме и на участке аскетическая чистота. Оставлены только нужные для жизни вещи. Освободясь от дряни, я почувствовал большое облегчение, словно родился заново, теперь я другой человек и все у меня будет по-новому. На этой волне, и часа не отдохнув, горя нетерпением, я взялся за тряпку и швабру и сделал большую приборку в доме: вымыл полы, обтер пыль, смел паутину с углов и мертвых мух с подоконников. В доме четыре комнаты, чердак и подпол. Я сплю в

уютной комнатке с окном в сад. Это восточная сторона, отсюда я вижу мою ель, она как на ладони. Тут же у меня рабочий стол и часть книг, им не хватило шкафов и книжных полок, и они сложены вдоль стен, как кирпичи. Нужен стеллаж, доски есть, рубанком я когда-то умел работать. Но это не к спеху. Удивительно: с тех пор, как стал тут жить, не прочитал ни страницы, не написал ни строчки и ничуть не тянет. Да, это ведь та самая комната, где я спал в свои ранние годы, когда дом еще был полон голосов, скрипели половицы и пели двери. Та же кровать, задняя ножка также выпадает из паза. Матрас, постельное белье, подушка. Старые друзья. Только теперь мне одной подушки мало, я кладу себе под голову две; не так давно, лет десять-двенадцать назад я полюбил высокое изголовье. Раньше я спал на боку, я хорошо помню, на правом боку, как положено, а теперь я сплю исключительно на спине, вытянув руки вдоль туловища, словно солдат по стойке «смирно» перед генералом. На боку спать я совершенно разучился, и мне уже не свернуться калачиком, как бывало прежде, тело не желает, оно категорически против, и я не хочу с ним спорить по таким пустякам и пытаться сломить эту привычку.

10 апреля

Обрезал яблони. Они старые, много сухих суков, стволы расщеплены, поросли мхом и лишайником. Почистил, замазал садовым варом, побелил. Сучья собрал в кучу и разжег костер. Пламя плясало, огненные космы, шаман, бубенцы, изгонять злых духов из моего сада...

— Хозяин! — услышал я крик с улицы. — Оставив костер гореть без присмотра, я пошел узнать, в чем дело.

Женщина с велосипедом. Агент страхования. Не только от пожара, от наводнений — тоже, от землетрясений, от ураганов, тайфунов, от извержения вулкана. От всех стихийных бедствий, вместе взятых. От любого рода несчастий; даже, если метеорит вздумает упасть именно на мой дом, презрев соседей, то и тогда я получу в возмещение ущерба кругленькую сумму, которой буду несказанно рад, имея все-таки хоть что-то, а не пустые руки. Симпатичная, словоохотливая, и этот беретик... Да, у нее собачье чутье, этим она отличается, на другом конце поселка повела ноздрями — дымом пахнет. Вот и прикатила на дымок.

Проявил любезность, пригласил в дом.

– Какая чистота! – удивилась она. Сняла сапоги и, оставив их за порогом, вошла в комнату. Чулки тонкие.

Она писала за столом свои страховые квитанции, а я тем временем достал деньги из кошелька и, сжимая их в кулаке, ждал, когда она закончит.

– А книг-то! – заметила она, озираясь. – Как у профессора!

Проводив ее до дороги, я снял шапку. Жарко. Ее велосипед расплескивал лужи, она ехала, виляя, крепко держась за рога, которые, казалось, перестали ей подчиняться и вырывались у нее из рук.

Потемнело. Повалил снег с дождем. Я уже не мог работать в саду. Не смыло бы мою побелку с яблонь. А ель моя! Пошел к ней и опять, обняв ствол и прижавшись, стоял, слушал шум непогоды. Долго я находился в этом чудесном забытьи; с шорохом скатывались капли по иглам, хвоя вздрагивала.

15 апреля

У меня горячие дни. Тружусь как пчелка. Работы в саду невпроворот. Даже весело: такую кипучую деятельность я тут развел. Руки соскучились по лопате. Я же прирожденный землекоп, так и родился с лопатой в руках. У меня грандиозные планы: устрою у себя райский сад, посажу яблони с райскими яблоками, у них алые бока и черви их не смеют трогать – бог запретил. Начал копать участок за сараем – там картошке самое место. Земля, как пух, сама копается, припеваючи. Полдень. Цыгане орут с дороги, лица у них, как желуди, козырьки блестят, старый цыган и молодой, продают конский навоз. Я купил телегу навоза, перевозил в тачке на огород. На грядках будет тучная почва. Семена я привез из города, всякие овощи. Пошел с мешком на рынок. Старик продает картошку с синими глазками для посадки. Сорт «Чародейка». Не пожалео. Дома посмотрел по лунному календарю: какой благоприятный день для посадки картофеля. В полнолуние, оказывается, нельзя, не советуют. Ну, пусть. Нашел четыре железных бочки, почистил от ржавчины и покрасил суриком. Как пожарные. Поставил, когда высохли, с четырех углов дома, под водосток, мои часовые на страже с четырех сторон света, откуда бы туча не пришла, предупредят и примут удар. Мне бы еще водоем в саду. Думаю вырыть пруд, саду нужна вода. На дождь надейся, а сам не плошай. Да и мало будет четырех бочек при таком размахе моего садоводства. Решено – сделано. Сразу стал рыть котлован недалеко от

того места, где моя ель растет. Она протянет корни в пруд и напьется вволю. Летняя жара не страшна, когда есть свой пруд. Я взялся за работу с большим воодушевлением, к вечеру сделал порядочно, углубился по пояс. За слоем глины пошел песок, копать легче. У забора нашел большой камень, перекатил его к ели. Он оброс мхом, как зеленый бархат, сидеть мягко, и что-то вроде спинки есть. Отличное кресло.

25 апреля

Моя посевная, благодарение небесам, закончена. Весна в этом году необычайно ранняя, сильно забежала вперед, сад весь в цвету; и я тоже словно живу ускоренной жизнью и бегу впереди самого себя. За десять дней я совершил великие дела. Построил оранжерею на южной стороне сада и застеклил синим стеклом. Это стекло и металлический сборный каркас для оранжереи мне тоже цыгане доставили. Они тут целыми днями кружат по дорогам, грохоча своей телегой и предлагая жителям нужные в хозяйстве вещи. Конь – зверь, сивый дьявол, косматая грива до земли, глаза горят волчьи. А наложил на дороге, дай бог! Такие бомбы дымятся! Я поспешно вышел с ведром и лопатой и собрал. Удобрение для моих питомцев. Я сделал это вовремя, опередив соперников. Из соседних домов уже бежали женщины с совками и ведрами, но увидев, что я опередил их, ворча, повернули назад. Только одна кривоногая старуха в кирзовых солдатских сапогах, которая обогнала всех и оказалась ближе других к дарам коня, обескураженная неудачей, как громом оглушенная, не сдержав своего огорчения, топнула кривым сапогом и крикнула, глядя мне в лицо лютым взглядом: «Понаехало каких-то!» Я пропустил мимо ушей этот злобный выпад. У цыган, как я заметил, кроме конского транспорта есть и машина: ярко-красного цвета, как огонь. С утра до вечера курсирует от вокзала до табора и обратно, привозя-увозя молодых цыганок. Разукрашены, поют, кричат. золотые обручи в ушах, пляшут на сиденьях, размахивают руками, высунув их за стекло кабины, машина вихляет боками, вот-вот опрокинется в канаву. Одна цыганка сидит сверху на кабине, скрестив босые ступни, и курит. За рулем невозмутимый молодой цыган.

Четыре дня и четыре вечера я рыл пруд. Он глубок, скрыл меня с головой. Я придал ему форму совершенного квадрата: 4 м x 4 м. Пифагорский тетрактис. Вырытую глину я свозил на тележке к

северной границе участка. У соседей, с которыми я граничу с этой стороны, почва неплодородная, болото, кочки. Сваливая глину, я видел две сутулых фигуры, они копошились недалеко от меня, за ржавой сеткой забора, сажали куст крыжовника. Я с ними поздоровался, они не ответили на мое приветствие, только посмотрели на меня исподлобья враждебным взглядом. Женщина в косынке по-крестьянски, мужчина – в пятнистой армейской куртке. Пруд, чтоб укрепить берег, я обложил булыжником. Вода уже набирается, по щиколотку, пробился подземный ключ, а если дождь поможет, то, вот, пруд и полный.

Посадил картошку, следуя указаниям лунного календаря. Для каждой картофелины делал лунку, подсыпал печной золы, клал навоза, и, пошептав магическое заклинание, засыпал землей. Чародейка. Проверим в августе: обманул или нет старик.

По окончании дел, поздним вечером, сижу на камне возле моей ели, слова нам не нужны; она, как и я, любит молчать. В последнее время у меня появилось отвращение к людской речи. тошнит от слов, от всего сказанного. Дошло до того, что я теперь не могу читать книг даже любимых мной писателей, не могу читать стихи. Да, теперь и стихи не могу. Другая жизнь и берег дальний. Мне кажется, теперь я до гробовой доски не раскрою ни одной книги, кроме «Справочника садовода и огородника».

3 мая

Я обхожу мой сад. Полный триумф. Чудеса роста. Мои растения словно с ума сошли, у них неслыханный темп, я никак не ожидал такого успеха. Ведь я не делал ничего особенного, не применял никакой химии, обыкновенные крестьянские средства. Огурцы, помидоры, тыквы, укроп, редис, лук, салат – всё какое-то великанье. Картофель уже зацвел, ботва могучая, как лес стоит. Что же за клубни будут? С человечью голову? Вечером ко мне явилась толпа садоводов, пришли даже с самых отдаленных домов, они желают, чтобы я поделился знаниями, открыл тайны. Я их разочаровал, я сказал, что у меня нет никаких-таких тайн, я сам не могу себе объяснить, почему у меня такая феерия. Они не поверили, ни один из них. Подозрительно и хмуро глядели они на меня, и на мой сад, и на мой дом. Когда они ушли, я запер калитку на замок. Я решил с этого часа никого не впускать на мой участок.

Ель моя выпустила новые зеленые кисточки на концах своих ветвей. Иглы мягкие, кислые. От цинги. Теперь у нее есть сестра – отражение в пруду. Пруд наполнился, вода прозрачная, горный хрусталь, на дне ключ бьет. В пруду появились обитатели: и водоросли, и головастики, и пиявки. Карасей бы развести. Сижу на камне, уже темно, ночь. Честно признаться, я встревожен, это нашествие садоводов не выходит у меня из головы.

17 мая

Сад растет стремительно, словно он одержим манией плодородия. Деревья, кусты, растения охвачены общим порывом, в их корнях и жилах кипит могучая сила и с чудовищным ускорением гонит их к цели их жизни – к созреванию плодов, к урожаю. Каждая ветка, каждый листок трепещут в необычайном возбуждении, они как под током. Утром я выхожу в сад, и сад поворачивается ко мне всеми своими сучьями и листьями, как к солнцу. Мое появление вдохновляет его на ботанические подвиги, он творит чудеса, его плоды растут и наливаются у меня на глазах. А что делается с садами соседей? Они обезумели, они все тянутся ко мне, устремились в мою сторону, они вырываются корнями из земли, пытаюсь достичь того, что их влечет, и гибнут, несчастные, жертвы своего неудержимого желания. Пришли жители с улицы Мичурина, кричали и угрожали мне смертью: они разорвут меня на куски, если я не прекращу свои телепатические опыты. Не знаю, как их умиротворить, они не хотят меня слушать.

В пруду появилась рыба: караси и карпы. Откуда они взялись? Как бы то ни было, рыба играет в моем пруду; в день скармливаю этим ненасытным ртам буханку.

Теперь я редко покидаю пределы моего участка. Я окружен враждебностью, кожей чувствую сотни злых глаз, горящих ненавистью, со всех сторон, как дула ружей, направленных на меня и мой сад. Сегодня обнаружил: пропали все четыре бочки под водостоками на углах дома для сбора дождевой воды. Вчера был ливень, бочки были полны. И вот – вода вылита, бочек нет. Их катили по дорожке (остался след). Должно быть, перебросили через забор; калитка у меня на замке.

Мне понадобилось сходить в магазин к вокзалу, у меня кончилась крупа и чай. Как только я сделал несколько шагов по дороге, на меня

посыпались камни, брошенные невидимой рукой. Зря злобствуют, ни один камень в меня не попал; камни сами отклонялись от моего тела, они не хотели причинять мне вреда.

Вечером я сижу под моей елью. У нее новые шишки, изумрудные, смолистые. Я слышу, как ель молчит: глубокий колодец, полный чистой прозрачной воды; и мне легче.

30 мая

Пора собирать урожай. Мои овощи лопаются от спелости, мои фруктовые деревья и ягодные кусты согнулись под сочным грузом; ветви ломаются, не выдерживая такой лавины плодов, хотя я поставил по всему саду подпорки. Сегодня обнаружил, что у оранжереи разбиты стекла. Раздались крики с улицы, полетели камни. На дороге перед моим домом опять собралась толпа, на этот раз вдесятеро больше, вооруженная садовым инвентарем; запрудили всю улицу, ревели, угрожающе размахивая лопатами, мотыгами и граблями. Решив их задобрить, я вынес им ведро вишен, собранных накануне. Ведро опрокинуто ударом ноги, вишни раздавлены. Тогда я предложил им взять весь урожай, я еще выращу. Это они поняли.

Толпа, ликуя, взыв, ринулась на мой участок. Повалили забор, сорвали с петель калитку и отбросили далеко в сторону. Меня сбили с ног, я упал в канаву. Сотни рук опустошали мой сад, женщины, старики, дети, взрослые мужчины с толстыми, красными мордами тащили полные ведра, корзины, ящики, катили тележки и тачки, стремглав мчались к своим домам, торопясь вернуться и взять еще. Их глаза горели жадностью. Через час от моего сада остались рожки да ножки, он весь был переломан и вытоптан. Мамаево побоище. Я стоял и смотрел на это разорение, сжав кулаки.

Вечером того же дня, когда я возился под моросящим дождем, восстанавливая порушенный нашествием забор, ко мне опять обратилась та женщина, агент страхования. Она ехала мимо на своем велосипеде, и, увидев меня, решила поговорить. Я хорошо сделал, что застраховал свой дом и участок. Что ж, она права. Чтобы сказать мне это, ей вовсе незачем было слезать с седла. Да, вишни были хороши, дорога наелась досыта, синяя, в соке... Посмотрела на меня, добрые и грустные глаза, зачем ей такие глаза, ей, агенту страхования?

– Уезжайте-ка Вы отсюда, – сказала она. – Чем скорее, тем лучше.

.....

Не спится. Пошел к моей ели. Простоял около нее всю ночь. Ветер, песня вольная добра молодца, «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...» Думай, не думай. Завтра начну все сначала.

8 июня

Погода переменялась, грозы. Я плохо сплю, бывает и до рассвета томлюсь без сна, лежу на спине и только и занятия у меня – отгонять черные мысли. Жалят. Жужжат. Может быть, и бесплодно прожитая. Не спорю. И вспомнить нечего. Забыл, разлюбил. Чья-то тень на краю земли. Атлантида, Лемурия. И я там был, мед-пиво пил. Забудусь с первым лучом и лезет чертовщина... А днем хожу-брожу, спад, апатия, руки опускаются. Сад изломан, на него страшно смотреть; осколки стекол от разрушенной оранжереи хрустят под ногой. Пошел к пруду кормить рыб: и они мертвы, плавают сверху брюхом, вся поверхность пруда покрыта их телами. Четыре вороны тяжело взлетели, прервав свое пиршество, потревоженные моим вторжением. Нет сомнения, что моих рыб отравили ночью, подсыпали порошка. Дождь и сегодня держит меня дома, как в тюрьме. Я не знаю, что делать. От вида книг меня тошнит, зачем их тут столько, горы, пирамиды книг по всем комнатам, эта ученость, эти вымыслы, эти плоды человеческого мозга? Нельзя читать книги, всю эту кучу надо отправить обратно в город. Я сижу у окна в моей комнате и смотрю на дождь, у него такие тонкие струнки и он на них играет свою небесную мелодию, играет для земли, и земля заслушалась, эта музыка льется, шурша, ей в уши, льется, льется, конца этому не будет...

Взял зонт и пошел на почту. Там есть телефон и можно связаться с любой точкой земного шара. Минута разговора – пуд серебра, минута молчания – пуд золота. Знает рожь высокая, продает товар купец...

Весь путь, пока я ехал в город, бушевала страшная гроза, молнии с треском ломались над поездом, и потоп стеной заливал стекла вагона. Машинист боялся грозы, тормозил, поезд едва полз. Вместо обычного часа мы тащились два с хвостиком и на вокзал прибыли поздно вечером. Гроза устала сверкать своими электрическими ужасами, она разрядилась на всю катушку. Лужи, молочный пар, тополя. Почему так светло и небо не меркнет? Так белые ночи, чудик! Вот она, смотри, какая белая – как статуя! И руки, и ноги, и плечи, и грудь, и живот – всё, всё у нее белое! белей полотна. Краше в гроб кладут!

10 июня

Вот и конец. Пробыв сутки в городе, я вернулся, меня томили недобрые предчувствия. От платформы я шел через лес, думая о своем, и часто спотыкался об корни. Пластика с романсами лежала на том же месте, а гора мусора, казалось, выросла втрое, скоро тут будет свалка до вершушек сосен, до неба. В лесу я столкнулся с двумя молоденькими цыганочками, эта встреча меня оглушила, как удар грома, как обухом по голове, их смуглота дикая, от них пахло лошадьё, они несли мешки. «Мужчина, носки не нужны?» спросила одна. остановясь, золотые перстни. Отрицательно покачав головой, я прошел мимо. Ни слова не проронил я, не разомкнул уст. Зачем мне носки, да от цыганок, да краденые?.. Смотрел ли я в городе фильм «Фараон»? Кажется, смотрел, это было давным-давно, в кинотеатре «Рубеж», мы сидели где-то на камчатке, и я чувствовал кожей тот горячий локоть... Или я опять перепутал? Не пой, красавица, при мне...

Дом цел, замок на месте, окна не тронуты. Я сразу же пошел к моей ели. Она лежала во весь свой рост, раскинув на обе стороны колючие руки. Иглы не шелохнутся, веки опущены, душный день, парит. Пень широк. На свежем спиле по окружности проступили капли смолы и сверкали как алмазики. Я стал считать кольца. Шестьдесят. Я не ошибся, ведь я пересчитал пять раз. Ровесница. Родители мои, отец и мать, посадили эту елочку в год моего рождения, в мае. А мне в февралье шестьдесят стукнуло, вот так-то.

Я пошел в дом, лег на кровать, как есть, не раздеваясь. Я уже не встану. Тело мое коченеет, начиная с ног, и холод идет выше и выше, достигнув живота, останавливается, пупок, узловая станция, тут перепилено, товарный состав с лесом на север, к Мурманску, за Полярный круг... Холод, отдохнув, движется дальше, ему открыт свободный путь, горит зеленый огонь семафора; шпалы хрупки, как ракушки, хрустальные рельсы – две струны в жаркий день над железнодорожной насыпью, дрожат-звонят... Поезд, груженный льдом, тяжело поднимается в гору, выше, выше... Я чую под сердцем родничок. Это моя ель растет, ее корням надо много воды.

ОТЧИМ

Мне семь. Мостик через канаву. Мать спросила: не хочу ли я, чтобы у меня был новый отец? Молчу, глаза в землю. Это она про Георгия Ивановича. Он не отец, он отчим. Отец умер. Мать тот же самый вопрос задает моей четырехлетней сестре. Сестра пугается, плачет. Она плачет каждый день. Она ранимая. Георгий Иванович берет ее за руку. Переходим мостик. Георгий Иванович в грузинской кепке, прорезиненный плащ до пят. Восьмичасовой сеанс, опоздаем. Одно название – кинотеатр. В свинарнике чище. Заплеван до потолка шелухой семечек. Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Георгий Иванович напевает себе под нос. Из ноздрей волосы торчат. "Георгий, ты бы хоть остриг волосы в носу, некрасиво" – говорит мать. Георгий Иванович их щипцами выдергивает утром перед зеркалом. Он не виноват, он старается. Простыня гаснет. Фонарь, черно, бронепоезд.

Георгий Иванович встал в половине пятого. На первую электричку. Бухал на кухне каблуками. Дверь в коридор – хлоп да хлоп, раз двадцать. Ревет трактором электробритва "Харьков". Кипит кастрюля с борщом. Переперчен, обжигает рот. Ломоть черного хлеба с салом. "Борщика похлебать" говорит Георгий Иванович. Свист электрички на Гатчину, в Тайцах встречная. Моргнешь – и тут как тут, хвост покажет. Борщ прочь. Вихрем из дома. Кепку забыл. С голой головой – обдует ветерком. Бритая, как у Котовского, хохолок сизый. Подмышкой газетный сверток – харчи сухим пайком. Под горку. Успеет. Тут многие бегут, половина поселка. Вагон трещит, селедки в бочке, до Балтийского вокзала. На Петроградскую, завод "Вулкан". К восьми как штык. Механик.

С работы возвратился поздно. Мать примус третий раз зажгла, разогревая ужин. Наконец, дробный топот каблуков на крыльце, грязь с обуви обивает. Сядем за стол ужинать при свечке, если электричество так и не соизволят дать нам сюда со столбов горе-монтеры. Георгий Иванович усталый. Тяжелый железный ящик с ручкой, наподобие чемодана. Отбросы из заводской столовой. Для поросенка. Ташил с Петроградской. Поросенок в сарае. Сарай изнутри обит рогожей, щели заткнуты тряпками, на дверь для утепления повешена старая шинель без погон и пуговиц – отцовское наследство. Поросенок спит на сене, подогнув ножки. Корытце с кормом.

Ночью у Георгия Ивановича припадок. Бился в конвульсиях, скрежетал зубами, колотил ногами в спинку кровати. Сестра испугалась. Мы с ней спим в отдельной комнате. За стеной мать и отчим. Там их широкая, двухспальная кровать, железная, с блестящими металлическими шарами на спинках. Прежде на этой кровати лежал отец. У Георгия Ивановича тяжелая контузия. На Одере. Бредит. Припадок отпустил. Через пять минут – храп. А мать долго не ложится, ходит, скрипят половицы.

Опять вернулся затемно, опять груз. В одной руке – корм для поросенка, в другой – что-то тоже тяжелое, упакованное. Мать каждый вечер ждет с тревогой, прислушивается – когда застучат каблук на крыльце. Отец дружил с рюмочкой. Мать решилась на второе замужество после трудных раздумий. Георгий Иванович вдовец, жену недавно похоронил. Рядом жили, соседний дом на нашей улице. Комнату снимали. Дочь осталась. В городе, "те" отсудили. "Хлопчик! Подержи-ка инструмент" – говорит Георгий Иванович. Молоток и гвозди. Примеряет на стене у нас на кухне новый рукомоиник. Резиновый шланг, бачок для воды. "Добре, хлопчик!" Молоток и гвозди сделали свое дело. Сам он как молоток. Руки тверже железа, пальцы с черными, скорлупчатыми, изуродованными слесарной работой ногтями.

Мать села за швейную машинку. Перелицевать старое отцовское пальто. Трофейная, Зингер, из Германии, медсестра военного госпиталя. Грянут холода. Георгий Иванович в негреющем плаще не по сезону. Ходит, как нищий. Только одно принес с собой и поставил на видное место: фотографию умершей жены, с дочерью на руках, в черной рамке. Да еще прокуренный янтарный мундштук. Курит на крыльце. Сизые струи из ноздрей тают в воздухе.

Каждый вечер приносит с завода что-нибудь необходимое для хозяйства: инструмент, шурупы, винты, гайки, замки, задвижки, шпингалеты на окна, наждачные диски для точильного станка, мотки электропровода, розетки, штепсели, доску, брусок. С пустыми руками не является. Заменит забор с улицы. Старый, сгнил. Тащит на горбу пакет штакета. Столбы. Железные, покрыты черной краской от ржавчины. Четыре вечера – четыре столба. Грыжу б не нажил. Но отговорить невозможно. С жадностью поглощает ужин. Картошка. Брюхо набить, говорит он. Картошка у нас своя, с нашего маленького поля за сараем. Всей семьей выкапывали, прошлое воскресенье, под дождем. Вылавливали из жижи, меся грязь. На зиму не хватит, два

мешка в совхозе купим. С полочки, когда Георгий Иванович грошки получит. Мать один раз в месяц ходит на почту за посмертной отцовской пенсией и пособием для детей, как вдова военного. Но этого нам мало, чтобы прожить.

Поставили новый забор. Ямы под столбы копать легко, земля не успела промерзнуть вглубь. Собирали камни на нашем участке и складывали в кучу – укрепить столб. Работу закончили в темноте. Георгий Иванович промахнулся, ударил молотком себе по пальцам. Он не чувствует боли. Руки у него не боятся ударов, они у него железные от засевших в кожу стальных опилок. Он получил письмо от своей старшей сестры Надежды Ивановны. Родное гнездо, туда возврата нет. Старый тополь у нашего дома качается, сучья скребут крышу, как зверь когтями. Повалится, беда будет. И мусора от него каждую осень: желоба и водосток засорены опавшими листьями.

Фундамент крошится. Везет с завода цемент. В поселке сплетни: упрекают в черствости, слишком легко перенес смерть жены. Некрасивая, печальная, ростом повыше своего супруга, шляпа на голове какая-то такая, грибом. Мать – полная противоположность: мала ростом, миловидна. Мужчины делали ей предложение. Но она решила до конца жизни остаться одинокой. Упрямый хохол, полгода к нам ходил. И тогда мы уже привыкли слышать чуть ли не каждый вечер дробный стук его каблучков у нас на крыльце.

Ведро с водой в коридоре покрылось льдом. Разбил ковшом, зачерпнул полный. Голый по пояс, грудь в шерсти. Умывается на дворе, громко крикая. Мать льет ему на руки. В поход. Всей семьей. Катит перед собой тележку, держа за железную дужку голыми руками. В тележке сестра, укутана в семь одежек. Сам в ватнике, как и мать. На нем ватник рваный, клочья торчат. Боевых собак тренируют на людях в ватниках. Он видел, как людей травили овчарками. Но это другой разговор. Тележка дребезжит по замерзшим гребням. Бесснежно. Все поле усеяно фигурками нагнувшихся людей. Тут весь поселок. Кочаны кое-где, остатки, то, что совхозники не добрали. Под ногой хрустят гнилые кочерыжки.

Поставил вторые рамы. Заменял треснутые стекла. Резал алмазом. Алмаз у него за ухо заткнут. Привык командовать: поддержи, принеси, положи. Без помощника ему скучно. Почистил дымоход. Уборную. "Я у тебя и трубочист и говночист" – говорит он матери. "Где ты еще такого батрака найдешь?". Привезли дров. Пилят с матерью. Зима долгая.

Вечер. Сидим за столом. Мать ставит перед Георгием Ивановичем тарелку борща. Борщ он готов есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. На этот раз что-то не то. Наклонил бритую голову с хохолком, нюхает. Карие глаза загораются гневом. "Протухшим кормишь! Как свинью!" Ударяет черенком ложки о стол. Борщ проливается на скатерть. Встает из-за стола. Он уйдет из дома, хватит ему тут батрачить. Мать, рыдая, умоляет его остаться, хватается за руки, пытается удержать. Она сейчас перед ним на колени встанет. Он остается. Он хочет, чтобы у них был общий ребенок. Но мать не хочет этого. Не согласилась она и удочерить его дочь. Чтобы жила вместе с нами, у нас в доме.

Другой год. Георгий Иванович осмотрел весь дом от подвала до печной трубы. Надев очки, изучил состояние балок на чердаке, постучал по стене киянкой, пощупал пазы. Лазил с фонариком под веранду, куда с трудом мог протиснуться, прижимаясь животом к земле. После осмотра закурил. Выбил мундштук о столб на крыльце. Хмурый, пошел в дом. Инструмент, натасканный с завода, аккуратно разложенный на полках в коридоре, потрогал, повертел. Возьмет и обратно положит. Мать, не выдержав, спросила: что он думает о доме. Пожал плечами. В такой хате жить – как на бочке с динамитом. Нижний венец весь сгнил. Труха. Балки подогнулись, крыша вот-вот рухнет. Не говоря о мелочах: прогоревший колпак на печной трубе и прочее. Дом можно поправить. Можно. Да. Но одних его рук будет мало.

Пришла телеграмма – встречать сестру Надежду Ивановну из Хохляндии. Мужеподобная, горластая, сразу наполнила наш дом своим голосом. Привезла груш, слив, дынь и один большой арбуз. Знает пять языков, преподает в университете в Киеве. Не замужем, не нашла избранника. Младшие сестры отчима удачливей, родили ему кучу племянников. Курит, одну за одной, брата передымил. Мать открыла форточки во всех комнатах. Любительница поговорить о высоких материях. "Приехала языком чесать". На прямые слова брата не обижается. В разговоре с сестрой Георгий Иванович обнаружил себя с неожиданной стороны. Образованный, начитанный. Чем удивил мать. Она не видела, чтобы Георгий Иванович хоть раз взял книгу в руки. Единственное его чтение – газета "Смена". Эту газету он предпочитает всем другим. Просматривает за ужином. А тут – Шевченко, Мицкевич. Их род из Польши, деда называли: пан Богушевский. Отчим острым ножом разрезал арбуз. "Такой кавунчик тут не купишь" – говорит он.

Надежда Ивановна у нас неделю. Каждый день уезжает в Ленинград и вечером возвращается с покупками. Подарила моей матери нарядную кашемировую шаль, Георгию Ивановичу – золотые часы с браслетом, нам с сестрой – тоже дорогие подарки. Добрый и щедрый человек. В последний день ее пребывания у нас, в воскресенье, мы все поехали на поезде в Петергоф, посмотреть фонтаны. Там, около большого каскада, мы сфотографировались. Георгий Иванович с сестрой суров, он почти не разговаривает с ней, отвечает на ее вопросы отрывистыми фразами, как огрызается. Присутствие сестры ему уже невтерпех, нож у горла. Надежда Ивановна умолкает только тогда, когда спит. Проводит свою старшую сестру на перроне Московского вокзала, поезд Ленинград-Киев. Гора с плеч. Ему бы очень хотелось, чтобы это родственное свидание не повторилось впредь, по крайней мере, до тех пор, пока он не ляжет в гроб. Матери моей непонятно это угрюмое упрямство вражды. Тяжелый характер. Ее предупреждали. Подаренную Надеждой Ивановной шаль мать спрятала подальше в шкаф. Отчим поморщился, когда она захотела в этой шали покрасоваться перед зеркалом у них в спальне. А с золотыми часами и того хуже: швырнул их со злости в кусты у нас на огороде. Мать эти часы потом отыскала. Но отчим уже ни разу их не надел.

Весь свой летний отпуск он посвятил ремонту дома. Весь июль. Приехали племянники, два битюга, бычьи шеи, бритые головы, в дядю. Знают плотницкое дело, мастера, дома строят за Карпатами. Заменили гнилые венцы, подвели под крышу новые балки. Пока шла работа, мы – мать, сестра и я – жили у соседей. Отчим с племянниками ночевали в сарае. Поросят тогда у нас в сарае уже не было. После работы, поужинав, в теплый летний вечер отчим и племянники у нас на дворе поют украинские песни. Час поют, два, пока не перепеют все песни, какие знают. Чудные песни! Век бы слушал! Больше таких песен и такого пения, я уже никогда не услышу. Вечером у нас в саду собираются соседи. С дальнего конца поселка идут послушать, как поют хохлы.

Племянники уехали. Дом как новый. Отпуск отчима закончился. Опять подниматься в половине пятого, на первую электричку. Завод "Вулкан" по нему соскучился. Без механика никак. Станки встанут. Незаменим. Мастер! Таких по всей стране, может быть, – пять. Сколько на руке пальцев. А почеты и награды – грязь. Бисер свиньям. У Георгия Ивановича есть ордена и медали, но он их никогда не

надевает, ни на один праздник, и в День Победы не надевает. Однажды он сгреб в кучу все эти побрякушки, как он назвал их, и понес выбросить в отхожее место. Но моя мать отобрала у него и спрятала. Припадки теперь редки. Лязг зубов и колотье ногами в спинку кровати не будят нас с сестрой посреди ночи. А кровать-ветеранка также твердо стоит у них в спальне, нерушима, с ней никак не разлучиться. Мать мечтает купить новую да грошиков нема. Мигрени мучают меньше. Снимет перед сном с головы платок, волосы мягкие, как лен. Лето, жарко. Идем купаться на озеро. Георгий Иванович не купается, стоит на мостках и смотрит, как купаются другие.

К Троице Георгий Иванович поправил могилу моего отца. Изготовил ограду у себя на заводе. Скрепил болтами, покрасил. Кладбище на горе, около вокзала. Фотография отца на могильной стелле пожелтела, он в офицерском кителе, большой лоб с залысинами. Тридцать три года. На этом же кладбище похоронена и первая жена Георгия Ивановича. Побывали и там, тоже привели могилу в порядок.

Георгий Иванович без работы дня не проживет. Построил летнюю кухню. Сменил в доме электропроводку. Переложил печь. Будет делать паровое отопление. На заводе котел сварят. Батареи и трубы он там уже приготовил, лежат в сторонке. Планирует рыть колодец. Бетонные кольца привезут. Если бы еще свою баньку! Мыться ходим в совхозную баню за озеро. В мужской день идем мы с отчимом, в женский – мать с сестрой.

Георгий Иванович удивительный человек. За какую работу ни берется, все у него – высший класс. Без брака. В любом деле он специалист. Все он знает. Нет такого занятия в мире, в котором он был бы несведущ. Он родился мастером. Так сразу и вышел из утробы своей матери – мастером золотые руки. Георгий Иванович презирает людей, не умеющих делать дело. У тех все – тяп-ляп. Халтурщики! Выродки! Георгий Иванович плюнет с ожесточением, безнадежно махнет рукой.

Я думаю об отце. Отец ничего не умел по хозяйству. Гвоздя не мог вбить. Гвоздь у него обязательно гнбался, как червяк, или шляпка отваливалась. Отец был солдат, командир танка, герой. В мирное время ему не нашлось места.

Праздники Георгий Иванович не любит. Не понимает, зачем они. Праздники придумали бездельники и лентяи. Будь он вождем страны, он

отменил бы праздники все до единого, а заодно и выходные дни. Повод лодырям – бить баклуши и водку жрать. Лишь бы не работать. Соберутся балбесы, миллион на площади, орут: "Ура!" Как сумасшедшие. Сумасшедшие и есть. Этих бы горлопанов – котлован рыть!

Первого мая гулянье у нас на горах. Люди идут на главную гору, она выше других. Лысая гора, так ее зовут, на вершине площадка. Посреди – камень-валун. Камнище! Великанище! Сорок человек уместится. Столы с угощением, красные флаги, оркестр. С камня произносят речи. Мать моя, нарядно одетая, у нас на крыльце, с досадой: "Георгий! Не упрямясь! Идем! Там все! Переоденься. Прошу тебя. Георгий!" Отчим в рабочем комбинезоне. Молчит. Мрачен. Упреки и уговоры не могут поколебать его упорства. Он останется дома, у него работа, он будет покрывать сарай рубиройдом. Пусть она одна идет. "Ты добрый хлопец" – говорит мне. "Помощник. Держать будешь". Мать с сестрой ушли, а мы остались и работали. Мать вернулась радостная. Красота! Вид с горы такой! Зря ты не пошел, Георгий!" Отчим отмахнулся. "Мы вкалывали. Некогда видами любоваться. Это бездельники на красу глазеют, а у нас времени нема".

Ночью переполох. Мы с сестрой проснулись от шума в другой комнате. Звон разбитого стекла, грохот. Крик Георгия Ивановича: "Стой! Не уйдешь!" В ночном белье, рубашка, кальсоны, с кем-то борется. Это вор. Забрался к нам в дом, уверенный, что мы все крепко спим, чтобы что-то у нас украсть. Но что же можно украсть у нас, у нищих? Мать удивленно разводит руками. Георгию Ивановичу не удержать вора, он вырвался. Прыгнул в окно и убежал. Вор поранил Георгия Ивановича ножом. Кровь течет. Мать занялась перевязкой. Нож нашли в палисаднике. Пионы и флоксы перетоптаны. Мать хочет идти к участковому. Георгий Иванович запретил ей. "Какой-нибудь забуддыга" – говорит он. "Жрать нечего. Подхарчиться забрался". Мать иного мнения. Она считает, что это сбежавший из лагеря уголовник.

Мне пятнадцать. Учусь в школе. Не слишком успешно. Осенью Георгий Иванович повез меня на свой завод "Вулкан". Ознакомиться с трудом. Чтобы я стал таким же мастером-механиком, как он сам. Но я не люблю станки, терпеть не могу никакую механику. Еду, чтобы не огорчать их, мать и отчима. Георгий Иванович привел к рабочему месту у себя в мастерской: "Это твой верстак. Тиски, штангель, напильники. Для начала выточь эту штуку". Указал, что надо сделать,

и ушел. Я два часа мучился над моей железкой. Я старался. Георгий Иванович недолго разглядывал результат моих слесарных усилий. "Н-да!" крикнул он. "Хлопец ты упорный. Усердие у тебя есть". Почесал свой бритый затылок. "Может, из тебя еще будет какой толк. Работай. Трудись всласть. Ты хлопчик серьезный. Может, что-нибудь получится".

С той поры – десять лет. Я обзавелся семьей, жил в городе. У меня родился сын. Я узнал об этом будучи в плавании, посреди Атлантического океана, по пути на Кубу. В родном доме в поселке я теперь редко бывал. Сестра моя вышла замуж и тоже жила отдельно, с мужем и родившейся дочерью, в Петергофе. Моя мать и отчим одни остались в нашем старом доме. Мать моя писала мне коротенькие письма, не утруждая себя знаками препинания. О новостях, жалобы о своем здоровье. Но самые ее горькие жалобы были о том, что Георгий Иванович пьет напропалую. Каждый день у него бутылка. Пьет насмерть, без тормозов, уже ничего не держит его в жизни. Покатился Георгий Иванович по этим рельсам, как с горы. Сестра также прислала письмо. Подробное. Из этого письма я узнал, что Георгий Иванович очень сдал за последние годы, одряхлел, ходит с трудом. За семьдесят, на пенсии, а всё таскается на свой завод "Вулкан", учит фэзэушников ремеслу. Не увольняют из уважения к старому мастеру, на запойность смотрят сквозь пальцы.

В декабре, также будучи в море, я получил траурную радиограмму. Георгий Иванович скорпостижно скончался. На похороны я не успел. Потом я узнал подробности. Отчим возвращался с работы, шел с поезда. Сильно нагрузился с полочки. Поскользнулся, упал в канаву. Из канавы не выбраться, время позднее, на дороге никого, поселок обезлюдел. Проспал на морозе всю ночь, в старой потресканной кожанке, которую носил уже много лет. К утру протрезвел. Замерзший, кое-как дотащился до дома и слег. Двухстороннее воспаление легких. Горячка, бред. Так, не приходя в сознание, умер. Сгорел за три дня. Моя мать и сестра все эти трое суток были неотлучно при Георгии Ивановиче. Отчим метался в бреду на смертном одре и всё призывал меня, повторяя многократно мое имя. Говорил только о работе, о том, что нам с ним предстоит в этот день сделать, и требовал, чтобы я ему подал тот или другой инструмент.

МАТЬ

Звонок в дверь. Жалею, что не снял. Телефон я уже год как отключил. Какая-то, я ее не знаю. Сестра передает мне привет. Заодно известие; мать в больнице, опухли ноги.

К черту на кулички. А... улица. Переться через весь город. До какого прием? Уже поздно. Завтра...

Лег пораньше. Тревожно, шорохи, гул, где-то льется вода, ругаются, пар выпускают, скрип паркета, каменные командорские шаги у меня над головой. Бухают, забивают сваи, новый дом строят, работают по ночам. Лежал навзничь, с закрытыми глазами, вытянув руки по швам, как солдат. Трясет, колотит, отбойный молоток, лязг зубов. Откуда эта тревога? Она изнутри растет, корень ее глубоко-глубоко, не вырвать, вот беда...

Наскоро выхлебав чай – за порог. По дороге спохватился – с пустыми руками. Купил апельсинов. Мать любит. Бульдозер, оранжевые жилеты роют траншею, это они ремонтируют, авария, лопнула труба. Запах сырой земли лезет в ноздри, и я, преследуемый этим угрюмым запахом, бегу от него туда, где толпа топчется – поскорее нырнуть в метро.

А... улица, душный июльский день, облака, гроза назревает, горы угля, погрузчик, пыль, чад, гаражи, палящее солнце, язык до Киева... Районная, она и есть – больница. Понятно без очков. Забор в бурьяне, ворота нараспашку, на дворе скучают два автоматчика в касках. Асфальтовая дорожка с цветочными клумбами по бокам ведет туда, куда надо. Тут вход.

В палате полумрак. Клен завесил окно зелеными лапами. Четыре койки, старухи-колоды, торчат из-под одеял носы и седые космы. Мать сидит на краю кровати, спустив ноги. Узнав меня, машет обеими руками, в глазах радость. Голова по-крестьянски повязана белым, чистым платком, как у баб с граблями – сено убирать. Маленькая, подросток, лицо без морщин. Кровать высока, ноги не достают пола. Ох, и ноги – распухшие, бревноподобные, что с ними такое, что-то вроде водянки. Страшные ноги. Такими не походишь. Стежки-дорожки. "Вот, сынок" говорит мать – "сам видишь. Хорошо, что пришел"...

Больница, духота дня, этот гнетущий зной, гроза никак не разродится... "Иди, иди" гонит мать – "успеешь"... Недалеко ушел от ворот. Ливень грянул, теплый июльский ливень. Потоп. До нитки. Хоть выжимай. Мутные, смывшие грязь потоки по асфальту. Брызнула змейка над домом. Сердитый удар грома. Намокшая девушка бежит по воде босиком, держа в руках туфли.

СЕВРЮГИНЫ

Семью Севрюгиных постигло горе. В сентябре ждали старшего сына Николая в отпуск, а вместо того – траурная телеграмма. На третий день, в пятницу, в полдень летчики-сослуживцы привезли гроб в фургоне. Поселок услышал скорбную весть, и шли весь день до позднего вечера к дому Севрюгиных взглянуть на погибшего и принести свои соболезнования.

Севрюгины жили в старом коммунальном доме, который в поселке называли бараком. Комната на первом этаже, печь и подпол. Семья состояла из четырех человек: отец и мать Севрюгины и два их сына.

Летчики, привезшие тело своего товарища, внесли тяжелый гроб и поставили на два сдвинутых стола посередине комнаты. Летчиков было четыре, в черных военных куртках. Фуражки они сняли. Главный из них, майор, доложил отцу Севрюгину, Михаилу Ивановичу, что прибыли в его распоряжение для похорон и оплатят все расходы. Рассказал как погиб Николай. Севрюгин отец и Севрюгина мать Антонина Степановна выслушали рассказ, сохраняя молчание, не нарушив его ни единым восклицанием. Оба, и тот, и та, фронтовики, он – разведчик, она снайпер, на войне и познакомились. Младший сын, Владимир, был тут же; он угрюмо взирал на рассказчика-майора. Он тоже собирался стать военным летчиком, ему оставался год учиться в школе. Майор рассказал следующее:

Нет, не авиакатастрофа. Николай погиб не в небе, а на нашей грешной земле, нелепым образом. Пировали в ресторане по случаю дня рождения. Сильно уже все нарезались. А рядом – молодцы, тоже под градусом, не понравилось наше шумное поведение. Слово за слово, разговор горячий. Ну, и за горло брать, угрожают переломать ребра. А мы – летчики или кто? Вошли в штопор. Один из них оказался при оружии. Без предупреждения – в Николая, выстрелом в висок. Напавал. Такие вот дела. А тот – что. Как с гуся. Ни суда, ни следствия. У него право – стрелять без предупреждения. Его фамилия – Кардунов.

Рассказ летчика, казалось, произвел на всех троих Севрюгиных одинаковое действие: окаменил и без того застылые и тяжелые их

лица. Если они о чем-то думали в эту минуту и что-нибудь решили, то думали они одно, и каждый принял одно и то же решение. Суровый Севрюгин отец, одетый в свой сильно поношенный, старомодный черный костюм, единственный в его гардеробе, только одно слово молвил, в заключение, подведя черту:

– Отлетался.

Антонина Степановна взглянула на супруга испытующе. Это была крупная женщина. Михаил Иванович – худощав, горбонос, серо-стальные глаза, что-то соколиное. Старший сын Николай был похож на отца. Младший, Владимир – в мать. В поселке его боялись из-за его силы и сбивающего с ног боксерского удара. Теперь младший стоял у гроба, где лежал старший со скрещенными на груди руками. Николай покоился в гробу, облаченный в форму военного летчика. Лицо желтоватого цвета, щеки густо заросли щетиной. Правый висок заклеен куском белого пластыря, который грубо выделялся, как заплатка. Нос заострился. Во всем облике умершего выражалась мужественность. Владимир долго так стоял и смотрел в лицо брата, как будто выпытывал у него ответ на свой вопрос. Губы его беззвучно шевелились. В раскрытое окно глядел ясный сентябрьский день. Солнце зажгло металлический угол гроба.

– Что ты там бормочешь? – сурово спросил отец, подойдя к гробу.

– Спрашиваю, как до этого гада добраться, что ему башку продырявил, – ответил младший сын.

– Ну и как, сказал он тебе? – опять спросил отец.

– Сказал, – утвердительно кивнул сын, – Все, все сказал.

Летчиков разместили у соседей. Владимир, заметив отсутствие отца, пошел искать его. У крыльца курили два летчика. Ночь темная, как мешок наброшен. Дом не спит, горят окна, Турникет на дворе. Подтянулся пятнадцать раз. Тяжелый вес. Старший брат подтягивался вдвое больше. Крутился колесом, летал как перышко. Гимнастические упражнения. Отполирована до зеркального блеска ладонями брата железная перекладина- лом.

Отца он нашел в сарае. Тот, сидя на корточках, что-то рассматривал у себя в руках. Керосиновая лампа на земляном полу тускло освещала помещение. Трофейный "вальтер", припрятанный на черный день, в тайнике под поленицей.

– Можешь не смотреть, – сказал сын. – В рабочем состоянии. Разбирал до последней пружинки и ружейным маслом смазал.

Михаил Иванович как не слышал. Продолжал рассматривать оружие, не желая замечать сына.

– Вдвоем верней у нас получится, – сказал сын громче. – Есть винтовочный обрез и две лимонки.

Михаил Иванович покосился на сына, изрек с язвительной насмешкой:

– Целый арсенал! А пулемета у тебя нет случаем, вояка? Пулемет бы не помешал.

– Пулемет долго доставать, – серьезно возразил сын. – Обрез да две лимонки, говорю тебе!

– После похорон решим, – пряча пистолет в карман пиджака, сказал отец. Поднял с земли керосиновую лампу и встал, собираясь уходить. – Рот на замке держи! Матери знать не надо! Понял?

Дверь сарая рванули с сердитой силой. Из мрака выступила фигура матери. Антонине Степановне объяснений не требовалось.

– Все пойдем! Все трое! – объявила она голосом, не терпящим возражений. – Я – снайпер. Одних я вас не пущу! Герои! Без меня решили!

– А из чего стрелять будешь, ты, снайперка? – хмуро спросил Михаил Иванович. – Из пальца? Где оптический прицел твой, приклад в зарубках? Или, может, поленом вооружишься? Метлой с кочергой? Дура-баба!

Эту ночь они провели в скорбном бдении у гроба. Окно оставили открытым. В комнату врывался ветер. Свеча в руках мертвеца горела неугасимо. Трое бодрствующих за всю ночь не встали с табуретов. Безмолвны. Как изваяния. Губы сжаты. Взор устремлен в одну точку. Язычок пламени, душа Николая, здесь, с ними, в родном доме, среди родных...

На другой день, в воскресенье, к дому Севрюгиных собрался весь поселок. Хоронили на старом лесном кладбище. Через поля, по пыльной дороге, верст пять. Там, на холме, заросшем лесом, под столетними соснами и находилось кладбище, а по-старому – могильник, где поселок хоронил своих мертвецов. День пасмурный, ветреный, шествие медленное, вихрь крутится по песчаной дороге змеями, прах летит с полей, порошит глаза. Траурная музыка, унылый звон литавр. Воронье взвивалось с карканьем. Гроб спереди несли Севрюгины отец и сын, сзади – два летчика. Катафалк позади. Встречались пасущиеся стада коров, пастухи обнажали головы.

Вступили в лес. Достигли могильного холма. На вершине, под соснами, кресты. Яма готова. Чистый песок. Лучшего места для погребения не найти. Опустили гроб в яму. Горсть на крышку, подходили и бросали, один за другим, все, кто пришел проститься. Засыпав, помянули. Земля пухом. Речей не произносили. Черная хвоя качается на ветру, черные платки, плач. Мужчины молчали. Антонина Степановна стояла у могилы. Глаза сухие...

После похорон, в понедельник, отец и мать Севрюгины взяли отпуск на механическом заводе. Михаил Иванович работал токарем, Антонина Степановна – кладовщицей. Владимира директор школы освободил от занятий по семейным обстоятельствам на необходимый срок.

Собрались ехать в тот город, где служил Николай. Кроме "вальтера" – винтовочный обрез, браунинг и две лимонки. Все это оружие Владимир принес в тот же день, не объясняя, где он его взял. Распределили таким образом: браунинг и лимонки – Антонине Степановне. Обрез – Владимиру. Чтобы не было заметно, младший сын облачился в отцовскую, выдававшую виды, плащпалатку. Под ней и пушку спрятать можно. Михаил Иванович дополнил свое вооружение: заткнул за ремень остро отточенный кинжал в ножнах. Этот кинжал он сам сделал из немецкого штыка с широким лезвием. Кинжалом он пользовался для закалывания свиней, которых держали сообща с соседями, коммунально, всем домом.

Путь до того города занял времени больше суток. Прибыли после полудня. Город незнакомый, никогда они тут не были. Окружен сопками. Казарменные коробки домов, грязные тротуары, хмурые, прямые улицы. Свинцовые тучи и, непонятно откуда дующий, как будто со всех четырех сторон, пронзительный сырой ветер. Нерадостное место, где назначено было служить Николаю. С чего начать розыски? Дальние родственники, с котомками за плечами. Окошко, справки дают. Кардунов нужен. Домашний адрес и контора его. Других Кардуновых в городе нет. Сведения точные получены, могут не сомневаться. Так. Что дальше? Посовещались и решили: отец отправится в эту контору и разведает. Мать пойдет ночлег искать. Надежда, что за день управятся, невелика. А сын тем временем проверит адрес. Встретятся в семь на вокзале у расписания поездов.

Михаил Иванович без труда нашел контору. Здание выделялось среди прочих и стояла отдельно. Окна в решетках, как тюрьма. У входа часовая.

– Куда прешь! – злобным окриком остановил часовой. – Застрелю как собаку!

Михаила Ивановича эта угроза ничуть не утратила.

– К Кардунову. Срочное дело, – изрек он спокойным голосом, как бы с сожалением глядя на свирепого часового. – Касается его лично. Так и доложи.

Страж, загородивший вход, подозрительным взглядом окинул посетителя.

– Ты что, старик, из тундры пришел? Кардунов в кабинете не сидит. Ищи-свищи его. На... ему на твои срочные дела. Вали отсюда, пока цел!

Михаил Иванович пошел прочь. Ясно: здесь к Кардунову не подступиться.

Владимир тем временем искал дом по адресу, где обитает Кардунов. В плащпалатке, пилотке и кирзовых сапогах, точно солдат, шагал он по тротуару, смотря номера домов. Оказалось, в глубине застройки, через пустырь. Дом пятиэтажный, новый. Перед домом, на пустыре, футбольное поле: подростки гоняют мяч, похожий на ком грязи. Найдя нужную парадную, вошел в дом. Поднялся на верхний, пятый этаж. Встал перед дверью, где жил Кардунов. Долго взирал на закрытую дверь, как будто хотел продырявить ее глазами. Если бы теперь тот гад вышел, тут бы его и порешил. Приложив ухо к двери, внимательно слушал. Ни звука, ни шевеленья. Нет дома. Тут ждать? В засаде? Хороша засада! На виду. Жильцы, лестница. Нет, тут негде. А жаль. Один на один. И баста! Может, притаился?.. Владимир опять приложил ухо к двери и прислушался. Ничего он не услышал, что говорило бы ему о присутствии там человека. Еще час стоял на страже, оставаясь в неуверенности, как быть. Потом, придерживая обрез под плащпалаткой, спустился обратно вниз и, незамеченный, покинул дом. Подростки на пустыре все еще гоняли мяч.

Антонина Степановна отыскала гостиницу. Не то, что номер – яблоку негде упасть. Артисты на гастролях. Песни и пляски. Вечером в городском театре концерт. Попыталась снять комнату. На порог не пускают, как будто им предлагают арестанта укрыть. Ну, хоть кружку воды дайте. И воды не дают, захлопывают перед носом дверь. Нет, жилье не найти в этом городе. Гостеприимство тут не в почете. Повернула обратно. Брела по одной из привокзальных улиц. Грязные,

краснокирпичные строения вроде складов. На углу пятиэтажный дом, пустые глазницы окон. Нежилой, подлежит капремонту. Подворотня, двор-колодец. Со двора черный ход. Тяжело поднялась по лестнице. С этажа на этаж. Двери не поддаются. Только на верхнем, пятом этаже нашла незапертую квартиру. Три комнаты, коридор, кухня. Все тут перевернуто вверх дном, как после погрома. Шкафы и столы повалены, посуда разбита, обои содраны. Книги и фотографии разбросаны по полу и попораны подкованными каблуками сапог. Пристанище. Ночь-две. Лучше, чем на вокзальных лавках.

Встретились в семь, как назначено, у расписания поездов. Ни один из них не опоздал ни на минуту. Каждый рассказал о результатах своего розыска. Посоветались. Приняли единодушное решение: брать в логове. У дома подстеречь. Наскоро перекусив в буфете, отправились к месту.

На месте были уже поздно вечером. В доме горели окна. То, на пятом, темно. Не явился еще. Надо подождать. Впустить в дом, а утром, когда выйдет, встретить? Или сразу, когда к дому подойдет? Решили – сразу, тут у дома. Нашли скамейку. Наблюдательный пункт. Круговой обзор. Не упустят, нет. Один смотрит туда, другой – туда, третий – туда. Сидели плечом к плечу, храня молчание, зорко вглядываясь в темноту наступившей ночи. Переулок, пустырь, шоссе. Безлюдно. На пустыре уже не играли в футбол. Окна гасли, дом засыпал. Пешком не ходит. На машине... В терпеливом ожидании прошло три часа. Какой-то пьянчуга, ночной бродяга привязался к ним, спросил позволения сесть с ними рядышком, если не помешает, покалякать по душам о житье-бытье. Потому что душа болеет, а поговорить человеку не с кем. К кому ни подойдешь – волком смотрят. А он не кто-нибудь, а капитан первого ранга, гордость и краса флота! Его каждая корабельная крыса знает! Да, да! Пусть не думают, что заливает. По правде и справедливости – ему положено адмиралом быть. А что он теперь? Выброшен за борт, как ненужная ветошка! Без дома, без семьи, живет на помойках. Он, герой отечественной войны! Не верите, Фомы неверующие! Звездочку покажу! Нет, не покажу! Пропил, пропил золотую звездочку! За стакан водки. Дайте, братцы, на опохмел, ссудите, сколько можете, завтра опохмелиться будет нечем...

Просьбу дурно пахнущего героя-моряка удовлетворили, и он,

оставив их в покое, удалился. В доме уж не горело ни одного окна. Они сидели и молчали всю ночь, ждали. Какая-то шпана, человек десять, попробовала задраться. Это их скамейка и просят слинять. Но Севрюгины и пошевелиться не подумали, как сидели, так и сидели, точно каменные. То ли глухонемые, то ли сумасшедшие. Этих троих лучше не трогать.

Так они просидели на своем посту, тесно, как одно целое, сурово-молчаливые, всю ночь напролет, до рассвета, и сидели еще и утро, и до середины дня, когда уже пустырь оживился, раздались голоса, дети играли в войну, бегая с палками вместо винтовок. Тот, кого терпеливо, упорно ждали, не появился.

Ждали шесть суток: шесть дней и шесть ночей. Этот пустырь и этот переулок они знали уже как свои пять пальцев. Сторожить втроем не могли. Установили дежурство. Двое на скамейке, третий отсыпается в подвале дома. Там они нашли приют посреди труб и ящиков. Никто их не тревожил. Оконце подвала в двадцати шагах от их поста. Громкий свист разбудит и мертвого. На седьмую ночь наконец дождались того, кого ждали.

В эту ночь на скамейке дежурили отец и сын, а мать оставалась в подвале. Ночь ненастная, моросил дождь. Отец и сын сидели тесно, плечом к плечу, прикрытые плащпалаткой. К середине ночи оба начали клевать носом и, задремав, едва не проворонили своего врага. Темная машина бесшумно, как сова, прошелестела мимо них. Остановилась у дома. Первым очнулся отец. Нюхом почуял: Кардунов. Толкнув сына локтем в бок, достал "вальтер". Дверца кабины распахнулась, показался здоровенный детина. Матерый кабан. В машине еще двое. Кто из них Кардунов?.. Думать некогда. Михаил Иванович, не дожидаясь, когда детина вылезет, пустил ему пулю в лоб. Но промахнулся первым выстрелом, свалил вторым. А в него из машины открыли ответный огонь. Смертельно раненый Михаил Иванович уткнулся лицом в сырой песок.

– Батя, подожди умирать! Одну только минуточку! – крикнул ему сын.

Одним прыжком достигнув машины, Владимир жажнул из обрез в упор в наведшего на него пистолет человека, про которого он решил, что это и есть Кардунов. Тут же повернув обрез на того, кто остался, он почувствовал удар в живот. Обрез опустил. Владимир сел на

землю, облизывая губы и пытаясь опять навести обрез. Теперь он решил, что Кардунов – этот третий. И тут он увидел мать. Антонина Степановна стояла в пяти шагах от машины с двумя лимонками в обеих руках. В траурном балахоне до пят, без платка, растрепанная, в ореоле седых волос. Колебалась ли она, мелькнула ли в ее голове мысль, что от взрыва вместе с врагом погибнет и сын, дрогнула ли ее решимость... Но сын крикнул ей, вложив в голос всю свою силу и грозную требовательность: "Бросай!"

И сразу, вслед за криком, прогремел взрыв, и второй. Искореженная машина пылала, живых в ней не было. Дом пробудился, зажигались окна. К месту происшествия спешил патрульный газик.

Антонина Степановна стояла на том же месте, неповрежденная взрывом, и невозмутимо созерцала горящую машину. В кармане ее балахона еще болтался непонадобившийся ей браунинг. Зачем эта побрякушка! Отбросила ненужное оружие от себя в сторону.

– Дура! Отойди! Бензобак взорвется! – крикнули ей.

Но мать не пошевелинулась, как глухая. В оцепенении, точно контуженая, утратив способность понимать смысл слов, продолжала смотреть на пламя.

ШТУРМАН СУМОВ

Вечером командир корабля и офицеры были приглашены на борт шведского крейсера. На банкет. Крейсер стоял рядом у пирса, в десяти ярдах. Все свободные от вахты офицеры, надев парадные мундиры, при кортиках, чисто выбритые, во главе с командиром отправились к назначенному часу на борт "шведа". Пошел и штурман Сумов. Мрачный, замкнутый, шел отдельно от всех. На эсминце Сумова не любили и дружбы у него ни с кем не было. Матросы дали ему прозвище Осьминог.

Шведские моряки постарались. Устроили пир. В кают-компании за столом по одну сторону хозяева, напротив – гости. Щедрое угощение. Выпивки – море. Славные ребята, эти шведы!

Первый тост провозгласил командир шведского крейсера. Коверкая русские слова, он предложил поднять бокалы за гостей и их великую державу. С ответным тостом встал командир эсминца, старый моряк, капитан первого ранга. Он призвал выпить за хозяев и за добрый, трудолюбивый шведский народ. Офицеры эсминца поддержали своего командира и закричали ура! С обеих сторон стола единодушно осушили бокалы. Штурман Сумов сидел с краю, у двери. Он хмуро приподнимал свой бокал, когда провозглашали тост – то за дружбу народов, то за мир во всем мире, не участвуя в общем шуме и обмене чувств. Но когда он изрядно выпил, как и все за столом, с ним что-то произошло, что-то в нем, казалось бы, развязалось, что было туго, намертво завязано много лет. Он посмотрел на шведа, сидящего напротив него. Швед улыбался. Добродушный парень. Сумов заговорил с ним на английском языке: "Хорошо ли живет в Швеции?". "О, да" В Швеции жить очень хорошо!" – отвечал швед, сияя в улыбке до ушей. "А у нас, друг, жизнь дерьмо", – понизив голос, чтоб не услышали свои, сказал Сумов. "Тюрьма" показал он, наложив растопыренные пальцы. Зашептал шведу: "Помоги, дружище! Спрячь меня где-нибудь тут у вас на вашей посудине. Понимаешь?" Швед перестал улыбаться, отрицательно покачал головой. У них на крейсере нельзя спрятаться. Нет, нет. Нехорошая шутка. "Черт с тобой!" – мрачно махнул рукой Сумов. "Не хочешь, как хочешь. Все вы шведы трусы. Под Полтавой наш Петр крепко поколотил вашего Карла!" Сумов замолчал. Пил бокал за бокалом. Пировали за полночь.

Хлопали по плечу, обнимались. Командир эсминца встал. Пора и честь знать. Дал приказ своим офицерам отчаливать. Тут произошло событие, которое испортило праздник. Сумов вдруг вскочил из-за стола и разразился диким воплем:

– Прошу политического убежища!

Все замерли. А Сумов продолжал кричать. Первым очнулся от оцепенения командир эсминца. Он приказал отвести сбесившегося. Допился до чертиков. Завтра разберемся. Но Сумов не дал к себе приблизиться. Схватил со стола пустую бутылку и, размахивая как гранатой, освободил путь. Выбежал из кают-компаний. Офицеры ринулись за ним. Но штурман исчез. Спрятался где-нибудь на палубе. Все вместе, и шведские, и русские моряки искали Сумова. Обшарили весь крейсер. Как в воду канул. А, может, и в самом деле, за борт сиганул? Посветили фонарем. Черная вода. Тишь-гладь. Поиски продолжались больше часа. Тщетно. Командир эсминца упорствовал. Он не мог оставить штурмана на борту шведского корабля. Об этом не могло быть и речи. Беглец должен быть пойман. Нашли в матросском кубрике. Скорчился на койке, натянув до носа шерстяное одеяло; глаза сверкают, как у загнанной крысы. Отбивался, визжал, кусал за пальцы. С ним едва справились десять дюжих моряков. Связали по рукам и ногам и потащили на эсминец. Сумов не успокаивался. Вопли и проклятия неслись с шведского крейсера, слышимые на милю. Ему заткнули рот кляпом. Штурман извивался в руках несущих, как гусеница. При спуске на пирс он яростно задержался, чуть было не вырвался из рук и не упал с трапа. Один из офицеров оглушил его ударом кулака в ухо. Штурман затих. Доставили на эсминец. По приказу командира заперли в каюте, оставив связанным. Поставили стражу: один матрос при Сумове в каюте, другой в коридоре у двери. Убрали все режущее, также зеркало.

На другой день, пробудясь, Сумов обнаружил себя связанным по рукам и ногам. К тому же, для надежности, его еще и прикрутили линьком к койке. Вспомнил, что с ним произошло. Тоскливо. На табурете дремлет матрос. Потребовал освободить от пут. Матрос усмехнулся. И пальцем не пошевелинул. В глазах ненависть.

– А, проснулся! Ничего, Осьминог, потерпишь! Приказ командира – держать тебя связанным. А то щупальца свои распустишь. В дурдоме тебе место уже забито, там и будешь права качать. И политическое убежище тебе там дадут на всю оставшуюся жизнь.

– Позови командира! – в ярости закричал Сумов, пытаюсь

вырваться из пут. Но не мог. Только голова бешено билась о подушку. – Сейчас же позови сюда командира! Ты, ублюдок! Не смеешь так обращаться с офицером!

– Ха-ха! Офицер! – язвительно засмеялся матрос. – Чудище ты морское, а не офицер! Предатель родины! Сбежать к шведам хотел, подлюга! – матрос угрожающе встал с табурета. – Будешь орать, я тебя, офицера сраного, этими вот собственными руками удавлю! Можешь быть уверен! – матрос растопырил пятерни с толстыми пальцами. – Командир приказал в случае крайней необходимости, при попытке к бегству или еще чего, сделать из тебя покойника. Чтoб всем спокойней было. Понял?

Штурман не утихал, продолжая колотиться затылком о подушку.

– Развяжи, тварь! По нужде надо! Пузырь разрывается!

– Дуй в койку! – изрек матрос. – Я тоже отолью, чтoб в гальюн не ходить, прямо тебе на морду. – И матрос приблизился, расстегивая ширинку.

Раздался громкий стук в дверь:

– Рогов! Открывай! – закричал другой матрос. – Командир с замполитом и доктором прут! По трапу спускаются!

Матрос Рогов отошел от штурмана. Открыл дверь.

Вскоре в каюту вступили трое: командир эсминца, замполит и судовой врач с медицинским чемоданчиком в руке.

Сумов перестал биться. Обратился к командиру корабля:

– Товарищ капитан первого ранга! Прикажите развязать. Мне нужно в гальюн. Не могу же я под себя мочиться. И еще: запретите этому зверю издеваться надо мной!

Командир, хмурo посмотрев на стоявшего перед ним навытяжку матроса, отдал приказ:

– Развязать и свести в гальюн! Да одного не оставлять ни на миг! Ведите вдвоем и держите крепко за руки. Вы мне за него головой отвечаете!

Штурмана развязали, тело не слушалось, он упал, матросы подхватили его под мышки. Как парализованного, поволокли по коридору в гальюн.

Приведя обратно, усадили на койку, крепко держали с двух сторон за руки. Командир, пытливо посмотрев в глаза Сумову, начал допрос:

– Ну, как штурман? Помнишь вчерашнее? Чтo ты вытворял у шведов? Или память отшибло?

– Помню все, – угрюмо ответил Сумов.

– И как это расценивать? – вмешался замполит, грузный капитан второго ранга. – Объясни нам. Сбежать хотел? Спрятался, просил политического убежища. Так ведь? Отвечай! Мы, Сумов, требуем объяснений! Ну, не мямли! Говори!

– Мне нехорошо, – тихим голосом произнес штурман. – Что-то с головой. Шум, гром. Такой гром, что череп раскалывается. Мне б отдохнуть...

– Позвольте, – вступил в разговор доктор: – У Сумова не все в порядке. То есть – с психикой. Он проходил лечение в госпитале после дальнего плавания.

– Интересные сведения! – воскликнул, грозно взирая на доктора, командир. – У меня на эсминце сумасшедшие! Штурман! Да как его в рейс пустили! Почему не было мне доложено! Ты-то, медицина, куда смотрел? Ясно, куда! В банку со спиртом! А ты что скажешь, замполит? Проморгал! А? Ваньку валяете! Идиоты у меня на корабле! Бардак! Не боевой эсминец, а плавучий сумасшедший дом! – командир бушевал, голос его гремел гневом.

– Ну, вот что! – изрек он решительно. – Все ясно. Это, конечно, самый настоящий сумасшедший. Только сумасшедший может так себя вести, как вел себя вчера этот пьяный идиот. Держать под стражей, не спуская глаз! Приказ командующего флотом срочно выходить в море и доставить этого безумца на родину. Доктор! Сделайте ему укол. Да посильней дозу, чтоб спал весь путь. Да связать его опять и покрепче прикрутить к койке! Береженого бог бережет!

Командир и замполит ушли. Матросы опять связали штурмана. Он не сопротивлялся. Доктор раскрыл свой чемоданчик, сделал укол, удалился. Два матроса-стража остались на своих прежних постах: один в каюте, другой в коридоре. Каюту приказано было держать закрытой на ключ. Один ключ находился у внутреннего стража, второй – у наружного. Матросы несли вахту у штурмана по четыре часа. Здоровяки, выбранные из команды. Сумов через десять минут после укола почувствовал сонливость. Он провалился в глубокий сон и уже ничего не слышал, точно мертвый. Не слышал он, как эсминец снимался с якоря, как отдавали швартовы, как корабль отошел от пирса, как, выйдя на рейд, закачался на крупной морской ряби, повернулся носом на восток и полным ходом пошел к родным берегам.

Сумов очнулся от тяжелого сна. Вечер. Сильно качало. С койки ему был виден иллюминатор и темное штормовое море. "Проливы

прошли" подумал он. – "Гребем по Балтике". Тот же матрос по фамилии Рогов сидит на табурете у противоположной переборки и с злобой взирает на него.

– Проснулся! – матрос грязно выругался и сплюнул на пол. – Может, расскажешь, что снилось? Мне так, например, каждую ночь один и тот же сон снится: будто бы я утонул, лежу на дне, а вокруг меня гады какие-то доисторические плавают, вроде черепах, в чешуе, скользкие, и жала у них ядовитые со всех сторон. Такая мерзость! И в морду мне лезут. Хочу отпихнуть, а никак, рук не поднять, не пошевелиться, потому что – утопленник ведь. Просыпаюсь весь в поту, реву, как сирена. И вот уже третий год, как служу на флоте, жуть эта снится, что ни ночь. Измучился. Рехнусь, в мать-тельняшку! И до дембиля не дожить. А ты уже свинтился с гаек, а, штурман! – матрос захохотал, показывая полный рот белых зубов. – Прямым ходом в дурдом! Тебя уж там ждут не дождутся.

– Кончай травить! – прервал Сумов. – Давай покурим. В кителе пачка "примы". В шкафу на вешалке.

Матрос вяло встал, всем видом показывая, что делает штурману великое одолжение. Нашел, где указано. Сунул сигарету в губы Сумову. Достал свой коробок спичек из кармашка робы с боевым номером у себя на груди. Чиркнул и поднес спичку к небритой щеке штурмана. Запахло паленым.

– Урод! Что делаешь! – закричал, дергаясь головой с зажатой в зубах сигаретой, Сумов.

– Ах, ах, неженка! Дама с камелиями! – дразнил матрос. – Чего дергаешься, как червяк на крючке? Подумаешь, поджарил маленько. – Матрос поднес пламя догорающей спички к сигарете. – Тебя ж брить пора, зарос, как еж. Может, парикмахера позвать, а, штурман? А то, давай огоньком побреем твою тундру. Чисто побрею, не бойся. Полный коробок, на всю харю хватит. Немножечко кожица подгорит. Да ничего, ты же все равно рехнутый, чего тебе!

В дверь каюты громко забарабанили, раздался веселый голос другого стража:

– Рогов! Открывай! Жратву принес! Тебе и дурику!

– Эй, Баландин, слышь, сам открывай! – крикнул товарищу Рогов. – У меня руки заняты. – Рогов опять расселся на табурете. Закинув ногу на ногу, закурил сигарету, взятую из пачки штурмана. Пускал в потолок кольца дыма.

Связанный Сумов тоже сделал несколько затяжек. Пепел сыпался, обжигал губы.

Матрос Баландин своим ключом отпер дверь. Вошел, криво улыбаясь широким, как у лягушки, ртом. Поставил на стол поднос с ужином, две порции.

– Я-то уже наполнил трюм, – погладил он себя по брюшку. – А осьминога как кормить будем? А? Рогов? С ложечки, как младенца?

– Вот еще! Кормить его! – возразил Рогов, любуясь пущенным из рта кольцом. От пищи кровь к голове прильет, его сумасшедший мозг еще чумней станет, совсем повредится. Начнет буяннить – не то, что линек, якорную цепь порвет вдребезги. Буйнопомешанный ведь. А если брюхо будет пустое, так и уму легче. Может, прояснее у него в башке. Пишут же, что голодом даже неизлечимые болезни вылечивают. Да он и сам не хочет. Он голодовку объявил в мою пользу. Так ведь, а, слышь, штурман? Что ты там мычишь, курильщик шибанутый? Всю рожу пеплом засыпал, как Везувий! Эх, ты, последний день Помпеи!

Матрос Рогов, придвинув к себе поднос, начал с жадностью поглощать пищу, громко чавкая. Насытись и выпив два стакана киселя, смачно рыгнул. Скатывал из недоеденного хлеба шарики и швырял ими в лежащего штурмана.

– Ой, умора! – давился смехом его смешливый товарищ, матрос Баландин и бил себя руками по толстым ляжкам. – Нет, Рогов, так нельзя! – объявил он, перестав веселиться. – Дай ему хоть корочку, а то он у нас к утру сдохнет. С нас же спросят.

– Да что ты, Баланда, пургу гонишь! – возразил Рогов. – Сдохнет – туда и дорога. Начальству только облегчение получится. Еще спасибо скажут. Простых вещей не понимаешь, а еще матрос первой статьи!

Рогов с недопитым стаканом киселя подошел к штурману. Выдернув у него из губ окурок, швырнул ему на грудь и затушил остатками из стакана. Тщательно вытер жирные руки о штанины штурманских брюк.

– Зачем тебе есть-пить, а, осьминог умалишенный? – дразнил он. – Опять в галюн запробишься. Таскай тебя, говнюка, туда-сюда. Еще драпанешь. Ты же мастак стрекача задавать, а, штурман? Что молчишь, как воды в рот набрал? Идиот ты, конечно, законченный, черепок с дыркой, это точно. Политического убежища! Политического убежища! Чего орал? Шведы-то тебя сами и выдали. Умный человек потихоньку бы смылся. Ищи-свищи, друзья-товарищи! – Рогов

свистнул, посмотрел в иллюминатор: море в белых барашках, шторм разыгрывался. Качало сильнее.

Матрос Баландин ушел с подносом.

Рогов достал из-за пазухи колоду карт, вещь, запрещенную на военном корабле.

– Слышь, штурман, давай в дурака! – предложил он. – Чего делать-то, вахта долгая, со скуки сдохнешь. На что играть будем? Придумал: ты выиграешь – я тебе еще сигаретку дам из твоей пачки и в галюн свожу; а я выиграю – за уши тебя отдеру хорошенько. А хочешь – высеку. Десять горяченьких. Кожаным ремешком. Бляхой бить не буду, не бойся, а – кончиком. Порка тебе на пользу пойдет. В воспитательных целях! Да! Тебе ж лапы надо развязать, а то как же ты карты держать будешь? Не в зубах же! – матрос зло рассмеялся. Освободил Сумову руки, сам сел на край койки. Раздал карты на животе Сумова, как на столе.

Сумов взял карты. Он мог бы схватить матроса за горло. В коридоре другой. Такой же бугай... Играли десять партий. Он выиграл.

– Сумасшедшим всегда везет, – проворчал матрос. Обещание свое сдержал: и сигарету дал выкурить и в галюн свел.

Явился доктор – сделать усыпляющий укол. Сумов просил не делать укола, вредно на него действует: голова болит. Доктор неумолим. Он не может не исполнить приказ. Оголив руку штурману, всадил иглу. Сумов опять провалился в глубокий сон, в черную бездну. Он не чувствовал, как бушевала Балтика. Сила шторма возросла. Топотали башмаки по стальной палубе. На эсминце задраили все люки.

Утром Сумова посетил замполит. Увидев узника в том же положении, что и прежде, огорчился:

– Рогов, развяжи, дружок, – повелел он матросу. – Тебя поставили ухаживать за товарищем штурманом, а ты, как я вижу, слишком жестоко с ним обращаешься. Ты же его уморишь. Так мы его и до Кронштадта не довезем. Вон какой бледный и худой. Нельзя, нельзя так, дружок. Он же человек, а не собака. И ты человек, и я человек. Все мы – люди. Гомо сапиенс. У нас гуманность на эсминце. Гуманизм! Понимаешь? – замполит грузно опустился на табурет. Сильно качало. Каюта скрипела и кренилась.

Матрос исполнил приказание: освободил Сумова от пут. Обросший щетиной штурман сидел на койке, растирая руки. Мрачно глядел на замполита.

– Рогов, выйди-ка в коридор! – приказал замполит. – Мне, видишь ли, надо покалякать с глазу на глаз с товарищем штурманом.

Матрос послушно покинул каюту.

– Вот что, дорогуша, Андрей Петрович, – начал замполит, когда они остались одни, – не будем мы это, чины, официальность... Я пришел поговорить с тобой по-доброму, сердечно, так сказать. По душам. Ответь ты мне честно, как моряк моряку: отчего ты хотел сбежать к шведам? Какая тебя муха укусила?

– Швеция свободная страна, – сухо ответил Сумов.

– А у нас, что же, разве не свободная страна? – воскликнул с изумлением замполит. – Как у нас в песне поется: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек".

– В песне оно, может, и так, – саркастически усмехаясь, ответил Сумов. – Только лично мне почему-то в этой вольной стране дышать нечем. Задыхаюсь. Как в душном вагоне, где битком набито народу и все окна закупорены. Хоть бы щелочку – свежего воздуха глотнуть... Может, я один такой выродок, а вся страна повально счастлива, все двести миллионов. Я не знаю. Честно признаюсь: про других я ничего не могу сказать. Я ведь все в себе да в себе, внутри... Ну и, значит, если так, если все счастливы, а я один такой урод, что несчастлив посреди всеобщего счастья, то вы абсолютно правильно сделаете – поместите меня в сумасшедший дом.

– Э, Андрей Петрович! Весь мир – сумасшедший дом и тюрьма, как сказал великий Шекспир, если не ошибаюсь! – горячо возразил замполит. – Нигде ты эту щелочку не найдешь – воздуха глотнуть. Задраено наглухо. У тебя, Андрей Петрович, душа нежная, струнки тонкие, болезненно отзываются на грубость жизни, а служба на военно-морском флоте, известно, не мед, тяжелая служба. Вот струнки и не выдержали, вот и порвались. Душа-то скрипка, а не кирка, не лом-лопата. Сломалась душа! Я-то понимаю, Андрей Петрович, дружок, но на эсминце-то у нас никто ж тебя не понимает, ты у нас на эсминце, Андрей Петрович, белая ворона, и никто тебя не любит, от командира до последнего матроса. Какая уж там любовь! Лицо твое видеть не могут, голос твой слышать не желают! Можно сказать, кипят ненавистью от одного твоего присутствия на корабле. И я просто удивляюсь, как это тебя еще за борт не выбросили во время похода где-нибудь, втихаря, ночью. – Замполит вздохнул. – Вот, ознакомься и подпишись. Эта бумажечка, Андрей Петрович, может тебе помочь в твоей беде.

– Что это? – Сумов взял протянутый ему листок.

– Донесение твое, Андрей Петрович, на мое имя. Я сам составил, по форме, чтоб тебе голову не ломать, – сказал замполит.

– То есть донос, – усмехнулся Сумов. – Надо называть вещи своими именами. У вас тут во всем виноваты командир и доктор, они, злодеи, меня до такого довели, до помешательства и попытки к бегству. А вы тут ни при чем. Душеспаситель. Так что ли?

– Но это же правда и ничего, кроме правды! – воскликнул замполит с пафосом. Все вопиющая правда от первой до последней буквы! Подписывайся! О чем тут думать! Я за тебя словечко замолвлю. Командир и доктор, скрытые враги, в заговоре, давно мне яму копают. А тебя они, Андрей Петрович, бедняжка, утопить хотят! – понизив голос, зашептал замполит.

– Да мне все равно, – угрюмо произнес Сумов. Взял протянутую ему ручку, росчеркнулся.

– Молодец! – весело воскликнул замполит, забирая бумагу. – Умно, умно, Андрей Петрович, дружок! Не унывай. Нельзя, нельзя унывать! Грех! Нельзя, нельзя! Держись орлом! Выгребем! Помогу! Мое слово – утес! – заверил замполит. Зычно позвал матроса. Приказал опять связать Сумова, как прежде, а то командир ненароком заглянет и будет нехорошо. Поспешно покинул каюту.

После ужина опять явился доктор со своим шприцем. Он сообщил, что из-за усиливающегося шторма с берега передан эсминцу приказ идти не в Кронштадт, а в Либаву. Что означает, будем у родных берегов раньше, чем намечено, уже завтра утром, бог даст, на рассвете. Одну ночь потерпеть. Пусть штурман не грустит. Говоря начистоту, доктор не считает штурмана сумасшедшим. Ни на каплю. Штурман полностью в своем уме. Неврастения. Нервишки расшалились. Требуется отдых, лечение. Вот в либавском госпитале и подлечат. Там очень хороший госпиталь, высокопрофессиональные врачи. Глядишь, через полгодика и опять вместе в плавание отправимся. Так утешал штурмана сердобольный доктор, оголяя ему руку и готовясь сделать укол. Но Сумов вдруг отдернул руку и отстранился от иглы всем телом. Он попросил доктора повременить, приспичило по нужде, невтерпеж, до гальюна б, а то он, чего доброго, в штаны наложит. Доктор согласился и отложил свой шприц. Матрос, освободив Сумова от пут, повел в гальюн. Другой матрос-страж дремал, сидя на голом полу в коридоре, упираясь

ногами в переборку. Он также должен был сопровождать узника, но ему не хотелось покидать насиженное место.

– Рогов, веди один! Без меня обойдетесь.

– Дрыхни, тюлень! – разрешил Рогов. – Я этого засранца в очке утоплю. Что я, нянька из детсада! Осточертел до печенок, сволочуга, скорей бы к берегу пристать. Завтра на рассвете будем в Либаве. Слышал?

– Слышал, слышал. Боцман объявил. К шести пригребем. Если сквозь штормягу пробьемся. Прямо-таки ураган. Винт отломится, к такой матери! – матрос-сонливец уронил на грудь бугристую, как булыжник, голову.

Рогов грубо толкнул штурмана в спину:

– Ну, ты! Шевели клешнями! Выродок! Предатель родины!

Сумов покорно двинулся по коридору. Палуба то проваливалась под ногами, то вставала горой и на нее надо было взбираться чуть ли не на карачках. Матрос следовал за ним по пятам.

Достигнув места, Сумов воскликнул:

– Занято! Там кто-то есть!

– Что ты травишь? – не веря штурману, взревел матрос. – Черт морской там! Брат твой осьминог заполз, по тебе стосковался! – Толкнув дверь гальюна, просунул голову.

Этого-то Сумов и ждал. Ударил тяжелой, стальной дверью гальюна матросу в висок. Матрос рухнул. Сумов ринулся к трапу. Люк задрал. Другой матрос, почуяв неладное, уже бежал по коридору.

– Стой, сволота! – завопил он, схватив штурмана за ногу.

Сумов другой ногой ударил матроса каблуком в лицо. Отдраил люк, выскочил на палубу и бросился к борту. Матрос уже опять его преследовал и, настигнув, крепко обхватил сзади. В этот миг гигантская волна, обрушась на эсминец, затопила палубу. Удар волны разъединил борющихся. Сумов глубоко вздохнул всей грудью, как освобожденный за воротами тюрьмы. Он отдался на волю стихии, и его тут же смыло новой волной за борт. Голова его, мелькнув, пропала в бушующем море. Матрос бросился к ходовой рубке, крича:

– Человек за бортом!

САД БАХУСА

Свадебная "чайка" свернула к фонтанам. Выбрались из машины и пошли к Большому каскаду. Жених – рослый блондин, волосы на прямой пробор, красавец скандинавского типа, что-то шведское, что-то норвежское, надменный такой, подбородок поднят. Потомок викингов. Ему бы двуручный меч и шлем с рогами. Бычья шея сдавлена тугим воротничком белой брачной рубашки. На эту шею девушки кучами вешаются. Вот и невеста на нем повисла, она ему по плечо, хрупкое создание, в гипюрах-кружевах, как в морской пене, царевна-лебедь, Леда, Елена Троянская. Лакомый кусочек. Теперь она Корманова. Старший сын Кормановых, Борис, ее избранник. Вечная любовь до гроба. Младший сын, Лёнечка, тут же. Бандит, гроза всего Петергофа. Голова коротко стрижена, улыбочка на губах играет. Идет, покачивая плечами, пружинистой походкой, с грацией молодого тигра.

Остановились всей толпой у Самсона. Шампанское, пробки в небо. Выпили за молодых, кричали "горько", фотографировались. Тут Лёнечка и отмочил номер. Как есть, в костюме и туфлях, полез к фонтану и засунул пустую бутылку из-под шампанского Самсону между ног. Как ничего не бывало – обратно. Оно, конечно, почему бы и не искупаться. Лето, июнь, теплынь, тополиный пух летит. Только гуляющему народу это не понравилось. Раздались возгласы возмущения: безобразие, хулиганство! Вызвали милицию. Скандал страшный. Ленечку посадили в патрульный газик и увезли в отделение. Правда, через час выпустили. Еще бы не выпустить! Мать Корманова, Зинаида Юрьевна – заведующая продуктовым складом! Можно сказать, некоронованная царица Петергофа!

Свадьбу справляли в музыкальной школе. На первом этаже продуктовый склад Зинаиды Юрьевны, а на втором, над складом – музыкальная школа. Так сказать, базис и надстройка, союз материального и духовного, вообще – приятный аккомпанемент. Кормановы не ударили лицом в грязь. На столах – чего только нет! Разве птичьего молока. Все дары земли и моря. Снизу, с богатого хранилища пищи, всё сюда и перетаскали грузчики Зинаиды Юрьевны. Одних только бутылок вина и водки – несчетные ящики. Так и гостей приглашено – чуть ли не половина Петергофа. Тысяча, не тысяча, а за сто будет. И музыка своя, оркестр из учителей школы и лучших учеников. Скрипки, флейты, фаготы, виолончели, контрабасы и два рояля. Не хуже, чем в какой-нибудь там филармонии. Шик, блеск, красота. Свадьба пела и

плясала до рассвета. Весь Петергоф слышал, как Кормановы свадьбу празднуют. И певец там свой был, может, из Оперного театра. Голос – силища! Как будто у него в горле тысяча соловьев! С люстры хрусталь сыпался и стекла на окнах трескались. Кому жарко делалось от плясок и духоты в зале, шли в сад подышать. Белые ночи. Светло. Посреди сада пруд с лилиями. Молодежь разыгралась, друг дружку в пруд сталкивали. Крик, визг, хохот. Ленечка в омовении не участвовал, днем в фонтане уже накупался. Кончилось тем, что невесту, Елену Троянскую, украли. Кинулись искать во главе с женихом. Нет нигде. Сквозь землю провалилась. На жениха, на Бориса, страшно смотреть. Рассвирепел, багровый, зверь зверем. Ой, кровью пахнет! Зарежет и не моргнет!

Невеста нашлась. С Ленечкой, младшим Кормановым, спрятались в гроте на краю сада. Пошутили они. Шутка. Смеются. Но Борису, молодому мужу, не до смеху. Да. Между братьями тогда был крупный разговор. Оба кулаки сжимали. Но ничего. Обошлось. Уладили. Как говорится, любовь и согласие. Мир во всем мире. Гости разъехались, пожелав молодоженам счастливой брачной ночи.

Не выпались молодожены. Зинаида Юрьевна устроила раннюю побудку. Она встает в пять, раньше всех в квартире, и сразу начинается шум. Кашляет, хлопает дверями, льет воду в ванной, грохочет посудой на кухне, не шадя сон ближних. Прежде, чем идти на свою базу, она каждое утро готовит пищу на всю семью, посвящая этому занятию не менее двух часов: жарит, парит, тушит, варит. Питаются тут как на убой. Самые высококачественные и дефицитные продукты. Каждый день парное мясо, свежайшее. Не говоря о курицах: тех на второй день просто выкидывают на помойку вместе с супом, больше дня в холодильнике не держат. Икра не переводится на столе, ни черная, ни красная. Зато дети и выросли такие силачи и красавцы: высокие, розовощекие, кровь с молоком. Оттремев кастрюлями и сковородами, Зинаида Юрьевна вторгается к спящим без стука и предупреждения. Будит зычным криком: "Подъем! Лодыри, лежебоки!" И нецензурной бранью не побрезгует. Не очень-то она церемонится со своими домочадцами. Тут домострой и матриархат. Зинаида Юрьевна всем хозяйством правит. Муж ее, Сергей Сергеевич, бывший летчик-испытатель, герой неба, а теперь завхоз в школе напротив их дома. Он покорно исполняет любые желания своей драгоценной супруги. К концу дня Зинаида Юрьевна звонит ему туда в школу и произносит повелительным голосом: "Сереза, приходи ко мне на базу! Быстрей!" И он идет к жене на базу и тащит оттуда тяжелые сумки с продуктами.

В субботу утром Зинаида Юрьевна встревожилась: Ленечка опять пропал. Вторую неделю не показывается. Отправила на поиски пропавшего младшего сына своего старшего, Бориса. Елену, невестку, тоже – с глаз долой. Пусть вместе ищут. Женский нюх тоньше мужского. Зинаида Юрьевна прозвала свою невестку "французенка", за ее миниатюрность и хрупкость форм. Дала адреса, где этот бандит Ленечка может скрываться. Первым делом – к Любаше. Любаша – продавщица в книжном магазине, тут, в Петергофе. Зинаида Юрьевна прочит Любашу в жены Ленечке. Любаша – культурная, порядочная девушка, способная обуздать порочные наклонности ее сына. Самая подходящая партия. Это Любаша снабжает их классиками мировой литературы в золоченых переплетах. Полное собрание сочинений Диккенса, новехонькое. Для чего и книжный шкаф куплен. Купили сразу по переезде на эту новую квартиру. Все приходящие к Кормановым должны видеть культурность. Ни один из них, из Кормановых, ни разу не прикоснулся к книге. Не важно, Зинаида Юрьевна не забывает каждый день тщательно обтирать пыль с этого монумента культурности. Только ведь, похоже, что она ошибается насчет Любаши. Ленечка относится к Любаше, мягко сказать, несерьезно, он ее называет: "Мой лягушонок из коробочки". У Ленечки девок на каждый день по дюжине: шесть на утро и шесть на вечер. По этой части он и старшего брата за пояс заткнет. Но о старшем – всё! Молчок! Дело прошлое. Боренька наш теперь остепенился. Женатый человек. Такую красотку отхватил! Елену Троянскую!

Любашу нашли за прилавком в ее книжном магазине. Ничего она о Лёне не знает, ведать не ведает. Не помнит, когда последний раз виделись. Ладно. Дальше пошли, по другим адресам. И там нет, и там, и нигде этого обормота нет. У какой-нибудь шлюхи прячется. Бывало, он и на месяц исчезал. Ничего с ним не случится. Явится сам. В ресторане Парковом о Ленечке всегда сведения дадут. Там обоих братьев, как облупленных, знают. Бориса называют "архитектор", потому что он в конструкторском бюро работает, а Ленечку – "пахан". О Ленечкиных "подвигах" в Петергофе легенды ходят.

А Петергоф город красивый. Ах, ах, какой красивый! Любоваться, не налюбоваться. Прогулялись в Нижнем парке. Фонтаны на солнце блещут, серебряная пыль, Мон Плезир. Сад Венеры, сад Бахуса. Счастливые люди петергофцы – в таком прекрасном месте живут!

Да, Петергоф – не город, а сказка. Мало машин, чистые улицы, хороший воздух. Дворцы, пруды, парки. Весь Петергоф в деревьях. А пойдем дальше

по Марлинской аллее вдоль берега, к фонтанам Адама и Евы, поглядим на залив. Куда плывут кораблики? Они, как мотыльки, там, в мареве. И нам бы туда плыть и плыть. А уже вечереет, солнце опускается в залив, как огненно-алый батискаф. Вот погрузилось по макушку, вот и нет его. Только заря разливается, ширясь над горизонтом. Тепло и светло. Белые ночи. Гулять бы до утра. Но – хочешь, не хочешь, а надо возвращаться на Озерковую улицу, в их новостроечный дом. Зинаида Юрьевна мечется по квартире, как львица в клетке. Послала на поиски – так и эти пропали! С утра ушли, а уже полночь.

Дом их на Озерковой улице, кирпичный, пятиэтажный. Прекрасный дом и прекрасно расположен. Перейти через дорогу – и парк. Английский парк. Там тоже хорошо гулять, светлые березовые рощи, пруды. Можно и пикники устраивать. Квартира на втором этаже. Когда ветер с залива, в раскрытые форточки чувствуется морской запах.

Квартира образцовая. О чем гласит табличка над дверью. В квартире идеальная чистота. По воскресеньям Зинаида Юрьевна с утра прогоняет всех своих домочадцев из дома. Одна производит генеральную уборку. В ничьей помощи она не нуждается. Трет, скоблит, моет, драит. Квартира блестит. Ни пятнышка, ни пылинки. Нет, просто поразительно – сколько энергии в этой, казалось бы, уже немолодой и грузной женщине! Это какая-то гидроэлектростанция! Ее энергии хватит на всю семью, до конца жизни, она неисчерпаема. Мать Корманова позволяет своим сыновьям балбесничать и тратить силы исключительно только на удовольствия. Мужа, Сергея Сергеевича, она тоже не очень-то обременяет обязанностями: полочку приколотить, крючок прибить. С нового члена семьи, с невестки, тоже ничего пока не требует по хозяйству. Веник не дает взять в руки. Пусть француженка понежится, побалуется. Какая с нее работяга! Ручки-ножки как спички. Того гляди – переломятся.

А какое тут постельное белье! Какие подушки! Громадные, в атласных наволочках! А мягкие-то! Не иначе как лебяжьим пухом набиты! А простыни, а одеяла! Снег на вершинах гор блекнет перед этой умопомрачительной чистотой! А ковры тут! Ковры везде! В каждой комнате! А еще страшнейшая, во весь коридор, медвежья шкура, да не какого-нибудь там, а – белого медведя шкура! Сергей Сергеевич с Севера привез, охотничий трофей. Еще в коридоре у стены и его роскошные меховые унты находятся. А на крючке – черная кожаная куртка летчика.

Понедельник, как известно, день тяжелый. На работу ранехонько вставать. Недосып зверский. Мать Корманова, как вихрь, ворвалась в

комнату, где эта сладкая парочка дрыхнет. Гром, шторм, ураган, торнадо. Мигом подняла с постели, и Борисика, и его фитюльку. Фитюлька и есть. Тошая, как шпрот. Не откормить. А нос задирает до потолка. От спеси волосы на затылке медной проволокой закрутились. Не расчесать, расчески ломаются. Тоже мне, шило в юбке. Спешка страшная. Завтрак комом. Бежать на автобусную остановку. Втолкнулись. Автобус к вокзалу. От обоих приятно пахнет импортной туалетной водой. Эта гигиеническая роскошь заметно выделяет их из среды трудового народа, набившегося тут сельдями в бочке. Зинаида Юрьевна достает у фарцовщиков в обмен на свои продукты. Приносит и импортную косметику. Им еще ехать на электричке до Балтийского вокзала. Там в метро. Ему до Гостиного Двора. На Думской улице его архитектурное управление и конструкторское бюро. Ей – на Мойку, там ее швейная фабрика имени Володарского, попросту "Володарка". Она там оператором вычислительных машин работает. К окончанию рабочего дня Борис приходит за ней сюда, к фабрике. Когда он идет по набережной, приближаясь к центральному входу, то все девицы в отделе прилипают к окнам – посмотреть на этого красавца.

Есть на что посмотреть. Эффектный мужчина. Похож на одного известного киноактера. Светлые, почти белые волосы, голубые глаза. Высокий, статный. Говорят, дед был швед. Настоящий швед, из Швеции. Еще говорят, что этот дед-швед (родитель Зинаиды Юрьевны) был директором Кузнечного рынка. Борис Корманов – денди. Костюмы ему шьет лучший портной в Ленинграде, доступный только для избранных. Обувь, рубашки, куртки, нательное белье, носки, платки и прочую мелочь достает ему матушка опять же из рук фарцовщиков.

В начале июля Бориса послали в командировку на неделю, в Тихвин. В их КБ обычное дело – эти командировки. Обмерять, делать планировку зданий. А его молодой жене не спится. Жара, духота. Раскрытое окно не дает прохлады. Кровать двухспальная, широкая, как степь. Ворочалась, ворочалась, одеяло на пол сбросила, ничем не прикрытая, в одной сорочке, забылась... Проснулась, что-то не то. Кто-то лежит рядом и лапу на нее положил, как на свою собственность. Борис, муж командировочный, что ли, вернулся? Нет, не. Борис. Другой. Голова стриженная ежиком. Ленечка! Пропавшая душа! Сняла с себя тяжелую руку. А Ленечка приоткрыл ресницы, серо-зеленые, волчьи глаза смеются, на губах дразнящая улыбочка играет. "Прости", говорит, "комнату перепутал".

Ленечка образумился. Зинаида Юрьевна устроила его к себе на базу грузчиком. Каждый день дома ночует, только приходит поздно, когда все

уже спят. Придет и пирует один на кухне. На столе у него всякая всячина заграничная: бренди, виски, импортные банки. Этого и мать Корманова не приносит с базы, это уж его собственная добыча. Двадцать лет ему, условная судимость, в армию не берут. Старший брат, не в пример младшему, отслужил два года., за Уралом, в ракетных войсках. Сержант. На фотографии в семейном альбоме у него такой боевой вид, в гимнастерке и пилотке. Он и в форме как денди выглядит: все на нем опрятно, все подогнано. Третий год, как демобилизовался, а сохраняется армейская привычка: аккуратно, по-солдатски, стопочкой складывает свою одежду на тумбочке в изголовье кровати. Ленечка над ним посмеивается за эту привычку. Пользуясь тем, что тут не принято запирается и на дверях нигде нет задвижек, он входит в комнату к брату и сбрасывает с тумбочки на пол его аккуратно сложенную стопочку. Сердиться на Ленечку невозможно. Ему прощаются все его проказы.

Обаятельный бандит. Зинаида Юрьевна младшего сына любит больше, чем старшего. Она одна не спит в квартире и ждет, когда Ленечка вернется домой, прислушивается: не заскрежетал ли ключ в замке входной двери.

Дурной пример заразителен. Не прошло и двух месяцев со дня свадьбы старшего, как и младший женился. Славную подружку нашел себе Ленечка! Пышная, белокожая, плечи округлые, глаза с поволокой. Ступает важно, полна достоинства. Томная такая, невозмутимая, ни одного резкого движения, все делает плавно, с ленивой грацией. А волосы у нее! Ух, какие! Зависть берет! Тяжелые, густые, с золотым отливом, как сноп пшеницы. Она их на голове короной укладывает. Звать Надежда. А Зинаида Юрьевна за ее царственную величавость прозвала Екатериной Второй. Кончает фармацевтический техникум, место товаровед в центральной петергофской аптеке ей обеспечено. Прекрасная партия для беспутного Ленечки. Мать Корманова довольна. Оба сына женаты на красавицах, каждая в своем роде. Оба при ней. Квартира большая, трехкомнатная. Всем места хватает.

Жить стало веселей. Зинаида Юрьевна невесток не притесняет, ее требования минимальны: не ходили бы охламонками по квартире и постели были б убраны. Не сорить, не пачкать, не оставлять грязной посуды. Молодые пары живут дружно. По вечерам режутся в карты. Редкий день без выпивки. Да и вообще – у Кормановых всегда вино на столе. Сергей Сергеич называет его – квасок. Он по старой военной привычке предпочитает коньячка дерябнуть. Рюмочка за рюмочкой. К концу вечера Сергей Сергеич, глядишь, и нагрузился. Боец молодой поник головой. "Увял" – по выражению Зинаиды Юрьевны. Бывает, и со стула грохнется.

Зинаида Юрьевна зовет сыновей: – "Дети! Отнесите отца на кровать!" Братья берут бесчувственного родителя под мышки, подняв, как перышко, несут в спальню, Им-то хоть ведро выдуй – ни в одном глазу. Их красавицы-жёны, надо заметить, им в этом ничуть не уступают. И Елена "французенка", и Надежда "Екатерина Вторая". Сколько они пили-перепили вместе! Море! Любили ходить вчетвером в ресторан Парковый. Бывали и приключения. Однажды только вошли в зал – неожиданная встреча! Ленечка нос к носу столкнулся со своим заклятым врагом – главарем соперничающей банды. У Ленечки реакция – молния позавидует. Тут же сходу, присев, ударил врага головой в лицо. его излюбленный прием в драке. Для чего и такая короткая стрижка, удар страшный, вместо лица – кровавая каша. Враг Ленечкин рухнул к его ногам. А дружки поверженного главаря уже бегут на помощь. Тут собралась вся их банда. Пришлось спасаться бегством. В саду настигли. Ну, тут все четверо показали себя, на что способны! Братья, встав спиной к спине, лихо отбивали нападение, жены их тоже участвовали в сражении. Елена-французенка подобрала толстую суковатую палку и била ею по головам, как дубиной, а Надежда, она же "Екатерина Вторая", сняв с ноги свой новенький венгерский сапог на каблуке-шпильке, очень удачно заехала этим каблуком, как шилом, одному из бандитов прямо в глаз, в общем как-то отбились. Легко отделались на этот раз.

У Зинаиды Юрьевны глаз зоркий: заметила, что "французенка" в положении. Только мыслей ее прочитать не могла. А мысли у ее невестки невеселые. Открылись ей супружеские измены. Недаром ей перед свадьбой говорили доброжелатели, предупреждали: за кого ты замуж выходишь! Это же бабник, каких свет не видывал! От него все девушки в Петергофе беременны. Весь в отца-летчика. У Сергея Сергеича детей рассеяно по всей стране, от Камчатки до Черного моря. Где служил, там и дети. Вот и Борис в своего батюшку. Так оно все и оказалось. Недавно на автобусной остановке к ней подошла девушка и спросила: "Вы жена Бориса Корманова"? Он подлец! Я от него беременна. Раз он сам не собирается оплатить аборт, оплатите вы!" Такая вот приятная новость.

Зимой в Петергофе не менее красиво, чем летом или осенью. Да когда здесь бывает некрасиво? Только вот фонтаны зимой не увидишь, пруды замерзли, парки в снегу. У Бориса страсть – зимняя рыбалка. В субботу утром снаряжается: ватные штаны, солдатский полушубок, шапка-ушанка, рыбачий ящик, обитый железом, на ремне через плечо, в руке ледоруб – лунки сверлить во льду Финского залива. Ленечка, в отличие от брата, к

рыбалке совершенно равнодушен. Ему забавно лицезреть Бориса во всей этой амуниции. Каждый раз он напутствует старшего брата шутивым пожеланием: "Иди, иди! Может, утонешь, твоя жена моей будет!" Остроумный он, Ленечка. Начнет что-нибудь рассказывать, анекдоты, смешные истории – животики надорвешь. А Елена прекрасная, жена молодая, проводив мужа-рыбака за дверь, думает: "Хоть бы, и правда, утонул. Провалился б в прорубь со своим ледорубом и ящиком".

В понедельник, отпрасясь с работы, как решила, пошла в больницу аборт делать. Тут, в Петергофе. На дворе больницы – свекровь! Зинаида Юрьевна! Мать Корманова собственной персоной. Проницательно оглядела обтянутую в плотном пальтеце фигуру невестки. Грузная, злая, загородила дорогу. Волосатая бородавка на щеке налилась кровью, как клюква.

– Что, потрошить себя пришла, французенка? – спросила свирепо. – Поворачивай! Идем ко мне на базу, поговорим!

Голос властный. Приказ. Невестка покорно – вслед за ней. Свекровь в своей плоской, как тарелка, меховой шапке, в черной шубе с длинным ворсом, похожая на матерую медведицу, ступала тяжело, от ее шага, казалось, трясется и гудит земля. Люди шарахались в сторону. В них ударяла грубая, примитивная сила идущего им навстречу зверя и отбрасывала прочь. Они за десять метров сходили с тротуара, уступая дорогу

Замерзший сад, краснокирпичное здание музыкальной школы. На первом этаже продуктовая база. Сверху доносятся звуки пианино. Привела к себе в кабинет. Поставила на стол коньяк, два стакана. Наполнила по края. И ахнула до дна. Лимончиком закусила.

– Дура, ты, дура, французенка. Ты еще жизнь не жила. Ты вот про мою жизнь послушай, что я повидала на своем веку!

Пустилась мать Корманова в откровенности, рассказала, как она на войне воевала, снайпер была. Батальон бабский, девчоночки девятнадцати лет. Однажды весь день простояли по пояс в ледяной воде. Ничего, не калека, не бездетная, двоих богатырей родила. От этого племенного быка и роту можно б нарожать. Тихий-то он тихий, а зарежет, не моргнет. Однажды приревновал, руку сломал, дьявол. Так что прими к сведению, французенка, поосторожней. А потрошить себя я тебе не дам, ты наше дитя носишь, наше семья, Кормановых, тебе надо родить. Понятно? Спаси поубавь. Борис перебесится. Потерпи, послушай старуху.

Лето, июль. У Кормановых прибавление в семействе: Елена, старшая невестка, родила Зинаиде Юрьевне внучку. Крупная внучка, семь

килограмм с лишком. По ночам плачет, просит питания. Спать не дает. Борису, молодому отцу, не нравится. Трясет свирепо детскую кроватку дочери, изрыгая угрозу: "Заткнись, гаденыш! Убью!" Злой, невыспавшийся, уходит на работу в свое КБ. Все расходятся. Молодая мать с младенцем одна в квартире, занята важным делом: дите грудью кормит. И не заметила, как вошел Ленечка. Откуда он взялся? Прятался у себя в комнате, что ли? Улыбается своей улыбочкой, дьявол соблазнительный. Ноги ей целует. Млеет она от этих поцелуев, оцепенела, рукой не двинуть. Ленечка, змей-искуситель, ему что, поглядывает, смеясь глазами, дразнит ее: "Ну как? Сдаешься? Нет у тебя, пташка, сил сопротивляться? Под гипнозом мы, да?" Все так же улыбаясь, отпустил ее, поднялся с колен, как ничего не бывало, вышел из комнаты. Входная дверь хлопнула. До вечера не появлялся. Что у него на уме? Поведение, прямо сказать, возмутительное. Больше такое не повторится! Нет, нет! Она этого бандита близко к себе не подпустит. Еще не хватало, живя под одной крышей, шашни с шурином заводить! А хорошо, мерзавец! Хорош! Ходит бесшумно, ступает мягко, гибкий, как барс. Вкрадчивый он. Вкрался в сердце. Да не в одно девичье сердце вкрался Ленечка!

Другой день. Опять они одни в квартире. И запереться ей никак, ни задвижки, ни крючка. Не принято тут запираяться. Прислушивается: вот-вот Ленечка войдет к ней в спальню. Сердце колотится: бум-бум-бум. И кажется, что это шаги Ленечки приближаются. Нет, тихо. Час прошел, два. Не слышно его. Что он там делает? Может, под дверью стоит? Или ушел из дома незаметно? Набравшись храбрости, пошла проверить. Дверь в ванную приоткрыта, видит, Ленечка занят каким-то занятием. Сидит на краю ванны, опустил ногу с закатанной штаниной, в руке нож. И ножом этим ногу себе режет, кровь течет по щиколотке. Вот ужас! "Что ты делаешь?" – кричит ему. "Да ничего" – невозмутимо отвечает Ленечка. – "Кровь пускаю. Лишняя, на башку давит. Тяжело".

Ольгин пруд, место гуляний. Сюда она ходит каждый день, катя перед собой детскую коляску. Напротив пруда, на той стороне улицы двухэтажный каменный дом, желтенький, старой постройки. Как-то раз видела там Ленечку в окне второго этажа. Мелькнула его стриженная голова. Или приснилось? День чудесный. Поставила коляску в тени под ивой. Столетнее дерево-великан свесило ветви в воду, листья серебрятся, как рыбки. Тот дом отсюда хорошо виден, окно на втором этаже раскрылось и как будто чья-то рука ей машет. Ну, конечно, это он, Ленечка. Вот уже он около нее. Смешит ее, рассказывая забавную историю. У них там притон, в этом доме, В карты режутся. Да не на деньги, а на девок. И Борисик,

муженек ее, там частенько бывает. Как раз вчера на нее, на Елену, играли, Борис проиграл, так что теперь она его, Ленечкина. А Надежду куда денем? Надежда перейдет к Борису. Ясно. Остается только кольцами поменаться. Шутит он, конечно, шутит. Весело им. Такой прекрасный летний день, Да. Вдоволь, от всей душеньки можно посмеяться над его остроумной шуткой.

Декретный отпуск кончился, вышла на работу. Вовремя вернулась, в отделе новый начальник. Сразу глаз на нее положил. Пригласил прокатиться после работы на его машине. Повез к заливу. Песок теплый, солнце садится. Залив как зеркало. Красота! Кронштадт видно, макушка собора блестит. А, может, искупаться? Километр шлепать, по колено, а потом бултых и – с головкой.

В Петергоф вернулась поздно. Одна в пустом автобусе. Вышла на своей остановке на Озерковой улице. Там кто-то высокий стоит. Борис! Ревнивый муж. Он самый. Ждал и дождался. Крепко взял за рукав.

– Ну, всё. Идем в парк!

– Зачем?

– Вешать тебя буду. Сук уже приготовил и веревку.

Видит при свете фонаря: страшный он. Глаза белые, без зрачков. Припадок бешенства. Зверь. Убьет. На свадьбе, когда он их с Ленечкой в гроте нашел, у него такой же припадок был, и глаза без зрачков такие же, белые, безумные. Тогда он в первую брачную ночь сильно ее поколотил. С синяками ходила. Теперь хуже будет. Поволок через дорогу в парк. Ухватилась за столб. Оторвал, поволок дальше, к примеченной им березе с большим низким суком. Вырвалась и бежать во весь дух к дому. Настиг. Вцепилась в ручку двери. Отдирает руки, ломает пальцы, выкручивает запястья. И тут спасение. Сама мать Корманова, Зинаида Юрьевна. Повелела ей подниматься в квартиру. Что она говорила сыну, какое внушение – неизвестно. Только вскоре и он вслед за матерью вошел, тихий и смиренный, как овечка.

Решила поосторожней быть. С начальником на залив кататься, но и головы не терять. В другой раз благоразумно вернулась домой не слишком поздно. У операторов сверхурочная работа, квартальный отчет. Вот и задержалась. Усыпить подозрительность этого ревнивого зверя. И все бы, может, и обошлось, да вот ведь как нарочно: стала переодеваться – из одежды песок посыпался. Песок-предатель, в швы и складки набился. Вот тебе и улика! Выскочила, в чем была, в трусах и ливчике, и бежать. Догнал в коридоре и кулак занес. Размозжил бы голову, как кувалдой, по стене бы размазал. Ленечка спас. Перехватил руку брата.

Бедовая она, Елена прекрасная, француженка-жемчужинка, не образумится, судьбу дразнит. Начальник на своей машине подвозит ее в центр Петергофа. До Озерковой улицы бы довез, да боится она, что увидят. Идет, озираясь. Душа в пятках. Дрожит сердечко жены-изменницы, как осиновый листик. Кажется ей, муж Борис за деревьями прячется, шапочка его прибалтийская с козырьком. Вот как будто блеснул этот козырек у железной решетки сада. Или померещилось от страха? Призрак Бориса преследует ее до самого дома. Поднялась на второй этаж, открыла своим ключом. Вся семья дома, только мужа Бориса нет. Звук открываемой двери. Вот и он. Веселый. Настроение у него прекрасное. Принес с собой бутылочку. Засиделись допоздна, играли вчетвером в карты. Разошлись по своим комнатам, легли спать... Проснулась оттого, что дышать нечем, воздуха нет. Кто-то тяжелый навалился, сдавил горло. Попыталась оторвать от себя эти железные руки. Не оторвать. Тиски сжимаются сильнее и сильнее. Забилась в конвульсиях, колотя ногами в спинку кровати. Голоса нет даже для хрипа. Слышала, как страшно кричит испуганная дочь у себя в кроватке. И на этот раз спас Ленечка. Услышал крик за стеной. Вихрем влетел к ним в спальню, отбросил брата с такой силой, что тот с грохотом ударился головой о стену. Свет включил. Взял из кровати плачущее дитя, качает на руках, успокойся, малышка, не плачь, не надрывайся, мамка твоя жива-здорова. Сел с дитем на полу, скрестив ноги. А спасенная им, еще не опомнившись от происшедшего, ища защиты, села с ним рядом, прислонясь к его плечу. Крепкое плечо, татуировкой украшенное. Борис, муж, в такой же позе, точно также скрестив голые ноги, сидел на полу у противоположной стены. Братья молча, не моргая, смотрели в глаза друг другу, как будто гипнотизировали, кто пересилит. Сидели так всю ночь, не шевелясь, и гипнотически смотрели друг другу в глаза. Успокоенное дитя мирно спало на руках Ленечки.

А что думает об этом Ленечкина Надежда? Ничего она не думает. У нее крепкий здоровый сон. Ночной шум ей спать не мешает. Только на другой бок перевернулась. Пусть Отелло душит Дездемону. Ее это никак не касается. Надежда, с тех пор, как живет у Кормановых, сделалась еще краше; раздалась вширь, бедра округлились, щеки яблоками. Ленечка называет ее: "Моя телка". Любо-дорого посмотреть, когда они танцуют. Надежда не любит быстрых, резких танцев, предпочитает плавные. Двигается грациозно, лунатически, положив свои полные, белые руки на плечи Ленечки, опустив веки, томная, нежная. Ленечку она без памяти любит, обожает, верная раба и безвольная глина в его руках. Он может лепить из нее, что хочет, она умрет у его ног. Надежда заменяет тестя Сергея Сергеича в его семейных обязанностях, теперь она по вечерам тащит

тяжелые сумки с продуктами с базы Зинаиды Юрьевны. На три летних месяца Сергей Сергеич устроился на работу в Нижнем парке, у фонтанов. Работа нетрудная. Сидит в будочке, спрятанной за кустами, и когда гуляющие, не подозревая о подвохе, опускаются на скамейку отдохнуть или встают под грибок, защитить голову от палящих солнечных лучей, он нажимает педаль, и пущенный в ход фонтан окатывает струями обманутых ротозеев. Иногда в будку к отцу заглядывает Ленечка, один или с дружкой. Они у фонтанов промышляют по своим делишкам.

Ленечка пришел домой необычно рано. Мрачный, неразговорчивый. Сразу лег спать. И вся семья стала укладываться. За окном зашумело, ливень, там открыли краники на всю ночь у этих черных, неотвратимых туч. Грянул удар грома, так оглушительно, как будто не снаружи, а прямо здесь, в комнате. Молния, блеснув, прильнула к окну – гигантский ночной мотылек. Маленькая Корманова, разбуженная грозой, заплакала у себя в детской кроватке. Взрослым тоже не спится. Грозное электричество действует гнетуще. Через час стихло, гроза ушла, душно. Открыли настежь окно. Потянуло свежестью и запахом мокрых берез из парка. И вдруг – звонок. Это звонок в дверь. Требовательный, троекратный. Вот еще новость! Ночной звонок. Зинаида Юрьевна, накинув халат, идет узнать. Спрашивает: кто такие? Ей ответили. Нельзя не открыть им, нельзя не впустить этих незваных гостей. Они пришли исполнить закон, эти люди, они облечены властью. По Ленечкину душу пришли. Ордер на арест имеется. Зинаида Юрьевна не в силах им помешать. Тут ее связи не помогут. Приказано всем оставаться на местах. Будут производить обыск. Перевернули кверху дном всю квартиру. Переворошили, обшарили. Даже в вентиляционное отверстие на кухне лазили. Капитальный шмон. Сокровищ никаких не нашли, ни денег, ни алмазов, ни золота. Зато кортик нашли, морской кортик. Вот его-то они и искали. В шкафу Сергея Сергеича оказался. В этом шкафу хранится его лётный и охотничий хлам, с которым он не может расстаться. Кортик этот – неоспоримая улика. Ленечка-то их разбой учинил. Избил и ограбил заслуженного моряка, капитана второго ранга. Замкнули на руках стальные браслеты и повели следовать вперед. Опустив свою коротко стриженую голову, Ленечка, в сопровождении стражей, направился к выходу.¹ Все Кормановы, вся семья, сгрудились в коридоре, провожая уводимого. Мать Корманова, Зинаида Юрьевна, в халате, в шлепанцах на босу ногу, стояла, сурово сжав губы, грузная, мощная, как статуя. Не раз уже она спасала беспутного сына от тюрьмы. Спасет и на этот раз. Надежда – вот кому удар, кому потрясение. Как бы на ребенка в утробе не повлияло. Она на четвертом месяце беременности.

На этот раз не удалось выволить Ленечку. Не помогло влияние Зинаиды Юрьевны, бочки черной икры с ее базы. Лёня сидит в Крестах в ожидании суда, его водят на допросы.

В январе Надежда благополучно разрешилась от бремени и родила сына. Еще один Корманов появился на свет. Маленький хулиган, весь в батьку. Первое, что он сделал, являсь в мир, это помочился на халат держащей его акушерки. Зинаида Юрьевна и Надежда поехали в Кресты – показать ребенка отцу. Но Лёня остался равнодушен от лицецерения младенца. Рождение сына не вызвало у него радости. Это тюремное свидание, казалось, его тяготило. Сам прервал. Его камера ждёт, там ему веселей, чем с посетившими его женщинами, матерью и женой. "Привет всем!", бросил на прощание.

Ленечку приговорили к трем годам.

Как говорится, "Пришла беда, отворяй ворота". У Сергея Сергееча случился инсульт. Утром собрался на работу, нагнулся зашнуровать ботинок и рухнул со стула. Замертво. На похороны приехали две его сестры из Астрахани. На поминках старшая сестра во всеуслышание обвинила Зинаиду Юрьевну в смерти Сергея Сергееча: это она ухайдокала своего мужа непосильным семейным бременем, заставляла трехпудовые сумки с продуктами таскать, вот и надорвался.

Как бы то ни было, а жизнь на Озерковой улице продолжается. В квартире у Кормановых звучит музыка. Внучка Зинаиды Юрьевны разучивает гаммы. Внучку зовут Женни. Назвали так» чтоб красиво было, по-иностранным. Зинаида Юрьевна устроила внучку в ту самую музыкальную школу над ее продуктовой базой и утром ее туда отводит. Купила пианино. Прекрасное пианино, темно-вишневого цвета, фабрики "Красный октябрь". Музыка – это культурно. Так же культурно, как книги. Играть на пианино – признак принадлежности к образованному обществу. Женни водружена на высокий, взвинченный до упора стульчик. Но этого недостаточно: подкладывается еще и подушка в плюшевом чехле. Пальчики Женни едва достают до клавиш. Не беда. Дни идут. Женни растет. Скоро у Кормановых будут давать домашние концерты.

Заботы Зинаиды Юрьевны распространяются и на другого маленького Корманова. Не забыт и внук, названный Алексом, опять же всё из-за того же пристрастия к красивому заграничному звучанию. Зинаида Юрьевна чрезвычайно внимательно следит за питанием своего внука. Алекс должен вырасти таким же рослым, сильным и красивым, как его отец и дядя.

Годы, как известно, летят. Три года – пустынный срок. Вернулся Ленечка. Не – узнать его. Еще шире в плечах раздался, поплотнел, заматерел. Теперь

уж наш Ленечка не юный, грациозный бандит, а солидный зверь, тигр уссурийский. Наш Ленечка теперь, можно сказать, вор в законе. Вернулся он в начале октября, на нем дорогой кожаный плащ по сезону, длинный до пят, расстегнут на все пуговицы, показывает клетчатую подкладку. Контрбандный плащик, с таможни, откуда ж ещё? Без шарфа, с голой шеей, с открытой грудью, головным убором тоже брезгуем. Стрижечка, улыбочка, ступаем твердой поступью, полны мужества и силы. Теперь держись! Не то будет, что раньше! Теперь он весь Петергоф в рог согнет!

Ленечка скоро нашел работу. Он – бригадир могильщиков на петергофском кладбище. Процветает, пальцы в перстнях. Денег у него теперь, как мусора. Сергею Сергеичу, отцу своему, поставил памятник из черного мрамора. Колоссальный памятник, возвышается над всем кладбищем. В виде испытательного военного самолета, так сказать, вечная память о Сергее Корманове, герое-летчике.

Старший брат, Борис, бросил свое КБ, где гроши платят, и пошел работать могильщиком в бригаду Ленечки, под его командование. Тут он заступом зарабатывает в десять раз больше, чем зарабатывал в КБ чертежной линейкой. У них на кладбище свой домик из кирпича. И печка там есть, и топчаны. Жить можно с комфортом, и осенью, и зимой, в любую погоду. Тут они переодеваются, обедают, режутся карты в передышках между рытьем могил и установлением плит и памятников. Выпивок Лёня Корманов в своей бригаде не позволяет. Ни капли спиртного. Сухой закон. Знак этого сухого закона – поставленный сверху дном в их домике на столе символический стакан. Вышел за ворота кладбища – напивайся хоть в стельку. Петергоф – город-сад. Везде хорошо и чудесно. Где присел, там, так сказать, и совершай обильные возлияния Бахусу.

Вечером, закончив работу, Борис оставляет в домике свой измазанный кладбищенской глиной ватник и резиновые сапоги, переодевается во все чистое и, все такой же элегантный и неотразимый, идет пешочком домой на Озерковую улицу. И о чем он думает по дороге, этот голубоглазый принц, краса Петергофа? Все встречные девушки на него оглядываются. Он, Борис Корманов, все так же великолепен, как был когда-то в день своей свадьбы. Время, кажется, не нанесло ему, этому красавцу, никакого ущерба. Аполлон да и только! Поставь его вместо статуи на пьедестал у каскадов – и он затмит все скульптуры в саду!

ОБОРВАННАЯ НИТЬ

В июне на работу. Пропавшая душа. Успели забыть. Зал, столы, вычислительные машины, операторы в шесть рядов, затылок в затылок, сорок женских голов. Узкий проход. Иголочное ушко. У них новый механик, Алексей. Временно. Моряк. Пришвартовался на месячишко. Застрять тут не в его планах. Перекантуется, снимут взыскание, опять в море, рванет в рейс на полгода, куда-нибудь в Сингапур – деньги делать. А тут, на их пыльном производстве только сумасшедшие могут за гроши свою молодую жизнь губить. Почему бы и ей не сняться с якоря? Устроит поварихой на сухогруз.

День за днем. К девяти. Гул цехов с Гороховой, шесть этажей, окна раскрыты. Мойка. Центральный вход. В проходной контролеры, записывают, кто опоздал. У операторов происшествие. Стол во втором ряду пустует. Муж бросил. Экспедитор на Пулковском аэродроме, сопровождает грузы в самолетах, рейсы за границу, в Египет, в Турцию. Высокий, в летной форме. А она на седьмом месяце. Пыталась выброситься из окна. Преждевременные роды, ребенок родился мертвый.

Тут все обо всех знают. У начальника производства шуры-муры с главным бухгалтером Ольгой Георгиевной. Блондиночка с изумрудными глазами, фигура, бюст, пальцы в бриллиантах. Замужем за адмиралом, на лет двадцать ее старше, бывший военный атташе в Польше, в каком-то портовом городе, кажется, Гданьске. Это у них закрутилось, когда на экскурсию возили в Сестрорецк – показать шалаш Ленина, а сами знать не знают, где он, этот чертов шалаш. Апрель, сыро, таскались по болоту, все в грязи и в тине вымазались по брови, продираясь сквозь камыши. И что вы думаете! Нашли этот шалаш Ленина. Чудеса! А механики из их отдела, Ловцов и Кремнев.

Ходят в Европейскую гостиницу в баню – мыться в чистой, приличной мойне. Друг у них – бармен в Метрополе, окончил ЛГУ, факультет математической лингвистики. А другой друг – коммерческий директор обувной фабрики "Скороход". У этого друга хобби: конный спорт, жокей на ипподроме, участвует в состязаниях.

Тополиный пух с Мойки летит в раскрытые окна, гуляет по этажам. Когда-то тут был Торговый дом, узорные балконы, окна с венецианскими старинными стеклами, мраморная парадная лестница. Шесть этажей. Первый этаж – подготовительный цех: здесь принимают ткань в рулонах и подготавливают к работе. Промер, разбраковка, паспорт куска. Второй, третий, четвертый, пятый этажи – швейные цеха. Тут духота и шум машин.

На верхнем, шестом — раскройный цех. В подвалах кладовые. Странное чувство она испытывает, когда спускается туда: как будто тяжесть всей этой швейной громады, этих шести этажей с цехами навалилась на нее, давит на плечи.

Крепить кадры, курс партии, обком, райком, в горле ком. Текстильный, мастером в цеху, ступенькой выше, инженер-программист. Тот еще буддист, аквалангист, мистерии труда. Кабинет директора Канарейкиной 72 квадратных метра, камин, наяды, амур. Нить дней.

Механик Алексей говорит: "Брось ты эту фабрику. Надо не задницу годами просиживать, а деньги делать. Вот я, к примеру, в плаваниях хорошо зарабатывал. Несу через проходную в порту два чемодана, битком набитые контрабандными складными зонтиками, ноги дрожат и отнимаются и ледяной пот по спине по ложбинке течет..."

Приходит главный бухгалтер Ольга Георгиевна, она пользуется их телефоном для своих личных дел, не хочет, чтобы бухгалтерия слышала ее разговоры. Кричит в трубку: "Это я! Лёля с Песочной!"

Цех. Швейные машины шумят-гудят, пылица. Ворс от ткани несется с конвейера, висит в воздухе. Швея всю смену сидит за машиной, нажимает педальку туда-сюда. В окнах пекло. Солнце адское. Стеклопакетная конторка начальника цеха. Технолог, нормировщик, табельщицы. Сжарились карасы.

Дни-шестерни, крутится колесо от понедельника до понедельника. Тянется нить. Пряжи-Мойры, фабрика судеб, кому подлинней, кому покороче. То аванс, то получка. Операторы третьи сутки корпят над расчетом зарплаты для рабочих. Пролетариату кровью-потом заработанное точно в срок. А не то ЧП. Гегемон возропщит. Полетят головы с плеч.

Несть им числа, как песка морского. Бабы царство. Четыре тысячи правнучек Евы. А Адамов — на пальцах пересчитать. Катаются — сыр в масле. У швей обеденный перерыв — 25 минут. По расписанию, у каждого цеха свое время. Гудит сирена. Швейи срываются с мест, бегут в столовую, топоча по коридорам. В столовой столпотворение. Комплексные обеды. Бежит девчонка, миниубочка, габардин цвета морской воды, пэтэушница. Старые швейи шипят ей в спину, злобные змеи: "Ишь пташка на каблучках! Пришла ляжками перед мужиками сверкать!"

Сентябрь, октябрь, ноябрь. Тополя на Мойке облетели, стоят голые. Ураганый ветер с залива. Наводнение. Вода поднимается, вровень с порогом у ворот подготовительного цеха, вот-вот хлынет внутрь, затопит подвалы. Большой аврал. Таскать из кладовых на верхние этажи.

Главный бухгалтер Ольга Георгиевна, Лёля с Песочной, встречает на лестнице, на переходе к кабинету директора. Перегнулась пышным бюстом

через перила, сообщает об интимных тайнах своей личной жизни. Только что она посвящала в эти тайны директоршу Канарейкину.

– Ой, знаешь, что я тебе скажу! Между нами. По секрету. Борисик-то, Борисик-то мой ... – восторженно, с придыханием восклицает Ольга Георгиевна, сияя изумрудными, выпуклыми, как у стрекозы, глазами.

Январь, февраль. Ступенькой выше. Кресло начальника. Сорок операторов, три механика, три программиста. Шапка Мономаха. Заменить устаревшую технику. Новая вычислительная машина "Минск". Административная рутина. А тут еще говорят: не сегодня завтра – атомная война. Кого послать на занятия в кабинет гражданской обороны?

Опять объявят тревогу: то ли газы, то ли ядерный взрыв. Без остановки производства. Без паники. У каждого свое место и действия, по распоряжку. Все в противогазах, как монстры с Марса, от швей в цехах до директора. Сумки, коробки на боку, гофрированные хоботы. Над землей поднимается громадный гриб. Разрушенные города, выжженная пустыня, ничего живого, только пепел и черная, ядовитая пыль покрывает мертвую планету. Каждую ночь снится это, душит кошмар, просыпается в ужасе. Подходит к окну, отдергивает занавеску, поскорее убедиться, что мир еще жив и прочно стоит на своем месте, такой же, как был вчера. Так вот и сходят с ума. Скорей на фабрику. Забыться в работе.

Охрана труда, пожарная безопасность, багры, огнетушители, белка в колесе. Операторы недовольны: притесняет, тиранка, деспотическое правление, повысила нормативы, лишает премий. Зреет мятеж. Когда идет через зал мимо столов по проходу, слышит за спиной злой шепот. Кипят ненавистью. Камень за пазухой. Удар в спину. Тайно пишут донос в Москву.

Происшествие. У операторши оторвало палец. Попала в движущиеся части машины.

В цехах музыкальная пауза, механизмы остановлены, швей по команде физрука делают гимнастику. Снять усталость. Это повышает производительность труда.

Главный инженер Огурцова вернулась из Италии, куда была командирована перенять опыт. Привезла мужской костюм, умеют шить эти итальяшки. А мы что, лыком шиты?

В проходной плакат: "Бой опозданиям!"

Март, апрель, май. Трехмесячные курсы повышения квалификации. Общежитие в Замоскворечье, комната на сто коек, со всей страны.

Высокие окна, огни ночной Москвы мешают спать. Просыпаясь утром, радостно видеть в этом огромном окне перед собой башню Кремля и рубиновую кремлевскую звезду.

Обратно в ночь "Красной стрелой". В купе сюрприз: два негра!

– Мадам, мадам, входите, мадам! Не беспокойтесь! Куда мадам хочет, на какую полку? Нет, здесь будет на мадам дуть, лучше сюда. Пусть мадам устраивается со всеми удобствами, мы пока покурим в коридоре.

Студенты из Парижа.

Через час робкий стук в дверь:

– Мадам, вы позволите нам войти?

Входят на цыпочках. Эти черные принцы принесли ей дары: конфеты и фрукты из ресторана.

На фабрике перемены. Теперь они – закрытое акционерное общество. Новый директор: вместо Канарейкиной Полыхаева.

В буфете Буркин, начальник электромеханической мастерской, в спецовочных штанах, сзади протерты до дыр, просвечивают трусы. Говорят, у него жена сбежала в Америку, а сам он когда-то был директором какого-то НИИ оборонного значения. Теперь он в обществе двух дамочек: одна – радиовещатель из радиоузла, другая – редактор газеты "Ленинградский швейник". Буркин рассказывает что-то и все трое гогочут, как сумасшедшие.

Данилов, программист, первый день из отпуска. На байдарках по сибирским рекам. Весь светится. Отрешенная улыбка. Сын природы. Он еще там, в лесах, на горах, от него пахнет костром и тайгой.

Фабрику лихорадит. В цехах митинги. У руководящего состава инфаркты. Обвал инфарктов. Старая гвардия выбывает из строя. А какие это мастера своего дела! И главный конструктор, и главный технолог, и главный механик, и главный инженер, и начальник производства. А коммерческий директор Яков Аронович! Какой это специалист! Это маг и волшебник! С закрытыми глазами наощупь скажет состав и артикул ткани.

Общезаводское собрание. Полыхаеву свергли, выбрали Буркина. Теперь он генеральный директор. Говорят, фабрику продадут и на ее месте опять будет Торговый дом. На круги своя.

С затуманенными глазами, смутно, нить сонная, Фонтанка, Невский, девчоночка фабричная, старуха, когда успела поседеть. Сим победиши. Богиня победы, Ника. Ника летит, слышен шелест ткани, трепет крыльев. Ника летит с таким восторгом, с такой мощью! Разве она из мрамора? Как можно сделать из мрамора эти складочки на ее тунике, этот сверкающий полет?.. Вечер. Ночь. Мост. Другая вода, другой берег. Куда ты, заблудшая душа, дитя блокады?.. В соседнем доме окна желты.

Нить рвется.

Плавание на "Пайде"

30 августа 1969 года. Нас определили на судно. Называется "Пайде". Рейс в Африку. У нас плавательская практика, нас двое, мы тут, в Таллине, почти месяц обивали порог пароходства. "Пайде" – теплоход, сухогруз, только что из плавания. Загрузится и опять в путь.

1 сентября. Отплытие. Отчаливали под дождем. Таллин отдалается, шпили уже неразличимы, не видно землю, одно только море кругом. В каюте слышен шум и плеск. Лежу на верхней койке, свесив голову, смотрю в иллюминатор.

4 сентября. Северное море беспокойно, качка. Подобрали двух англичан на катере – мужчину и женщину. Отказал мотор, и катер унесло в открытое море. Бедняги! На ногах не держатся! Матросы чуть ли не волокли их по палубе, подхватив под мышки.

Сильно штормит. Меня укачало. Весь вечер не слезаю с койки, сосу лимон. Мой товарищ Эдик Баландин в отличие от меня морской болезнью не страдает. Пришел с ужина, рассказывает, что поглощал. Антрекоты-компоты. Зря я объявил голодовку. Ему нравится меня дразнить. Ложе Эдика подо мной. Нас поместили в каюту электрика Петра Васильевича. По штату – электриков двое. Напарник Петра Васильевича ушел в отпуск. Нас с Баландиным назначили вместо него, вдвоем на одно место, на половинном окладе. Я занял верхнюю койку, где спал ушедший электрик. Свою, нижнюю, Петр Васильевич уступил Эдику, а сам устроился на диване у противоположной переборки. Сидит нога на ногу, пушит пальцем свой пшеничный ус, курит трубку. Мне от его дыма и совсем нехорошо. У них с Баландиным разговор – наше "макаровское" училище, Ленинград... Мысли мои путаются, в этой скорлупке не уснуть, в мозгу бессонное плесканье и удары волн.

7 сентября. Позади Бискай. Шторм утих. Атлантика спокойна. Чинил фонарь на мачте, взглянул вниз: акула-молот у борта, как приклеенная. Песчаного цвета.

9 сентября. Подходим к Канарским островам. Прямо по курсу – отвесные, мрачные скалы. Волны-ящеры с гребнями изгибаются у подножия.

11 сентября. Тропики. Духота. Утром еле встал, голова чугунная и весь липкий от пота. Океан – зеркало. Мертвый штиль. Приторно-теплое

дуновение. Солнца нет. Все небо загромождали серовато-белые, неповоротливые, как тюфяки, облака. Работали на палубе, все втроем, под командованием Петра Васильевича, старшего электрика. Есть еще электро-механик Артур Янович, он над нами главный. Артур Янович дает распоряжения, а мы исполняем. Сегодня нам задание: проверить аккумуляторные батареи, замерить уровень электролита. Что мы и делаем, вытащив батареи на палубу за порог аккумуляторной рубки. Полдень. Зной. Ум мутится. Не могу смотреть на море – слепит блеск. Мерещатся какие-то фигуры, они плывут над водой, взбираются на борт, проходят мимо нас и растворяются в мареве. Кажется, я один замечаю их. Эдик и Петр Васильевич возятся с батареей, пытаюсь отвинтить закислившуюся пробку у секции. Влажный след на стальном настиле, какая-то медузная слизь, быстро испаряющаяся... Сколько еще таких дней-ночей? А, может, месяцев? А что в машинном отделении? Вот где пекло! Как там мотористы не исжарятся? Стармех (по-морскому "дед"), вылез из своей преисподней глотнуть воздуха. Рыжий коротышка, тощий, как стрелка манометра. А голос у него – гром, архангельская труба. Кричит нам: "Эй, электроды! В ту мать! Насос пресной воды кто чинить будет? Фидель Кастро? Шкуру спущу!"

12 сентября. Утром прибыли в Дакар, первый африканский порт, где у нас стоянка. Блеклая растительность, скучные домики.

С десяти начал тальманить (от слова "тальман"). Считать груз. Нудное занятие. Стой на пирсе, как болван, с записной книжкой и карандашом, жарься на африканском солнце, считай тюки. Лебедки поднимают их из недр трюма и переправляют на берег, гудя моторами, описывая блестящие дуги в пыльном, слепящем воздухе. Вместе со мной считает тюки дакарец. Он работает в порту. Имя его Махмуд. Он мусульманин. Черный, как оливка. Говорит по-английски. У него две жены, он каждый день приносит им по булке и этого достаточно, чтобы они не потребовали у него развода. На палубе у нас грузчики-дакарцы, не меньше дюжины. Работают трое, остальные прохлаждаются. Лебедки замерли. Обед. Несут с камбуза бачок с кашей, выклянчили у кока. Обступили, галдеж. На головах – у кого соломенная шляпа, у кого чепчик, у некоторых просто тряпка, завязанная узлом на лбу. А один соорудил себе из серебристой фольги, которой устилают трюм, фантастический головной убор в полметра высотой и теперь он качается на его голове, как павлиний хвост. У них широкие, колоколом, цветные рубахи; шаровары, оттопырясь, болтаются сзади, как курдюки у овец. Гнилозубые рты улыбаются...

Дакарец на круглой голове принес с берега корзину бананов. Большие связки, изогнутые, как сабли. Мы с Баландиным таких не пробовали. Выменяли всю корзину на флакон одеколона "Шипр" и два куса туалетного мыла.

14 сентября. Дакар. В десятом часу пошли втроем в город. Отовариваться. Жарко, душно. Рубашка липнет к телу мокрым мешком. Особенно тяжело Петру Васильевичу, ожирел, брюшко выпирает из шорт. Пунцовый, отдувается, усы повисли.

Город скучный, дома-стандарт, пять этажей. Уличные торговцы бегут за нами, цепляются за рубашки, хватают за руки, суют товар: очки, браслеты, кольца, часы. Изделия сомнительного пошиба. "Саня, Саня, эй, Саня, бери!" Курчавые, голые, черные. Труженицы любви, копченые прелести за тысячу франков. Туго сплетенные жгутики, голо-фиолетовые головы-сливы. Хватают за брюки, громко торгуются, снижая цену.

В Дакаре надо брать гипюр. Три-четыре лавчонки подешевле. Шурушащие рулоны. Выбрали, наконец, как нам кажется, наилучшее: и простого белого, и серебристого в узорах, и с золотыми тропическими цветами.

16 сентября. Уходим дальше, к югу. Берег, у которого мы стояли пять дней, при удалении делается подковой, ее края, желтеющие песком, тянутся за нами в море, не хотят отпускать. В заливе – островок. Проходим близко. Волны взлетают у отмели брызгами и пеной. Сенегал, Дакар. За кормой.

18 сентября. Штиль. С солнечной стороны невозможно смотреть – убийственный блеск. На палубе матросы устроили из брезента бассейн. Спасаться от жары. Вода морская, забортная, ест глаза.

Мимо проходит эстонка Ирма, она в купальнике, алая полоска ткани прикрывает плоскую грудь и такая же полоска на мощных бедрах. Золотистый загар, пепельные волосы до плеч. Лицо утюгом. Но это ничего. Она для нас красавица из красавиц. Единственное женское существо на судне. Ирма несет из баталерки в столовую тяжелый оцинкованный бидон. Голые матросы гогочут, брызжут на нее из бассейна: "Ирмочка, дай молочка!". Ирма презрительно отворачивается, шествует дальше с ношей, прельстительно изгибая свой мощный стан. Всем известно, что милостями Ирмы одновременно пользуются кок и боцман. Кок – верзила с пятнистой кожей и на лице, и на руках, по всему телу, похожий на мурену, угрюмый, злой. Боцман, наоборот, – весельчак, горлопан, красавец-атлет, голубоглазый, кудрявая борода, как у Геракла. Они на ножах, в буквальном

смысле, и у нас серьезные опасения, что они рано или поздно друг друга зарежут. Боцман всегда носит у себя на поясе матросский кинжал в кожаном чехле, а кок не расстается с остро отточенным, громадным тесаком, которым он разделявает мясные туши.

Что говорить, я сам каждый раз с тоской смотрю на эту притягательную эстонку, где бы ни встретил, на палубе, в коридоре или в столовой, где она, исполняя свою должность официантки, разносит блюда на столы. Но я знаю, золотые тела Ирмы доведут до беды.

Жара, не выдержать. В кают-компанию, там кондиционер. Посидеть на диване, попить компота. Дозволяется-то дозволяется, но на глаза капитану лучше не попадаться.

У всех на судне жужжат электро-вентиляторы. Петр Васильевич у нас в нашей скорлупке поставил их даже три. Вентиляторы – его хозяйство, к нему все на поклон идут. Так что для себя он приберег запас. Но и от тройного электродува, при открытом иллюминаторе, прохлады не больше, чем от раскаленной плиты на камбузе у кока. Спать тут может только труп. Живой человек не может. В 7.00 подъем. По всему судну включается радиотрансляция и исполняется бодрящая песенка "Эх, жили, жили, жили и вовсе не тужили четыре развеселых таракана и сверчок". Эту музыкальную побудку придумал "помпа", то бишь помощник капитана по политчасти – для поднятия духа экипажа.

22 сентября. Вчера в 13.00 прибыли в Tema – портовый город республики Гана. Перед тем, как войти в бухту, сыграли навигационную тревогу. Морская прогулка на шлюпке в штилевую погоду. Но спокойствие моря обманчиво. Покачивало, мутит, креплюсь. Теплоход шел на одном дизеле, а мы его догоняли. "Смотри, смотри!" – завопил баталер, рулевой на шлюпке. В метрах десяти вспарывал воду громадный, черный треугольник чудовищного плавника. Акула!

К вечеру разгрузились и уходим опять в море. Путь на Лагос.

24 сентября. Вчера в полдень подошли к Лагосу и встали на внешнем рейде. Утро второго дня, а нас еще не отвели в порт. Ждем лоцмана. Нудная качка. Скорее бы к причалу. Болит голова. Сумрачно, плоский, песчаный берег, дальше – зеленоватая дымка джунглей. Где город, люди?..

В 15.00 нас, наконец, ввели на буксире в реку. Песчаные берега, пальмы. Вода мутная, мрачная. По правому борту – хибарки из камыша. На реке пирога, гребец-туземец орудует веслом, стоя на высокой корме. За верхушками пальм – призрачные строения. Город. Туда-то нас и тянут два местных буксира. Лагос, столица Нигерии.

Вечер. Пришвартованы к причалу правым бортом. Рядом стоит "англичанин". Слева река, чуть колышется мутная вода, блики. Там город, тысячи огней-глаз, мигают, перемещаются. Оттуда наплывает томительная, дурманящая музыка.

27 сентября. Полдень. Уходим в океан. Путь на Дуалу, государство Камерун.

Вчера у нас произошло чрезвычайное событие. Наши командиры гостили на шведском судне. Третий штурман перебрал бренди. Капитан приказал ему вернуться на теплоход с сопровождающим. Штурман ответил, что на теплоход идти не хочет. Повели силой. У трапа штурман вырвался и побежал обратно к шведам, крича; "Прошу политического убежища!" Бесновавшегося штурмана, связав по рукам и ногам, доставили на "Пайде". Поместили в изолированной каюте. Убрали все режущее, колющее, бьющееся, в том числе зеркала. Каюту обесточили. Поставили стражу: по два человека в три вахты, один внутри, другой снаружи. У штурмана повреждение психики и на родном берегу его ждет сумасшедший дом. Я тоже назначен в стражу, четыре часа находиться наедине с этим безумцем и бдительно следить, чтобы он что-нибудь не натворил.

29 сентября. Ранним утром пришли в Дуалу. Лагуна, на одном берегу джунгли, на другом – город.

Сторожим штурмана. Неразговорчив, замкнут. Из судовой библиотеки ему приносят книги, читает, лежа на койке.

Вечером, после вахты, – на берег. Отпустили на три часа. В кабачок в порту. Хозяин немец, старый знакомый. Быстро стемнело. Ночь, дорога, дома-коттеджи. Воздух сух, пахнет чем-то пряным. Чернеют невиданные деревья-великаны. Баобабы? Не поймешь. Треск цикад. Из-под ног с шорохом прыщут ящерицы.

Кабачок, музыка, соломенные кресла-качалки, коктейль, журналы, черные Евы, бассейн, шелк, а не водичка. Обратно на "Пайде".

5 октября. Вчера в семь вечера покинули Дуалу, загруженные красным деревом. Связки бревен тщательно закреплены тросами на палубе. Сорвутся в шторм – нам каюк.

Утро. Стоим на рейде вблизи берега. Кокосовые пальмы. Вся каюта в этих кокосах, валяются на столе, на койках, всюду, катаются по полу, стучаясь с мягким гулом.

Вода тихая, черная, глянec. На берегу деревня. Оттуда буксир тащит нам еще одну связку бревн. Розовые, влажно поблескивают, как спины

огромных рыб. Говорят, тут, в этой мрачной, тишейшей бухте кишмя кишат крокодилы. И правда, то, что мы принимали за плавающие бревна, вдруг шевелится и, потревожив сонную воду, тихо исчезает в глубине. Только круги расходятся на том месте.

7 октября. Снялись с якоря, курс на Пуэнт-Нуар.

8 октября. Перешли экватор. На судне праздник. Крещение новичков. В пять часов вечера на палубе – Нептун и свита чертей, рев труб, грохот гаечных ключей о кастрюли и сковородки. Я на вахте, сторожу штурмана. Однако вскоре меня сменили, передав приказ без задержки отправляться на палубу.

Вся команда с капитаном во главе на втором трюме. Нептун оперся о трезубец, грузный, на ногах держится шатко, как будто пьяный, корона, борода, туловище в простыне-тоге до пят. Артур Янович, электро-механик, наш главный. Это он, его клюквенный нос. Нептун изрек:

– Я приветствую славных моряков русских, вступивших в наши воды. Готовы ли вы по желанию нашему и обычаю к священному обряду крещения, сиречь, купанию в купели морской и питию чревоугодного зелья?

Капитан от имени всей команды уверил Нептуна в полной нашей готовности.

– Тогда повелеваю угостить мою свиту, всем по чарке вина, дабы добросовестно справили свою службу! – приказал Нептун.

Шайка чертей, страшно размалеванная, с рогами, с пламенными носами, в тельняшках, стоявшая за спиной Нептуна, радостно взвыла и разразилась грохотом в кастрюли и сковородки. Кок и баталер выкатили, согнувшись, бочку и поставили на "попа". Ирма, морская ведьма, опоясавшая бедра какими-то мочалками-водорослями, черпала из бочки и с поклоном подавала каждому чёрту – португальский портвейн, заведомо приобретенный в каком-то порту на островах Зеленого Мыса.

Начался обряд крещения. Нептун раскрыл учетную книжищу:

– Раб божий Баландин, призываем тебя!

Баландин шагнул вперед. Двое чертей под гогот и вой остальных, схватив его за руки, потащили к чану с какой-то отвратительной черной жижей. Поставив на колени, начали поливать этой мерзостью. Повалили навзничь и, как копытом, прищепнули на живот мазутную печать. После чего, раскачав за руки, за ноги, бросили в лохань с морской водой. Из лохани поволокли к бочке, опять поставили на колени. Черпак портвейна. До дна. И на все четыре стороны с миром. Новокрещенный наречен именем Тунец.

Моя очередь. Я подвергся той же участи, пройдя весь обряд и получил при крещении морское имя Парусник. Каждому из нас выдали документ, подтверждающий, что мы перешли экватор. Клеймо на животе, этот чертов знак, не отскрести. Чем больше скребешь, тем он еще черней. Чтобы избавиться от него, надо сменить семь кож.

9 октября. Жара. Пот с нас потоками. Пьем все, что есть жидкого на судне. По приказу капитана нам выдают сухое вино. Каждому члену команды в день по бутылке. Выдает баталер, после завтрака. Мы, электрики, так между собой договорились: отдаем свою порцию кому-нибудь одному. Он сегодня выпивает все три бутылки, и ему хорошо. Ему очень хорошо. Хотя бы один день ему все трын-трава и море по колено. Завтра тройная порция достается другому, послезавтра – третьему. Так еще как-то можно длить существование. Да. Плавание в тропиках без кондиционеров в каютах – сущий ад. Вся команда давно уже спит на палубе. Кино тоже смотрим тут, лежа. Экран-простыня натягивается на носовой надстройке. Но фильмы все пересмотрены по десять раз. Одна надежда – встретить родное судно и обменяться кинозапасом.

11 ктября. Пуэнт-Нуар. Черная бухта. Говорят, тут полно акул. Купаться хочется до смерти, но боимся сунуться в воду. А негритоски плещутся с визгом, они совсем голые, от них глаз не отвести. Точеные фигуры, черные яблоки грудей.

По судну бродят торговцы в татуировках, с насечками на щеках, предлагают товар: слоновьи бивни, изукрашенные резьбой, ритуальные маски. Выменял такую маску на ручные часы. Тяжелая, как железо.

12 октября. Сторожевые вахты кончились. Штурмана отправили в Союз самолетом. Так распорядился консул.

14 октября. Вечером покинули Пуэнт-Нуар и повернули в обратный путь. Теперь без заходов до Канарских островов.

21 октября. Через три-четыре дня будем в Лас-Пальмасе. Команда озабочена: как бы получше отовариться. Гадают, в какой день и час придем в порт. Донимают штурманов, старпома. Очень важно. Прийти бы в будний день и пораньше утром, чтобы успеть пришвартоваться и выбраться в город к открытию магазинов. Многие всю валюту за рейс сберегли для этого порта, жемчужины Атлантики, как его называют. Свободный торговый город, дешевые товары.

А море уже осеннее, бурное, покачивает. Барашки. Что будет в Бискае?

Это не залив, а кипящий котел, там всегда шторм, там ветры сталкиваются с четырех сторон, как буйно-помешанные, и производят безобразную качку, ни в какие правила не вписывается. Судно закручивает восьмеркой, чертовыми спиралями. Нам достается в нашей каютке на носу. Нас вздергивает, как на гигантских качелях, куда-то к седьмому небу, а потом, достигнув апогея, рушит с вершины волны в бездонную пропасть с адским, железным грохотом. Это прямо над нами в цепном ящике сотрясается якорная цепь. Как будто мировой змей, закованный в пещере, сотрясает свои цепи, пытаясь их порвать.

25 октября. В третьем часу дня подошли к Канарам и встали на рейде в виду города. Лас-Пальмас, то есть – пальмы. На горе, в зелени – сахарно-белые кубики-домики. В гавани – суда всех наций, флаги. Над горой, касаясь вершины, – тучи. Солнце выше туч, высокое и светлое. Волнуемся: когда же судно заведут в порт и можно будет отправиться в город. Мучительное ожидание. А время уходит час за часом. Буксира нет. Лоцмана нет. Уже шесть вечера. Магазины закрываются в девять.

Наконец, мы у причала. Все свободные от вахты во главе с помполитом устремились по трапу на пирс. До закрытия магазинов 50 минут. Мне с ними нельзя, вахта. Сиди у центрального электрощита. Эдик Баландин догоняет команду, у него вся моя валюта, отоварится на двоих.

К 22.00 (до этого часа команда была отпущена на берег) стали возвращаться, потные, лохматые, с тюками, коробками, мешками, сумками, в руках, на горбах, на головах, в зубах. Шествие вверх по трапу замыкал гигантский ком. Под грузом покупок не различить несущего. Наш токарь! Знаю, откуда у него лишняя валюта. Пока мы несколько часов стояли на рейде, ожидая буксира и пожирая глазами берег, токарь не терял времени. Сгрузил с другого борта незаметно подплывшим лодочникам-мулатам на канате контрабандную болванку бронзы. Два быкоподобных лодочника, приняв бронзу, на конце освобожденного каната привязали ему толстую пачку испанских песет.

31 октября. Сегодня после завтрака миновали Бискай. На этот раз он оказался смиренный и кроткий, как агнец. Редкий случай. Теперь – Ла-Манш. А если все будет благополучно – через пять дней встанем на причал в Таллине.

Уже близок родной север. Стало холодно, особенно по ночам. В училище второй месяц идут занятия, новый учебный год. Аудитории нашей "Макаровки" на Косой линии давно ждут нас. А мы с Баландиным все еще в плавании. Как бы потом не пришлось плавать на экзаменах.

Как далеко теперь Африка. Приснилось, что мы в ней были. Единственное, что еще свидетельствует о ней – цикада. Затаилась где-то в бревнах красного дерева на палубе. Грустно стрекочет по ночам, напоминая о днях солнца и зноя.

3 ноября. Проходим Зунд – самое узкое место между Швецией и Данией. Только что жестоко качало в проливе Скагеррак, а сейчас тихо, хоть и пасмурно. По правому борту – датский берег, красная черепица крыш, суденышки, хмурый замок, не тот ли, Эльсинор, Принц Гамлет?..

Копенгаген. Стоянка крохотная, на берег отпустили всего на два часа. Красиво, чисто. Велосипедисты. Старушки крутят педали, корзинки с провизией сзади, на багажнике.

5 ноября. 11.00. Видим Таллин. Ближе, ближе его шпили, Вышгород, роши Кодриорга. Все белым-бело. Неделю назад – Африка. А тут зима, снежинки вьются.

На "Пайде" не все ладно, и мне кажется, еще что-то будет, трагическая развязка мертво завязанного в плавании узла. Ирма хмурая, за завтраком в столовой уронила поднос с тарелками, стала подбирать осколки, порезала палец. На палубе кок и боцман, друг напротив друга, у них тяжелый разговор.

Чемоданы и сумки у нас с Баландиным давно собраны. Может быть, уже сегодня будем катиться на поезде в Ленинград, а завтра – дома. Ох, скорей бы!

Д О К

Взяли на буксир в Кронштадте. Плавучий док черного цвета. На черном корпусе красный крест. Рейс в Югославию. "Гермес" – спасательное судно, дизельэлектроход, скорость до 22 узлов. Отплыли 22-го июня. Море спокойно. Штиль. В кают-компании карта, красным курс "Гермеса", от порта отплытия, Питер, до порта назначения – Триест. Красная нить тянется через Балтику, проливы, Северное море, Ла-Манш, Бискай, Гибралтар, Средиземное, Адриатическое. Завернем за сапожок Италии и – Триест.

Новенький диплом, мореходка, напутствие адмирала Макарова, только что выпущен, с бала на корабль, 4-м электромехаником. Тут иерархия: старший электромеханик, 2-й, 3-й, 4-й и два электрика. Поселили в каюте на нижней палубе ближе к носу. Койка, диван, шкаф, стол, стул. В этой скорлупке и жить. С четырех вахта. Иллюминатор, зеленая занавесочка трепещет, морской простор.

Зашел Масыгин, 2-й электромеханик. Крупный, напор, сила. В его сопровождении – в машинное отделение, преисподняя "Гермеса". Длани Масыгина скользят по поручням крутого трапа, ноги не касаются ступеней. Миг – и он внизу. Ловко. Как с ледяной горки. Подвел, где нести вахту. Главный распределительный щит. Приборы, рубильники, выключатели, пусковые кнопки. Вахтенный журнал. Записывать показания и происшествия. Ушел. Дрожат усики стрелок.

Моторист у дизеля, масленка, гаечный ключ. Сел за соседний стол, голова в наушниках, стрекоза. Кричит, преодолевая шум механизмов. Заработаем копеечку. За буксировку дока премия, пять зарплат. Сияет, масляный блин.

Ничего не случилось за вахту. Сменил Бахрушин, 3-й электромеханик, в комбинезоне, из кармашка на груди выглядывает никелированная головка гаечного ключа.

После ужина на ют. Покурить. Безбрежность! Как будто из пещеры вылез. Чах там сорок лет, не видя солнца. Вот оно! Его царский уход. Венец заката. Уйдет, и останемся одни. Мы и море.

На корме кок, жердь в грязно-белом балахоне и колпаке. Тащит ведро с пищевыми отходами с камбуза. Ведрище. Выплеснул за борт. Даже не взглянув на море, шлепает прочь.

Трос протернут в ноздрю клюза. Толстый, с руку, нейлоновый. Там, поодаль, на привязи – док. Серьезное сооружение, два таких судна, как "Гермес" поместятся. Не качнется. Скользит по глади. Плавучий утес. Если наше плавание продлится десять лет, в тропических морях, то он весь

обрастет ракушками, его оплетут водоросли, он превратится в коралловый остров, на нем зазеленеют пальмы и будут прыгать обезьяны.

Койка жесткая. Не уснуть. Плеск. Плещет и плещет. Лист стали отделяет от пучины великих вод. Это не иллюминатор – это стекло водолазного шлема. Кто-то грознобровый глядит оттуда. Нептун трезубцем стучит в дверь. Четыре ночи. Без четверти. Подъем! На вахту. Масагин. Он не нянька. В другой раз сам не явлюсь, возьмет за жабры.

Все насмарку. Ночная вахта, собачья, Насос забортной воды. Срочно чинить. Забыл, чему учили. Всё забыл! Как отрезало. В мозгу пусто, черно, провал, ни проблеска. Изумленный моторист смотрит рыбьими глазами. Взревел ревун. На распредщите замигали сигнальные лампочки. Тревога! Аварийное состояние! Через минуту тут, сыпясь с трапа, все электромеханики и электрики во главе со старшим. Отключили, переключили, рубильники, кнопки. Масагин и Вахрушин – к насосу. Заработал. Сосет из-за борта морскую соль. Масагин мрачно заметил, что есть такие молодые специалисты, чье присутствие на судне равнозначно mine с взрывным устройством неизвестного типа. Тикает, тикает втихаря, и в один счастливый момент их всех утопит.

Старший электромеханик Сиверс ничего не сказал, кроме того, что пригласил на randevу, сразу, как сменюсь с вахты.

В каюте Сиверса разостлана шкура белого медведя с оскаленной пастью. Десять лет на Севере, на ледоколе. Подарок гипербореев. Переступив комингс, вынужден попить этого гордого зверя. У Сиверса просторно, так ему положено по чину, как старшему судовому начальнику. При параде. Форма моряка гражданского флота, вензеля погон, бронза пуговиц, белоснежные манжеты. "Ну, так что будем делать?" – спрашивает Сивере. На этот суровый вопрос ответить нечего. Молчание.

Сегодня утром сделал горькое открытие: забыл не только все, чему учили, забыл свое собственное имя, забыл, как зовут мою мать и моего отца, забыл все, что было до моего прибытия на "Термес". Должно быть, виной тому потрясение от случившегося на ночной вахте. Беспамятство – это болезнь. Да. Какая-то болезнь мозга. Поврежденная психика. Надо к доктору. Док – так сокращенно называют на судне доктора.

Электрики Ковалев и Гулыгин в аккумуляторной рубке, дверца настежь. Ковалев, рыжий, дылда, обезьяньи лапы ниже колен. Предлагает стакан электролита. Чистая серная кислота, неразбавленная. Сразу забуду все свои горести. Гулыгин – ухмылочка. Ташит тяжелую секцию батареи на палубу. Отвинчивает латунные пробки.

Как ни мучаю мозг, ничего не могу вспомнить. Ничего. Взмок от этих пустых усилий. Из книг, из прочитанного? Провал. Бездны. Ни аза. Взял в

судовой библиотеке по греческой мифологии. Там о Гермесе. Гермес у греков – молодой и красивый бог, вестник Зевса, глашатай его верховной власти. Это он, Гермес, присутствует при смерти человека, сопровождает тени умерших в царство мертвых, в Аид. У римлян Гермес превратился в Меркурия – бога торгашей, плутов и обманщиков. Нет, мы не торгаши. Мы – спасатели. Наше дело – бежать на SOS терпящих бедствие кораблей. Мы – ваша вера и надежда. Получив сигнал, мы вовремя придем к вам на выручку, мы успеем. Не отчаивайтесь, моряки всего мира!.. Так-то оно так. Но у нашего "Гермеса" подрезаны крылышки, прицепили гирию, тащи вокруг всей Европы...

После обеда курил на юте у противопожарного бачка с водой. Подошел Вахрушин. Приказ Сиверса: на вахту могу не спешить. Штатное перемещение: переведен в электрики под начало Ковалева. На должность 4-го электромеханика – Гулыгин. У электриков обычный восьмичасовой рабочий день и ночь для полноценного сна.

Не спится. На юте никого. "Гермес" следует своим ходом. Ночное море колышется едва-едва, сумрачная лоханка Балтики. Луна, это ее зеркальце зажигает чешуйки по морю. Горизонт чист. Где-то прилив и где-то отлив, и краб бежит за волной. Лунатик. А мостик из чешуек дрожит и рвется...

"Гермес" легко скользит по морской равнине, как будто и не обременен грузом. Желтый буксировочный огонь. За кормой маячит темная громада дока.

Утром будит радио. Музыка из оперетт. Заряд бодрости на весь день. В столовой матросы и мотористы. Водолазы отдельно, три бугра в тельняшках. На стол подает официантка, прозванная Медузой, в ней что-то рыхлое, студенистое. Видел: выходила из каюты боцмана. Боцман – атлет, горлан, курчавая борода, Геракл. С утра на палубе, по пояс голый, торс из бронзы, мощь, загар.

Живу теперь у Ковалева в его каюте. Койка вторым этажом, Ковалев внизу. А в моей поселился Гулыгин. Ковалев тут временно. Электрик – случайная профессия. Он же музыкант, ударник в оркестре. Играл в лучших ресторанах. Деньги греб лопатой. Как он одевался! Бархатный пиджак, галстук-бабочка, туфли из Ливерпуля.

"Гермес" только мостик к намеченной цели. Его заветная мечта – попасть в ресторанный оркестр на трансатлантический лайнер "Пушкин". Ему обещали. А пока, чтобы не потерять форму, упражняется у себя: в каюте на ударных инструментах, взятых о собой в плавание. Колотит по бронзовым тарелкам и барабану, пристукивая в такт каблуками и подпевая бравурную мелодию.

Завороженные звуками, всплывают из пучины обитатели морских глубин.

Седьмой день плавания. Подходим к проливам. Каттегат. Скагеррак. Датский берег. В мозгу просветление. Проблеск. Вспомнил! Это тот, кто говорил с призраком отца! Теперь буду отмечать числа. Сегодня 28 июня.

После ужина на юте собираются курильщики, сидят вокруг окрашенного суриком противопожарного бачка с водой. Травят байки. Тут у них матросский клуб. Палубная команда, водолазы, токарь, плотник, шкипер. Председатель клуба – баталер. Коротышка, пузан, азартно рассказывает, выпуча глаза и размахивая руками. Разные случаи на море и загадочные явления. Волны-убийцы, пропавшие корабли, Бермудский треугольник, голос моря.

Да. Голос моря, губитель моряков, бич Божий. Это ультразвук, который издают волны, особый их вид. От этого звука сходят с ума. Моряки, обезумев, бросаются за борт и тонут. Врет баталер или правда? "Вода, вода, кругом вода..." – разливается баян боцмана.

30 июня. Северное море. Яркий день. Боцман включил брашпиль, разматывается трос. На баке три матроса в робах шкерят ржавчину. Четвертый с ведром и кистью, его свесили на люльке за борт, ляпает суриком.

Коридор. Неяркий, подводный свет. Матовость ламп над головой, стальной блеск рифленых плит под ногами. Медуза с ведром и шваброй. Ребро, бедро, обожгло. Скрылась в каюте штурмана. Она из тех, кто зовет меня из мрака, из каждой тени, а как только приближусь – ускользает. Загадочные существа.

Пока Ковалев упражняется на своих ударных инструментах, я лежу на верхней койке и читаю: Ахилл, мать его Фетида, отец Пелей, Гектор, аргонавты.

Покачивает. Предчувствие тошноты. Гамбург, Рейкьявик, продувной рукав Ла-Манша. По правому борту Дувр, по левому – Кале. К ночи зажигаем сигнальные огни по бокам ходовой рубки: в сторону Англии – зеленый, в сторону Франции – красный.

4 июля. Сегодня днем я мог наблюдать редкое зрелище. Мимо нас по правому борту шел встречным курсом греческий танкер, ржавая калоша, нос разворочен, зияет дырища по ватерлинию, на дюйм до воды не достает. Благо – штиль. А если волнение? Греческий флот никуда не годный, самый катастрофический в мире. Как это они еще умудряются ходить в море? Говорят, один такой грек-танкер в прошлый рейс тут сгорел у них на глазах. Столб огня! Такой кострище! Погреться. Да. Спасешь их. Горящая нефть. Море горит.

6 июля. С Ковалевым ходили по судну, чинили вентиляторы, заменяли на новые. По ночам душно. Бессонница. Блуждаю по кораблю призраком.

Рубка на юте. Что я там забыл? Повернул выключатель. Что-то о треском, испугав меня, ударило о сталь переборки у моей головы. Летучая рыба! Ее соблазнил яркий свет зажженного мной фонаря в рубке. Слюда крылышек переломана. Мертвая. Отдам Ковалеву, он сделает из нее чучело. Он мастер чучел. Будет мне память.

7 июля. Бискай. Побалтывает. В этом заливе всегда штормит. Редкий день в году, когда тут тихо. Проскочим. А там – Гибралтар. Геркулесовы столбы.

К обтобу ухе порядочная качка. У нас в каюте катается, бренча, железная банка для окурков. Иллюминатор задраен, его мутное око захлестывает волной, оно то погружается в пучину, то выныривает обратно на свет божий, чтобы обозреть бурную, взлохмаченную безбрежность моря. "Мать твою в клешню!", как выражается Ковалев. Шумные водопады переливаются через шпигат. Волна тошноты. Нутро выворачивает. Для меня не открытие, что я подвержен морской болезни и не гоюсь в моряки. Даже небольшая качка для меня мучительна. А если многодневный шторм – жизнь не мила, хоть бросайся за борт.

8 июля. Вторые сутки в Бискае. Шторм растет. Если так будет продолжаться, в том же духе, то через час перерастет в ураган. Сегодня ночью я проснулся от жуткого грохота и лязга. Якорная цепь, которая обычно мирно спит, свернутая клубком в цепном ящике на носу "Гермеса" как раз над нашей с Ковалевым каютой. Шторм ее разбудил, и она беснуется, как древний мировой змей, гремя и скрежеща. Обрушивается нам на голову. Качка хаотическая, и килевая, и бортовая, закручивает восьмерками. Вцепясь в штанги, упираясь ногами, распят на койке. Как там Ковалев? Не с ума ли он спятил? Ковалев в пиджаке алого бархата, бабочка-галстук, эквилибристски удерживая равновесие, наявливает по своим барабанам, барабанчикам и тарелкам. Шторм его вдохновил. Или он магической силой музыки заклинает демонов бури?

Усмирит и загонит в клетку, Орфей, рыжий укротитель стихий.

У Ковалева сломалась палочка и ему пришлось прекратить свой героический концерт. И тут рывкнуло радиовещание: "Аврал! Все наверх!" Коридор, трап, бег с препятствиями. Узнаем: оторвало док! Ночью. Рулевой проморгал. На обратный курс. Иголку в стоге. Ходовой мостик. Капитан бледней пены. Первому, кто увидит – премия.

К полудню нашли. Качается, Ванька-встанька. Кто смелый? Добровольцы – вперед! Ковалев шагнул. Он так и не снял свой алый

бархатный пиджак и посреди матросских роб выглядел эксцентрично. Я шагнул за ним. Машинально, бездумно. Если что меня и заботило, так это страх, что меня сейчас выблюет на палубу. Спустить катер. Погнуло винт. Шлюпку. По штормтрапу. Раскачивается. Лови ступеньку. За весла. Старпом, боцман. Боремся с волнами. Солнце в зените, жжет головы. Подгребли. Док вверх, мы – вниз. Док вниз, мы – вверх. Боцман на носу шлюпки приготовился к прыжку. Подняло волной – и боцман там, на доке. Новая волна — там и Ковалев, перелетел на крыльях своего пламенного пиджака. Трижды кидали им запасной буксировочный трос с шлюпки. На третий раз они поймали. Продели в клюз, закрепили восьмеркой на двух кнехтах.

Когда вернулись на судно, то обнаружили, что обгорели на жгучем солнце. Лицо, шея, руки, грудь, все, что открыто – красное, как ошпаренное. Ожог.

Очередь к доктору. В голове черно и пусто, как в выжженном доме. Едва держусь на ногах. "Да у тебя жар!" – говорит доктор. "Температура сорок. Тебе надо лежать, а не болтаться по кораблю". Станный он, доктор. Не понимает. Нельзя мне лежать. Такая ночь – единственная в году. Надо бежать. Все бегут. Беженцы. "Гермес" чайкой по морю, вестник. "Двадцать второй! Двадцать второй!" – передает радист. "Приказано спастись!" Узлы, мешки, чемоданы, котомки, эшелоны, товарняки, телеги, лодки, пароходы, паромы. Брестская крепость, Иван Купала, жгут костры, черные кресты, полет Валькирий.

Блокада. Мать моя умирает в доме на проспекте Обуховской обороны. Отец в горящем танке. Незалеченные раны. Его тост: "За тех, кто в море!" Это отец хотел, чтобы я стал моряком. Отец, отец, хорошо ли тебе лежать на горе под кленами, под той пирамидкой с ржавой звездой?

СУЗДАЛЬ

Я в Суздале, гостиница. Вид из окна – широкий луг с мелкой травкой, домики на косогоре. Июль, жара. Суздаль тихий. Два раза купался в Каменке. Бродил по улочкам. Церковки в садах. Огороды, деревья, трава, поля. Кремль в «лесгах», реставрация купола. Купол синий в золотых звездах. Устал. Ох, и жара! Утром прогулка. Иду у большущей стены, красно-беловатой, известка с кирпичей сыплется, Спасо-Ефимьевский монастырь. А внизу, за Каменкой – Покровский с зелеными главками. Был в Спасо-Ефимьевском, ослепил, такой белый! Древние русские книги. Евангелие царевны Софьи, огромная метровая книга в серебряном окладе. Буковки, заставки, орнаменты. Небо синее-синее, до боли в глазах. Стрижи носятся с визгом-звоном. Везде художники с мольбертами, рисуют храмы. Пошел по берегу Каменки, там еще церкви. Вышел к Кремлю, Успенский собор, фрески, 16 век. Золотые ворота. Иконостас, школа Ушакова. Темные лики в нимбах. Как раз началась гроза, грохот грома, ливень, град. Вышел. После дождя трава – как пахнет! Искупался. Сижу на скамейке под тополями у кремлевского вала, облака, стрижи.

На другой день – ветер. Мимо Александровского монастыря. Позавтракал в столовой. Стою на валу у Торговых рядов. Какой вид! Колокольня Никольской церкви, беленькая. На Старой улице – колокольня Антипьевской церкви, разноцветная, дудкой. Ильинская церковь на Ивановой горе. Шел обратно через Каменку по деревянному мостику, навстречу девочка лет тринадцати на велосипеде. Как-то я на нее так посмотрел, и она в ответ взглянула, словно мой взгляд произвел магнетическое действие, задела меня сумкой с продуктами, соскочила с велосипеда, уронила сумку в воду, выхватила: «Ох, хлеб промок!». И даже заплакала от горя. Пообедал в столовой. Пошел искать Кидекшу, по пути посмотрел Васильевский монастырь. Кидекшу не нашел, а вышел к какой-то заброшенной пустой церкви прошлого века, внутри кирпич, коровьи лепехи. Началась гроза, дождь. А вид с этого высокого берега Каменки дивный – весь Суздаль на ладони, и Кремль, и соборы, и все купола, и домики с красными, плоскими крышами, в зелени садов. А тут луга, поле, стадо коров, пастух. Прячусь от грозы в арке пустого храма на холме, ветер продувает насквозь. После грозы добрался до Покровского монастыря, там, внутри, на монастырском дворе избы-гостиницы. А как хорош в закате Александровский монастырь, отсюда, снизу, за Каменкой! А церковь вверх, на горе, белая, купола-луковки черные с золотыми крестами, горящие в закате. Устал, еле доплелся до гостиницы.

Весь день тучи, темные, сизые, мерзну в своей куртешке. Выпив крепкого чая, иду по деревянному мостику через Каменку, по лугу, к Кремлю. Как раз в колокол звонили двенадцать ударов. Собор Рождества Богородицы. На дворе коляска и белый конь красавец, дуга с серебряными колокольчиками. Сбруя, узорная уздечка. Кучер, в шапочке, в черном жилете, брюки в обтяжку, загорелое лицо, кудри с сединой. Длинноногая блондинка туристка в розовом его завлекала, улыбаясь, что-то говорила. Кучер ее подсадил, конь потрусил, коляска покатила. Смешные львы на витых каменных колонках. Изразцы на Святых воротах Ризоположенского монастыря, цветочки-колокольчики, птица Сирин. Никольская колокольня, как девушка. По улице Ленина – до Знаменской церкви. Там когда-то был женский Введенский монастырь, сожгли татары. Дошел, наконец, до Кидекши, километра четыре. В Кидекше деревянные домики – чудо резьбы. Весь домик – кружево! На берегу реки Нерль – собор Бориса и Глеба. Старый храм, колокольня накренилась. Здесь жил Юрий Долгорукий. Вид с высокого берега – луга, поля в дымке, изумруд-бархат. Даль-простор, ширь русская. Храмы, как грибы, торчат своими шляпками-куполами.

Семь утра, петухи поют. Автобус во Владимир. Дмитриевский монастырь, нарядный, светлый, загляденье. А вид с холма! О, просторы! Далеко, далеко видно – поля, леса. А Успенский собор!.. Вот и солнце выглянуло. Небо голубое, облака плывут, тепло. Хорош этот известняк, белый, благородный камень. Какая резьба! Кружево, а не резьба! В Успенском, наконец, увидел фрески Рублева. Освещение плохое, в соборе темно, фрески блеклые. В Боголюбове на автобусе. Дальше пешком полчаса, кругом трава, цветы полевые пахнут, качаются. Солнышко светит, я иду, в курточке, в летних брюках. А вот и ты, моя радость! Храм Покрова на Нерли. Заводь тихая, кувшинки. Храм в воздухе, легком, закатном, сквозь облачка, так весь и светится, летит. Изящный, не широк в плечах, как Дмитриевский собор. Этот – березка в поле. Тихо-тихо, ни звука. Отражение в воде колеблется на вечерней ряби.

Пух с тополей летит, летит. Торговый ряд, толпы туристов. Цветы, бабочки, стрижи. У Кремля на лужайке гуляет свадьба, с гармонью, вскриками, свистами. Пахнут масляные краски на холстах у художников. Опять брожу по Суздалью, на другой край. Как тут тихо! Петухи поют. Искупался. Сажу на валу перед Ильинским лугом. После обеда – музей древнерусской живописи. Беленая палата с невысоким потолком, маленькие окна в решетках, сквозь них зеленоватый свет от деревьев в саду. Иконы. Богоматерь Смоленская. Вернулся в гостиницу. В номере

новый сосед, водитель туристского автобуса. Тоже на одну ночь, как и предыдущий. Этот совсем простой, из Иванова. Предложил выпить, я отказался. А три дня назад ко мне парочку подселили, молодожены, так я из-за них всю ночь не спал. К Никольской башне. Посадский домик 17 века, медная и оловянная посуда, кованые сундуки, лубочные картинки, иконы. Ветер шумит. Опять дождь. В Спасо-Ефимьевском монастыре позванивают маленькие колокола, это ветер их качает.

К вечеру ветер усилился. Солнце выглянуло из-за туч над горизонтом, стена Покровского монастыря закатно-розово загорелась. Сегодня ко мне в номер никого не подселили, я один. Читаю «Житие Авраама Смоленского». Завтра уезжать. Прощай, Суздаль.

ТЕТУШКА

Первый день отпуска. Автобусный вокзал на Обводном канале за Новокаменным мостом. Еду в Алексеевку, псковскую деревню, к тетушке Александре Федоровне. Приехал. Поля, лес, осень, холодно, летят желтые листья с берез. Тетушка маленькая, в ватничке, копает картошку на огороде. Обнялись, расцеловались. Выпили самогону за встречу. Сажу на полу у печи, глядя на огонь; весело трещат березовые поленца. За окном заря, простор.

Проснулся. Мглисто. С тетушкой копали картошку; огород большой, одной трудно, вовремя я приехал. Вечером стопили баньку. Такая радость! Вороны летят в темном сентябрьском небе, крылья поскрипывают. Тишина. Лес, жнивье, все желтое. Сажу у печки перед огнем, пишу.

На другой день туман, воробышки на проводах. Яблоня в саду с красными яблоками, как в бусах. Петух, куры. Пошли с тетушкой в лес за грибами, набрали полные корзины подосиновиков. С берез летят желтые кружочки, пахнет багульников. К середине дня туман разошелся, солнце выглянуло, тепло. Гулял в рубашке, в поле стога.

Проснулся поздно. Темно, тучи, моросит. Весь день дома, читаю, пишу.

Сегодня опять туман. По пояс голый умывался на дворе. Куры бродят. Набрал воды из колодца, колодец старый, с «журавлем», ведро ржавое. Опять пошли в лес, набрали подосиновиков и брусники.

Ночью вышел на двор. Бесшумно пролетел у меня над головой темный силуэт какой-то большой птицы. Может, филин.

Все тот же густой туман, как молоко, в двух шагах ничего не видно, запаха влаги. Умывался на дворе холодной водой из колодца. Бодрость, свежесть.

На болото, набрали брусники. На велосипеде прокатился до соседней деревни Жабинцы, там магазин, привез хлеба. Тепло, хоть купайся. Ночью, в полной темноте, брал воду из колодца, колодец глубокий. Окна нашей избы светят, да еще в конце деревни – там две столетних старухи живут. Остальные избы темные, покинуты, заколочены, только на лето кое-кто приезжают из города.

Сегодня суббота, стопили баню, попарился вволю. Хорошо! Вдали за полем лес в голубой дымке.

Понедельник. Тихий, теплый дождик. Сажу у окна, на подоконнике стакан с васильками, вчера нарвал в поле. Скошенный луг, буро-зеленая земля в буграх, ходит человек с лошастью; два пастуха в кепках, в брезентовых плащах до пят, с кнутами, гонят стадо мокрых, черных коров.

Событие. К тетушке приехали на «запорожце» родственники: дочь Лида с мужем и двумя детьми. Лида рослая, широколицая, задорная, голос громкий. Муж мрачный, в элегантном светлом костюме. Дети, мальчик и девочка, бегают с криком, визгом. Ночью спали все в одной комнате, храпели, я не выспался. Они приехали на неделю. Комната большая, четыре кровати по стенам. Тетушка на лежанке на русской печи. Веселая у меня перспектива бессонных ночей! Есть еще старый диван на кухне, попробую на нем.

Окна в испарине, прохладно. Родственники уехали, раньше, чем планировали. Тетушка повела меня на могилку к Петру Степановичу. Сосновый островок на бугре посреди поля. Нежно-зеленая озимь, пасмурно, синички что-то клюют, перелетая с ветки на ветку.

Сочинил балладу на деревенскую тему, сюжет тетушка рассказала. Кажется, неплохо получилось. Тучи. Письма от жены нет. Или что-то случилось, или не хочет писать, не до меня.

Воскресенье, темно, холодно, дождь. В печке пылают поленья. Прочитал тетушке свою балладу, она очень удивилась, как это у меня так складно выходит: так слова как слова, а тут получается до того красивое, хоть плачь. Она и на самом деле заплакала. Вот эта баллада:

В селе

Светились в холоде топоры.

Готовы хоромы коровам!

Снег пах кусками сосны.

А запад стал, как медь, красен.

Плескался в гранях стаканов спирт,
брызгали громкие рты слюною –
за здоровье тучных буренок
и за искусство топора!

Смеялись глаза блеском масла.

Только один стал зол и трезв.

За темное слово о жене

Он в кума кидает нож.

Перо ножа в стене трепетало.

Буяна стиснули десять рук.

Он стонал слюной, как теленок.

А я из дома шагнул в ночь.

В тишине и темноте

Сияли рога лунной коровы,

И село утопало

В волнах молока.

По вечерам читаю тетушке книгу Фрезера «Золотая ветвь». Я эту книгу специально с собой взял, чтобы здесь читать, в деревне. Там есть о русских обрядах, о ведьмах, о злых духах. Тетушка ахала: «Ахти, всё ведь правда! Так всё и было раньше у нас в деревнях, такие обряды справляли!»

Пилили с тетушкой дрова двуручной пилой. Наконец-то письмо от жены. Я в ватнике шел от реки с двумя полными ведрами, вижу, на велосипеде, в сапогах, почтальонша. Сбегал в лес, корзина подосиновиков каждый день. Вечером баня, напарился. Иду через луг, кругом поля, лес, огромное, страшное небо, мрачно-фиолетовые великаны туч. Качаются на ветру высокие бурые стебли. Солнце на закате.

Погода переменялась. Ураганный ветер. По радио передали: в Ленинграде наводнение. Я в старом ватнике, пишу при свете огня из печи. Ночи звездные, яркая луна.

А сегодня ударила буря с градом, такой лавиной, что неба не видно. Град крупный, горошинами, боялись, стекла в окнах разобьет. Опять солнце и ветер. Темнеет, небо чистое, но на западе по всему горизонту громады страшных фиолетовых туч. Ночь, на дворе чернота, ветер.

Вот уже и октябрь. Первый заморозок, трава белая. В доме холодно, поставили вторые рамы. Заболела свинка Маруся, и тетушка с ней возится с утра до вечера. По утрам все еще моюсь по пояс голый на дворе.

Холодно, хандра, голова болит. Все еще хожу в лес и приношу грибы. Завывает ветер.

Тучи. Таскал на огород торф с навозом, разбрасывал совковой лопатой. Ветер свистит.

Сегодня тихо, чудесный денек, солнце, золотые леса. Журавли курлычут высоко в чистом небе, так высоко, что и не видно. Пилили с тетушкой двуручной пилой дрова у бани. На велосипеде в магазин за хлебом, там толпа, одни бабы, все в ватниках, разговаривают громкими голосами, горланят, матерщина. Такой матерщины я и у мужиков не слышал.

Солнце закатилось, пишу у окна, тетушка затопляет печь. Пришла соседка, язык у нее – на три версты! Вот наказание! Не вытерпел, ушел на двор. Колот дрова у бани, пока не стемнело. Звезды. Долго стоял, задрал голову. А тишина тут! В ушах звенит!

Пошел в лес, красиво, золото берез. Принес корзину грибов. Настоял водку на травах, цвет янтаря. Выпили с тетушкой за обедом. У лампы под потолком шумят мухи. Придется уезжать не в понедельник, как я собирался, а во вторник, тетушке надо на рынок за цыплятами, так, чтоб вместе.

Ночью был дождь, сыро, тепло. Умывался на дворе, ковшом зачерпывая из ведра. В печи горят дровешки, жарятся на сковороде грибы с картошкой. Выпили за то, за сё. Сегодня День конституции. А еще день святого Никандра.

Ходили с тетушкой за грибами. Дождь.

Стопили баню, последний раз перед моим отъездом. Полтора часа парился. Славно! Долго лежал на лавочке, глядя в банное мутное оконце с трещинкой: бурый луг, лес вдали, дождь шумит по крыше у меня над головой.

Собираю рюкзак, везу бруснику, грибы, сушеные, соленые.

Встали затемно, в половине шестого. На дворе заморозок, только-только начинает светать. Небо еще в звездах, Венера ярко горит, свежая румяная заря за березами, поля в морозной дымке. Шел с тяжелым рюкзаком на спине вслед за тетушкой и несколько раз оглядывался на дом. Взобрались в кузов трактора, на солому с сеном, человек десять, и трактор покатиł среди полей в голубом морозце. Деревни, дворы, засыпанные красным кленовым листом, петухи, куры, собаки, огороды.

В Цапельках (большое село у шоссе) мы с тетушкой распрощались, обнялись, расцеловались. Тетушка всплакнула, в платочке, в ватничке, нос картофелькой, покраснел от холода. Что ж я так мало погостил у нее. Уехала на тракторе дальше с большой корзиной покупать цыплят в Красных Стругах. Подошел мой автобус на Питер. В автобусе я согрелся и стал дремать. Перед моими глазами все стояла тетушка, ее маленькое курносое лицо, сморщенное, замерзшее. Мне сделалось грустно. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

ТО ЛЕТО

В конце мая вернулся из дальнего плавания, отпуск на все лето. Мне двадцать семь. А ей девятнадцать. Она ровесница моей сестры, школьная подруга. Год как школу закончили. Сестра моя рано вышла замуж, в восемнадцать лет; когда я вернулся из плавания, у нее родилась дочь. Я новорожденную полюбил. Как только начинала плакать, брал на руки и носил по комнате, баюкая, и она в моих руках успокаивалась. А та, о ком этот рассказ, увидев, как я ношу на руках младенца и укачиваю, спросила: наверное, я очень люблю мою племянницу? «Да, люблю» – подтвердил я. Она тогда часто навещала мою сестру. От сестры я узнал, что у нее есть жених, тоже моряк, и она собирается выйти за него замуж. Уже все решено, вернется осенью из плавания и – свадьба. А сейчас она скучает, одна. И я один. Почему бы мне не развлечься. Сестра призналась: «А ты ей сразу понравился. Решила, что ты еще совсем мальчик, лет шестнадцать, мой младший брат». И правда, я очень молодо выглядел, на лет десять моложе моего возраста. И вот сестра сообщила, что ее подруга будет ждать меня сегодня вечером в семь часов у озера на мостках. Хочет, чтобы я покатал ее на лодке. Это ее собственная лодка, только вот весла тяжелые, не для девичьих рук.

Вечером я пошел к озеру. Это было мое первое свидание. Первое в жизни! Что-то я читал в тот день. Да, Баратынского, потрепанный томик из поселковой библиотеки. Подошел к мосткам ровно в семь. Она уже ждала меня там. В легком платье, голые руки и ноги. Лицо тревожное, с каким-то трагическим выражением. На мостках лежат два весла. Лодка привязана, цепь обвила сваю железной змеей, на цепи замок. Катались мы долго. Солнце зашло. Но светло, июнь, белые ночи. Не помню, о чем говорили. Может быть, я рассказывал разные морские истории, травил байки. Хотя и не мастер я на длинные речи. Свежо, ветерок с озера. Говорит, замерзла. Не будет возражать, если я поведу себя посмелей и обниму ее, и мы тут еще немного на мостках постоим, а то домой так рано не хочется. Что дома делать? С тоски помирать? А если обниматься, так уж и целоваться. Вот мы и целовались. Она-то в этом деле уже опытная, сразу видно. А я впервые обнимаю и целую женщину. Назначила встречу на завтра, в тот же час, на этом же месте.

Так мы с ней и встречались все лето в разных местах: то у озера, то в парке, то у совхозных полей за школой под склоном холма. А чаще всего она назначала мне свидание в конце глухого переулочка у железной дороги под насыпью в зарослях высокой травы, где нас никто не мог видеть. Ведь

наши встречи были тайные, о них никто в поселке не должен был знать. Потому что у нее есть жених, и она ждет его из плавания, и осенью, как только он вернется, сыграют свадьбу, и она станет его женой... И вот я спешил к ней на свидание по тому безлюдному переулку в поздний час, к той насыпи у железной дороги. А она всегда приходила раньше и уже ждала меня, нервно обрывая траву и кидая камешки гравия, скатившиеся с насыпи. И опять я видел ее коротко остриженные волосы, почти белые, словно выжженные, челку, лезущую на глаза. Шальные-шалые, бедовые эти глаза. И мы целовались, и больше ничего. Мы даже почти не разговаривали. А вечера становились все темней, все холодней. А мы целовались все жарче, все ненасытней.

А однажды я проспал наше свидание. Да, умудрился позабыть о нем. Позабыл начисто. К сестре пришли гости, сели за стол, выпивали. Сестра выгнала меня из моей комнаты, моей норы, где я уединился. Пришлось участвовать в их веселье. Потом я прилег отдохнуть. А когда проснулся посреди ночи, тогда только и вспомнил. Ох и скандал! Ну, скажите, как жить с такой дырявой памятью? Тогда мы из-за этого чуть было не расстались. Она меня знать больше не желает. Три дня мы не виделись. На четвертый день сама пришла к нам в дом, показать сестре новые туфли, и мы помирились.

Все-таки лето кончилось, это сумасшедшее наше лето. И наступила осень. Что же, надо было трезво взглянуть на вещи. Я собирался опять в море, а ее жених вот-вот должен был вернуться из плавания. В последний день перед моим отъездом, она хмуро спросила меня, как я ей посоветую, она вот в сомнении, колеблется, как ей быть. Не отменить ли эту свадьбу? А я что-то ей ответил. Что-то ведь я ей ответил.

Через несколько лет я опять ее увидел. Пришла навестить мою сестру. Серьги с бриллиантом, яркая помада. Яркая, как кровь. Замужем за своим моряком, капитан торгового судна.

В тот день у сестры был семейный праздник, день рождения моей племянницы. О, она уже стала большая! На руки не поднять, как прежде. Проветриться, согнать хмель. По пустынному переулку, до железнодорожной насыпи. Шел и думал: вот сейчас увижу ее, она уже давно ждет меня там, в зарослях пожухлой осенней травы, ждет в тревоге, легко одетая, худенькая, белобрысая, дрожа от нетерпения, как тогда.

ПЛАЧЕВНЫЕ УЗОРЫ

Начало было так далеко...

Борис Пастернак

Утром бегу на поезд, стоит на платформе, прислоняясь спиной к перилам; толпа нас смешала; бесчувственность, мелькание столбов, тростник, оловянный блеск озера. Тяжелый год, побег с морей, веревка на шее, пыльный чердак, балка, плачущая мать на коленях передо мной: «Сынок, что ж ты со мной делаешь?» Поиски работы, и вот устроился на этот завод. Каждый день по вечерам стою на голове десять минут. Стойка йога. Богослужение в Никольском соборе, трепет свечек, пенье, старушки, сморщенные, сгорбленные. Бежали на лыжах 5 км., в поле около завода, нормы ГТО. Светло. Зима кончилась. Птичий щебет и свист, снега уже почти нет, лужи. Физически чувствую, как набухают сучья в почках, как в березах начинает бродить сок. На заводе праздновали 8 марта; в отделе столы, технический спирт в колбочках. Новые знакомства, Юра Новиков. У него выбиты все зубы, вставлены железные. В армии, венгерские дела. Малый Оперный на площади Искусств, «Русалка» Даргомыжского, рыжие, белокожие, пляшут, шабаш на Лысой горе. Просыпаюсь, открываю форточку: свежесть мартовской ночи, пенье ручьев на дороге, музыка воды. Еду в Ригу, будь, что будет. Водила по всем своим друзьям, везде угощение, выпивка, она всегда пьяная, спадал чулок, материлась. Май, сухой асфальт, чистые улицы, там, в Риге уже всю зеленели деревья. Рига снится, наши путешествия по всему городу (уходили рано и возвращались поздно ночью, потихоньку пробирались в ее комнату, чтобы ее мать нас не видела и не ругалась), по гостям весь день, какие-то дворы, закоулки, застолья, ночью ее большая, темная комната, громадная кровать, на которой мы с ней спали. Плотные, пыльные, всегда задвинутые шторы. Июнь, продолжаю физические упражнения; утром бег, в парке, по горе. Разгоряченный, пью из родника на склоне, пригоршню, ключевая водичка, ломит зубы. Цветут клены, гул пчел, воздух густой, как мед. Надо мной Гора, мне надо подняться на вершину, там, с высоты я увижу мир, весь мир. Цветут вишни и яблони. Белопенные сады. Опять бегал в парке, по горам. Поставил себе цель: взобраться на эту Гору, быть на вершине. Упорство сокрушит все преграды. Черепаша, которой надо так долго-долго ползти к цели, на вершину этой Горы.

Допустил две ошибки на работе: 1. Не упаковал лампы для отправки. 2. Плохо отломил лист оргстекла для Зиновьева (начальник отдела). Невнимательность, небрежность, нетерпеливость. Семь раз отмерь, один

– отрежь. Июль. Приехала в пятницу, купались в озере. Замужняя, муж в командировке. Ей скучно, ищет развлечений. Крупная, белокожая, откровенно рассказывает о себе вплоть до интимностей. Замерзла после купания, дрожит, трясется всем телом. Сидели на скамейке на платформе, обнял, чтобы согреть, прижал к себе, стал целовать, губы у нее холодные, мягкие, безвольные. Молчит, плачет, слезы текут по щекам, текут и текут. Утешал ее, долго так сидели, и я все обнимал ее, прижав к себе. Она словно оцепенела. Электрички подходили и уходили, и мы много их пропустили. Началась гроза, гром, молнии, ливень хлестал. Пережидали внутри вокзала. И опять она плакала, а я все утешал ее. Дождь стих, и она все-таки уехала. После работы встретились на автобусной остановке. В магазин, купил бутылку водки. Привела к себе домой, боялась, чтобы соседи не увидели. Муж в командировке на месяц. Сначала она одна поднялась по лестнице к своей квартире на третий этаж (я ждал, прячась за кустами перед ее домом). Убедился, что никого нет, поднялся и я; она, приоткрыв дверь, глядела в щелку. Выпили. Рассказала всю свою жизнь, показывала фотографии, в том числе, где она совсем голая в какой-то комнате. Уже поздно, за окном темно. От выпивки ее сильно развело, лежали на ее широкой семейной кровати, и я ее тщетно уговаривал. Нет, нет, на ночь она меня не оставит, зря надеюсь, просто ей скучно и не хотелось быть одной. Вытолкала за дверь. Поезда уже не ходят, шел по шпалам; заря загоралась, рельсы – розовые змеи. Добрался до дома и свалился спать, как убитый. Еду в командировку на Западную Украину, душный вагон. Приехал рано утром, захолустный городок, сушь, пыль, тополя. Нашел их заводик, хохлячки, говорливые, белозубые. Передал ящик со стеклышками, которые им привез. Юра Киркилевич, еврейский юноша, высокий, прыщатый, в пиджачке, руководит литкружком на заводе, уже печатает где-то свои рассказы, да как будто и целую книгу написал. Говорят: талант. Стихи у него туманные и непонятные. Но есть ритм. Всё – ритм, весь мир, все колеблется, все началось с бегущих волн. Сентябрь. Едем в колхоз на неделю, весь отдел. Устроились, живем в палатках, ночи теплые, днем солнце, жарко. Огромные поля, огромное небо, река Луга. Работу кончаем поздно, в восемь, купаемся в реке. Каждый вечер сидим у костра, водка, танцы. Гулянье до рассвета. Странная, озорная, смеялась, вырывалась из рук. День опять жаркий. Ходим за трактором по взрытой борозде, собираем картошку в ящики. Картошка крупная, сухая, борозды бесконечные, до горизонта. Опушка леса, береза уже осенняя, с желтыми прядями и с нее слетают желтые кружочки. Сажу на камне, приятная усталость в теле. Ждем, когда привезут обед.

Вчера в десятом часу утра пришел Володя. Не виделись три года. Сильно изменился, заматерел, плотнотелый, мощный, лицо широкое, твердый подбородок, взгляд тяжелый, звериный. Волк Ларсен. В лёгной

форме, фуражка, лейтенант. Принес бутылку шампанского под мышкой. Рассказывал про свои подвиги, пьянки, драки, сколько челюстей сломал. Все те же джеклондонские истории. Поздно вечером в темноте пошел его провожать. Он вступил в тамбур вагона, поезд резко тронулся, он стукнулся головой о стенку и охнул. Выражение лица у него было такое простое, по-детски изумленное, жалобное, что у меня сжалось в груди, я побежал по платформе, схватил его за руку, говоря: «Володя! Володя!...». И поезд ушел. В воскресенье позвонил В. Поехали в Пушкин, гуляли в парке. Чудесный осенний день, солнечно, прохладно, шорох листьев под ногами. Багрец и золото, очей очарование. Разговор не клеился, затяжные паузы, молчанье. Скрытность. Зима, снег, метель. Много промахов. Жить монахом? Голова светлая, и прояснился темный ум. Карусель, море снится, шторм, качка. Просыпаюсь в ужасе, я здесь, на твердой земле, на своей кровати, а не на корабельной койке, подо мной надежная твердь, а не морская хлябь. Новый год встречал в Таллине, в номере гостиницы, один, бутылка рислинга. Органная музыка в соборе. Январь, ДК им. Цурюпы, хожу сюда с прошлого года. Поэт С., ему тридцать семь, стройный, тонкий, изящный, в свитере, черные, волнистые волосы до плеч. Читал свои стихи, стоя за столом, держа перед собой лист в трясущейся руке; прочитав, выпустил лист из пальцев, и он бумажной птицей слетел на пол. Задавали вопросы, поэт, закулив, отвечал. Снилось свое лицо, какое-то неизвестное еще, невиданное. Работаю на новом месте, в архиве. Близко моим гуманитарным склонностям. Платят гроши. Сегодня отправили на субботник в Новодевичий монастырь, там филиал архива, перекладывали коробки и папки. Вековая пыль. Разговоры о монашеской схиме, весело, смеялись. Рыжая, веснушки, 18 лет. На остановке трамвая, ветер, рыжие, длинные жгуты волос крутило, швыряло. Окрыленность. Молодая, ярко-зеленая листва тополей над нами. В трамвае по Московскому проспекту до Обводного. Стихотворение Парни: что женщина не признается первой в любви мужчине. К чему это она? Июнь. На воинских сборах в Кронштадте. Сiju на койке в казарме и думаю: что же дальше? Душный класс, схема подводной лодки, начинка торпед, скука. Кончается четвертая неделя моей каторги. Вечером гуляю один по набережной, смотрю с тоской на залив. Ни с кем тут не сдружился. Говорят, человек – существо социальное. Поэтому одинокий человек несчастен. Не знаю. Что касается меня, то все как раз наоборот: я чувствую себя счастливым только в одиночестве. И так было всегда, сколько себя помню, с первого проблеска сознания, кажется, с самого младенчества. Во всяком случае, в четырехлетнем возрасте очень хорошо помню это острое ощущение счастья – что я один, в саду перед нашим домом, никого нет, и мамы нет, и я в полной уверенности, что никто не нарушит моего блаженного одиночества, и я могу играть в свои игры, во что хочу и как хочу. Так

было и в школе, я всегда всех сторонился, чуждался, меня и прозвали: рак-отшельник. Мы, трое морских офицеров, идем по нагретому солнцем, дощатому пирсу. Парадная форма по случаю праздника Военно-морского флота, белоснежные кителя, бронза пуговиц, погон, кокард. Вот мы уже на пароме, стоим у борта, удаляются серые бревна свай с пляшущими на них бликами. Женщина на пирсе машет рукой кому-то из нас. Кому? Ясно, не мне. В мутно-желтой воде плывет тень парома, борт, наши фигуры. Мои попутчики разговаривают, но я занят другим: я смотрю вдаль, в этот морской простор, туда, в безграничность, в безбрежность, там исчезают все преграды, все препоны. И дальше за горизонтом – только море, море и море... Но вот наш короткий рейс кончается. Блеск воды, город Ломоносов, причал. Моих попутчиков встречают жены. Меня никто не встречает. Схожу по трапу последним. Кронштадт. Хожу один на набережную. Серые облака, тоскливо. Запах жасмина приторно-сладкий. Про меня говорят: скромный. Я никогда ничего не прошу, ничего не требую. Что само мне в руки попадет, то и беру. Это называется: что бог даст. Два типа людей: активные и пассивные. Я не активный, я – пассивный. В субботу и среду стоял вахту. Кончились эти офицерские курсы. Прощай Кронштадт и твоя скука.

Дождь весь день, приехали из Петергофа Лена, Олег, Ольга; пили вино. Мне было грустно. Где та Гора, на которую я взберусь первый в мире? Пошел в лес за грибами. Поле, облака, стога, луга, размокшая после вчерашнего дождя дорога, лужи. Август. Зачем-то один поехал на Вуоксу. Бывают у меня безумные порывы. Ночевал в лесу, на берегу, ночь теплая, под утро свежо, замерз. Сосны, восход, огромно-огненный, пылающий шар никогда не виданного солнца. Вот для чего я здесь! Приезжал Виктор, мой дядя со стороны матери, высокий, красивый, кудрявый. Спросил: «Что, все стишки пишешь? Хочешь, как Евтушенко, прославиться?».купаюсь, мостки, лодка с поблекшим голубым бортом. Вечером в полях, луна над стогами, розовая. Чувствую в себе столько силы, что хочется бежать вприпрыжку. И я бегу и вдруг выскакиваю к повороту тропинки, где осины и земля в золотых монетах. В парке после дождя пахнет палой листвой. Солнце, выглянув, вдруг зажигает эти листья на земле, как груды драгоценных камней. Сквозь голую чашу на склоне – изумруд озимого поля.

Уже год в архиве, младший архивист, сидячая, скучная работа весь день, составляю описи. Нищенские деньги, добираться на двух электричках, станция Фарфоровская, через пути – краснокирпичное здание. На обед в столовую на ул. Седова, грязь, невозможно ходить по тротуару. На платформе, ждет поезда. Сапоги на высоком каблуке, пальтецо с серыми полосками, вязаная белая шапочка, лицо в веснушках.

Подняла глаза от книги, которую читала, держа в руке, и смотрела на меня длинно и блестяще-темно. И я тоже смотрел на нее. Иду к зданию Сената. Нева струисто-оловянная, светлая. Воздух свеж, сердце бьется бодро. Читаю, Великий инквизитор, Соня Мармеладова, сны, гибкое, девичье; ночами – морозец, луна, звезды, сухо. Утром изморозь. Спешу на вокзал. Сиреневато-серебристые доски мостка. Листья каштанов на земле буро-бугристые, как морские звезды. Ходили к писателю Ласкину. У него коллекция картин, непризнанные художники, около пятидесяти холстов. Устюгов, «Флейтист». Мне двадцать девять! До сих пор не могу понять, как же это получилось, что делал, о чем думал? Заторможенность, инфантильность, – половина жизни! В этом возрасте уже мир завоевывали. А тут – затяжной сон. Опомился, оглянулся, посмотрел вокруг и – страшно!

Морозы, бесснежно. В комнате тепло. Сажу у печи, прислонясь спиной к ее горячему, круглому боку. На окнах шторы в сиреневых цветах. В кино с ней, полный зрительный зал, в темноте, весь сеанс, наши руки, сплетенные, горячие, неистовые; пальцы сжимались, извивались. Потом к ней, живет одна, недавно умерла бабушка, больше у нее никого нет. На диване, поцелуи, безумье. Сказала, что у меня сладкие губы. Это оттого, что я ел яблоко, которым она меня угостила. Сны-кошмары, карусель эта, музыка, ритмы, символы, бог, дьявол, червь, человечество, корка льда, под ней – провал, мрак, крутится воронкой... Что дальше?... Быть на гребне. Клянусь всей своей черной чернильной кровью! Встречаемся. Говорит: «Очень уж ты серьезный, надо проще». Я знаю, что мне надо. Выбираю нищету и безлюбие. Пишу поэму в четырех частях, тетраптих, называется «Океан». Боль одного – боль всех. Океан – это весь мир как одно существо, где всем больно, одна большая Боль. Встречи. Пора бы развязать этот узел. Чего я хочу? Из рамок и рамищ. Вырваться, выброситься. Струны перетянуты, вот-вот порвутся. Напряжение этого года, черный вихрь, еще не кончено. Ночь. Луна восходит над соснами, ее жуткое око, гипноз. Не убежать, какая-то мрачная связь между нами; люблю быть один, и она одна, смотрит на меня с высоты своим ледяным взглядом, маска мертвеца, отравляет мою кровь. Но я не отвожу взгляда и пересиливаю ее взгляд. Она не выдерживает и прячется за тучу. Оттепель, слякоть, пар дыхания растворяется бесследно в этом черном космосе. Муть прорывается и там страшный, закрученный клубок звезд, галактик, миров, вселенных, и как будто этот вихрь меня отрывает от земли и уносит вверх, всасывает в себя. Но нет! Я крепко стою на своих ногах, полон сил и надежд, мощен и несокрушим. Вперед, вперед!

Закрутилось, бурно, три вечера, в парадной ее дома, у батареи, прячемся от холода и людей. Взгляд изнутри, вывернуть себя и

посмотреть с изнанки, с противоположного берега, после смерти. Последнее слияние, Бетховен, девятая, обнимитесь, миллионы. Сны: нет дверей, полеты в черных, ночных сферах, иглы гигантских ежей, потом – срыв, падение в пропасть, но удержался за что-то и опять взлет... Единство сердец, колец, это кольца Сатурна, Хронос, Пожиратель; стая белокрылых людей, голых в свинцовом небе гористой планеты, я подумал, что так должны лететь души; они пели, скорбный хор, реквием, а горы вокруг росли острыми вершинами, горы и пропасти... Повестка в военкомат, двухмесячные сборы, на север, за Мурманск. Прибыли, город Полярный, мрачный городишко в сопках; голые камни, база подводных лодок. Уже шестнадцатый день тут. Погода гадкая, холод, дождь. Черные скалы, черная вода в бухте. Я старший лейтенант, командир БЧ-3, носовой торпедный отсек. Мое дело: командовать торпедной стрельбой из торпедных аппаратов. Ходили в море на три дня, воинские учения, я отличился, все мои торпеды попали в цель. Командир лодки объявил благодарность. Напишет в военкомат, чтобы мне присвоили очередное звание. Обещал в дорогу литр спирта. Нас тут четверо переподготовщиков из Ленинграда, есть из Москвы и из других городов. Сегодня забрался в сопки, там ветер, камни, ивняк, кое-где клочками зеленеет ранняя травка. Постоял над обрывом, тот берег – отвесные, мрачные скалы. Над бухтой выются чайки, их тоскливые крики. Живем на плавбазе, в кубрике шесть человек, койка к койке, безделье, весь день забивают «козла», с утра до поздней ночи, стук костяшек домино у меня в ушах, непрерывный кошмар. Три часа ночи, они все стучат. Я с книгой, дневник Стендаля (нашел в матросской библиотеке), но читать при таком грохоте и реве невозможно. Днем ухожу гулять в сопки, к бухте. Но ночью деться некуда. Кошмар продолжается. Табачный чад, домино, рев пьяных глоток, красные, искривленные азартом рожи. Вонючее железо этого, с низким потолком, узкого, как гроб, кубрика. Крысы, духота, пошлые анекдоты, споры о политике, яростные, бешеные, машут кулаками. Палуба в окурках, в пепле, в бумагах, клочках газет. Спирт из грязных стаканов. Нет сил терпеть эту пытку. Шинель, шапка, ухожу на лодку у пирса, забираюсь в свой носовой отсек, там тихо, тепло; лежать на торпедке, прикрывшись ватником... Как долго не было солнца! И вот оно, огромное, с утра – во весь иллюминатор! Беспредельная жизнь, быстро летучая, терзает меня. Скорее! Успеть что-то сделать, пока еще есть время и солнце, мое время. Я весь в будущем. В настоящем – я не у себя. Итак, эти воинские сборы окончены. Завтра улетаем. Прощай, Север, Полярный, этот проклятый богом городишко. Из Мурманска самолетом, кроме меня, еще четверо ленинградцев: Володя Реншин, Володя Петров, Исков, Марахонов. Командир лодки, как обещал, всем нам дал в дорогу по литру спирта. Больше отсюда взять нечего. Перечитал всю матросскую библиотеку.

В кинотеатре «Зеркало» Тарковского. Зрители уже через десять минут после начала сеанса вставали целыми рядами и уходили, возмущенные и оскорбленные, что им показывают такую чушь. Некоторые выкрикивали злобные ругательства. Вскоре во всем огромном зале мы остались почти одни, как в пустыне. Михаил Ромм, «И все-таки я верю». Зал переполнен, духота, как в бане, липнем к сиденьям, проблемы века. Август, утром трава в бисере капелек, как в алмазной пыли. Выходя из библиотеки, вижу новенькие «Жигули», за рулем – она. Сделала вид, что меня не замечает. Бледное, как фарфор, застывшее лицо с опущенными глазами. Я небритый, лохматый, в зеленой, вылезшей из брюк рубашке, с вечной кипой книг в руках. Были в цирке, потом шли пешком по Свердловской набережной, считали львов, обрывали листья, ели крыжовник из кулька, который я нес в руке. Вода, солнце, губы, щеки, ладони. Утром гулял в парке, великанша простерлась с вершины холма до подножия – моя тень. Чисто, хрустально, начало осени. Вдали, за озером, поля и смутно – Красное Село. Тишина, листок не шелохнется. День словно застыл в голубом блеске. Женюсь, назначен день свадьбы. За ночными, мутными стеклами – дождь, дождь, дождь, бесшумный, черный. Говорил о понимании, но меня не поняли. Хочется всепонимания. А зачем? Ходишь, ходишь по кругам своим, шелест снов, шорох антивещества, античеловечества. Зреет что-то новое, грозное, а я все еще не разберусь. Прорыть туннели, свернуть горы. Трижды отрекшийся апостол Петр распят головой вниз, не считал себя достойным быть распятым, как Христос. Снилось, читаю письма Юлия Цезаря. Но эти письма существуют только в моем воображении. Читаю, читаю, читаю, в Публичке, в метро, в электричке, дома, на работе. Скоро мне 30. И я женат. Зима, снежная, месяц в дымке. Леонид Андреев, «Иуда Искариот». Живу и пишу.

Будильник на столе, стучит, отсчитывая секунды. Время – снежная лавина, начавшая свой путь с вершины года, обвал дней. Рождество, портвейн. Вышел на улицу, снег мягкий, в небе движутся дымные льдины – небесный ледоход, открываются полыньи-окна, в них звезды, луна в пятнах, в оспе, конопатая. Как мало еще я видел, как мало жил! Леонид Андреев о войне, «Красный смех», а на войне он никогда не был. Пока я только губка – впитываю все, что вокруг, в мире, смыслы, звуки, шумы, боли. А работа моя еще не началась. Жена уже спит, не буду тревожить. В комнате пахнет елкой. Пришла поэтесса Раиса Вдовина, читала свои стихи. Задавали вопросы, Вдовина отвечала. Спросили: развивается ли искусство? Она ответила уклончиво: изменяется. Острые спирали, выюн, тянется вверх, к солнцу, к свету, в космос. «О нашей мысли водомет... но длань незримо-роковая свергает в брызгах с высоты...». Искусство – это куст Ван Гога. Это много разных растений, Флора, одни увядают,

умирают, другие появляются на смену с новой жизненной силой. Неизменна только эта жизненная сила. Ночь, не спится, с улицы какой-то ритмический гул, шипящие шаги. Найти мужество молчать, промолчать всю жизнь; пусть говорят за границей меня, говорят, говорят, заговаривают, заклинают этот хаос. Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны, кто?.. Февраль, мне тридцать, вышел, ночь, пар дыхания исчезает в черном космосе; вот и вся твоя вечность.

Слово – это не мысль. А что? Джин из бутылки? Откупориваем уста, а оттуда – о ужас! С грохотом и молнией – волшебный дух! Слово! «Зачем ты меня вызвал?» – спрашивает громовым голосом. Занятие далеко не невинное, уйти в это колесо. Весь я – переплетение чего-то мне неизвестного и непонятного, какая-то угрюмая смесь, ничего я в себе не понимаю, да и ни в ком не понимаю, да и никогда не пойму. Опять повестка из военкомата, воинские сборы на север. Поезд тащился к Мурманску 36 часов. Потом катер – в Североморск. Поместили в казарме, тусклая лампочка, тучи табачного дыма, снаружи холод. дождь. Часто думаю о самоубийстве. Малодушные, гнусно. Жену оставил беременной, пока я здесь – родит. Пишу в темноте. Беспросветность. Но что-то во мне еще есть, не могу я так вот и кончить. Казарма, за окном ночь, снег, грязь. Читаю дневники Блока. «Записки из подполья» Достоевского. Интересно у меня получается: только я о чем-нибудь подумаю, а оно уже есть в книгах. Называется: открывать Америку. Бальзак пишет: «Я должен начать шедевром или свернуть себе шею»! Пришло письмо от жены. Каждый день, от подъема до отбоя, с 6.30 до 23.00 – грохот домино, карты, пьянка, дым, гам, орет радиоприемник, песни, вопли. Проходной двор. Деться некуда, читать трудно, не сосредоточиться. Не высыпаюсь. Крути ада. Командир лодки остановил на лестнице и стал кричать, что я не хожу на подъем флага и вообще ничего не делаю. Лежу в лазарете, на койке на чистой простыне. В палате я один, смотрю в окно: сопка, у подножия в снегу качаются сухие травинки. До конца сборов еще почти месяц. Телеграмма из Ленинграда: родился сын. Теперь я отец. Купил три бутылки водки, пили в казарме из жестяных кружек, обмыли новорожденного.

Вернулся со сборов. Жена в больнице, родильный дом на Лермонтовском проспекте, хожу к ней каждый день, ношу передачи. Стою под окном, ее палата на первом этаже, разговариваем через двойное стекло, я ее не слышу, и она пишет мне в тетрадке. Смотрю на ее крупную голову, бледное лицо, полные руки с темными волосинками. Все те же сны: упорный муравей, лезу, срываюсь, падаю, встаю, опять лезу. И во что бы то не стало залезу на эту Гору. Дождь, облака, солнце, тепло, позвонила, соскучилась. Не поехать ли в Крым? На платформе жду электричку. Самолет взлетел с аэродрома, рядом, за полем, серебристое, крылатое

тело. На противоположной платформе девушка вертит в руке цветной зонтик. Мужчина в темном щеголеватом костюме, грудь колесом, ходит туда-сюда, как маятник. Опять дождь, женщины в босоножках, странно и смертно. Если я умру от старости, то, может быть, в 70 лет, значит, осталось чуть больше половины. В Крыму холодно. Из Симферополя в Алушту на автобусе, среди гор. Туман, пирамидальные тополя. На катере вдоль побережья. В поселке на берегу нашли беленькую хатку-мазанку, завешанную виноградными лозами. Комната 5 рублей в сутки. В горы на автобусе, шофер гнал с бешеной скоростью, казалось, вот-вот свалимся в пропасть. Приехали, водопад Джур-джур, жидкие, седые волосы льются со скалы, холодом от них веет. По склонам буковый и грабовый лес, буки – коряво-узловатые, чудища-драконы. Предложил обойти водопад сверху. По крутому склону узенькая, чуть заметная тропка, ноги скользят на камнях. Последний день, катятся с шумом тяжелые кувшины-волны. Бурые водоросли на берегу пахнут йодом.

Переполненный вагон, дурманный запах багульника с болота в раскрытую форточку. Приехал поздно ночью, темно, уже спят, стучал в окно, занавеска раздвинулась, лицо. Пошли ночью купаться в озере. Вода теплая-теплая, черная, торфяная, страшная, лилии и луна.

Снег выпал. На Дворцовой площади маршируют солдатики в шинелях, готовятся к параду. Один на своей вершине, на вершине себя. Ищи-свищи его, этот ледяной, горный ветер вершин; что-то во мне брезжит, какая-то заноза, жизнью я не дорожу. А чем дорожу? Своим сознанием? Говорят, еще есть подсознание. Не знаю, что это за зверь, я его никогда не видел. Декабрь, еще один, новенькие обручальные кольца, переплавленные из золота наших прежних супружеств. В рюмочной за стойкой по 150 грамм водки – обмыли колечки. Бутерброды с килькой. Вышли – снег, густой-густой, мокрые хлопья, Мойка в снегу, лиловый Исаакий. Оттепель, вечером поехали на Елагин остров. В темноте, скучное серое здание с обшарпанными колоннами, лужи, лед на ступенях, мраморные львы играют в мяч, сырой снег. В Никольский собор, обручение, как решили; потом на Балтийский вокзал, загород, катались на санках с горы. Вечером, в темноте, прогуляться, нашли нашу ель. Зимняя молния. Расстелил пальто на снегу. Вижу живые картинки внутри слов, какие-то цветные узоры, очарованную даль. «Тут посетили меня рифмы, и я думал стихами». «У Пушкина не чувствуется стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер; чувствуется, что иначе нельзя сказать... У Пушкина чаще всего раскрыты, утаены наиболее эффективные формальные ухищрения». «Весь образ, возникающий в творческом калейдоскопе, зависит от неуловимых случайностей, результатом которых бывает удача или неудача». «Наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». Пушкин, Лев Толстой, Фет, Баратынский. Плачевные узоры.

Молочная столовая на Обводном канале. Теснота, чад, серая вермишель с котлетой. Вошли два старика, один – точильщик ножей, в кожаном фартуке поверх халата, положил на стол три остро отточенных тесака, как римские мечи. Усадил своего товарища, сам в раздаточную. Принес тарелку супа и плов, поставил перед ним. Тот стал есть. В левой руке грязная сетка с каким-то хламом, коробки, газета, со свалки. Ветхое пальто, торчат хлопья ваты. Лицо худое, небритое, под скулой яма. Точильщик интеллигентного вида, в очках, стоит, ожидая, когда тот насытится. Покровительствует этому бродяге, привел накормить. У Коли в его келье на улице Воинова. Чай, бутерброды с шпротным паштетом. Опять он мне читал свою прозу. Опять я смотрел на Неву из его окна. Вечер. Коля пошел меня провожать. У метро расстались. Поблагодарил меня, что я не забыл его. Я смущенно пробормотал: «Ну что ты, Коля!». Обнял, похлопал по плечу, сказал с запинкой: «Ты мой самый лучший друг». Коля скованный, голову поворачивает вместе со всем телом, действие психотропных лекарств. Его регулярные, два раза в год, попадания в психиатрическую больницу – этот дамоклов меч над ним. Долго ли он продержится тут в архиве дворником? Засиделся в Публичке в зале литературы и искусства, зеленые грибы ламп на столах. Март, день холодный, солнечный. На Невском искал подарок, наконец выбрал чашку с блюдцем в магазине «Фарфор». Гравер на блюде сделал поздравительную надпись, вырезал жужжащим колесиком, а я ждал около его будочки с окошком. Обратно через Аничков мост, свежо, ярко, Фонтанка, катерок. Театральный киоск, повезло, два билета в Кировский на «Жизель», в этот же день, горящие билеты.

Встречи. Поэт С., у него седые волосы до плеч, густые и волнистые, красиво обрамляют лицо. Напоминает известный автопортрет Леонардо да Винчи. С ночного дежурства, сырое утро. Около дома старушка спросила: «Вы знаете, что умер Брежнев?» Приехали в Пулково в два часа ночи, народу тьма, зал гудит, спят на скамьях, подложив под щеку мешки и чемоданы. Мойщик тащит через весь зал свою воющую машину с черным кабелем. Нигде не найти вина, выпить на прощание. Сидели в обнимку на трубах отопления. Ну вот, час разлученья, час тяжелый. Прощаемся. Исчезла в толпе, там, внизу, в дверях, ведущих на аэродром. Я смотрел с тоской и страхом. Что если самолет разобьется? Автобус подкатил к самолету, пассажиры взбирались по трапу. Где она, в вишневом костюмчике, кудрявая?.. Большая серебристая рыба медленно поплыла по взлетной полосе, мигал красный фонарь в хвосте, движение ускорялось. Исчезла во тьме, только мигал далеко огонек. Незаметно, стыдясь посторонних глаз, перекрестил самолет, где-то уже летящий в высях.

ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК

Вот уже и октябрь, еду, метро Парк Победы, у меня литературная встреча и выступление. Московский проспект шумит, городской гул, ветер, пыль, ларьки. Кто-то хочет мне сообщить о себе, передать какую-то весть, возможно, это очень важная весть, но голос заглушается шумом, и мне не различить ни слова. Зал небольшой, собралось человек сорок, возраст не слишком-то молодой, преобладают женщины. Выхожу. Прижимаю к груди свою книгу. Говорю. Потом мне задают вопросы. Я отвечаю. В первом ряду прямо передо мной сидит женщина с фотоаппаратом, она меня фотографирует, тоже спрашивает. Сначала я не могу понять, о чем она меня спрашивает. Наконец, доходит. Нельзя ли ей с нами. Мы идем отмечать выход в свет моей книги. Да почему бы ей и не пойти с нами, с какой стати я должен быть против. Мы все сидим за столом, человек шесть, выпиваем, разговариваем, и о моей книге, конечно, само собой – о моей книге. Какая это замечательная книга, уникальная книга, можно сказать, событие в литературном мире, настоящая сенсация. Эта книга сделала меня знаменитым. Женщина сидит напротив, с другой стороны стола, смотрит на меня. Все мы уже под хмельком. Пора расходиться. Я расплачиваюсь. Эта женщина со мной рядом. Решительно берет под руку и уводит, в туманную даль, в неизвестность. Мы одни, все куда-то пропали. Уже вечер, темно, фонари, люди, дома, машины. Оказывается нам по пути. Ей в ту же сторону, до той же станции метро. И мы едем вместе, стоим рядышком, стесненные толпой пассажиров, и воодушевленно разговариваем. Литература, поэзия, Цветаева. Минута, минуца, минешь. Цветаеву наизусть знает, сотни стихов, и готова читать и читать. Теперь мы уже стоим на автобусной остановке. Совсем темно, час поздний. Номер моего телефона начинается с той же цифры, что и у нее. Ей дальше. А мне тут десять шагов.

Всю неделю вздрагиваю от звонков. Разве можно быть таким нервным. Боюсь вторжений в мой внутренний мир. Истерзанный страхами, отключаю телефон. Потом опять включаю. И тут же звонок: «Наконец-то я к вам пробилась! Какой вы, оказывается, недоступный человек!». Ничего нам не мешает встретиться. Ну вот, например, в пять, на выходе из метро. На улице ветер, солнечно. И опять я, конечно, все на свете перепутал, пришел не в то время и ждал не у того выхода. Моя неискоренимая рассеянность. Каким-то чудом, мы все-таки находим друг друга. Она-то не удивляется, у нее накоплен уже довольно-таки богатый опыт не встреч. Рассеянность – черта всех выдающихся творческих личностей. Это ж

общеизвестно. Нет, это не просто так, не случайно, это знак судьбы, что мы нашли тут, в этой толчее и круговерти. Тут есть терем-теремок, поднимемся по этим ступеням, откроем стеклянную дверь, отыщем какой-нибудь укромный уголок, хотя бы и здесь, под лестницей, у лифта. И она начинает читать мне свои стихи. Ведь именно для этого мы и встретились. Читает одухотворенно, эмоционально. О любви, всё о любви. Стихи завораживают. Заговоры и заклинания. Магия. Опасные, опасные это стихи. На улице все тот же ураганный ветер, пыль в лицо, кепку с головы едва не сдуло. Опять мы на той автобусной остановке. Ее маршрутка собирается отъезжать. Она задерживается у раскрытой дверцы. А я в нерешительности, я в смятении. Ехать с ней, не ехать?.. А дверца уже захлопнулась, и маршрутка уносится по проспекту.

И вот я опять слышу ее голос. «Решила напомнить о себе. Куда вы пропали?». Разговор о мистических встречах, о роковых совпадениях дат и чисел. Где я встречал Новый год? У себя дома? Вдвоем с женой? А она – в веселой компании. Мечтает погулять со мной. Ведь я мужчина, а она женщина. Странно, что надо напоминать о такой простой истине. В пять на остановке. Трясет весь день. Давно я уже не был так взволнован. Никак не унять эту дрожь. Не пишется, не читается. И ночью эта жестокая тряска не утихает, не дает спать. Выхожу на лестничную площадку. Сумрачно. Ветер в заснеженном переулке.

Гуляем. О нет, не сказал бы, что это сон в долине Дагестана. Всё в снегу, сосны, ели, суровый север. Замерзли, как кочерыжки. В кабине только и можно согреться. Мимо летит тусклый зимний день. И Цветаева, Орфей. Так плыли голова и лира вниз, в отступающую даль. И лира уверяла: мира! А губы повторяли: жаль! Крово-серебряный, серебро-кровавый след двойной лия... В ее квартире пусто и сумрачно. Все куда-то разошлись. Вступить в Белое братство, принять обет безбрачия, раздать имущество, жить в святой нищете, ожидая второе пришествие Христа. Петь духовные песни. Ангельски прекрасные песни. Ну а как же: такие песни только ангелы в раю поют. Я зачарован ими, я готов их слушать и слушать, до конца жизни. Слушать ее стихи, слушать, как она поет. Я пропал, совсем пропал... На стенах картины неизвестного художника, загадочные фантазии, отблески миров иных. Лучше бы что попроще, на твердой почве, на земле. Домик в деревне, леса, поля, луга. Вот бы где жить да жить, с ней вдвоем, неразлучно и счастливо, и забыть обо все на свете. Обо всем на свете... Нечаянный звонок разрушает мои грезы. Ее друг сердечный. Кто же еще. Интересуется: где она и с кем. А у нее гость. Она свободная женщина и может приводить к себе кого хочет, но... Так мы наделаем глупостей. Зеркало в прихожей, темный омут. На шоссе ходит автобус...

Что ты дрожишь, осиновый лист? Лестничная площадка, почтовый ящик с отломанной крышкой. Кто-то нам пишет, кого мы знать не знаем, с пугающей откровенностью, вывернув наизнанку этот февральский вечер и его потемки. Фары в переулке. Остро-желтые глаза рыси. Страх вторжения. Не спится. Оказывается и ей – тоже. «Захотелось с вами поболтать». Читает мою книгу с возрастающим восхищением, по пять страничек в день, чтобы как можно дольше продлить это удовольствие. Горюет, что когда-нибудь все-таки книга моя кончится. С каждой прочитанной страницей у нее растет ко мне какая-то странная, непонятная ей самой нежность. Наверное, я не очень счастлив в супружеской жизни. Наверное, наверное.

Темно, школьный двор, за углом пустующая спортивная площадка. Вечер или раннее утро? Рука без перчатки, пальцы мерзнут. «Услышу ли я сегодня ваш голос?». Да вот он, мой голос, глухой и невнятный, велико сокровище. Теперь она уже ни о чем и думать не может, как только о моей книге. И спит с ней, положив под подушку. Мучается оттого, что я мучаюсь, бессонный, с содранной кожей, с голыми нервами, в эту стужу. И некому меня, бедного и несчастного, обогреть. Есть одно средство! Как же! Зов целительницы и ведуньи из Сибири. И опять иду, иду, как замороженный, на этот зов, переулками, пустырем, через проспект, к метро. Опять берет меня под руку, и мы блуждаем в каких-то лабиринтах, дворах, туннелях, галереях, музейных залах; спускаемся и поднимаемся по лестницам. И она декламирует Цветаеву. «Летописи и лобзания...».

Она вольная птица, летает по числам календаря круглый год; и везде ее ждут, и все ей рады. Она нарасхват. «Ну вот, наконец-то я одна и могу говорить». Через что лежит путь к моему сердцу? Через какие чащи и дебри, ущелья и пропасти? Давно уже ее волнует этот вопрос. И опять вечер. И опять она ведет меня в свои владения, в этот призрачный, затерянный в снегах городок, где она много-много лет назад свила себе гнездо. Пятиэтажные, серой шеренгой, неотличимые друг от друга дома, в каждом – разведенные жены. Их бывшие мужья – майоры, полковники, оставили им свои квартиры, а сами уехали служить куда-то на край света. Город брошенных жен.

И почему-то легче дышится, и небо другое, в голубых проблесках. Так ведь март! В ее военном городке весной пахнет. Вениамин Блаженный, чей томик у нее на полке всю зиму помогал ей бороться с незаконным мраком, зовет в Минск. Дочитает мою книгу и тью-тью. Только ее и видели. Я пришла к тебе черной полночью за последней помощью. А ты не боишься? Не надо ее окликать! Все мужчины боятся любви. Все, все вы

такие. В темноте между домов отошел автобус. Успеем! Крепкие, быстрые, обутые в сапоги ноги. За ней не угнаться. Коня на бегу остановит. Счастливчик! Везучий! Машет рукой с тротуара, и еще раз, когда автобус завернул на шоссе мимо темных мартовских деревьев.

И опять этот зов, он преследует и во сне, скудном, прерывистом, под утро. Полнозвучный, уверенный в своей притягательности голос. Вот уже полгода упорно преследует меня этот голос и куда-то манит. Тревожно и страшно. Душный воздух квартир полон недомолвок и подозрений. Новая шапка и новый шарф. Куда ты? На свидание? С ней? Выхожу на проспект. Ветер с Фавора. Преображающий, победоносный, покоритель сердец. Все женщины мира, нежные и чуткие, ищут встречи с тобой. Это у тебя душа молодая, вот ты и рвешься с цепи, седой пес. Оказывается и у нее такое: тревога и смятение. Сегодня проснулась посреди ночи, словно кто в бок толкнул. Подумала: чего же я жду? Жду, когда кончится это наваждение? Наваждение твоей книги. Зачем-то попалась мне в тот день на моем пути. Ведь и залетела-то я туда совершенно случайно. И взяла меня за душу. Увидела, как ты прижимал свою книгу к груди. Так мать прижимает новорожденного младенца. Это судьба. От судьбы не уйдешь. Кондитерская на углу. Швабра уборщицы гонит вон. Они закрываются. Ветер, холодный мартовский ветер, продувает, легко одеты. Вот два дурака! Обнимаются, целуются. При всех, на остановке. Так я прославила ее на весь ее городок.

Наяву ли это все? Книга написана, а я не хочу с ней расстаться. Наверное, оттого, что это, может быть, последняя моя книга. Последний всплеск. И там, куда меня влечет, как магнитом, в городе брошенных жен (соединенный зов их нерастраченного жара, их ворожбы), прочитав до конца, до последней точки, не могут никак разлучиться с моей книгой, и начинают сначала, по новому кругу. Там у них уже создан свой культ, каждую субботу собираются в библиотеке и читают мою книгу вслух. Прямо-таки священнодействие. Жрицы в храме Литературы. И она там – верховная жрица. Выйдя из автобуса, вижу: ждет на скамейке за деревьями. Улыбается; поспешно встав, идет навстречу. На стене в ее келье сумрачный зимний пейзаж. Бегония на подоконнике, темно-алые листья тянутся к солнцу. За окном тук-тук, тук-тук. Синичка клюет повешенный кусок сала. Из рамки смотрит незнакомец, у него такой серьезный, самоуглубленный взгляд. Это ее кумир. Каждый вечер разговаривает с ним перед тем, как лечь спать. О самом своем сокровенном, душевном. Этот незнакомец – тот я, которого она себе вообразила, которого придумала, создала в своих мечтах.

Где-то я уже слышал эти стихи. Их читают тени гаснущего дня на

талом снегу. В них притаился змей-искуситель. Смотри! Какой закат! Мировой пожар! Он сожжет все небо, всю землю, и нас с тобой. И нас с тобой...

И этот ветреный, солнечный апрельский день. Облака несутся по чисто вымытому голубому небу. Грачи строят гнезда на верхушках лиственниц в старом парке, хлопанье крыльев, крики. Бурое, прошлогоднее. И вот они, цветики твои, первые, нежные, на ветру. Кто успокоит их дрожь, их трепет? Бузина целый сад залила! Бузина зелена, зелена! Макеты орудий, красят ко Дню Победы. Мы тут как на ладони. Кто-то, пролетая, видит нас из космоса. Послушай, но ведь это кому-то важно. Что, что важно? О чем ты? Крутой спуск, шею сломать. Та гора была – миры! Вагон, безумная парочка, совсем ошалели, море им по колено.

Озираюсь. Свободное место за дальним столиком. Эти нервные пальцы в серебряных перстнях. Кому-то здесь назначили встречу. Припоминаю, листок мяты, гулянье в Летнем саду, Нева, мраморные тела наяд. Три дочери, Маша, Катя и Лиза. Эта младшая, Лиза, та, что страдает аллергией. Каждую весну у нее такое. И опять странствовать в прорытых под землей норах и переходах. Слепые, никого не видим, кроме друг друга, перепутали верх с низом, лезем на эскалатор против течения. Слышишь? Так это ж гром! Вот – опять. Гром и есть. Он самый. Потемнело, как ночью. Тьма египетская. Неужели гроза собралась грянуть? Первая гроза. А ведь только конец апреля. За стеклянной стеной рушится лавина. Рушится и рушится. Такая грозища! Как в первый день творения. Счастье мое! Это весна! Это новая жизнь! И поет колыбельную, и заклинает, как своего сына, бессонно тоскующего в норвежских фьордах. Ляг и спокойно спи. Ну что тут такого! Это ведь у всех одинаково, у всех одно и то же. Ничего такого особенного. Проспект, вечер, разлучат колеса. Этого себя, такого, какой я сейчас, в эту минуту, я буду блюсти до судного дня. Клянусь, клянусь.

Розы у метро. Федра, царица. Утоли мою душу.

Весь май ураганный ветер. На заливе шторм. Стихия бьет о берег свой. Болит, жжет в груди. Я любовь узнаю по боли. На платформе, красная куртка, сумка через плечо. Вот, еду спасать русскую литературу. Великого писателя. Написал же: погибаю.

Дождь, Витебский, блаженное лицо. Сад, солнце, цветущие яблони. Приручишь, а потом бросишь, и я буду плакать. Площадка перед каким-то спортивным строением, стол, два седалища. Спирт на кедровых орешках. Причудливое корневище. Украсить ее келью еще одной диковинкой. Без мужских рук не дотащить. Всю ночь в незавешенное окно глядит эта звезда, яркая-яркая. Мучительная. Разгорается. Венера. Трепещет на ветру

березка, майская березка. И дрожит, и дрожит, и трепещет всеми своими молодыми листочками. Томительное ожидание рассвета. На остановке мужчины и женщины. Глаза обведены тенью. Прощаются. И зачем так трагически принимать к сердцу? Можно подумать, что расставание для них равносильно смерти.

Счастье это или беда? Боюсь – беда. Или счастья без беды не бывает? Эх ты, калиф на час. Балтийский вокзал. Скамейка над обрывом, кукушка с того берега: ку-ку ку-ку. Вот заладила. Так она докукуется. Разбудит, спящее в дебрях, полногласие бурь. Это у тебя обостренно-болезненное восприятие. Что ж ты хочешь – кризисный возраст. Чем пахнет от ангела? Ничем не пахнет. На то он и ангел. Моросит. Маршрутка. Прощально машет рукой. Все еще машет.

Опять этот ураганный ветер. Все тот же шторм. На валуне, тесно прижимаясь друг к дружке. Чахлый кустик, сотрясаемый бурей, – плохая защита. Высотные коробки новостроечного многоэтажья. Кусок пленки летит, извиваясь, вдоль этажей, как дракон. Гордо реет буревестник над седой равниной моря. Громко декламирует, преодолевая ярость ветра. Со школы помнит. Та же куртка с капюшоном, натянутым на голову, завязанным тесемками под подбородком. Рыбак на берегу возится с резиновой лодкой. С протоки – громогласный хор лягушек. Брачный чертог, Гименей. Их тут тысячи! Миллионы!

Тополя шумят по-летнему. Продавщица за прилавком: два голубка. К военному аэродрому. Солдатик с длинной, как у гуся, шеей. Кусочек свинца, амулет. Впитать каждый атом этого дня, напитаться, как верблюд, на всю бескрайнюю пустыню разлуки. Постараемся не скучать. Начнем писать новую книгу. О, это будет еще одна гениальная книга! Пишется что-то странное: образы ускользают. Как отражения в затуманенном зеркале. Какие-то непонятные, ускользающие образы. Боюсь, что ты от меня ускользнешь, как ускользают твои образы.

И вот этот день. Яркий, солнечный июньский день. Кто-то бежит по нашему переулку, как преступник, застигнутый внезапным окликом. Мужья, посев в долголетнем семейном плавании, бросают своих старых жен и уходят к другим, помоложе. Бес сокрушает им ребро. А безутешные жены выбрасываются с седьмых этажей. Вот еще одна стоит в раскрытом окне. А другую поезд уносит на север. Архангельск, Соловки. Прости, прости. В нарастающем стуке колес горестный стон: «И больше я тебя не увижу?!».

МИНИАТЮРЫ

О поэзии

Гроза, сорвавшая с себя маску. Лик ее ужасен. Ее магические заклинания и прорицания, ее глаголы-молнии. Это не сладкопевная Муза, дочь Аполлона и Мнемозины. Нет, – это Медуза-Горгона, Пифия, Сивилла, библейская Дивора и скандинавская Вэльва, кельтская Фея Моргана, египетская Исида и аккадская Иштар. Поэт – искра ее грозы. Поэт – Соловей-разбойник, круто налившийся свист, Див верху древа, пробудившийся орел. Или – шепот, робкое дыханье, трели, серебро и колыханье сонного ручья, отблеск лунного света на рукаве, мотылька полет незримый, звезда на трепещущих мокрых ладонях, огонек за рекой? Орган всеотзывчивости, отклик лирического сердца, всемирное соловьиное эхо? «Таков и ты поэт». Долг поэта – умереть с песнью на устах. Знаем, знаем: поэзия живет смертью своих любимейших птенцов-певцов – поэтов. А поэт идет себе по миру, беспечнейший из созданий, перед распутиями земными, исполнен думами златыми, не замечаемый никем, смиренный, тихий и босой, за благословенной своей звездой. И в том ему отрада, что ничего не надо нищете его святой. Он – автор молитв и гимнов. А автору надобен токмо звон, а кроме того ни что. Автору надобен вечерний звон.

Стекольщик

Стекольщик на верхнем этаже; у него на столе лист стекла. Моя жизнь. Я собирался когда-нибудь выразить словами ее цельность, прозрачность и хрупкость. Это была бы книга без начала и конца из бесчисленных томов, которых не вместили бы все библиотеки мира. Я долго не решался, слишком уж безумная затея. А Стекольщик грозно грохнул кулаком – и моя жизнь разбилась вдребезги, разлетелась на кусочки. Теперь я подбираю по осколку и пишу строчку. Так и пишу, по осколку в день.

Нож и круг

Нож-небо, ближе, ближе. Завораживает и ужасает. Но вокруг меня очерчен круг, невидимый круг, я внутри него. Я в безопасности. Замкнутость. Раб, узник. Но что-то готовится. Побег. Щелкает хлыст – и тигр прыгает сквозь все горящие круги. Он тот, кто – «из» и «сквозь». Бежит он из кругов, из времени и тяготенья, и звуков и смятенья полн, куда-то, где ни волн, ни дубров, в пустоту, пустыню пустынь, сквозь всё.

Корабль дураков

Гамлет, пририсованы усы. Корабль отчаливал под дождем. Полосатые пижамы мокли, столпясь у борта. Глаза тоскливы. Фанфары, трубы и барабаны. В инвалидном кресле на колесах скорчился подросток-паралитик, из-под тряпичного картузика красные лопухи-уши. Моргая, глядит в никуда. Свистнул гудок, кнутом хлестнул. Матросы убирают швартовы. «Топить везут» сказал кто-то на пристани.

Голова Орфея

Полнолуние. Окликает по имени. Гудок уходящего поезда. Тоска. А я думал: начнется новая жизнь. И все рухнуло... Очнулся. Светает... Идем по дороге. Жаркий июньский день, облака, солнце слепит, цветущие кусты шиповника. Такое уныние, как будто потерял все на свете. Из дома справа от нас песня: «Ни минуты покоя, ни минуты покоя, не могу без тебя. Что же это такое?..». Федра, Фрейд, голова Орфея.

Рыцарь бедный. (Владимиру Алексееву)

Ты давно уже не звонил мне. Ты говорил: «Не грусти! Что ты грустишь?..» Ты поднимал меня из ямы моего уныния. После разговора с тобой у меня опять расправлялись крылья. Ты, смеясь, называл меня: «мрачный и отвратительный писатель». Вот уже почти год, как ты не звонишь мне, и я не слышу твоего голоса. Но я почему-то уверен, что ты мне еще позвонишь однажды, в какой-то вечер, когда мне будет уж очень тоскливо и тяжело, совсем внемоготу, и спросишь: «Ну что, как ты там поживаешь, мрачный тип?». И засмеешься: «Ничего не поделаешь. Опять я тут с вами. Куда от вас от всех деваться?». Рыцарь бедный, ни брони, ни коня, ни меча, только сердце.

Красное ли красное. (Константину Крикунову)

Буковки писать, как ты говорил. Здесь ты их не дописал, свои буковки-бусинки, отблески, отзвуки. «Нужно нам спокойно относиться к смерти игрушек, близких и друзей». Голос хрупкий, как последний ледок весной, или как тоненькая, туго натянутая струнка, вот-вот оборвется. Детский дневник, написанный в десять лет. Птичка божия, писал ты о себе, уже потом, уже давно взрослый, но с тем же простым и бесхитростным детским сердцем. Старый календарик с памятными датами у меня на столе, вороньи крики в парке. Красное ли красное? Если нет – тогда что это такое, что же это такое? Тогда почему, для чего и зачем?

На пароме

Мы, трое морских офицеров, идем по нагретому солнцем, дощатому пирсу. Парадная форма, праздник, день Военно-морского флота. Вот мы уже на пароме, стоим у борта, удаляются серые бревна свай с пляшущими на них бликами. Женщина на пирсе машет рукой кому-то из нас. Кому? Уж точно не мне. Залив шире и шире. В мутно-желтой воде плывет тень парома, борт, наши фигуры. Мои попутчики разговаривают, но я занят другим: я смотрю в даль, в этот морской простор, в безбрежность. Там исчезают все преграды, все препоны. И дальше за горизонтом – только море, море и море... Но вот наш короткий рейс кончается. Блеск воды, причал. Моих попутчиков встречают жены. Меня никто не встречает.

Яблоко

Море снится, шторм, качка. Просыпаюсь. Я на своей кровати, а не на корабельной койке, подо мной земная твердь, а не морская хлябь. Работаю на новом месте. Новодевичий монастырь, там теперь архив, перекладываем коробки и папки, тревожа вековую пыль на стеллажах. Разговоры о монашеской схиме. Весело, смеемся. Рыжая, веснушки, восемнадцать лет. На трамвайной остановке, ветер; рыжие, длинные жгуты волос крутит, швыряет. Ярко-зеленая, молодая листва тополя. Стихотворение Парни: что женщина не признается первой в любви мужчине. К чему это она? По Московскому проспекту до Обводного. Чувствую в себе столько силы, что хочется бежать вприпрыжку. Станция Фарфоровская, на платформе, ждет поезда. Сапоги на высоком каблуке, пальтецо с серыми полосками, вязаная белая шапочка. Подняла глаза от книги, которую читала, держа в руке, и смотрит на меня. И я тоже смотрю на нее. Иду к зданию Сената. Нева струисто-оловянная, светлая. Воздух свеж, и сердце бьется бодро. Читаю, Великий инквизитор, Соня Мармеладова, сны, гибкое, девичье. Ночами – морозец, луна, звезды, сухо. Утром изморозь. Спешу на вокзал. Сиреневато-серебристые доски мостка. Листья каштанов на земле буро-бутристые, как морские звезды. С ней в кино, полный зрительный зал; в темноте, весь сеанс, наши руки, сплетенные, горячие, неистовые; пальцы сжимаются, извиваются. Она живет одна, недавно умерла бабушка, больше у нее никого нет. На диване, поцелуй. Говорит, что у меня сладкие губы. Это оттого, что я перед тем ел яблоко. То самое яблоко, которым она меня угостила.

Рига

Рига снится, наши путешествия по всему городу; водила меня в гости к своим друзьям, везде угощение, пьянствовали; она всегда пьяная, у нее спадал чулок на ногу, материлась. Май, сухой асфальт, чистые улицы. Там, в Риге, уже всю зеленели деревья. Всю неделю по гостям. Какие-то дворы, закоулки, застолья. Уходили рано утром и возвращались поздно ночью, потихоньку пробирались в ее комнату, чтобы ее мать нас не увидела и не ругалась. Ночью ее большая, темная комната, громадная кровать, на которой мы с ней спали. Плотные, пыльные, всегда задвинутые шторы.

На картошку

В колхоз на неделю. Живем в палатках, ночи теплые, днем солнце, жарко. Огромные поля, огромное небо, река Луга. Ходим за трактором по взрытой борозде, собираем картошку в ящики. Картошка крупная, сухая. Борозды бесконечные, до горизонта. Опушка леса, береза уже осенняя, с желтыми прядями, и с нее слетают желтые кружочки. Сажу на камне, приятная усталость в теле. Ждем, когда привезут обед. Работу кончаем поздно, в восемь, купаемся в реке. Каждый вечер костры, водка, танцы, гулянье до рассвета. Эта, незамужняя, озорная, смеялась, вырывалась из моих рук.

Володя

Пришел Володя. Не виделись три года. Возмужал, заматерел. Твердый подбородок, взгляд тяжелый. В лётной форме, фуражка, лейтенант. Принес бутылку шампанского под мышкой. Рассказывал про свои подвиги, сколько челюстей сломал. Все те же джеклондонские истории. Поздно вечером в темноте пошел его провожать. Он ступил в тамбур вагона, поезд резко тронулся, он стукнулся головой о стенку и охнул. Выражение лица у него было такое простое, такое детское. Я побежал по платформе, схватил его за руку, говоря: «Володя, Володя!..». И поезд ушел.

Жена

Родильный дом на Лермонтовском проспекте, хожу к ней каждый день, ношу передачи. Стою под окном, ее палата на первом этаже, разговариваем через двойное стекло. Я ее не слышу, и она пишет мне в тетрадке и показывает с той стороны окна. Я смотрю на ее крупную голову, бледное лицо, полные руки с темными волосинками.

На севере

Мрачный городишко в сопках, голые камни, база подводных лодок. Уже шестнадцатый день тут. Погода гадкая, холод, дождь. Черные скалы, черная вода в бухте. Старший лейтенант, командир БЧ-3, торпедный отсек. Ходили в море на три дня, воинские учения, все мои торпеды попали в цель. Командир лодки объявил благодарность. Сегодня забрался в сопки, там ветер, камни, ивняк, кое-где клочками зеленеет ранняя травка. Постоял над обрывом. Над бухтой выются чайки, их тоскливые крики. Живем на плавбазе, в кубрике шесть человек, безделье, весь день забивают «козла», с утра до поздней ночи стук костяшек. Три часа ночи, они все стучат. Я с книгой, нашел в матросской библиотеке дневник Стендаля. У них продолжается, табачный чад, грохот домино, рев, спирт. Ухожу на лодку. Лежать на торпедке, прикрывшись шинелью. Там тихо, как на морском дне.

В столовой

На Обводном канале, теснота, чад. Жую серую вермишель с котлетой. Вошли два старика, один – точильщик ножей, в кожаном фартуке поверх халата, положил на стол три остро отточенных тесака, как римские мечи. Усадил своего товарища, сам в раздаточную, принес тарелку супа и плов, поставил перед ним. Тот стал есть. Грязная сетка с каким-то хламом, коробки, газета. Ветхое пальто, торчат хлопья ваты. Лицо худое, небритое, под скулой яма. Точильщик интеллигентного вида, в очках, стоит, ожидая, когда тот насытится. Привел накормить.

Коля

Навестил Колю. Чай, бутерброды с паштетом. Опять он мне читал свою прозу. Опять я смотрел на Неву из его окна. Вот уже и вечер. Коля пошел меня провожать. У метро расстались. Поблагодарил меня, что я не забыл его. Я смущенно пробормотал: «Ну что ты, Коля!». Обнял, похлопал по плечу, сказал с запинкой: «Ты мой самый лучший друг». Коля скованный, голову поворачивает вместе со всем телом, действие психотропных лекарств. Его регулярные, два раза в год, попадания в психиатрическую больницу – этот дамоклов меч над ним. Долго ли он продержится тут в архиве дворником?

Павел

Старорусская улица, тихая, в снегу, ивы нависли заиндевелыми ветвями над оградой. Замерзшая бахрома качается на ветру, царапая железо решетки. Мутный день, метель. Подхожу к церквушке, тут теперь общество охраны памятников. У Павла каморка-келья. Горбится, в халате, курит, из ноздрей торчит щетина, косая улыбочка. Старший сотрудник, поездки по области. Показывает фотографии разрушенных церквей. Пьем чай, черный, почти чифирный, в кружках с отколотыми ручками. Бердяев, Розанов, Трубецкой, Флоренский. Иконостас, катарсис, соборность. Приглашает с ним по Волге летом, по следам Левитана, «Над вечным покоем».

Гравер

На Невском искал подарок. Чашка с блюдцем в магазине «Фарфор». Гравер на блюдце сделал поздравительную надпись; вырезывал своим жужжащим колесиком, а я смотрел, ожидая около его будочки с окошком, когда он закончит работу. Обратно через Аничков мост, свежо, ярко, Фонтанка, катерок. Театральный киоск, повезло, купил два билета в Кировский на «Жизель», горящие, в этот же день.

Тетушка

Встали затемно, в половине шестого. Только-только начинает светать. Небо еще в звездах. Венера ярко горит. Заря за березами. Шел с тяжелым рюкзаком на спине вслед за тетушкой и несколько раз оглядывался на дом. Взобрались в кузов трактора, на солому с сеном, человек десять, и трактор покатиł среди полей в голубом морозце. Деревни, дворы, засыпанные кленовым листом, петухи, куры, собаки, огороды. В Цапелях мы с тетушкой распрощались. Обнялись, расцеловались. Тетушка всплакнула, в платочке, в ватничке, нос картофелькой, покраснел от холода. Что ж я так мало погостил у нее. Уехала на тракторе дальше с большой корзиной покупать цыплят в Красных Стругах. Подошел мой автобус на Питер. В автобусе я согрелся и стал дремать. Перед моими глазами все стояла тетушка, ее маленькое курносое лицо, сморщенное, замерзшее.

Ищи-свищи

Февраль, простуда, бесцельная сила бродит, бредит. Хрустальная сфера, спящая красавица, язычок свечи. «Стой!» – кричу. Конь-кровь, крылья сердца, холмы, волны, я возвращаюсь, тут – высь, там – глубь; что же ты кружишь, клюв зажженный, клевать мои кровинки, каркать... Ночь, дыхание кита в океане, сам себе сотвори белую башню, маяк; пуля луны, мотылек-кораблик. Бедный рыцарь, где твоя родина? Родина-рана. Куда скачешь в чистом поле? Ищи-свищи. Разве я жизнь? Два бессонных зрачка у меня, радути чудес или ужасы бездн. Зеркало, ночь, боль под лопаткой, я один... Эта сфера охвачена огнем, полнокровие, святая стихия, вихрь, порыв, страсть, стрела летит точно в цель. Это искуc, новое вино, новое небо, новая глина. Возраст – вне возраста... Ночь, бессонница, древние царства, открой кровь! Это приказ. Треснул сук, все тут неправильно, дерзкие петли этого пути, цветы из-под снега, метель, часы, стаканы, рынок, жабы в фартуках, злые глаза, мертвые кости в больших корзинах, приготовленные ко всеобщему Воскресению в День Страшного Суда. Сфера всё расширяется... Гул и шум. Метро, вагон, два ряда сидящих, за их затылками пролетает туннель подземелья, озаренный редкими фонарями.

Город

Ангел-флюгер, холод и мрак грядущих дней. Пьяный желтый портфель, три шатающихся фигуры на Обводном канале удалялись в сумерках нового вечера. Балтийский вокзал, визг трамваев, бронзовые диски фонарей на мостах. Чудовище мое, как блистателен и ночью ты – город! В скалах, в утесах, в морях, с мостами своих катастроф и феерий! Куда бегут окна, тротуары, витрины, музеи, театры, вывески, банки, машины, соборы, Кутузов, Барклай с мрачным, чугунным пальцем? Я знаю: с гранитов Нева низвергается Ниагарой в ночной океан. Город-поток, город-скиталец. Когда я иду по Английской набережной к Николаевскому мосту, справа всегда храм Посейдона потрясает золотым трезубцем в черном небе. О, сыны Атлантиды! А на том берегу исполинской реки – железный Жираф. Хлеба и зрелищ требует он, монстр Эйфеля. Где я, у Невы или у Сены? Город мой, скитаться тебе до рассвета в безбрежной пустыне своих миражей, сновидений и призраков, чудище мое печальное.

Столик в саду

В саду перед окнами столик, покрашен старой зеленой краской, две скамейки. Этот столик и скамейки сделал отчим. Густые кусты персидской сирени нависают над забором, заслоняют дорогу. Там слышатся шаги, голоса, изредка прошумит машина. Запах цветущей персидской сирени чуть-чуть дурманит. Розовые гвоздики усыпали траву и утоптанную около столика землю, и сам столик. В этом потаенном месте в саду перед домом я проводил все лето. Частенько с сестрой, хотя предпочитал одиночество. Но мать заставляла брать сестру с собой в сад, чтобы мы были на виду с нашими детскими играми, а сама хлопотала в доме, приглядывая за нами в окна. Столик в саду в те времена был центром мира, и вокруг него крутилась вся жизнь. Но все это было очень давно, уж очень давно, когда мы с сестрой под него пешком ходили.

Способность верных суждений

Некрасивая конструкция моста рухнет – утверждает Пифагор. Число, играя на лире, подтвердит его правоту. Математика – мать Атлантид и городов Солнца, как ее не воспеть, как ей не поклониться. Краса уравнений сияет в сполохах полярного неба, и технический рай раскрыл объятия для счастья всего человечества. И я слышу: песенный бред лишнего в мире, лишнего прав, поэта хрустнул, раздавленный в стальных тисках квадратного корня. Кто рассудит физиков и лириков? Суд Париса и суд Соломона, яблоко раздора, секира золотого сечения из зазеркалья Алисы в стране чудес? «Пойди туда, не знаю, куда; найди то, не знаю что», – посылает ищущих истину русская сказка. «Чушь! Всё чушь, все ваши суждения и рассуждения!» прошелестела улитка в саду, прячась в раковину, как Джозеф Беркли в свой солипсизм. Игра по правилам тоскует по своей игре без правил; мера, томясь в своей измеримости, алчет вкусить неизмеримого. Гусь, летя над прудом, не хочет в нем отражаться; пруд, не желает в себе отражать летящего гуся. «И темный бред души, и трав неясных запахов» все еще ускользают от циркуля и логарифмической линейки, от микроскопа и телескопа. Все еще ускользают.

Прощание

В Пулково, два часа ночи. Зал гудит; спят на скамьях, подложив под щеку мешки и чемоданы. Мойщик тащит свою воющую машину с черным электрокабелем. Сидим в обнимку на трубах отопления. Ну вот, час разлученья, час тяжелый. Исчезла в толпе, там, внизу, в дверях, ведущих на аэродром. Смотрю с тоской и страхом. Что если самолет разобьется? Пассажиры взбираются по трапу. Большая серебряная рыбина медленно поплыла по взлетной полосе, мигает красный фонарь в хвосте, движение ускоряется. Незаметно перекрестил.

Поцелуй

Мне 14. Учусь в школе. Седьмой класс. Школа в конце поселка, на бугре. За школой обрыв, поросший орешником. До горизонта – совхозные поля. Здание школы старое, каменное, с ржавой башней на крыше. Бывшая финская кирха. Над этой башней вьются, хлопая крыльями и каркая, мрачные вороны стаи. При школе яблоневый сад. Ожидаются майские заморозки, убьют цветы, погибнет завязь. Директор школы нам объявил: чтобы спасти сад, старшие классы во главе с учителями будут дежурить в саду, всю ночь жечь костры и дымом окуривать цветущие яблони, оберегая их от заморозка. В первую ночь дежурил наш класс. Жжем валежник по всему саду, дым окутывает нежные яблоневые цветы, теперь им холод не страшен. Затеяли игру. Тянуть жребий – свернутые бумажки. Выигрыш – поцелуй. Вынул и я свое счастье. Кричат: выбирай! Нравилась мне одна, самая красивая в классе. Подошла, улыбается, губы подставила. Вокруг хохот, рев: – Целуй, целуй, дурак! – Я отвернулся и ушел из сада. Сидел под обрывом. Меня искали, звали. Я не откликнулся. Смотрел на темнеющее передо мной бескрайнее поле.

ГРЕЗЯЩИЙ

Ему надо в одно учреждение, он глухой, просит сопровождать, чтобы помог объясняться с чиновниками.

– Ты можешь грезить, сколько твоей душе заблагорассудится, видно ты так устроен, – предупреждает он меня язвительно, – но, когда ты со мной, уж будь любезен сосредоточиться на вещах реальных!

Идем пешком, тут недалеко, через дворы, ноябрьская хмарь. Черная вода брезжит. Лист-утопленник мрачно смотрит на меня оттуда.

В учреждении, куда мы зашли, скопление пожилых людей в поношенной верхней одежде. Старики и старухи заполнили коридор, стоят и покорно ждут своей очереди. Все они за какими-то справками или квитанциями, выдают в кабинете в конце этого темного, как туннель, угрюмого коридора. Тут много калек и инвалидов. Он, кого я сопровождаю, протискивается сквозь толпу к той двери (я не отстаю) и пытается войти. Ему только спросить. В очереди возмущение. Толстая старуха в очках визжит, как зарезанная:

– Куда прешь! Спросить, как же! Много вас таких, спрашивающих! Влезет и пропал. Клещами уже оттуда не вытащишь. Становись в очередь, пьяная харя!

Но он не понимает, что от него хотят.

– Я ведь глухой, – показывает на свое ухо.

Делать нечего, становимся в конец очереди. Очередь движется быстро. Из двери каждую минуту выходят с бланками. Наконец и мы у этой двери с неразборчивой табличкой. Он скрывается в кабинете. Я остаюсь в коридоре. Думаю о чем-то своем. Не помню, о чем. Кажется, о том, что вот я ради него готов терпеть эту толчею, эту давку и духоту, этих отвратительных старух в заплеванном коридоре омерзительного учреждения, это я-то, который ненавидит чиновничество лютой ненавистью и обходит такие места за километр. Только величайшая нужда заставит меня сунуться сюда. И вот ради этого человека я торчу тут уже час и терплю невыносимую пытку, муки адские. Да это и есть настоящий ад...

И тут из кабинета выходит обратно он. Сердитый. Не то слово. В ярости. Набрасывается с упреками: почему я не пошел с ним в комнату! Он, оказывается, звал меня несколько раз, а я ничего не слышал. Кто из нас глухой, спрашивается? Как я думаю: зачем он взял меня сюда с собой? Чтобы провести время в милых разговорах? Для этого я ему не нужен. Он взял меня, чтобы объясняться с чиновниками. Они задают какие-то

вопросы, а он не может ответить. Он – глухой. Неужели непонятно? Так говорит он, возмущенный. А я ошеломлен. Я буквально убит этими его словами. Действительно, почему я не вошел вместе с ним? Почему оставил его, глухого, без помощи?.. Непостижимо...

От всех этих волнений он устал, поедem на транспорте. Остановка. Подошел автобус. – Это наш автобус! – говорю ему. – Ты уверен? – глядит он на меня тяжелым взглядом. Он понимает меня и не слыша моих слов, но глухота сделала его чрезмерно подозрительным, он в сомнениях, колеблется. Сейчас дверцы закроются. – Конечно, наш! Как раз идет в ту сторону, к твоему дому! – настаиваю я на своем и насильно тащу его за рукав к автобусу. Влезаем, и автобус движется. Едет, едет автобус, кругами, зигзагами, среди кварталов, по шоссе, потянулся какой-то пустырь, места незнакомые.

– Ты уверен, что мы едем в ту сторону? – опять беспокоился он. – Ты уже когда-нибудь ехал этим маршрутом?

– Нет, никогда, – признаюсь я честно, – но по моим соображениям он должен был ехать как раз в нужную нам сторону.

– Твои соображения! – язвительно и гневно восклицает он. – Явно не туда едем. Завезет к черту на кулички. Спроси кондуктора – куда идет автобус.

И я спрашиваю женщину кондуктора с сумкой на животе и красной повязкой на рукаве пальто.

– Едем к метро «Ладожская», – отвечает она. То есть в противоположную сторону. У меня мутится в глазах, и я уже ничего не в состоянии понять.

Выходим на остановке. Пустырь, ветер, метет сырой снег. Темнеет, сумерки. Мы тут одни. По шоссе с ревом проносятся грузовики с бревнами в кузове. Он отвернулся от меня и молчит. Лучше бы ругал на все корки. Стою у столба, как побитая собака, всматриваюсь в туманную даль шоссе: когда там забрежит автобус. Выплывают, останавливаются. Все не те да не те. Наконец, наш. И мы едем в нашу сторону. Ошибки быть не может. Всё точно. Он смягчился, ворчит:

– Если уж ты такой придурок, что вскакиваешь, куда попало, лишь бы ехать, то это твое дело, раз у тебя такая блажь в башке, только другого-то не тащи с собой и не вовлекай в свои сумасшедшие авантюры. Открыватель новых путей! – добавляет он иронично.

Я так потрясен случившимся, что желаю только одного – умереть. Убить себя, тут же, перед ним. Уничтожиться. Он видит, что со мной, и говорит хмуро:

– Кончай дурить.

ВОЛНА

Жду. Каждые 50 лет после арктического шторма рождается сверхмощная волна высотой 50 футов и эта титаническая 50-футовая громада докатывается до Австралии. И мастер бега по волнам ее там ловит, чтобы оседлать и лететь. Это сёрфинг. На летучей досочке нестись в мировом просторе. Волна рождается в сердце Вселенной. Услышь ее приближение, лови момент и лети, сросшись с ней, на ее вершине. Сейчас ты бог бега! Бог полета! Меня поймет только тот, кто видел хоть раз этот десятиэтажный водяной небоскреб, замерший перед крушением. Туманно-синяя, мерцающая громада, где из окон всех этажей глядят жуткие морды морских чудовищ, обитателей древнего, доисторического океана. Я слышу за месяц, как она рождается в реве шторма у ледовых берегов Гренландии и идет сюда через три океана, грандиозная, покачивая бедрами, идет ко мне на свидание, единственная в моей жизни, услышав в моем зове родной голос. Весь этот месяц я сам не свой, дела не дела, сон не сон, все из рук валится, томлюсь в смраде города, в лямке семьи, работ-хлопот, тошно от двуногих сборищ, личин, слов. Бегу на пустынный морской берег, жду, всматриваясь в горизонт. Вот она уже там, растет, растет, ближе, ближе... «Не упусти свой шанс, парень!» – говорю я себе. Я могу жить только так. Засыпаю и тут же просыпаюсь. Волна туманно стоит за моим окном и смотрит на меня, лежащего навзничь на кровати. Вот она уже у моего изголовья и смотрит мне в лицо, сверху вниз. Этот высокомерный, полный презрения и дразнящего вызова титанический взгляд. Я не отвожу глаз, я выдерживаю поединок. Опять погружаюсь в сон... Крутятся вихри пузырей, качается опрокинутая кверху килем шляпка... «Я плачу, я стражду» поет Шаляпин, ретро-голос, граммпзапись, старая, старая, как древние боги Земли. Крутится где-то за стеной пластинка-планета на заезженном граммофоне. «Уймись, волнения страсти».

Голоса моря, опять они зовут меня. И я плыву против течения, увенчанного трезубцами древних владык. Облака-убийцы, узнаю повадку хамов и хамелеонов, не успел захлопнуть окно, лезут в дом, пришли по мою душу. Воск в ушах, Итака в тумане. Как они сладко поют, маня моряков на райские острова, суля неслыханное блаженство, их голоса высасывают сердце, всю кровь до последней капли. Гурии с когтями грифов. Лук и лира Гераклита, тетива и струны – натянуты, стрела летит в цель, поет Аполлону. Страсти. Голоса скорби и страха, хор смертных. Душа влажна и плакуча. Ива, Офелия. Логос глубок. Седой след на воде, вечно волнующейся. Колыбель зыбей. Этот ускользающий путь живет одно мгновенье, его уже нет. Смыт. Мертвая зыбь.

Ноябрь. Ливень звезд, Леониды. Тот, кто влюблен в царственный череп. Танец с саблями в огненном круге. Блеск дамасской стали. Книга моря – надо ее переплыть, скользя глазами по строкам змеистых волн. Взлететь на гребне девятого вала. Твой сёрфинг, твой звездный миг. Далеко внизу туманится провал, с такой высоты не разглядеть, спокойное ли море, или сейчас там бушует шторм. Какая-то посудинка давно уже бултыхается там; ползет, ползет мимо, сонная муха. Ни к чему нам с тобой ни календарь, ни часы. Дурная человеческая привычка. Достаточно солнца, луны и звезд. А хотя бы и их вовсе не было, погасни все светила – что за беда! Ни огонька, ни искорки. Зачем свет? Нас двое во всем мире – я и моя Волна.

Шторм разбушевался. Тут не до шуток. Богиня Нут с серьгой Полярной звезды. Ночь хлынет. Глаза в ушах, око седой совы-сивиллы. Иона бежит от лица Господа. Неотвратно, спираль вовнутрь, в грудь, вглубь, в перламутровую пустоту раковины-сердца. В лето 6527. Приде Святополк с печенегы в силе тяжьце. Сопки Мурманска. Выборы губернатора. «Курск» спит на дне, ждет Судного дня. А мои ти куряни – сведоми кмети. Палестинцы, головы в черных мешках с прорезями для глаз, автоматы у плеча дулом в небо. Президент Израиля Барок, Иерусалим в огне. Кровь брата моего вопиет к тебе, владыко!.. Бе же пяток тогда, восходящую солнцю, и сступишася обои, бысть сеча зла, яка же не была на Руси, и за руки емлоче сечахуся, и сступашася трижды, яко по удольем крови тещи. К вечеру же одоле Ярослав, а Святополк бежа.

Плоть бунтует. Ах ты, плоть! Запряжем тебя, плоть, в плуг и борозди пашню с широкими полями рукописно-бездрижных бессонниц, ставя точки буйков-выстрелов на краю строки, как стук костяных шаров в бильярдной, в подвале на Сенатской, в бездонном провале подо мной. Ночь, дождь, четверг. Водяной кий бури расшибся о ту скалу с медным Змием и Всадником.

Что я бормочу? Я ловлю на себе любопытные и подозрительные взгляды пассажиров. Это я час назад прочитал в газете затертое, как монета, ходячее выражение «Северная Пальмира», и оно пристало к моему языку, словно лезвие топора, которое лизнул на морозе. Не отдирать же с мясом и кровью. Надо нести эту секиру в тепло, в дом – чтоб оттаяла. Мороз разрисовал стекла троллейбуса яркими перьями льдистых пальм и павлинов, и посреди них изобразил загадочный древний город, вставший во всей красе из горячих песков в сердце Азии. Эти дворцы и колонны, озаренные южным солнцем. Кто-то проковырял ногтем лунку во льду: там проплывают массивные слоновьи ноги колонн, мрамор матово светится, опухший изморозью. Твое чудище, Монферран! Ах, Пальмира, Пальмира! Мечта-чайка...

Капли дождя бегут по темному стеклу, прочерчивая свой скоротечный путь, спешат к своей катастрофической цели, к пункту угрюмого назначения. Скучно писать, как все пишут. Вот что движет этим изнуренным пером. И то далекое седьмое ноября, и сырой снег, и тревожное ожидание. Три сосны, три сестры, скрип двери, порог-туча, сторукий стон за горой, женский голос, гостя с поезда. Этот путь сохраняет смятение и тревогу десяти давних, полузабытых зим. Снегопад, косматый медведь с черно-хвойной шерстью, тополя-вихри. Стою в очереди за индийским чаем в булочной на Почтамтской улице. Дают по одной пачке. Шафранное солнце над Тянь-Шанем. Метель, снег сыплется, черное пальто в гусиных перьях. – Последняя! – кричит торговый халат. Зря стоял. С ночного дежурства, бессонный, бессознательный, в дыму бреда. Кобура жабы, под мышкой, на опер-ремне. Троя, Пальмира. Зенобия, царица моих злополучных дум. Та, прямая, как выстрел, аллея гордых колонн в Сирийской пустыне. Белый мрамор, певучий зов. Клинопись птичьей прогулки на древнем песке. И опять, еще и еще – песок, безбрежность пустынь, и в новой пустыне все тот же мираж – моя Волна!

Эту лестницу я вызубрил наизусть, как гамму, иду по ней лунатиком, восхожу по щербатым ступеням. Выше, выше. Знаю каждую выбоинку, как любимую страницу, в любую погоду сюда заглядываю, в снег, в дождь. Дразнят звуки и запахи, волнуют ароматы и музыка. Какая-нибудь заигранная до оскомины мелодия вдруг молнией жалит сердце, потрясает до слез... Нет, я понимаю, конечно, я отдаю отчет в том, что со мной происходит. Нервы-тряпки, растерзаны... И что-то еще... Опять призрачно брезжит в белых ночах, визжит и машет с гуляющих набережных неотцветшей черемухой. Вот я расскажу вам один забавный случай из моей жизни. Нет, простите, забыл. О чем я? Ненужно, жутко. Это из другой жизни. Да. Из другой, не моей жизни.

Геракл оперся о мраморный костыль в зимне-знакомом саду. Тельняшки в заснеженных аллеях делают гимнастику. На дне высохшей Невы расставлены белые эмалированные тазы, наполненные кровью, по ним идут босые ноги, переступая из таза в таз и окрашиваясь по щиколотку в красный, как мак, цвет. Поле цветущих маков. Где твой отец, твоя мать? Тени мертвых слетятся сюда и спросят: что тебе от них надо?

Железный рубль, грянув об пол, покатился, гудя, в угол комнаты; колесо поезда, лязгая по рельсу; одинокое, тяжелое, железное колесо без поезда, колесо с профилем Ленина. Постой! Я о другом. Летающие муравьи, это они тебя приветствуют здесь в час мучительно-великолепного летнего вечера. Самцы умирают в брачном полете. Жизнь муравьев-самцов 6 месяцев и кончается брачным полетом. После оплодотворения самки – смерть. Королева вуду Мари Лаво. Это она! Помнишь? Ты познакомился с ней в Танзании. Нгоро-нгоро, кратер

вулкана. Трокай, древняя столица Литвы. Дар божий – это удар божий. Сапогом в пах. По яйцам черепах. Чайка летит, стена. Антарктида, тайна голубой бездны. Как вырастить грудь. Грудь великой Волны. Обратись к хирургу в бронированном колпаке. Старатели в Калининграде роют янтарь в глубоких глиняных ямах. Художник-аквалангист в маске под водой рисует кораллы – невиданной красы олени рога. Альбом для Жака Кусто. Полнолуние над озером Дун-тин. Свиток из собрания, Токио. Но я опять не о том... О чем я?..

Египетский мост, тот самый. Ах, какая кошечка красивая, с золотым передничком и с короной! И дым из фабричной трубы, и этот голубой январский день, и я бегу на свидание, бегу, боясь опоздать. Резка стекла, зеркал. Фонтанка 137. Удар по глазам. Ремонт. Рельсы разворочены, щебень. Дальше разорвано, взорвано. Взрезаны вены. Набережная. Устье Невы. И – раскрываются всемирные моря... Португалия, Австралия, древний материк Му. Успел! Вот она, на горизонте! Растет, растет, надвигается, сокрушительница берегов, ужас континентов, первая и последняя – твоя Волна!

КЕРОСИН

Зима. Мне десять. Мать послала за керосином. Керосиновая лавка в другом конце поселка на самом его краю. Серый, дощатый сарай, земляной пол, тусклая лампочка, продавщица в ватнике, в валенках. Керосин в круглом открытом резервуаре посреди сарая, что-то вроде широкой, врытой в землю бочки. По мере расхода керосин туда надо накачивать ручным насосом. Я и качаю эту длинную ручку, из трубы льется красивое, синее. Меня зачаровывает таинственная полутьма и льющаяся струя пахучей жидкости. Продавщица спрашивает, сколько мне надо литров. – Шесть с половиной, – отвечаю я. Банка у меня нестандартная, ни на какую не похожая, кубическая, с резкими гранями, второй такой нет в поселке. Ставлю свою емкость на доску-подставку, продавщица втыкает в горлышко воронку и, черпая латунным черпаком, наполняет банку. Шесть раз, шесть черпаков. И еще половинку. Я протягиваю плату, рубль с чем-то, без сдачи. Иду домой по зимней дороге, тащу тяжелую банку, перекадывая из руки в руку. Банка трется о штанину, больно бьет ребром по ноге, керосин поплывывает из-под неплотной закрытой крышки мне на штанину. Я весь перегнулся на один бок. Тащить еще далеко, чуть не километр да еще в горку. Мать дома ждет топливо, без него обед не сварить. На керосинке готовим. Рука у меня замерзла, варежка рваная, не спасает от мороза, еле терплю, хоть плачь. Половину пути прошел. Ой, как много еще осталось!

Книга Велеса

/Поэма по мотивам Велесовой книги"/

Предисловие

Взяться за переложение знаменитой "Велесовой книги" меня побудили не только музы, Поэзия и История, но и "обида сего времени", нынешние события на Украине, в Киеве, матери городов русских, в Одессе и на Донбассе, когда на Россию и на всех русских опять, в который уже раз, ополчилась темная сила. Мое переложение правильнее было бы назвать поэмой, созданной по мотивам "Велесовой книги". Наряду с высокой эпической поэзией, заключенной в этом древнем произведении, меня привлекла мощно звучащая в нем патриотическая тема, родственная духу "Слова о полку Игореве" и чрезвычайно созвучная нынешним чувствам каждого истинно русского человека.

"Велесова книга" написана волхвами, хранителями древней веры, которую исповедовали наши предки до принятия на Руси христианства. Но, я думаю, было бы неверно воспринимать ее как только языческую книгу. Она, скорее, предтеча. Ведь наши предки - те самые люди, что оставили свою прежнюю веру, ради веры новой, также как Ветхий завет был сменен Новым заветом. "Велесова книга" - своего рода славянский Ветхий завет, в котором уже слышны сквозь сокрушения об утрате старой веры пророческие ростки Нового завета.

И все же главное в этой книге не смена вер и не столько память об историческом пути праотцов, сколько мощно звучащее в ней патриотическое чувство и призыв ко всем русским людям сплотиться в час угрозы нашествия темных сил, призыв к единству против врагов Руси, кто б они ни были и откуда бы они не пришли.

Туга и тоска сынам нашим! Скоро некому будет сказать про старое время. Куда идем – не знаем. Посмотрим назад – стыд и срам: забыли Правь, Явь, Навь, древних богов и славу предков. Горят звезды, реет Яйцо миров – в бездне той висит Земля наша, держит ее паутинка Божья, Волос-Велес и Дажьбог-Родитель. Строгие очи пращуров смотрят из рая на Землю нашу.

Дажьбог дал Правь; Правь прядет Явь, быструю пряжу; Явь течет в Навь, к богам и предкам. Ждет нас широкое поле Нави за берегом быстрой Яви.

Старое колесо миров! Древний корень! Творенье Триглава! Души пращуров смотрят скорбно. Жаля плачет в далеком поле: забыты Правь, Навь и Явь! Горе вам, даждьбожьи внуки!

Жрецы завещали хранить Веды. Горе великое! Не уберегли мы Книгу! Ныне, вняв мольбам нашим, возвращает нам вещий Велес книгу сию, дабы знали мы, откуда идем, о том Гордыне, что разбил готов в тысяча трехсотом году после исхода с Карпенских гор, о Сегене, что убил Германареха и отразил Гулареха от Воронежца. Нам ли стыдиться наших святых и побед, слыша рев хулы свирепых племен?

С чистой молитвой вступим в круг праотцов, в Правду богов! Звезды с нами, их щит и помощь!

Ныне настало злое время, гунны налезли на Русь, тело в железе, глаза – злоба. Их боги – кровь, гроб, грабеж. Встаньте же единой ратью, сыны сего дня, отразить вражью силу! С нами праотцы наши и Божья помощь!

Вспомним же ныне, в час новой беды и новых бурь, долгий путь Рода, пройденный стопами предков через кручи и бездны, сквозь кровь и прах, блуждания и битвы, тысячи лет, из тьмы веков к нашему дню!

Молим Велеса выпустить семь коней, правит ими Царь-Солнце на огненной своей колеснице. Велес – отец наш и покровитель, озари светочем своего вещего слова, поведай нам о том трудном и долгом пути праотцов!

Вот прилетела, села на древо, запела Птица о старых годах, о славе предков; перья – гроза, голова – молния. Перун гремит в тучах, Сварог поит землю водой жизни. Корова Земун пасется в звездах, молоко разлилось путем богов. Путь Прави – путь сердца. Наступит ночь и придет Велес; идет высокий к чертогам своим, садится у звездных врат. И мы запеваем древнюю песнь, славим Велеса.

Велес научил нас раять и сеять, жать, снопы свивать, огонь разжигать,

ведать силу трав и вешее слово. Велес – отец наш, ведет нас по стезе Прави. А мать наша – Слава, и потому мы – славяне.

Мать-Слава поет в Сварге о ратях старых времен, бьет крылами, зовет к сече. Правь – с нами, а Навь – с сынами тьмы. Перуница прилетит на поле брани с полным рогом воды вечной жизни, даст испить павшему русичу. Перун возьмет его в свое небесное войско. Матерь Рода, Царь-Птица поет нам о славе предков, о ратной чести сынов ее русичей.

Перун идет, грозным усом трясет, сеет молнии, а из них вырастают рати новых времен. Мы на земле – искры от стрел его, сверкнули -и нет нас. Только наша ратная слава вовек не умрет, улетит к прашурам, сольется с доблестью наших отцов и дедов в великой песне Матери-Славы, Царь-Птицы Рода. Мы не боимся темной страны Мары, мы – потомки Славун, отпрыски славного рода славян.

Мы пришли из Пенджаба, где жили прадеды наши и паслась прародительница стад наших корова Земун. Там Велес по веленью Дажьбога принес в сыновья Богумиру звездного отрока – Руса.

Бьет крылами Мать-Слава, поет свою песнь к сече, зовет под стяги с огнеликим Ясунем. Род русский соберется в сотни, а сотни - в тысячи, а тысячи – в несметную силу. Текут на Руси великие реки, шумят многие воды и поют они о стародавнем, о тех ратях и тех полках, как ходили к Дунаю на римлян, костями легли у валов Траяновых. Ветры Стрибожьи тужат о павших, на холмах высоких справляют тризну.

Утром Зарыня приносит нам молоко – укрепить силы, а Берегиня - оберег от злых чар. И вот уже слышим; скачет по берегу вестник на закате дня – сказать солнцу, чтобы садилось в злат челн, править к ночи. И вот уже скачет другой вестник и говорит солнцу, что волы устали влечь воз по синей степи, пора им прилечь отдохнуть на Млечном Пути на стоянке Велеса.

Горит негасимо венец нашей древней веры, а чужой нам не надо. Сила наша в степях строится Птицей, по подобию Матери нашей Птицы-Славы: голова – Ясунь, головной полк, там князь и стяг; крылья -боковые полки, там стоят воеводы храбрые, готовые к битве.

Воспоем славу великому Триглаву, Сварогу – деду богов, Перуну-громовежцу, Световиду, он – щит наш от ночеликой Нави! Бьется в Сварге Белобог с Чернобогом. А Сварог, Световид и Перун – трое в одном /это тайна богов/ держат свод рукой крепкой, чтоб не обрушились столпы неба. За ними – Хорс, Велес, Стрибог. Потом меньшие боги: Радогощ, Колендо, Крышень, Питар Дый, Яр, Дажьбог, Белояр, Лад, Купало. А за ними – Семаргл-Огнебог.

Вещий Велес возгремит в гусли, отворит врата рая, там течет Рай-река, и жизнь там беспечальна, там Дед-Дуб-Сноп вечно-зеленый.

Вестник скачет к нам из Сварги небесной, возглашая зарю нового дня. Слава тебе, Ярило! Да не устанет сиять твое ярое око! Ты даешь нам очи наши, и мы видим, куда идем; видим землю, горы и широкое море. Всяк день дает нам новые очи свои зреть наших богов огнеликих: Перуна, Дажьбога, Хорса и Яра. Вот выходит Яр-Ярило в путь свой, разит жар-мечом древнего Гада, что выползает из нор ночи, грозя нам болезнями, мором и погибелью всякой.

Слава тебе, Ярило! Слава богам! Да хранят род наш!

Тот, кто забыл дела предков, – проклят богами, один он на земле, сирота бездомный без роду и племени, непомнящий родства своего, и сгинет имя его во мраке.

Так поведем же речь сию от корня, от старого Ария.

За две тьмы до ныне праотцы наши водили скот свой в благой земле, в Семиречье, за морем, в Краю Зеленом. И сказал Сварог отцу Арию: "Я – творец ваш, род ваш от перстов моих. Будете вы – великий род и победите все иные роды". Тогда правили у нас старцы и вече, вершили суд Правды, род избирал Родича – править. Так правили праотцы наши, и всяк мог сказать свое слово. И напали гунны, племя злое и жестокое. И сказал тогда старый Арий: "Уйдем из земли этой, где гунны убивают нас и детей наших".

Принеся в жертву белых коней, ушли праотцы наши из Семиречья искать иную землю; в той земле течет молоко и мед. И пошли все, и три сына Ария: Кий, Щек и Хорив. От них произросли три славных племени. Сев на коней, пустились в путь, старшая дружина и младшая, коровы, быки, овцы, повозки, дети, старики, жены. Шли на полудень, к морю, мечами разя врагов. И пришли к Горе Великой, к долине злачной. И жили там богато и мирно.

В другую тьму был хлад велик, и потянулись к полудню, ибо там места злачны, и пришли на зеленотравие, и было у нас скота много. И начались распри в родах, рассорились родичи. И настиг нас гнев Сварога, грянул гром его, затряслись горы, посыпались камни, низверглись лавины, погребли под собой селения праотцов наших, и бежали, кто жив остался, с тех гор в степи. И сказали отцу Арию: "Веди нас на древнюю землю нашу, на старую родину, где жил когда-то род наш, вернемся в родную Русь, ибо мы русы. И пошли Арий и трое сыновей его, Кий, Щек и Хорив от тех гор, и пришли к Ра-реке на древнюю свою родину.

И нагрянули гунны, и не могли праотцы наши одолеть их. И, переправясь на ту сторону Ра-реки, и люди, и скот, потекли на полудень, и

пришли к Готскому морю, а там готы преградили путь. И в то время была у нас великая битва на берегах Готского моря. И там праотцы накидали курганы из белых камней, погребли там своих бояр и вождей, павших в сече. От гор Арийских ушли в край Иньский и там в Загросе жили сто лет. Потом пошли на Двуречье, одолели тех конницей, достигли земли Сирийской и там остались со стадами и табунами своими. После новых войн ушли к горам Карпенским, там правили у нас пять князей, возвели города и села, и был там торг великий.

И было от отца Ария до Дира тысяча пятьсот лет. Еще персы знали нашу разящую медь. Но Творец повелел ковать смерть из железа и сесть на коней с пастбищ Стрибожьих. Так утвердилось Русь наша. Да хранит нас Перун! Князья из рода Ария были сильны и славны, не давали землю свою в обиду. Когда же в древнее время мы были у солнца Египта, разбрелось кто куда единое стадо, как заблудшие овцы Велеса. И персы взяли нас, и мы подчинились мечу Набсура, склонили головы под бичи. Часть ушла на запад и там пропала, а весь род лег под Набсура.

Долго душило это ярмо. Час настал, и русы ушли от Набсура-царя, перс не посмел по следу их гнаться. Миновав Фарсийскую землю, вернулись в степи.

В тот день, когда вышли мы из Вавилонского плена, случилась великая Трясева, закачалась земля, как челн на волнах, метались, ревя, волю, ржали кони. Мы бежали к полуночи со стадами своими, не видя пути под стопами нашими. В тот день спасли прашуры, называющиеся из Сварги, не дали погибнуть роду.

Мы не псы в парше у столов пиршеств, ждущие, когда кинут кость! Мы – славяне, потомки Матери-Славы, род наш – от корня великих воинов. Магура, вещая птица поет свою песнь к сече. Сам Перун поведет нашу рать к победе, огненные его стрелы повергнут всех врагов наших!

Отец Арий отошел к предкам. А Кий, Щек и Хорив привели род наш к Днепру, реке великой, текущей к морю. Река эта – рубеж, межа – между прей и непрей, распрей и ладом, бранью и миром. Левый берег – пря, правый – непря, а нам идти – до Непри. Потому и нарекли – Днепр. Сложили очаги и поставили мольбища. Щек и Хорив ушли. Щек пошел на закат солнца с воями своими, а Хорив повел своих за Дунай. Кий же остался и основал град Киев, стол русского рода. С ним сплотилась Русь, мать наша. Да пребудет она до конца времен!

Кий правил тридцать лет и умер. А после Кия был сын его Лебедян, рекомый Славером, и правил двадцать лет. А потом Верен – также двадцать лет. А после Сережень – десять. И побеждали они врагов своих. А после росли на Руси усобицы, Жаля и Карна по ней ходили, вспоминая

первых князей. При отце Арии един был род славян, а сыновья разделились натрое: русколани, венеды и борусы. Раздробился род, родцы и родичи.

Вспомним же ныне ту первую распрю, когда раскололся род. Вначале был отец Арий с тремя сыновьями своими. И были в те старые времена князя наши: были Мезислав, Борулав, Комоно-бранец, Горислав, был Оседень и двое сыновей его. И был Кисек великий и мудрый, брат Ария. И сказал отец Арий Кисеку: "Соберем вместе наших мужей и жен, детей и старцев, твоих и моих, и скот наш, и твой и мой, и будем одна сила – обороняться от врагов наших. И не захотел Кисек и люди его. И увел отец Арий своих в дальнюю землю и сказал: "Здесь поставим град и будет имя ему – Голунь, ибо тут голая степь и леса." А Кисек пошел прочь и увел своих в иной край, подальше от Ария, и там поселился. Так раскололась сила рода, и стали чужими. И налезли на Кисека язй, злобное племя, и пали люди его от меча в корм вранам; выклеваны очи их на кровавом пиру прожорливых клювов.

И воскорбело сердце старого Ария, и рек он родичам: "Седлайте коней! Поспешим к Кисеку, брату моему, отомстить за людей его! Будем едины и будет победа!" Так рек Арий, и настигли язей, и повергли их в прах, было им в тот день возмездие.

Вспомним же, братья, гордость предков! Предсказано в давние времена, что Русь сплотится и станет державой великой, возродится Голунь и триста его городов и сел. Птица Мать-Слава поет о дне том, и ждем то время златое, когда повернется Колесо Сварога. Не будем, как венды, ушедшие на запад; рают чужую землю, исковеркана вера их, и правит ими лживый князь Боровин. Венды, где ваша честь? Вспомните о земле предков! Вернитесь в родные степи присмотреть древние наши уголья!

В дни исхода из Семиречья взяли те земли у нас злые дасуни. Огнебог полетел на крыльях огня и сжег Голунь. А после упал на землю великий Потоп, земля разверзлась и поглотила коней и конников, скачущих в бегстве от кары богов. Так нас учат уроки антов. Те анты мечом подчинили многих, а дом свой сгубили, ибо на чужбине построили дом свой. Отцы наши приносили в жертву богам белых коней, и боги вступились за них, стерли дасуней и язей. С нами Арий и Кий, отцы наши, их длань всегда с нами.

Крепкой рукой держите землю свою, внуки Дажьбога! С четырех сторон лезут на нас мечи, и с тех же четырех сторон приходят к нам святые праздники наши: Коляда, Яр и Красная Гора, и Овсени великие и малые. Соберемся же, братья, в единый род, песней и пляской восславим

богов! Приложим землю родную к ранам своим, и когда предстанем пред Марой, скажет Мара: "Суд Нави не властен над русичем, ибо русич смешан с землей своей, взял землю в раны свои, смешал с кровью своей, не отделить нам русича от его земли".

Помни, сын мой, те трудные времена, тяготы и скитанья предков. Прадеды наши блюли чистоту души и тела, всяк день творя мовь и молитву, ибо так установил Сварог и велит Купало. В свой час, сын мой, уйдем к Сварогу, узрим прашуров и матерей наших, там, в Сварге небесной, в Ирии пасут они стада свои и свивают снопы, нет там ни гуннов, ни готов, ни греков, ни серебра, ни злата, ни ярма, ни оков, только Правь правит там, и Велес водит стада свои в синих лугах, играя на гусях. А здесь, на земле Световид дает нам днем добрые очи Яви, а ночью хранит от злоокой Нави. А в час битвы, сын мой, мы идем на врага, не страшась смерти, ибо душа наша бессмертна. Павшему русичу Перуница даст испить из рога воды жизни, и полетит он в Сваргу на белом коне, и там встречает его Перун и ведет в чертоги свои.

От Ария, отца рода утвердился Русь силой великой – от Ра-реки до Днепра и Карпат. Пятнадцать веков правили у нас родичи и вече, и порушилось это после веков Трояна от рук хазар.

И был у нас в стародавние времена Богумир, муж Славы, матери нашей, и были у него три дочери и два сына, водили скот в степях, чтя богов и стезю разума. И запряг Богумир повозку, и поехал искать мужей дочерям своим. Приехал к дубу в поле, заночевать, разжег костер. Видит, скачут к нему три конника: "Будь здрав! Что ищешь?" Поведал им Богумир. А те ему: "Сами едем искать себе жен". И привел Богумир троих мужей дочерям своим. От них пошли три славянских рода; древляне, кривичи и поляне. Первая дочь Богумира – Древа, вторая – Крева, а третья – Полева. Сыновья же – Сева и Рус. Отсюда – северяне и русы. А те три мужа – три вестника божьих: Утренник, Полуденник и Вечерник.

Те роды водили скот в Семиречье, в Краю Зеленом еще до исхода Ария. И было это за тысячу триста лет до Германареха.

И был у нас Славен и брат его Скиф, вела на востоке большие войны. И решили: Славен пойдет в Ильмерскую землю, а Скиф – к Дунаю. И так разошлись. Славен поставил сына своего Бастара у ильмерцев, а сам потек на полночь и утвердил там свой град Славенск. А брат его Скиф сел у моря. У Бастара же сын – Венд, а после внук Кисек владели полуденными степями, водили стада многи. И была брань великая за степи, от Дуная до гор Угорьских. И рек Кисек людям своим: "Мы – русичи, наш клич: "Иду на вы!" Акинаки скиф-ские у нас остры. Где пролилась кровь наша, там и честь наша".

И были мы у Керани, малый град на берегах морских. Греки принесли дары: овнов, вино и ризы, говоря себе; "Русы упьются вином и мы побьем их". Тогда остерегли нас волхвы наши Ухорез и брат его Соловей: "Не напивайтесь от даров коварных греков". Русы же не послушались и упились. И в тот же день греки напали и посекали их. Тогда русы отошли в степи собраться с силой. Помолясь Триглавам великим и малым, ударили на врага. Впереди летели боги, Перун и все сварожичи, и рубили головы поганных греков, свергали конников с конями их, мертвыми телами устлали поля. Восплакались на тех полях Жаля, Горыня и Карыня великим плачем по земле той, земле скорби: "Эта земля пила кровь тысячи лет, не утолить алчбу и жажду злой земли этой до скончания веков!"

Я, внук Велеса, говорю ныне: "Братья, будьте едины, крепите силу свою! Грядут тяжкие времена. Налезут на нас враги многи со всех стран, рати в железе, кровожадны и злобны. Но будут с нами праотцы наши. Вот старый Арий грядет по облакам. А Перун кует мечи и стрелы. И говорит Перун Арию: "Эти мечи и стрелы на врагов твоих, повергну их в прах, превращу в свиней смрадных, и смрад свой понесут по следам своим"

И видел я сон в Нави: облако огненно. И вышел из него Змей чуден, и схватил землю, и потекла из нее кровь, и Змей лизал ее. И пришел муж сильный, и рассек Змея, и стало два. Рассек еще раз, и стало четыре. И возопил муж к богам о помощи. И пришли боги на конях из Сварги, и сразили Змея. Змей тот – Боспорец, идущий с полудня взять землю нашу. А земля наша – Русь.

Так минуло тысяча триста лет после исхода с Арийских гор. И после тех войн стояла земля наша еще пятьсот лет. И были у нас славные грады, Голунь, Сурож, Вороженец. После пришли к морю и возвели Корсунь. И налезли готы. Германарех привел с полуночи своих рогатых воев. И рубились мы с готами лютой бранью. Их главы одеты для устрашенья в рога волов и коров, а чресла – в кожах зверей. Тогда мы, русы снимали рубахи и оголяли чресла свои, шли наги с мечами и сокрушали готскую силу. И тогда готов прогнали до Донца и Дона. И Германарех пил с воеводами нашими чашу мира, вино, смешанное с кровью, его и воевод наших.

А потом Германарех нарушил клятву, сошелся с гуннами, и налезли они на землю нашу с двух концов: готы с полуночи, а гунны – с полудня. И прилетела вещая Птица Мать-Слава и провещала князю нашему Белояру: "Иди на гуннов, потом – на готов". Он так и сделал; расшиб гуннов, потом – готов. Там он сразил сына Германареха. В то же лето Германарех пришел опять, построив своих рогатых воев "серпом", и застал врасплох отцов наших. Бились до ночи. Мокошь-месяц встал

высоко в небе, ратоводец готов, и разил нас серпом своим в голом поле. Тогда мы отошли в степь собраться с силой. Белояр собрал войско и повел от Воронежца, десять тысяч отборных конников, и обрушились на готов. Сеча была зла. И готов смяли.

И взял Германарех жену из нашего рода по имени Лебедь, и убил ее, разорвал лошадьми, привязав к хвостам их. Тогда Бус, вождь наш, потек на него. Но Германарех посек нас, русов, а Буса распял на кресте и с ним еще семьдесят князей наших. И тогда печаль великая была у нас. И встал на челе рати сын Буса, Бус младший и повел Русь на готов. И сам Белобог вел с ним рать нашу. И мы видели: выходят из лесов кудесники и чародеи, и творят великие чудеса: подбрасывают прах к небу, и встают из праха сварожьи рати, текут впереди нас на врага. И видели мы: Птица-Слава летит впереди рати нашей, зовет к победе. И повергли готов.

И были у нас брани великие все те лета, одна сеча сменяла другую, то готы, то гунны, то Рим, то греки. После ста двадцати лет непрерывной брани готов потеснили гунны и берендеи и те отошли к полуночи между Ра-рекой и Двиной. Германарех умер. А Гуларех сразился с гуннами. Сеча была зла тридцать дней. После Гулареха готы отошли на север и исчезли, Дитерих увел их, и мы о них ничего не слышали.

И был у нас муж из рода Белояра, предупредил синьцев, идущих к фрягам, что гунны на острове своем поджидают обобрать их, зарясь на их шелка и перлы. Было это за пятьсот лет до Адореха. Синьцы дали ему серебро и два "золотых коня" и повернули назад в Синьскую землю, и не приходили уже никогда. А мы, русы, после того сговорились с фрягами и прогнали гуннов.

После тех войн Русь опустела, был глад и мор. Аттила пожег нивы наши, угнал стада. С моря пришли греки. Голунь сожжен, Сурож повержен, Корсунь в прахе. Трижды вставала Русь из пепла. Отцы наши возводили грады и ставили храмы для почитанья богов, в Киеве и на Волини у дулебов, и в Суроже на синем море, свершали требы и приносили жертвы. А ныне Сурож повержен и боги наши в прахе, пограны пятой грека. Тысячу триста лет мы хранили святыни наши, а ныне их попирает пята осквернителя. Греки – враги нам и богам нашим. Их боги –каменные изваянья, подобные мужам. А наши боги – лики огня и солнца, воды и ветра, дерев и трав.

А потом ступила на Русь смута, зажгла вражду в родах, раздор и рознь, и пошли брат на брата, наточив железо братоубийства. За десять веков забыли: кто свой, кто чужой, и чья кровь, и где – кровники. Распались на племена: поляне, северцы, кривичи, древляне. Все они – русичи, от Русколани древней, один род. Не так, как Сумь, Вель и Чудь. Мы, русичи,

от славного корня, мы еще помним Дария Персидского, что потоптал Скифскую степь и увел нас в рабство к спесивым персам. Когда мы ушли от Белой Вежи и от Роси к Днепру и там Кий утвердил град Киев, мы были тогда единый род, единая сила. Братья, сплотимся же, как прежде, смирим распрю!

И тогда погибла славная Бусова Русь. Нагрянули обры – беда великая. Было же их, как песка морского, стократ тяжче зло, чем готы, гунны и греки. И встали мы противу обров, но не было лада у нас на Руси, и победили обры. А князя нашего Мужемира замучили, посадив на кол. И с обрами ходили тогда на греков не по своей воле. Вои наши пошли к Дунаю и дале, и оттуда уже не вернулись.

Ныне же греки снова идут на Русь, гремя силой железной. Но с нами Перун! Расшибем их! Посмотрим, куда летит ворон, – и там смерть, А ворон летит к морю, к тем грекам.

И были времена Маха, нашего великого князя, волохи шли на нас; Халабуда, жестокий воин, пришедший на Дунай с мечом Рима, много посек русских сынов, и настал ему час возмездия.

И были у нас брани с булгарами. Кий тогда пошел на них к полуночи от Воронежца, на выручку к Голуни и Сурожу, справа – море Дулебское, слева – готы, а прямо на полудне – греки. Перун помог, отстояли Голунь.

За четыре века до Сурожца хазары нас взяли и были мы в ярме хазарском. Боярин Скотень не подлег под хазар. Иронцы в помощь ему прислали конницу. Часть русичей пришла под щит Скотеню, другие бежали от хазар в Киев. Хазары творили зло, сделали нас рабами, избивали жен и детей наших. Лучше смерть, чем кабала у хазар. Те сперва ходили с товарами, хитры и велеречивы, потом с мечом. Скотень повел нас и иронцев и поразил хазар. А потом пришли на них варяги. Каган хазарский у Скотеня просил помощи, а Скотень отверг: "Поможете себе сами". И тут хазары узнали срам и вкусили праха, бросая мечи, бежали в великом страхе к Волге, Донцу и Дону. А варяги, сыны волков, уселись в Киеве и взяли Русь.

И был у нас Белояр Криворог, князь русский, укрепил Сурож у моря. Пустил белого голубя – куда полетит, туда и ийти. Голубь полетел на греков. И Криворог побил их. А хитрые греки-лисы, вертя хвостом, принесли Криворогу дань "золотое руно" и "коней серебряных" СНОСКА. * монеты с изображением овов и коней; "Ты держи Сурож, а нам дай Голунь". А после коварные греки навергли на нас воев в железе и сокрушили многих. Почтим же память далеких предков, кто, ратуя, пал за землю нашу! Святая кровь их, кровь воинов хранит нашу Русь! Теперь они

воины бога – богуны, в небесной Сварге с Перуном куют мечи нам в помощь.

Но померкло солнце старого времени, варяги пришли на Русь, Аскольд и Дир, поразили князя нашего и уселись в Киеве княжить. А до этого правила наши вожди, и Огнебог хранил очаги наши, но теперь отвратил он лик свой от нас.

Старые вожди судили по правде, а эти Аскольд и Дир творят суд по указу чужих богов. Не будут они владеть нами! Их боги не станут богами нашими! Такими были отцы наши, и нам иными не быть! Остерегайтесь, сыны мои, варягов, как пастыри, которые стерегут от волков агнцев! Их жестокие боги, Паркун и Один всяк день требуют в жертву человеческой крови. Мы же несем на алтарь дань полей и трудов наших: просо, тук, молоко. На Коляду – агнца, также – в Яров день на Русалиях и на Красную гору. В старые времена жили мы по закону рода, старцы правили суд у Перунова древа. В тот день затевались игрища, юноши упражняли молодую силу, ум и умение. Чиста, вера предков наших и святы обычаи. Дедов завет стоит твердо – столб заоблачный. Сварог кинул нам на землю меч, чашу и рало. А Велес дал вещую силу и знание.

Остерегайтесь, дети мои, и греков. Эти греки-ромее издавна зарились на Корсунь, тридцать лет налезали их копы с моря, споткнулись о наше мужество и твердость.

Ныне, через двести лет после Адореха, за хазарами пришли варяги, порушили жизнь нашу, лад старого времени. Соберись, Русь, встань под стяги! Не посраим отцов и дедов наших, древних воинов, спящих в курганах!

Аскольд и Дир по Днепру ходят, зовут в дружину свою. Не пойдем мы под их стяг! Аскольд посадил воев своих в ладьи, идет на греков жечь и грабить. Этот варяг пришел из-за моря взять землю нашу. А Рюрик волком рыщет в степи, режет купцов и забирает товар их себе в Новгород.

Эти князья- варяги крестились у греков. Аскольд – темный воин, а днес просвещен Царь-градом: "Русы – варвары". На это ответим: Кимры – отцы наши, трясли Рим и греков гоняли, как поросят. Мы ли варвары? Древние письменна наших священных книг – до Кирилла.

И ныне крещена Русь.

Отцы наши ходили на древние погребалища слушать, как дышат пращуры под зеленой травой, и пращуры говорили с ними и наставляли их на путь Прави. Вспомним же завет предков! Род-Рожанич держит нас в сердце своем отчем. Ясунь с нами на стягах наших. Побиты рати старых времен, вороны выклевали очи воев, трава проросла сквозь их черепа.

Встанем же ныне новой ратью! Не поддадимся варягу! У нас свои князья, им платим ругу. Вспомним же, как деды наши сокрушили римских "орлов" в устье Дуная. Траян тогда шел на дулебов, и деды расшибли легионы Траяновы. Десять лет те ходили у нас в ярме вместо волов. И было это за триста лет до сего времени. Траян был за пятьсот лет до готов. Но эта брань не угаснет до скончанья веков. Доля наша – сражаться до последней крови последнего воина. Так говорит наш отец Хорыга, поведав сон свой: "Вот строится рать, блещут шеломы и латы, выются стяги, трубят трубы, ржут кони. Впереди летит наша Мать-Слава, летит над Русью, прикрывая ее светозарными крыльями своими".

Был у нас князь Бравлин, увел отцов наших на север к Ильмень-озеру, и там построили Новый Город, и ныне там возжигаем огонь богам у дубов священных на Волхове.

Этой ночью видел я вещий сон, видел Кия, отца нашего, и он сказал: "Вскоре разрушены будут вражьи козни. Обнимутся братья, прекратив распрю. Будет великая победа! Воспрянет Русь, поднимет гордую голову. А грек и варяг лягут у ног ее, плача о былом величии своем". И будет так, ибо это речь богов!

Эта земля полита кровью нашей и усеяна костями нашими, нам на этой земле так судили боги – умирать за нее в жестокой сече. Не предадим богов наших. Рать нашу поведут громовичи. Присыпем раны родной землей – и заживут раны наши. Свершим же, братья, великую Тризну по всем павшим за Русь! Теперь они в Сварге подле Перуна и Дажьдбога, подле пращуров наших.

А кто не идет в бой за землю свою – тому будет кара тяжкая, род отринет его и от него отречется, Жаля его не оплачет, и имя его забудется. И сохранит род имена героев, славных воинов, павших за Русь, за землю предков. Вечная им память!

Сны Шумера

«Не надо ее окликать»

Марина Цветаева

*

Пишу я тебе эти клинышки-строки,
И кровью клянется открытая рана.
Всему на земле предначертаны сроки,
Так что ж я тебя окликаю, Инанна?

Сказать, что все также горюю-тоскую,
Думузи, свой долг отдающий Шумеру,
Что мне присудили тоску эту злую,
И срок отбываю – безмерную меру.

Тоска эта тысячелетьями гложет,
Взнесет в небеса и забросит в трясину,
Тоска эта стелет нам брачное ложе
На пепле крушений, на плахе вершины.

Прошел семь ворот я в стране без возврата,
Искал там колечко с двумя именами.
Меня называли Думузи когда-то...
Измучен, измучен я древними снами.

*

Ни рук, ни губ. Двуречья стон двойной:
«Умру, и ты об этом не узнаешь!»
Расстались мы, но, мучимый виной,
Я в том Уруке, черном от пожара;

В Уруке том, где черная река
Змеится без конца и без начала,
В том доме, где ни стен, ни потолка,
И где о Гильгамеше ты читала.

Евфрат и Тигр благословляли нас
В ту ночь бессонницей и пропастями,
Предупреждая: предначертан час;
И дух долин, скорбя, витал над нами.

Расстались мы. Не знаю, с кем ты, где.
Но я опять на месте нашей встречи,
Предчувствием томимый (быть беде),
Чтоб ждать свой час в печальном Междуречьи.

Тот час придет. К туманным берегам
Не долго плыть мне в приступе удушья,
Моля богов, чтобы к твоим дверям
Вернулась петь свирель моя пастушья.

*

Прости, прости. Я жертв не приносил,
Ягненка печень мне не нагадала,
Я просто на дороге пал без сил,
А жизнь и без меня начнет с начала.

Построят храм и справят в сорок лет
Священный брак Инанны и Думузи,
И пояса двойного амулет
Им сохранит супружеские узы.

Жрецы свои моления совершат,
Ячмень в кувшины черные отмерят
И белого барана умастят,
Чтоб серебро пополнилось в Шумере.

Все видит медный семиглазый гвоздь,
Не спрячешься в подвалах подземелья;
Кому жить в страшном мире привелось,
Тот смерти позавидует в Шумере.

Прости меня, я только верю снам,
Проклятиям и заклинаньям верю,
И чей-то плач я слышу по ночам,
Стенанья плакальщиц твоих в Шумере.

*

«Не приручай – потом я буду плакать!»
И будут плакать Ур, Лагаш, Ниппур,
Сиянье дня, тот май, тот сад, та мякоть
И пояса магический тот шнур;

Тех черных птиц слепые хороводы,
Нибиру, затаенная страна,
Там жили-были в счастье долги годы
Какой-то он, какая-то она;

И стерегли страну Нибиру боги,
Энлиль и Энки, и старейший Ан,
И птица Му, хранящая пороги,
И сущность МЕ – мать мировых семян.

О чем я? Неразборчивы таблицы,
Мне не прочесть письмо истлевших рук,
И страшный твой Шумер мне только снится,
Твой глиняный, безоконный Урук.

Потерян рай. Любовь миры не движет.
Тебя ждет Север ужаса и льда;
И никогда тебя я не увижу,
Тебя я не увижу никогда!

*

Забудем всё, на стол просыплем соль,
Не будем знать, что нам вещают знаки;
Уйдет в загробный мир и эта боль,
Пусть судят судьи мертвых, Ануннаки.

В чей дом приходят счастье и беда,
Всегдашних двое – близнецы Шумера?
В чью комнату всю ночь глядит звезда,
Иштар, Инанна, или та – Венера?

Опять она не позволяет спать
И плавит сердце нежное из воска,
И за окном томительно опять
Трепещет в мае чахлая березка.

Забудем всё, забудем все слова,
Развяжет узник свой последний узел...
Но длится этой ночи синева,
Как древнее преданье о Думузи.

Бессонный отсвет неприкрытых спин,
Как раковин морских во мгле свечение;
И братья-близнецы Нергал и Син
Разделят с нами муку разлученья.

*

Предрешены начала и концы.
Уедешь ты, и ниточка порвется.
Календари изобретут жрецы,
Построятся каналы и колодцы.

Уедешь ты. Исполнится указ:
Преступника задушат в подземелье;
На шестьдесят поделят смертный час,
Нанижут черный жемчуг ожерелья.

Я сам на этот день назначил суд –
Судить себя на море и на суше.
Дороже всех из прожитых минут –
Та ниточка, что связывала души.

Аукнется мне полногласный звук
Твоей души, и брошусь я навстречу...
Но – поздно. Слишком поздно я отвечу...
Оттрепетал тот трепет уст и рук.

*

Я возвращаю зрение и слух;
В час разоренья и разлада
Я только околдованный пастух,
Усталое пасущий стадо.

Из года в год двенадцать гнать коров
На брак Инанны и Думузи
И тяжестью магических даров
Затягивать все туже узел.

Пролет ягненка жертвенную кровь
Твой царь, твой первенец, твой Овен,
А вслед за ним Тельца-убийцы рев
Обрушит ужас новой крови.

Как прежде близнецы Нергал и Син
В тоске и скорби пребывают;
И Рак, и Лев, и Дева, и Весы;
И Скорпион Стрельца сражает.

И твой длинноволосый Водолей,
Он, Великан твой бородатый
Опять низвергнет бурей февралей
Потоки Тигра и Евфрата.

И Рыбы, завершая этот круг,
Уйдут опять в свои глубины.
Тогда и я, большой знаток разлук,
Тебя и твой порог покину.

*

Зачем мне снятся эти встречи
И обручи со смуглых рук?..
Отвергнута царем овечьим,
Ты едешь в отчий свой Урук.

В Уруке том Энхедуанна
Слагает гимн твоей тоске,
Надменногубая Инанна,
Семь МЕ держащая в руке.

Тяжел для дочери Саргона
Верховной жрицы жесткий сан.
Я сам на краешке перрона...
Но знаешь, все это туман...

Не разгадать, о чем Шумер твой
Из тьмы столетий пишет нам, –
Какой платить придется жертвой,
Каким в угоду пропастьям?

Какой невымерший обычай,
Привыкший в снах повелевать,
По следу письменности птичьей
Придет нас мучить и терзать?

О чем тужить тебе, Нисаба,
Богиня древнего письма, –
Твоих заклиний не сняла бы
С тех криптограмм и смерть сама!

*

Не разгадать нам эту речь,
За море улетела птица.
Язык твой мертв – не петь, не жечь,
Не Феникс ты, не возродиться.

Другие языки придут
Слагать и петь другие гимны.
Лишь ты грозишь мечом нагим мне,
Львиноголовая Анзуд!

Свой меч пошлешь ты в Междуречье –
Карать надменный небоскреб,
И вавилонские наречья
Смешает праведный потоп!

Но после катастрофы всякой
На новом творческом витке
Опять загадочные знаки
Бог Энки чертит на песке.

*

Писец закончил свой рассказ
Глаголом глиняной таблички –
Нашествие жестоких глаз,
Кровавых распрей переклички.

Начертан шестисотый знак –
Клин журавлиных заклинаний.
Киш, Ур, Лагаш и Шуруппак
Разрушены до оснований.

Там гимны петь, там слезы лить;
Храня сказанье о Саргоне,
В корзине по Евфрату плыть,
Чтобы потом воссесть на троне.

В оковах медных проведен
Через врата Энлиля пленник...
Зачем мне этот страшный сон?
Не твой, не твой я соплеменник!

Зачем мне в окруженьи звезд
Священный бык твоих печатей,
Твоих могучих стад прирост,
Твой зверский царь-завоеватель?

Скользнуть бы сорванным листом
С последней призрачной ступени,
Не сожалея ни о чем
И не желая возрождений.

*

Ты свергнут с лазуритов лестниц,
Низринут в выгребную яму,
Ты видишь пленников и пленниц,
Влекомых на убой к Эламу.

Ты, населивший землю нашу
Потомством сильных поколений,
Теперь поешь «Плач по Лагашу»
В часы резни и разорений.

Ты, прародитель мощи стада,
Теперь бредешь, ярму покорный,
Вымаливать позор пощады
У полководца силы черной.

И скоро жрец бритоголовый
Нам возвестит другую эру,
Но ты меня отыщешь снова,
Плач по умершему Шумеру!

*

Кирпич Экура всё поет
Свой гимн стенания и плача;
В Ниппуре жрица слезы льет,
От вечной горечи незряча:

«О мой разрушенный Ниппур!
Уже не быть в тебе венчаньям...»
У этих призрачных фигур
Конца не будет причитаньям.

Не истощится этот хор,
Грозящий Севером и Югом,
Непримирим земельный спор
Серпа с косой, мотыги с плугом.

Гордыне финиковых пальм
Не сговориться с тамариском;
И горе ходит по пятам,
Грозя неисчислимым списком.

Оно преследует меня
Без передышки днем и ночью,
Чтоб этот перечень построчно
Твердил мне чьи-то имена.

*

Где эти глиняные люди
С глазами ужаса и мрака,
На алтарях и на посуде
Двенадцать знаков Зодиака?

У стен священного Ниппура
Я вас не вижу, дети Ана,
И нам не класть кирпич Экура
Для дома твоего, Инанна!

Ни тростника, ни тамариска,
Ни фиников не нужно гробу.
На глине царская расписка
Вернет нас к матерям в утробу.

И мы опять начнем сначала,
Чтоб голос неба слышать лучше,
Пока не сменит мир Меняла;
Ведь мудрых украшают уши.

И в новом календарном круге
Грядет рогатая тиара
Пасти нас на свирепом Юге,
Где всякой твари блеет пара.

*

Расцветшая трава пряденья,
Прельщение ниточки льняной,
Змеиножалое томленье:
«Кто ляжет в эту ночь со мной?»

Думузи с головой барана,
Пришла, пришла твоя пора!
Избрала светлая Инанна
Тебя для нашего добра!

Пребудет в доме изобилье
И стадо принесет приплод;
А мы велением Энлиля
Оплачем скорбный твой уход.

Храня святыней в нашем храме
Спряденную поверьем нить,
Мы станем щедрыми дарами
Твой замогильный сон кормить.

Но страстной воли исполнитель,
Ты не навеки будешь там,
В могильной тьме по этой нити
Опять найдешь дорогу к нам.

*

Опуган цепкими сетями
И брошен в жертвенный колодец,
Еще я слышу за дверями
Земли – твой плач при всем народе.

С тобой рыдает безутешно
Печаль всех плакальщиц на свете –
О том, что из страны нездешней
Уж не вернутся руки эти.

Тебя так крепко обнимали
Мои пастушеские руки,
Что и у злой Эрешкигали
Возьмут нас судьи на поруки.

Под землю незачем спускаться
Тебе, рыдальщица, за мною;
Что умирать, что расставаться, –
Ведь дело, говорят, простое.

Уберегут ли амулеты
Нас от последней этой сцены,
Ведь мы заложники обета,
И на земле нам нет замены.

*

Днем и ночью твержу все то же,
Знаки древние окликаю,
Всей трясушкой дремучей дрожи,
Всем отчаяньем заклинаю;

Разделеньем Земли и Неба,
Разлученьем птенца и птицы, –
Пусть и быль отойдет, и небыль –
И не снится! О пусть не снится!

Пусть нога твоя не ступает
На священную эту пристань!
Пусть потоки не допускают
К омовениям своим чистым!

Заговорное это слово
На тебя пусть ляжет печатью,
Тайных сил наложит оковы!..
Но – бессильны мои заклатья!

*

Возвратились мы на свое место,
И простили нам долги наши,
И опять идет под венец невеста,
И опять на пиру загремят чаши.

Узник выпущен на свободу,
Целость тела опять обрели калеки,
Обратились к исходному дню всходы,
И к истокам своим вернулись реки.

Все к своим матерям вернулись,
Чтобы заново им родиться.
Что же мы с тобой оглянулись,
Уходя, не желая здесь повториться?

За ночью тьмой придет утро,
За молчанием придут речи,
Только мы с тобой не из тех мудрых,
У кого за разлукой идет встреча.

Может быть, опять мы неправы,
Надо нашим жрецам и царям верить,
Надо ждать: зазеленеют травы,
И возвращеньем домой свой путь мерить.

*

В храме Эанна не молкнут моления,
Гимны поют и знамения ждут.
Но ведь обманут опять исчисления;
Мы в Доме Неба – непрочный сосуд.

Не уберечься. Посмотрим налево –
Кинется в грудь окровавленный клин;
Стадо падет, обезрыбеет невод,
Рухнут устои растресканных глин.

Правит на Юге ужасная Дева.
Не убежать. Нас не жалует век.
Но есть Кишкану, заветное древо,
Мудро растущее в устье двух рек.

Там, говорят, для святилищ и храмов
Чище воды ты нигде не найдешь.
Надо идти туда прямо, всё прямо
Тем, кому жизнь все равно ни во грош.

И говорят еще, страшную силу
Приобретает там чудище-бык,
Да и такому, что смотрит в могилу,
Милость есть: омолодится старик.

Там же и славного Утнапиштима
Праведный суд уподобил богам...
Все эти прелести недостижимы
И предназначены вовсе не нам.

Это не наша аскеза и сфера,
Мы ведь кубы и квадраты кладем.
Как ни посмотришь, а ужас Шумера
Подстерегает за каждым углом.

*

Где они, эти рогатые боги,
Родоначальники жаркой страны?
Не охраняют уж наши пороги,
Жертвы и почести им не нужны.

Это они нас всему научили:
Сеять и пряхть, и считать, и писать,
И по Евфрату на лодке уплыли,
Пообещав возвратиться опять.

Только прощальные их отголоски
Все еще слышатся издалека,
Нам оставляя путь темный и скользкий,
Шорох тревожный и дрожь тростника.

Мало надежды на то возвращенье,
Боги уходят своим чередом,
Но как и прежде чудес воскрешенья
Мы от ячменного зернышка ждем.

*

Я только писец, понемногу кропаю;
А в призрачной школе занятия идут,
То ходят по кругу, то ходят по краю
И что-то бормочут и воду толкут.

Похоже, мы старых имен не меняли
И учим обряды жестоких богинь,
И грабли все те же, и те же скрижали,
И шорох песков и рассохшихся глин.

И нас заставляет какая-то сила
Мучительно верить в гаданья и сны,
И в то, что, уж если судьба разлучила,
Ждать нечего вести с чужой стороны.

Так что ж я опять эту боль призываю,
Дрожу и по краешку бездны скольжу,
Как будто очерченный круг повторяю
И все еще старой привычке служу?

*

Нет, я все это не брошу, не брошу!
Раз суждено, так уж надо нести;
Я не прошу, чтобы личную ношу
Сняли с меня на моем же пути.

Не изменяются буквы закона,
Не пошатнется наскучивший свод;
Шест твой как прежде стоит у загона
И освященья овечьего ждет.

Я твой не слишком прилежный служитель
Список богов не прочел до конца;
Где-то в Лагаше Нингирсу воитель
Что-то свершил, почитая тельца;

И непонятный Нинурта в Ниппуре
Тоже герой. Только что мне до них.
Мне бы и в этой поношенной шкуре
Догоревать об утратах своих.

Смерть Гильгамеша

Гильгамеш и Энкиду ушли на рассвете,
А куда – никому не сказали в Уруке,
Воевать ли со злом, добывать ли бессмертье –
Никому неизвестно. Лишь слухи, лишь слухи.

Не расскажет поверженный мертвый Хувава,
И молчат вековые могучие кедры.
Что все царства земные и царская слава,
Если мерят все те же могильные метры!

Говорят, Гильгамеш на судьбу ополчился:
Что ему умереть по закону природы,
Что здесь правят часы и жестокие числа,
И текут, и текут равнодушные воды.

Говорят, говорят. Верить или не верить.
Гильгамеш и Энкиду, два друга, два брата...
Но – закрылись за ними подземные двери,
Не вернуться уж им из страны без возврата.

*

Я все твержу твое святое имя
И встречи жду с тревогой и тоской,
Хоть знаю я, что мы уже другими,
Не прежними увидимся с тобой.

Когда-нибудь опять сведет нас случай,
Ведь тесен мир, и сходятся пути;
Как ни бичуй себя, как ни терзай, ни мучай,
А все нам эту клинопись плести.

Быть может, в этом мире превращений
Теперь мы призрак, стертая медаль,
И нас уже вели в зал умерщвлений
К владычице теней Эрешкигаль.

И все-таки пусть будет эта встреча.
Все пять тысячелетий я молю, –
Чтоб на табличке мертвого наречья
Ты вновь читала древнее «люблю».

ПРИМЕЧАНИЯ

Инанна – в древнем Шумере богиня любовной страсти и войны, покровительница шумерского города Урук.

Думузи – бог весны, плодоносной силы, плодородия и изобилия; бог пастух, изображался с головой барана. Жертвенный бог, каждое лето в канун летнего солнцестояния, оплакиваемый женщинами, уходил в подземный мир. В Шумере весной праздновали священный брак Инанны и Думузи. Об Инанне и Думузи созданы мифы и любовные песнопения.

«Страна без возврата» – так в Шумере называли подземный мир мертвых. Чтобы в него попасть, необходимо пройти семь подземных ворот.

Двуречье – область Месопотамии между Евфратом и Тигром, Междуречье.

Урук, Ур, Лагаш, Ниппур, Шуруппак, Киш – шумерские города.

Гильгамеш – легендарный царь-герой Шумера. О нем сложены гимно-эпические песни и мифы. Главный герой шумерского эпоса.

Магический пояс – шумеры всю жизнь носили на талии, не снимая, надетый на голое тело магический двойной шнурок, оберегавший жизнь и здоровье.

Нибиру – загадочная планета, упоминаемая в шумерских и вавилонских текстах.

Энлиль – Бог повелитель воздуха и ветра, покровитель царской власти, древних праздников и жертвоприношений.

Энки – бог повелитель подземных вод, создатель человечества, бог мудрости, покровитель шумерских школ и ремесла писцов.

Ан – старейшина богов, властитель звезд, первый создатель мира.

Птица Му – таинственная птица, упоминается в одном из шумерских текстов.

МЕ – священные сущности вещей.

Безоконный Урук – у шумерских домов не было окон.

Ануннаки – судьи мертвых в загробном мире.

Иштар – богиня любви в Вавилоне.

Нергал и Син – божественные братья-близнецы, разлученные по велению совета богов. Нергал правит в подземном мире, Син – на небе.

Шестьдесят – деление часа и минуты на шестьдесят впервые было принято в древнем Шумере.

Энхедуанна – верховная жрица в главном храме Урука, дочь шумерского царя Саргона, слагательница священных гимнов.

«Птичья письменность» – клинопись шумеров похожа на следы птичьих лап.

Нисаба – богиня письма у шумеров.

Анзуд – птица с львиной головой, львиноголовый орел, определяет судьбы богов и людей.

Саргон – царь Аккада и Шумера. В мифе о Саргоне говорится о том, что его мать жрица положила новорожденного младенца Саргона в корзину и пустила плыть по Евфрату.

«В оковах медных проведен» – пленников, захваченных на войне, проводили в медных оковах через «Ворота Энлиля» в священном центре Шумера городе Ниппуре.

«Священный бык твоих печатей» – на печатях богини Инанны был изображен священный бык в окружении звезд.

Лазурит – полудрагоценный камень, которым шумеры украшали свои храмы.

Элам – государство в Месопотамии, враждебное Шумеру, с которым Шумер постоянно воевал.

«Плач по Лагашу» – шумерский текст о разорении города Лагаш.

«Дети Ана» – так называли себя шумеры.

«Кирпич Экура» – так у шумеров называли главный храм в городе Ниппур. Символизировал закладку первого кирпича в фундамент строящегося дома.

Тростник, тamarиск, финиковая пальма – у шумеров были священны.

«На глине царская расписка / Вернет нас к матерям в утробу» – в начале Нового года царь издавал указ об освобождении жителей страны от всех долгов и освобождении узников из тюрем, что означало начать новую жизнь с нуля, с чистого листа. Называлось – «возвращение к матерям», то есть в утробу матери для нового рождения. Новый год в древнем Шумере начинался 23 июля.

«Ведь мудрых украшают уши» – в Шумере «ум» и «уши» обозначались одним и тем же словом.

«Рогатая тиара» – символ могущества. Шумерские боги изображались с рогатой тиарой на голове.

«Расцветшая трава прядения» – так в Шумере называли юную девушку, достигшую брачного возраста. «Трава прядения» – лен.

«Спряденная поверьем нить» – в святая святых шумерских храмов помещалась спряденная льняная нить.

«Твой замогильный сон кормить» – в Шумере было принято приносить жертвоприношения умершим. Называлось – «кормление предков».

Эрешкигаль – владычица мира мертвых.

Храм Эанна – храм в городе Уруке, «Дом Неба».

Кишкану – некое заветное дерево, произрастающее в устье двух рек.

Утнапиштим – праведник, уподобленный богам.

«Шест твой как прежде стоит у загона» – шест, стоящий у овечьего загона, символизировал обряд священного брака между Инанной и Думузи.

Нингирсу – бог-воин, покровитель шумерского города Лагаш.

Нинурта – бог покровитель шумерского города Ниппур.

Гильгамеш и Энкиду – миф о царе-герое Гильгамеше. Во всех походах Гильгамеша сопровождал его верный, самоотверженный друг Энкиду.

Хувава – хранитель священного кедрового леса и «семи лучей сияния», которые дают вечную жизнь.

САМПО
ИЗ
КАЛЕВАЛЫ

Вольное переложение нескольких рун

*«И выковывает Сампо,
Что муку одним бы боком,
А другим бы соль мололо,
Третьим боком много денег».*

«Калевала»

Предисловие

«Калевала», собрание песен карело-финского эпоса, давно уже сделалась важным духовным явлением в русской культуре. Еще до первой публикации книги Элиаса Лёнрота в 1835 году отголоски древних карело-финских рун звучали в русской поэзии: поэма Федора Глинки «Карелия»; стихотворения Евгения Баратынского «Финляндия» и другие; образ волхва-чародея Финна в «Руслане и Людмиле» Пушкина.

Мощный всплеск интереса к «Калевале» и карело-финскому эпосу возник у символистов: Константин Бальмонт, «Поэзия как волшебство»; Валерий Брюсов, цикл стихов «На Сайме»; Сергей Городецкий, «Юхано» (стихо-творение о финском озере); Иван Коневской, «Песнь изгнанника» («Из той унылой Сариолы»). В Библиотеке Блока сохранилась «Калевала» с его, Блока, пометками.

Много созвучного своему мироощущению нашли в «Калевале» поэты и художники русского авангарда. Велимир Хлебников, стихотворения «Вы помните о городе», «Вечер, он черный, он призрак», «Усадьба ночью...»; Григорий Петников, «Финские стихи»; Елена Гуро, стихотворения «Фин-ляндия», «Финская мелодия» и другие; Николай Асеев, пересказ «Калевалы» для детей; Осип Мандельштам, «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала». «Калевала» в живописи русского авангарда – иллюстрации к «Калевале» и общее оформление учеников Филонова, издание «Academia», 1933 год, под руководством и редакцией самого Филонова. Первое иллюстрированное издание «Калевалы».

Образы «Калевалы» отразились и в творчестве больших русских писателей. У Андрея Платонова есть рассказа «Сампо», о разрушенной и дотла сгоревшей в войну карельской деревне, о страстном желании одинокого деревенского кузнеца, потерявшего всю свою семью, жену и детей, построить такую чудо-мельницу, которая бы все зло мира перемалывала в добро, и саму смерть – в жизнь.

Образ «Сампо», ставший символом вечной мечты человека о счастье, теперь не менее актуален, чем в прошлом. В наше сложное время этот образ приобретает глобальный символический смысл.

*

Возьмемся, брат, за руки, как брались отцы наши, – спеть песни предков, древние руны! Споем о Вайнямёйнене вещем, первом песнопевце, прародителе всех певцов на свете.

Вайнямёйнен от Ильматар, девы творенья родился, от Ильматар, матери воды и ветра. Сразу родился старым. А чудо-утка у него на колене снесла семь яиц, шесть золотых, одно железное. Покатались они из гнезда, упали в море и разбились: из желтка стало солнце, из белка – месяц и звезды. Из железного яйца – земля наша.

Увидел все это Вайнямёйнен, увидел, как все это красиво, как мир наш прекрасен. И запел он в радости первую свою песню.

Встал Вайнямёйнен у моря, один он здесь на пустом острове. Пустом и голом. Никто его песен не слышит. Кто б ему этот остров заселил и засеял, чтобы слышали его птицы и звери, леса и травы? И явился на его зов Сампса, сын земли, сам-то с ноготок, а весь остров заселил и засеял. Взошли сосны и ели, ива, ольха, береза, рябина. Вырос вереск и можжевельник. Только дуб взойти не может. Вот вышли из моря четыре девы. Пятая выходит. Косят, сгребают сено, стог ставят. Тут ступает из моря на берег Турсас, богатырь могучий. Поджег стог, в пепел положил желудь. И вырос из того желудя великанище-дуб, поднялся до неба, затмил солнце, кроной весь мир покрыл.

И возгласил тогда Вайнямёйнен: «Кто бы срубил этот дуб-громаду, кто бы его на землю поверг? Зло и горе от него всему свету!»

Вышел из моря мальчик с пальчик, в медной шапке и в медных рукавицах. Топором три раза ударил, на третий раз грянул дуб наземь. Ствол к востоку лег, верхушка – к западу, листья – на юг, ветки – на север. Кто возьмет ветку – навеки счастлив будет. Кто верхушку – чародеем станет. Кто листья – сердцу радость. А щепки понес ветер по морю к Похьёле, стране мрака. В Похьёле дева платок свой в море стирала, платье полоскала, на камне сушила. Увидала щепку в море, домой принесла. Из той щепки колдун лапландец стрелу заколдованную сделал.

Нашел Вайнямёйнен на берегу семь зернышек ячменных. Орел прилетел, поле под посев ему приготовил, лес пожег. А кукушка урожай богатый накуковала. Утром рано вышел Вайнямёйнен в поле, засеял семью семенами. Вечером видит: все поле заколосилось, могуч ячмень, шестигранный колос, три узла на стебле.

*

Пел Вьянямёйнен в полях Калевалы, в чащах Вьянелы, в лесах зеленых, у озер Осмо. Пел он о богатырях могучих, о первом предке великане Калеве, создателе земли нашей, победителе чудовищ. Далеко разнеслась молва о чарующей силе этих песен. Дошла молва на север, в Похьёлу, до молодого Еукахайнена. Досадно стало Еукахайнену, лучшему певцу в Похьёле. Говорит он старухе матери, что собрался в Вьянелу ехать, состязаться в песне с седым Вьянямёйненом. Старуха мать его не пускает: «Тебя там, сынок, околдуют. Околдуют, тело превратят в корягу, голову в канаву кинут». Не послушался Еукахайнен матери, сам он мастер колдовать-чародействовать. Взымал коня, запряг в сани, помчался, буйный, в далекую Калевалу. А навстречу ему сам Вьянямёйнен: «Уступи-ка, молодец, дорогу, мне седобородому! Двум саням тут не разминуться». А Еукахайнен уступать дорогу не хочет, состязаться предлагает: кто лучше споет, тот первым и проедет.

Говорит ему Вьянямёйнен: «Я ведь песнопевец безыскусный, прожил жизнь одиноко в Калевале, в лесах Калевы, у озер Осмо. Слушал там только одну кукушку. Но пусть будет как будет. Начинай, послушаю, что ты знаешь».

Начал молодой Еукахайнен: «Знаю, есть очаг у печки. Тюлень лососей ловит. На севере пашут на оленях, на юге – на кобылах, в Лапландии – быками. Знаю сосны на утесах Хорны, лес на Писе, Вуоксу знаю и Иматру. Знаю, что вода – лучший лекарь, а пена – главная из гадалок».

Усмехнулся старый, вещий Вьянямёйнен: «Велика мудрость! Может, что поумней вспомнишь».

Еукахайнен ему на это: «Помню, вспахал я море, вскопал глубины морские, вырыл ямы рыбам. Разлил по земле озера, раскидал скалы. Еще помню, поставил я столб медный – держать небо, воздвигнул на севере высокую гору железную – подпирать звезды. Полярную звезду вместо гвоздя взял – небо к земле прибить».

Говорит Вьянямёйнен, вещий прорицатель: «Складно гремишь, создатель мира! Громкими словесами воздух сотрясаешь. Когда все это дело делалось, о тебе там слыхом не слыхивали».

Обозлился Еукахайнен: «Если песня моя тебе не по вкусу, померяемся, старик, мечами! Поглядим, чей меч острее!»

Отвечает ему Вьянямёйнен: «Постой-ка, соловей Похьёлы! Теперь мой черед петь песню!»

Запел Вьянямёйнен свою песню. Сани Еукахайнена сосной стали, конь – камнем, меч – змеей, шапка – гнездом вороньим. Запел громче – и по колено в болото ушел Еукахайнен, по пояс уже в трясине, по плечи увяз.

И взмолился тогда Еукахайнен: «О мудрый Вьянямёйнен, чародей могучий! Верни свои слова вспять, возьми назад свои заклатья!»

*

Пошел старый Вайнямёйнен в лес, увидел прекрасную Айно. Режет Айно ветки, вяжет веники. Три веника вяжет, веник – отцу, веник – матери, веник – брату. Спрашивает ее старый Вайнямёйнен: «Скажи, прекрасная Айно, не для меня ли носишь ты на шее ожерелье из жемчужин, а на груди серебряный крестик? Не для меня ли плетешь косы и перевязываешь их алой лентой?»

Отвечает ему Айно: «Нет, не для тебя, старого, ношу я на шее ожерелье, на груди крестик, а в косах ленту». Сорвала Айно с шеи ожерелье, с груди крестик, с косы ленту, бросила в лесу и пошла домой, горько плача. Выдадут ее за старого Вайнямёйнена замуж, ведь он песнопевец известный, прославленный во всей Калевале. Будет постель стелить старику на ночь, подносить кружку ячменного пива.

Отец на дворе сеть латает, спрашивает: «Что ты, дочка, плачешь?»

«Как же мне не плакать, отец мой родимый! Потеряла я в лесу серебряный крестик и ожерелье жемчужное потеряла, и алую ленту».

Отец ее утешает: «Не плачь, дочь! Куплю тебе новый крестик, не серебряный – золотой, и ожерелье куплю, еще побогаче, и ленту дорогую в косу. Станешь ты еще краше. Будет муж тебя холить и лелеять».

Брат под окном ловушку на зверя ладит, спрашивает: «Что ты, сестричка, плачешь?»

«Как же мне, братец милый, не плакать! Потеряла я в лесу крестик, и ожерелье потеряла, и ленту».

Брат утешает: «Не плачь, сестрица! Вот пойду завтра на охоту, отыщу в лесу твой крестик, ожерелье и ленту. Муж на тебя не наглядится, работой тебя утруждать не будет».

Мать в коровнике корову доит, спрашивает: «Что ты, доченька, плачешь?»

«Как же не плакать мне, матушка моя родная! Потеряла я в лесу крестик серебряный береженный, жемчуг ожерелья дорогого в чаще растеряла, а ленточку шелку алого злой Хийси, хозяин леса из косы вывал».

Утешает ее мать: «Не плачь, доченька! Есть у меня в сундуке семь платьев, ткали их тебе в приданое солнце и месяц. Нарядишься, по селу пойдешь. Мужу твоему позавидует сам Укко, владыка неба».

Нет, не нужно Айно семи платьев, сотканых месяцем и солнцем. Еще горше плачет, бежит к морю. «Лучше быть подругой рыбам, чем идти старику в жены. Пусть заберут меня в Маналу, страну мертвых, в мрачную Туонелу».

Вот и нет уже прекрасной Айно. Стала Айно девой морской, русалкой, прислужницей в чертогах царицы морской Велламо. Ночью vyplывает из

глубины Айно, выходит она из воды, садится на камень, поет при луне грустную песню:

«Пошла я погулять на берег моря, села на скале высокой, упала и утонула. Никогда, отец мой милый, никогда не лови здесь рыбы! Никогда ты, родимая матушка, никогда не стирай здесь платья!»

Опечалился старый песнопевец Вайнямейнен, жаль ему прекрасной Айно. Просит у бога сна Унтамо: «Скажи мне, Унтамо, где искать чертоги морского царя Ахто, где таятся девы Велламо, где прислужницы царицы морской прячутся?»

Пошел Вайнямейнен к морю, сел в лодку, гребет к тому месту, что указал ему бог сна Унтамо, к тому туманному мысу. Закинул удилище, схватилась за крючок рыбка. Вытащил Вайнямейнен чудо-рыбку, никогда такой не видел. Не простая рыбка, говорящая: «О, ты старый Вайнямейнен! Что ж не узнаешь ты меня, вещий песнопевец! Я из глубины морской вышла – быть женой твоей верной, постель тебе, старику, стелить на ночь, подносить кружку ячменного пива».

Так сказала она и скользнула из лодки обратно в море. Горько заплакал тогда старый Вайнямейнен, понапрасну клянет свое безрассудство. Упустил он свою долю, свою удачу. Не вернется к нему дева Велламо, прекрасная Айно. Никогда она не вернется, не будет ему женою.

Все в мире может зачаровать песней своей старый Вайнямейнен, только сердце девы морской зачаровать не может.

*

Слышит Вайнямейнен голос матери своей, девы творенья Ильматар: «Не горюй, Вайнямейнен! Запрягай коня в сани, поезжай в Похьёлу, сватай дочь у хозяйки Похьёлы старухи Лоухи!»

Запряг Вайнямейнен коня в сани, помчался в туманную ту Похьёлу. А Еукахайнен его на пути подстерегает, затаил обиду лапландец. Лук железный, стрелы отравленные ядом змеиным. Ждет в засаде. Вот что-то чернеет в море, ближе, ближе, блестит на солнце. Это вещий Вайнямейнен на санях по волнам, распевая, мчится, чародейною песней сделав зыбкую влагу твердой дорогой. Тогда Еукахайнен три стрелы пускает. Первая стрела улетела в тучи, вторая стрела в трясине утонула. Третья стрела в коня попала, пробила печень. Вывалился из саней Вайнямейнен, упал в воду. Семь лет по волнам его носило. На восьмой год подхватил его орел, вынес на берег холодной Похьёлы, страны севера.

Услыхала старуха Лоухи хозяйка Похьёлы плач с моря, стенания громкие с берега. Дети так не плачут, женщины так не стонут. Плачут так

одни только седобородые мужи Калевалы, ревут, как ночная буря. Вот столкнула она лодку в воду, гребет к тому месту, откуда стон раздается, среди скал суровых на дальнем мысе. Видит, лежит вещий песнопевец Вьянямёйнен, избит, изранен, ни рукой, ни ногой двинуть не может. «Ах, старик ты, старик, старичище жалкий, что тебя сюда занесло, что пригнало в нашу Похьёлу?»

Отвезла страдальца к себе в дом, месяц лечила, раны-ушибы мазями целебными мазала, настоями травными поила. Повеселел Вьянямёйнен. Просит у старухи Лоухи дочь себе в жены.

Отвечает на это хозяйка Похьёлы: «О ты, вещий Вьянямёйнен, великий песнопевец! Сделаешь мне чудо-мельницу Сампо, чтобы молола, что ни пожелаю, – отдам дочь свою тебе в награду».

Опечалился старый песнопевец, поник седой головою: «Многое могу я совершить своей песней, а вот Сампо сделать не сумею, чтобы молола по твоему велению, что ни пожелаешь. Сделать может один только Ильмаринен, кузнец в Калевале. Первый кузнец мира, это он выковал столб медный, подпирает небо.

*

Едет Вьянямёйнен в обратный путь по дороге, видит – радуга во все небо. Сидит на радуге дева, краса мира, ткёт покров семицветный, золотом-серебром вышивает. Остановил коня Вьянямёйнен: «Сойди, дева, ко мне в сани, сядь со мной рядом!»

Отвечает ему краса мира: «Разрежешь волос ножом без лезвия, завяжешь яйцо узлом – сяду к тебе в сани».

Разрезал Вьянямёйнен волос ножом без лезвия, завязал яйцо узлом. «Сядь, дева, ко мне в сани!»

А краса мира ему на это: «Выточи жердинку из льдинки, да чтобы ни кусочка не пропало, ни крошки не искрошилось, – сяду в сани с тобой рядом».

Выточил Вьянямёйнен из льдинки жердинку, ни крошки не искрошил. «Сядь со мной, дева, в сани!»

Говорит ему краса мира в третий раз: «Выстругай лодку из обломков веретенца, из катушек расколотых. Сяду с тобой в сани».

Взялся Вьянямёйнен за работу, лодку из обломков веретенца стругает, из катушек расколотых вытесывает. Обломок – с бревно, катушка – с мельничный жернов. Отскочил топор да ему в колено. Лемпо, злой дух – его козни! Хийси, хозяин леса, лезвием топор на него повернул! Хлынула кровь из раны, потоком течет, рекой разливается. Стал Вьянямёйнен заклинания вспоминать: кровь заговорить, запереть в жилах, закрыть рану. Вспомнил всех зол происхождение, каждое слово вспомнил. Одного только вспомнить не может – заклинания о железе.

Закручинился вещий Ваянямёйнен. Сел в сани, хлестнул коня кнутом. Помчал конь по дороге.

Вот подъезжает Ваянямёйнен к деревне, в первый дом стучится: «Есть ли кто в этом доме, кто бы знал заклинание о железе, запер кровь в жилах, закрыл рану?»

На полу дитя сидит, отвечает: «Никого нет в этом доме, нет здесь знающих заклинание о железе. Поезжай к другому дому».

Стучится Ваянямёйнен во второй дом: «Есть ли кто в этом доме, кто бы знал заклинание о железе, повелел бы крови остановиться, закрыл бы рану?»

Старуха с печи прошамкала: «Никого нет в этом доме, не знают здесь заклинание о железе. Поезжай дальше».

Вот в третий дом стучится Ваянямёйнен, силы уже покидают, много крови вытекло. «Есть ли кто в этом доме – кто бы заклинание о железе знал, унял бы кровь?»

Проворчал с лавки старичище, борода до пола: «И не то еще творило слово! Моря умирало, реки вспять поворачивало!»

Произнес он это заветное слово. Никто не расслышал. Услышала только кровь, повиновалась, прекратила свое течение.

Запел Ваянямёйнен в радости, жизнь к нему вернулась. Зарекся сажать дев к себе в сани.

*

Подъезжает к родной своей Калевале, слышит, в кузнице звенят удары, кузнец Ильмаринен трудится.

«Где ты пропадал так долго, Ваянямёйнен? Без тебя в Калевале не стало песен. Землю не пашут, рыбу не ловят, коров не доят. Угрюмые по домам сидят».

«Был я в Похьёле у лапландцев, сосватал тебе дочь старухи Лоухи. Выкуешь им чудо-мельницу Сампо, получишь в награду жену красавицу».

Не хочет Ильмаринен ехать в Похьёлу выковывать лапландцам Сампо и дочери старухи Лоухи в жены не желает.

Тогда старый Ваянямёйнен, песнопевец вещий вот что придумал: «Пойдем, Ильмаринен, в лес, покажу диво. Стоит ель-великанша, вершиной в небо уперлась; на верхушке месяц, на ветвях медведица сидит. Влезь на вершину, возьми их себе в помощники: месяц будет кузницу освещать, а медведица молотом по наковальне бить».

Полез Ильмаринен на ель, только до верхушки добрался – запел Ваянямёйнен во весь голос, напел бурю. Сдунуло кузнеца с верхушки еловой и понесло прямёхонько в Похьёлу. Кинуло на двор к старухе Лоухи. Вышла к нему из дома старуха Лоухи:

«О Ильмаринен, великий кователь! Давно о тебе молва к нам в Похьёлу волной морской докатилась, о волшебном твоём искусстве, а теперь ты и сам здесь! Выкуешь Сампо – отдам дочь тебе в жены. Все девы Калевалы мизинчика ее не стоят».

Тут же принялся Ильмаринен за работу, взял перышко лебяжье, взял молока коров нетельных, взял шерсти овечьей, ячменя зерен прибавил. Бросил в горн, раздул огонь, жару мехами нагоняет. Трудится три дня и три ночи. На четвертый день смотрит: что там на дне горнила, что из огня вышло? Явился лук, серебром сияет. Не рад Ильмаринен луку, обратно в огонь бросил. Опять принялся меха раздувать, трудится еще три дня и три ночи. На четвертый день смотрит: что вышло? Из огня лодка явилась, золотом сияет. Не рад Ильмаринен и лодке, изломал, в огонь кинул. Опять – меха раздувать. На четвертый день смотрит: что теперь вышло? Видит: Сампо из огня-пламени явилось, чудесная мельница Сампо. Все мелет, что ни пожелаешь. Денег надо – наметет и золотых и серебряных, только мешки подставляй, и на потребу, и на пирушки. Оружия надо – накует мечей непобедимых, сами режут, рубят, страх и ужас всему миру. Да что там, попади весь мир в жернова Сампо, и весь мир перемелет, с морями, горами, небом и звездами.

Спрятала Сампо старуха Лоухи в горе медной, за семью замками. Вот потребовал Ильмаринен плату за работу, обещанную награду. А ему старуха подлая Лоухи: «Нет, женишок, не всю работу еще ты исполнил! Спустись-ка теперь под землю, в страну мертвых, поймай там медведя Маналы, добудь волка Туонелы! Отдам дочь тебе в жены!»

*

Жил в Калевале молодой веселый Лемминкяйнен. Любил он с девицами гулять, на лугу с ними плясать. Слышит, есть на Саари дева-краса, женихи за ней роем вьются. Солнце сваталось, отказ получило; месяц сватался, тоже ни с чем ушел. Вот бы ту деву добыть, в дом к себе привезти. А мать остерегает: «Ты, сыночек, к деве той не сватайся, дева та выше нас родом, не будет тебе в сватовстве удачи».

Не послушался Лемминкяйнен матери, запряг коня в сани, скачет добывать себе деву Саари знатного рода. Въехал во двор неловко, сани на бегу опрокинулись. Девушки Саари над ним смеются. А Лемминкяйнен не смущается, шутками-прибаутками отмахивается. Знать хочет: есть ли в Саари местечко, где бы ему погулять, поплясать, песни попеть, повеселиться, девушек потешить. Девушки ему отвечают: «Много есть в Саари местечек, много в лугах, в долах. Станешь у нас пастушонком, будем приходить дудочку твою слушать». Стал он в Саари пастушонком, весь день на лугу проводит, с девицами-молodiцами пляшет, на дудочке играет. По ночам в спальни девичьи пробирается. Одна только на

Лемминкяйнена не смотрит, одна презирает, Кюллики-цветочек, та, за кем он сюда приехал. Всех дев краше она в Саари. Не выйдет за него замуж. Плохонького он рода, племени захудалого, нищий бродяга.

Вот подъехал Лемминкяйнен вечером к тому лужку, где девицы плясали, хоровод водили, схватил прекрасную Кюллики, бросил в сани на шкуру медвежью. Хлестнул коня да и был таков. «Плачь, не плачь, Кюллики-цветочек, а будешь ты моей женою, станем жить, не тужить в моем домишке, дырявой развалюхе».

Утешилась Кюллики, слезы высохли. Видит: хорош Лемминкяйнен, высок и статен, в плечах сажень, нрава веселого. Скучно с ним не будет. Только бы на войну не ушел, а был с ней всегда рядом. Говорит ему Кюллики: «Поклянись, Лемминкяйнен, что на войну не уйдешь. А я поклянусь, что буду тебе женой верной, не пойду на луг вечером с девушками гулять, хороводы водить».

Вот живут-поживают они в Калевале, в новом доме, ни на час не разлучаются. Заскучал Лемминкяйнен, не сидится ему дома, не живется на одном месте, сила мучает. Не сдержал клятвы, собрался один в Похьёлу ехать, с лапландцами воевать. «Дай мне, мать, острый меч отцовский да вымочи рубашку в яде гадючем! Лучше брони железной убережет от ран та рубашка».

Отговаривает мать ехать в Похьёлу с лапландцами сражаться. «Околдуют тебя, сыночек, колдуны-чародеи Похьёлы, превратят в камень, в куст при дороге».

Упрям Лемминкяйнен, не слушается материнского совета. «Не держи, мать. Уж что задумал, то исполню. Как увидишь, проступит кровь на щетке, на той щетке, что кудри свои расчесываю, знай – беда стряслась с твоим сыном».

Отправился в дальний поход Лемминкяйнен. А Кюллики в обиде, что он клятву свою нарушил, ушла на луг вечером гулять-веселиться, хороводы водить.

Вот достиг лапландской земли Лемминкяйнен, вызвал на бой мужчин Похьёлы, старых и малых, сразиться за клятвами, у кого заклятье сильнее. Запел Лемминкяйнен, всех певцов-чародеев похьельских пересилил, заклил своим словом, обезоружил все войско, заколдовал мечи и стрелы. Превратил всех в камни, раскидал по скалам. Пощадил одного только калеку свинопаса, безязыкого замухрышку, на такого и плевка жалко.

Разозлилась хозяйка Похьёлы, спрашивает: «Что тебе тут, удалец понадобилось? Зачем к нам с войной пришел?»

Отвечает Лемминкяйнен: «Пришел силу свою испытать. А больше мне тут и делать нечего». Пустился он в обратный путь. А безязыкий свинопас замухрышка затаил злобу за то, что пощадил его Лемминкяйнен, всех заклил, а его оставил, пожалел и плевка на него калеку. Подстерег темной ночью у Туони, реки бурной, текущей в дебрях

среди порогов. Идет берегом Лемминкяйнен, напевает, беды не чувствует. Нашла в темноте стрела его веселое сердце. Стрела – змеиное жало. Рухнул Лемминкяйнен в реку Туони. Понесла Туони мертвое тело к порогам, искромсала на кусочки, раскидала по дну, по глубби.

А в Калевале мать не отводит глаз от щетки, от той щетки, что расчесывала кудри ее сыну. Видит, выступила кровь на щетине, каплет красная из щетки. Заплакала горько мать, зарыдала. Погиб Лемминкяйнен, нет уже сыночка на свете!

Побежала несчастная в Похьёлу. Спрашивает у сосны в чаще, не видела ли ее сына, веселого Лемминкяйнена? Нет, не видала сосна ее сына, ее Лемминкяйнена. Спрашивает у дороги. Нет, и дорога не видала ее сыночка, ее дорогого Лемминкяйнена. Один только месяц видел. Лежит Лемминкяйнен на дне Туони в черной пучине, на куски искромсан острыми камнями.

Взяла мать длинные грабли, принялась вылавливать со дна сыновьи останки. Собирает по кусочкам мертвое тело, составляет часть к части, опять целым делает. Но лежит Лемминкяйнен, не шевельнется, не может с земли встать. Плачет мать над бездыханным телом, закликает хозяйку жил Суонитар: «Ты Суонитар, жил богиня, пряха с веретенцем, с медной прялкой, с колесом железным! Свяжи покрепче жилы у моего Лемминкяйнена, наполни их новой кровью, чтобы жизнь к нему вернулась, чтоб забилося, как прежде, его веселое сердце!» Плачет, закликает мать пчел небесных: «О пчелы небесные, принесите мед волшебный, мед ваш, чем питаете великого Укко, владыку неба – заживить раны, срастить тело моего сына, моего Лемминкяйнена!»

Услышала хозяйка жил Суонитар, пожалела материнское горе, связала жилы, наполнила новой кровью. А пчелы мед волшебный принесли из погребца самого Укко, владыки неба. Натерла мать этим медом, мазью чудодейственной тело сына, срослись части мертвого тела, жизнь в теле зажглась. Шевельнулся Лемминкяйнен, открыл глаза, проговорил со вздохом: «Крепко же я спал, матушка! На всю жизнь выпался!»

*

Вздумал Вяйнямёйнен лодку строить. Взял топор, подошел к осине. Спрашивает осина: «Что тебе, Вяйнямёйнен, от меня нужно?» Отвечает Вяйнямёйнен: «Лодку хочу из тебя построить, челн крепкий, по морю плавать». Говорит ему осина: «Потечет твой челн, утонет твоя лодка, если будешь из меня строить». Идет Вяйнямёйнен дальше, сосну встретил, с топором подступает. Сосна спрашивает: «Что тебе, Вяйнямёйнен, от меня надобно?» Отвечает Вяйнямёйнен: «Стань, сосна лодкой, стань судном славным, по морю плавать». Провещала ему сосна: «Не выйдет из меня лодки, подточили меня жуки-короеды».

Дальше идет Вайнямёйнен, ищет, из чего ему лодку строить. Видит, дуб стоит, десятеро не обхватят. «Что тебе, Вайнямёйнен, какая потреба сюда привела?» Говорит Вайнямёйнен: «Хочу, чтобы ты, дуб, лодочкой моей стал, корабликом добрым, по морю под парусом бегал». Прошумел ему дуб: «В груди у меня солнце, на вершине месяц, на суке днем и ночью кукушка кукует, годы мои считает, сосчитать не может. Буду я твоей лодкой, буду кораблем твоим добрым».

Снял Вайнямёйнен топор с плеча, запел песню. Чародейное слово само работу делает, песней лодку строит – топором орудует, дуб наземь валит, рубит, пилит, строгают, брусья сбивает, сколачивает. Вот днище уже готово, борта выросли, руль сложен, весла в уключинах. Только на воду лодку толкнуть. Да вот не толкнуть Вайнямёйнену лодку, не сдвинуть с места. Трех слов ему в песне не хватает, всего-то трех словечек последнего заклинания. Спрашивает Вайнямёйнен у лодки: «Скажи, лодка, где взять три слова, чтобы тебя на воду толкнуть?» Отвечает ему лодка: «Не найдешь ты их здесь, Вайнямёйнен. Те три слова в стране мертвых, в Манале хранятся. Отправляйся, песнопевец, за ними в ту Маналу!»

Течет в Маналу черная река Туони, в страну мертвых течет, в Туонелу. Видит Вайнямёйнен у Туони – дева Маны платье стирает, белье полощет. Говорит ей вещий Вайнямёйнен: «Дай мне лодку, дева Маны, дочь Туони, – на тот берег перебраться».

Отвечает ему дева Маны, дочь Туони: «Дам тебе лодку, если скажешь, зачем пришел к нам, по какой надобе, живой, не мертвый?»

Вещий Вайнямёйнен на это: «Привело меня к вам железо, сталь-убийца в Туонелу толкнула».

Дева Маны не верит: «Эх, ты старый врун Вайнямёйнен! Привело бы тебя сюда железо, сталь-убийца в Туонелу толкнула бы – то текла бы кровь по платью. Скажешь правду – дам лодку».

А Вайнямёйнен правду сказать не хочет: «В Маналу меня вода пригнала, в Туонелу пучина затащила».

Опять дева Маны не верит: «Эх ты, Вайнямёйнен, брехун старый! Коли вода пригнала тебя в Маналу, пучина затащила – то текла бы вода по платью».

Снова Вайнямёйнен правду скрывает: «Огонь меня к вам загнал, в страну вашу кинул».

Не верит дева Маны: «Совсем ты, Вайнямёйнен, заврался. Коли огонь загнал в Маналу, опалил бы он бороду твою седую. Скажи правду – дам лодку».

Тогда вещий Вайнямёйнен всю правду поведал. «Построил я песней лодку, а на воду не спустить, трех слов не хватает. За тремя словами пришел к вам в Маналу, страну мертвых».

Промолвила ему дева Маны, дочь Туони: Эх, ты старик безрассудный, седобородый Вьяинямейнен! Попадешь в Маналу, страну мертвых, три слова найдешь, а обратно не вернешься! Живыми оттуда не выпускают. Навсегда там останешься, песнопевец, – петь песни мертвым».

Так сказала ему дева Маны: «Проси, Вьяинямейнен, Выпунена охотника, вот кто знает три этих слова. Тот Выпунен, великан охотник уже тысячу лет в лесу мертвым сном спит, в землю врос, на плечах осина, на щеках береза, на лбу ель, между зубов – сосны, с бороды ивы свисают. Разбудишь Выпунена, скажет тебе три слова».

*

Привез кузнец Ильмаринен жену молодую из Похьёлы, в награду за Сампо, дочь старухи Лоухи. Поймал он и медведя Маналы, добыл волка Туонелы, – только бы отдала за него дочь коварная хозяйка Похьёлы. Дочь ее краше всех дев Калевалы. Да недолго прожил Ильмаринен с молодой женой. Затосковала она по родному дому. Обратилась в чайку, улетела в свою Похьёлу.

Горюет Ильмаринен все дни и ночи, ни есть, ни спать не может. Работу забросил, тихо в кузнице; молот с медной рукояткой по хозяйской руке соскучился. Никакое дело у него не делается. Только о жене своей думает. Днем тяжело, ночью еще тяжелее.

Пошел Ильмаринен к морю, у царя морского Ахто просит серебра-золота. Дал ему Ахто серебра-золота, того, что в кладовых у него на дне моря хранится. Направился Ильмаринен в лес, дров принес, на угли пережег. Наложил углей в горнило. Взял золота в рост осеннего ягненка, серебра в рост зимнего зайчонка, бросил в горн, принялся мехи качать, огонь в горне раздувать. Вздумал он жену себе из золота-серебра выковать. Смотрит – что выходит из горнила? Вышел барашек, шерсть золотая, рожки серебряные. Все в Калевале любят чудо-барашком, один только кузнец Ильмаринен недоволен. Бросил барашка обратно в горн, золота-серебра прибавил. Опять мехи качать, огонь раздувать. Смотрит – что теперь в горне? Вышел из огня конь, грива золотая, копыта серебряные. Все чудо-конем любят, только Ильмаринен коню не рад, кинул обратно в горн. Опять за работу, мехи качает, жар раздувает. Глядит – что теперь в горниле? Выходит из огня дева, волосы золотые, голова серебряная. Всем в Калевале страшно стало. Только кузнецу Ильмаринену не страшно. Выковал он себе жену из серебра-золота. Да ноги у нее не ходят, руки не обнимают, уста слова приветливые не говорят. И промолвил Ильмаринен: «Всем хороша жена, да голос не услышать, ласку в глазах не увидеть».

Истопил Ильмаринен баню, намылся, напарился. Постелил чистую постель, лег с новой женой, тремя шкурами медвежьими накрылся. С одного боку согрелся, с другого, где жена лежит, холодом веет, льдом жжет. Недвижна жена, изваянье безгласное, чудище золотое.

Тогда взял кузнец Ильмаринен жену, снес на берег, бросил в море, вернул серебро-золото царю морскому Ахто.

*

Вздумал вещий Вайнямёйнен кантеле сделать, чтобы струны голосу помогали, чтобы десять пальцев звуки волшебные из них исторгали, игрой сердца чаровали.

Сделал он короб многострунный из челюсти щучьей, из челюсти той щуки ужасной, что жила в великом водопаде. Струны сделал из волос конских; на том коне сам Хийси ездит, хозяин леса. Так сделал первое кантеле вещий Вайнямёйнен. И спросил громогласно: «Кто бы поиграл на моем кантеле, кто б игру на нем испробовал?»

Только вот никто в Калевале на его кантеле играть не может, сколько не пробовали; не даются струны неумелым пальцам. Мастеру только они послушны, тому мастеру, что их создал.

Сел Вайнямёйнен на камень на берегу моря, пальцы разминает, два больших слюной смочил. Кладет кантеле себе на колени, тронул струны. И запели струны под вещими перстами, проснулись в них звуки древних прародительских рун. Вся Калевала заслушалась, звери в лесах, рыбы в море, птицы в небе. Солнце и месяц забыли совершать свой путь по небу, остановились чудную игру послушать. Сам Ахто из воды показался, борода – трава морская. Заплакал Ахто – так хороша песня, так чудесно играет волшебное кантеле. Слезы льются в море, на дно идут, не слезы – жемчуг ожерелий.

Услышала в мрачной Похьёле колдунья Лоухи, как волшебное кантеле играет, и вся Калевала ликует и веселится, как будто у них праздник великий. Даже солнце и месяц остановились на небе, заслушались. Теперь в Калевале день сияет вечный.

Воспылала злобой колдунья Лоухи. «Недолго вам ликовать-веселиться. Знаю, чем погубить Калевалу. На то у меня и Сампо, чтобы желанью моему служить, могуществом чары мои наделять».

Наслала Лоухи на Калевалу все болезни, какие только есть на свете, тысячу хворей, мор, заразу и язвы. А вещий Вайнямёйнен веселей на кантеле играет, все болезни и хвори за море, на край мира прогнал.

Тогда напустила Лоухи на Калевалу страшилище из подземной страны мертвых, медведя Маналы. А вещий Вайнямёйнен веселей заиграл, страшилище заставил ручным медвежонком на ярмарке плясать.

Озлилась Лоухи, заморозила землю. Реки лед до дна сковал, от великой стужи камни растрескались. А вещий Вайнямейнен знай себе на кантеле играет, струны рокочут. Жар песенный разморозил землю, лед растопил. Опять весна в Калевале.

Пуще того разъярилась Лоухи, хозяйка Похьёлы. Похитила солнце и месяц, в горе заточила, очаги в домах задула. Темно сделалось в Калевале, ни огонька не видать, мрак непроглядный. Один только огонек и сохранился, рыбка-невеличка проглотила, в глубину ушла, в брюхе у себя огонек держит.

А вещий Вайнямейнен громче на кантеле играет, песню заветную заводит, заклинание сильное о тьме и мраке.

Раскололась от чародейных звуков гора, порвались цепи железные, вышли на волю солнце и месяц. Рыбка-невеличка из глубины поднялась, рот раскрыла, выпустила огонек из брюха. Зажглись очаги в домах. Опять светло в Калевале, повсюду радость и ликование.

*

Вот вещий песнопевец Вайнямейнен, а с ним кузнец Ильмаринен собрались в поход на Похьёлу, отобрать Сампо у старухи Лоухи, чтобы Калевале Сампо служило, а не злым чарам. Плывут в лодке по морю, слышат, с мыса окликает их молодой Лемминкяйнен: «Куда, богатыри, путь держите?»

Отвечают ему: «В Похьёлу. Отберем Сампо у колдуньи Лоухи, чтобы Калевале служило, а не злым чарам».

«Возьмите меня с собой!»

«Как не взять», – отвечают Вайнямейнен и Ильмаринен, – «втроем веселей по морю плыть».

Понеслась лодка дальше на север, нос журавлем курлычет, корма уткой крикает. Вещий Вайнямейнен на кантеле играет, поет, волну заклинает: «Ты, вода, не колыхайся! Не качай пучину, дева пены! Не мешай нашей лодочке по морю бежать!»

Вот приплывают они в Похьёлу. Спрашивает хозяйка Похьёлы старуха Лоухи: «С чем пожаловали, мужи калевальские? Тут вас ждут, не дождутся. Домик у меня на горе, хижинка огороженная, частокол высокий. На каждый кол по черепу насажено. А три колышка еще пустые стоят».

Отвечают Вайнямейнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен: «Что-то, старая колдунья, ты неприветлива. Да мы ведь непривередливы. Отдай Сампо по-хорошему. А по-плохому всю твою Похьёлу порушим».

Не хочет отдавать Сампо старуха Лоухи, кличет мечи и стрелы со всего севера, со всех краев Сариолы. Медведей и волков на подмогу призывает.

Тогда заиграл вещий Вяйнямёйнен на своем кантеле, навел сон на всю Похьёлу. Полегли в дреме мечи и стрелы, медведи и волки. Заснула и сама Лоухи. Где прячет она Сампо? Спрятано Сампо в горе медной, за семью замками. Взошли они на гору, все семь замков посбивали, взяли Сампо. На лодку погрузили, пустились по морю в обратный путь в Калевалу.

Очнулась от чар хозяйка Похьёлы, подняла на море страшную бурю, сама вихрем погналась в погоню – вернуть Сампо. Без Сампо не будет в Похьёле счастья, никому не будет удачи.

Настигла путников буря. Закачалась лодка на высоких волнах. Налетел вихрь, выхватил Сампо из лодки. Упало Сампо в море, на острые скалы, разбилось на куски и кусочки. Раскидало их по всему свету. Куда кусок побольше попал, там и счастья больше.

И промолвил вещий Вяйнямёйнен: «Не унывай, моя Калевала! Пока не смолкнет кантеле наше, будут у нас счастье и удача!»

Примечания

Карельские руны исполнялись двумя певцами. Певцы брались за руки, сидя лицом друг к другу.

Вяйнямёйнен – главный персонаж «Калевалы», чародей, песнопевец, первый человек.

Ильматар – прародительница мира, дочь воздуха, мать воды.

Сампса – фантастический персонаж, первый земледелец.

Турсас – морское божество.

Похьёла – страна севера, отождествлялась с Лапландией. Другое название – Сариола.

Калева или Осмо – мифический предок жителей Калевалы (страны Калева).

Вяйнела – место жительства Вяйнямёйнена, область Калевалы.

Манала, Туонела – царство мертвых, подземный мир.

Укко – бог неба, грома и молнии; верховный бог.

Хийси – злой лесной дух. Другое имя – Лемпо.

Ахто – бог моря, «морской царь».

Велламо – «морская царица».

Девы Велламо – русалки.

Ильмаринен – кузнец-волшебник, один из главных героев Калевалы.

Хозяйка Похьёлы, старуха Лоухи – колдунья, чародейка, властительница Похьёлы.

Сампо – центральный образ «Калевалы», волшебная мельница, символ процветания, благополучия и счастья.

ЧЕТЫРЕ ПРОГУЛКИ

Косая линия

Дождь со снегом. Стрелы подъемных кранов. Брести вдоль обветшалой каменной стены. Та же остроконечная ограда, вход с башенкой, по бокам два черно-чугунных якоря. Табличка. Что-то изменилось. Многое, многое здесь изменилось. Юношеская мечта о море. Адмирал Макаров. Выпускной вечер, актовый зал, начальник училища Жерлаков, лицо торжественно. Вручают дипломы. Разлетимся по всем портам, по всем морям...

«Чьей волей роковой под морем город основался». Косая линия прочерчена в полузабытое, на дне памяти. Особняк Брусницыных на углу. Начинает темнеть. Угрюмая перспектива – крытый мостик вверху над улицей, между кирпичными корпусами мертвого теперь завода. У края узкого тротуара мокнут под дождем крыши припаркованных машин. Буро-серые стены двухэтажного особняка. Остатки лепнины и украшений. Жалкий вид. Нужна реставрация. И эта легенда о загадочном зеркале Брусницыных...

Зеркало Брусницыных, опять оно здесь. Старинное зеркало, из усыпальницы графа Дракулы. Не гляди в него! Взглянешь – пропадешь. Пропали же в нем купцы-кожевники и весь род их. И весь тот Петербург. Тот Петербург... Пропать забвенья.

Постой! О чем я... На Невском недавно нашли мозаичную икону Калужской Божией Матери. Украшала фасад, в годы войны была утеряна. Редкий иконографический тип – изображение без младенца, с книгой в руках. Взгляд Богоматери устремлен на страницу развернутой книги. Возможно, из мастерской мозаиста М.И.Зощенко, отца писателя.

И опять я о другом. О другом...

Экскурсовод в начале осмотра поведет показать... Купеческая столовая, потолок, настенные бра. Буфет из резного дерева. Когда-то тут стоял стол из дуба и 60 стульев, обитых кожей. Каждая панель на стенах изготовлена вручную. За одной из них тайная дверца, через нее можно попасть в Бильярдный зал, он же Красный кабинет. На дверях изображена голова барана, божество торговли. Далее проследуем в зал для танцев, Белый зал. Здесь увидим красивую лепку с золотыми элементами. Оформлено в стиле Людовика XV. Причудливые узоры, орнаменты, растительность, музыкальные инструменты, венки, цветы, сказочные персонажи. Композиция гармонична и выглядит утонченно. Пилястры и капители с лирами. На люстре подвески из хрусталя, бронза, уцелел серп и молот. Камин из мрамора, скульптуры амуров. Курительная комната, сохранился декор, мавританский стиль. Купол – позолоченная лепка из гипса. На стенах утонченной вязью многократно повторяется надпись «Слава Аллаху».

Я возвращался по Косой линии обратно к Большому проспекту уже в сумерках. Куда-то вкось от прямых путей. Перекосило их все, исковеркало. «А я иду – за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса»...

Постой! Опять я не о том. Зачем-то ведь я пришел сюда?... Не для особняка же Брусницыных и их зловещего зеркала...

Сохранился ли в Николаеве тот беленый домик на бывшей Католической улице? Мемориальная доска, здесь родился... Названия кораблей. «Витязь», «Великий князь Константин», «Ермак». «Помни войну» – надпись на цоколе памятника в Кронштадте.

Война с Японией. Назначен командующим флотом в Тихом океане. Командовал 36 дней. 31 марта 1904 года вышел с эскадрой в море на флагманском корабле броненосец «Петропавловск». При возвращении эскадры обратно в Порт-Артур в 9 часов 39 минут утра броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине. Макаров находился на мостике. С ним художник Верещагин и Великий князь Кирилл. У правого борта раздался мощный взрыв, затем еще более мощный взрыв, под мостиком корабля. Броненосец накренился на правый борт, объятый пламенем, за две минуты затонул, погружившись носом в воду. Спасти удалось 7 офицеров и 73 матроса. Спасся и Великий князь Кирилл. Погибли 27 офицеров и 652 матроса. Вместе с моряками погиб и художник Верещагин. Тело адмирала Макарова не было найдено. Осталась только его шинель, которая была накинута у него на плечи, когда он стоял на капитанском мостике.

Последняя книга Макарова: «Гидрологические исследования в Лаперузовом проливе». Издана после смерти.

Макаров любил повторять: «В море – значит дома». Этими же словами он закончил одну из своих книг.

Сохранилось предсмертное письмо Макарова сыну, посланное из Порт-Артура:

«Дорогой мой сыночек!... Ты уже подросток, почти юноша. Я обращаюсь к тебе с другого конца России, как уже взрослому мужчине. Письмо посылаю своему старому другу в Кронштадт. Он найдет способ передать тебе в руки. Тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хотя и за пределами ее границ. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса, но я чувствую, о чем ты пока никому не скажешь, что нам, и мне в том числе, словно бы мешает – не адмирал Того, нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю! Душа моя в смятенье, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже чего-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин Василий Васильевич что-то пытается объяснить, но сбивчиво, как все художники и поэты... Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь об этом пока ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни...».

Лисин

Поднимаюсь по парадной лестнице. Вот сейчас будет спускаться мне навстречу Лисин, капитан первого ранга, наш зам.начальника по военной подготовке. Тот самый Лисин, герой Советского союза. Заметит нарушение формы – наряд на камбуз, чистить картошку. Коридор, двери аудиторий. Идут занятия. Только в одной аудитории пусто. Мое место на самом заднем ряду, на «камчатке». Вот тут на этой скамье я и сидел, прячась за спинами товарищей, чтобы, невидимый для взора преподавателя, добирать недоспанное в кубрике, в нашем экипаже на 21 линии. Но теперь тут никого из моих товарищей. Ни Сережи Седова, ни Гриши Мушкетова, ни Бабошина, ни Анохина, ни Борисова, ни Маяцкого, ни Баландина, ни Соркина, ни Горкуши. Всех, всех их нет здесь. И за кафедрой не высится грозный профессор Никифоровский, с адмиральской осанкой, вперив в кафедру два своих неумолимых перста. Никифоровский, преподававший нам теорию электротехники и особо равнодушный к моей фамилии. Не прогремит его страшный голос, пробуждавший меня от сна на моей «камчатке». Я тут один.

Жили в экипаже на 21 линии. Каждое утро наша рота шла строем от экипажа на Косую линию в учебный корпус на занятия. Шли быстро, торопились в столовую, на завтрак. Через боковой вход, вниз, в просторный гардероб, устроенный в подвальном помещении, где мы оставляли свою верхнюю одежду. Сколько раз за пять лет учебы я прошел по этой, теперь такой дорогой для меня, Косой линии.

Прошло столетия, многое забылось, а моя Макаровка всплывает в памяти. Лисин, элегантный, блистательный, в черном мундире военного моряка, с золотой звездой героя на груди опять неторопливо спускается по ступеням мне навстречу.

Лисин Сергей Прокофьевич. Родился 13 июля 1909 года в Саратове в семье рабочего. Окончил Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. Штурман на подводной лодке "Щ-313" Балтийского флота и на подводной лодке «Щ-401» Северного флота. Воевал в Испании, старший помощник командира на подводных лодках «С-4» и «С-2». В Великую Отечественную командир подводной лодки "С-7". Четыре боевых похода, девять торпедных атак. Потоплено четыре вражеских транспорта. За проявленные отвагу и героизм капитану 3-го ранга Лисину Сергею Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 6 июля 1942 года подводная лодка «С-7» под командованием Лисина вышла в новый поход. Через несколько дней плавания Лисин

обнаружил вражеский конвой: 16 транспортов и 10 кораблей охранения. Лодку заметил вражеский миноносец. «С-7», успев выпустить две торпеды по цели, погрузилась на глубину. Миноносец забросал лодку глубинными бомбами. В отсеках погас свет, потекли сальники, в трещины полилась вода. Взрывы бомб продолжались. Насчитали двадцать три взрыва. Маневрируя, Лисин увел лодку из опасной зоны и, всплыв под перископ, заметил над морем густое облако черного дыма и плававшие на воде обломки затонувшего фашистского транспорта. Утром 30 июля Лисин увидел на горизонте несколько транспортов противника, шедших севернее Либавы в Павловскую гавань, и принял решение атаковать. Но при сближении с целью глубины все время уменьшались, и лодка в любую минуту могла наскочить на мель. И все же Лисин не отказался от атаки. В самую последнюю секунду, когда он готовился произнести команду "пли", транспорты вдруг изменили курс. Атака кормовыми аппаратами стала невозможной, а в носовых оставалась всего лишь одна торпеда. Да и торпеды теперь из-за мелководья могли взорваться при толчке о грунт. Лисин дал команду на всплытие. В надводном положении лодка выпустила две торпеды, одна угодила в кормовую часть вражеского транспорта. Торпедированное судно "Кете" затонуло у входа в гавань. За тридцать восемь суток плавания подводная лодка Лисина потопила транспорты "Принцесса Маргарета" (1272 брутто тонны), "Лулео" (5611 брутто тонн), "Кете" (1599 брутто тонн), "Похьялахти" (682 брутто тонны). После короткого отдыха, 17 октября 1942 года «С-7» вышла из Кронштадта в свой очередной боевой поход. 21 октября Лисин донёс радиোগраммой об успешном форсировании противолодочных минных заграждений в Финском заливе и выходе в Аландское море. Каждый метр пути грозил гибелью. Лодка пересекла сорок две линии противолодочных мин, дважды касаясь бортами минрепов. Преодолев заграждения, всплыла для подзарядки аккумуляторной батареи. Была торпедирована финской подводной лодкой "Весихииси", переломилась от прямого попадания торпеды и затонула. В живых осталось лишь четыре члена экипажа, находились на мостике. В том числе Лисин. Взяты в плен. Два года Лисин в плену. После выхода Финляндии из войны 21 октября 1944 года передан своим в Выборге. Три месяца в Подольске в лагере НКВД на спецпроверке.

В 1945 году направлен на Тихоокеанский флот. С 1948 года – на преподавательской работе в различных военно-морских училищах. В 1961-1970 годах – в Ленинградском Высшем инженерном морском училище (ЛВИМУ) имени адмирала С.О.Макарова, заместитель начальника училища по военно-морской подготовке.

Скончался 5 января 1992 года. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге, на территории первого в России соединения подводных лодок, установлен монумент с барельефом Героя. Имя Лисина на мемориальной доске с именами Героев Советского Союза бригады подводных лодок Балтийского флота, на Аллее Славы в Кронштадте.

Генерал Яша

По набережной в сторону Гавани. Ноябрь, хмуро. В сумерках брезжат краны Балтийского завода. Где-то здесь квартировал Финляндский лейб-гвардии полк. Призраки казарм. Павел Федотов. «Лейб-гвардии Финляндский полк на плацу». «Встреча в лагере Лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича». «Бивуак лейб-гвардии Гренадерского полка». «Прогулка» (изображен Павел Федотов в форме офицера Лейб-гвардии Финляндского полка). «П.А.Федотов и его товарищи по лейб-гвардии Финляндскому полку». Николай Титов, «дедушка русского романа», на стихи Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной»; дирижер полкового оркестра, сочинил марш лейб-гвардии Финляндского полка. Дома-призраки... «Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые...».

И еще один призрак лейб-гвардии Финляндского полка – Яков Слащев. Феноменальная храбрость. Родился в 1886-м. В Первую мировую войну – дважды контужен, пять ранений. В бою у деревни Кулик бросился во главе роты вперед, под убийственным огнем противника, обратил германцев в бегство и овладел высотой. Георгиевский крест четвертой степени и георгиевское оружие. В 1917-м в Белой армии. Командующий корпуса. Не имел поражений. Разгромил армию Махно. Галицийская армия Петлюры сдалась ему без боя. Любовь и уважение солдат. Невероятная популярность. Слащеву дали прозвище – генерал Яша. Руководитель обороны Крыма. Стал именоваться – Слащев-Крымский. «Полновластный властитель Крыма» – называет его в своих записках Врангель. Бесстрашен, личным примером водил в атаку войска. Девять ранений. Многие ранения перенес на ногах. Отличался своеволием и строптивостью. Вызывающая экстравагантность поведения. Нелепый костюм, гусарский ментик в сочетании с генеральскими лампасами. Женитьба на дочери красного офицера, держал при себе под видом ординарца Нечволодова. Наркомания и любовь к кровавым расправам. Из воспоминаний

Врангеля: «Хороший строевой офицер, генерал Слащев, имея сборные случайные войска, отлично справлялся со своей задачей. С горстью людей, среди общего развала, он отстоял Крым. Однако, полная, вне всякого контроля, самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Неуравновешенный от природы, слабохарактерный, легко поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к наркотикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутался. Не довольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможными проектами и предположениями, одно другого сумбурнее, настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающимися лиц... Слащев жил в своем вагоне на вокзале. В вагоне царил невероятный беспорядок. Стол, уставленный бутылками и закусками, на диванах – разбросанная одежда, карты, оружие. Среди этого беспорядка Слащев в фантастическом белом ментике, расшитом желтыми шнурами и отороченном мехом, окруженный всевозможными птицами. Тут были и журавль, и ворон, и ласточка, и скворец. Они прыгали по столу и дивану, вспархивали на плечи и на голову своего хозяина...». Слащева еще называли – Слащев-вешатель. Лично подписал более сотни приговоров к повешению. Не столько врагов из красных, сколько своих из белых: за мародерство, грабеж, хищения, дезертирство, трусость. В игорном доме Симферополя (на углу Пушкинской и Екатерининской улиц), Слащёв лично арестовал трёх офицеров, ограбивших еврея-ювелира и велел их тут же повесить. Казнил солдата за гуся, украденного у крестьянина. Вздёрнул за трусость полковника (приближенного Врангеля), приговаривая: «Погоны позорить нельзя». В сражении под Чонгарской гатью отдал приказ юнкерам построиться в колонну, а музыкантам играть марш. Под ураганным артиллерийским огнём, развернув знамя, лично пошёл с юнкерами в атаку. Разрыв с Врангелем. Эмиграция. Константинополь, нищета. Занимался огородничеством. Наркотики, морфий, кокаин – снять сильные боли, следствие ранений. Издал книгу «Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма (Мемуары и документы)». В 1921-м объявлена амнистия участникам Белого движения. Амнистирован, возвращение в Россию. Преподаватель тактики в школе комсостава. Издан труд «Общая тактика». Во время разбора на занятиях войны с Польшей 1920 года Слащёв в присутствии советских военачальников заявил о тупоумии красного командования. Буденный выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в Слащева, но не попал. Слащёв сказал: «Как вы стреляете, так вы и воевали...».

В 1929-м – убит в Москве, в своей комнате при школе, тремя выстрелами из револьвера. Убийца – курсант московской пехотной школы, мститель за своего брата, расстрелянного в Гражданскую войну по приказу Слащева.

Слащев – генерал Роман Хлудов в пьесе Михаила Булгакова «Бег». Он же один из героев в фильме «Адьютант Его Превосходительства». О нем же фильмы: «Эмиссар заграничного центра», «Большая – малая война». Слащев – герой книг многих писателей. Этот легендарный генерал Яша.

Балтийский завод

Бетонный забор, лес подъемных кранов. «Наш завод – наша гордость». Устье Невы. В начале начал – завод Карра и Макферсона. Линейные корабли, подводные лодки. В 1925-м «завод имени Андре Марти».

Фрегаты для Индии. Танкеры для Германии и Голландии. Океанские суда – для Норвегии. Атомный ледокол «50 лет Победы». Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Спущены со стапелей атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь», самые мощные ледоколы в мире. («Арктика» – первым в мире из надводных судов достиг Северного полюса). Идет сооружение атомного ледокола «Урал». Построено более 500 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов.

Крейсер «Петр Великий». Сторожевой корабль «Адмирал Макаров».

Годы войны, заказы для фронта. Ремонт поврежденных в бою кораблей. Под бомбежками и арт.обстрелами. Почти все рабочие ушли на фронт. У станков женщины и подростки. Работали по 12 часов. Голод и холод. К весне 1942-го на заводе от голода умерло 1800 человек. Отец слесаря-монтажника Н.В.Бирюкова умер у своего станка. Сын, сам слабый от истощения, работал на ремонте недостроенного крейсера "Петропавловск". С моряками вышел на пробные стрельбы в Угольной гавани Морского порта, настраивал механизмы. И с каждым залпом приговаривал: – Это за Ленинград! Это за отца!

Здесь построена первая русская боевая подводная лодка «Дельфин». Два торпедных аппарата с двумя торпедами. Экипаж – два офицера и 20 матросов. В конце 1904-го перевезена по железной дороге во Владивосток – воевать с японцами. 17 дней провела в море. Командовал лодкой Георгий Степанович Завойко, внук адмирала В.С.Завойко. Всего на заводе построено более ста подводных лодок.

Перестройка, приватизация, три раза менялись собственники. В 2000-м владелец завода – Сергей Пугачев. Решил на месте завода построить элитное жилье. Угроза банкротства. Цеха пустели, имущество распродавалось. Численность рабочих снизилась в десять раз. Вмешалось правительство.

И опять я вспоминаю об адмирале Макарове. 1 февраля 1904-го назначен командующим флотом в Тихом океане. Уже шла война с Японией. В поезде вместе с Макаровым приехали из Петербурга рабочие Балтийского завода, кузнецы, слесари, чеканщики, медники. В Порт-Артур для ремонта поврежденных боевых кораблей прибыло 1600 рабочих. Они до последнего дня защиты крепости оставались вместе с моряками.

Дома раздвинулись. За Гаванью мгlistый простор Финского залива. Косо взвилось крыло морской чайки.

ИЗ ОДНОГО ДАВНЕГО СНА

Косая линия и наше морское училище, как раз там, где, дребезжа всеми своими стеклами и железками, заворачивает трамвай. Училище – мрачно-кирпичный замок, осененный вековыми тополями. А пойдешь дальше по Косой линии да свернешь на Кожевенную линию, бесконечно голую, ни единого деревца, теснимую с двух сторон пыльными заводскими корпусами... Какое гнетущее место! Пустынное городское ущелье. Поперек улицы, над мостовой, из здания в здание протянулся тяжелый кирпичный мост-короб. А запах здесь! Невыносимая вонь. Эту вонь источает кожевенный завод имени Радищева. И, кажется, деться отсюда некуда. Ты попал в западню. Смотришь: улице нет конца, ни впереди, ни обратно. А ведь знаешь: где-то рядом залив. Совсем рядом. Открытое, свежее, морское пространство, воздух, безбрежность. Белоснежное судно, океанский лайнер, покидая Гавань, уходит в открытое море. А тебе-то никак не выбраться из этого дьявольского места. Никак, никак... И ты бежишь, зажимая нос от невыносимой вони, гулко стуча своими курсантскими башмаками по безлюдному асфальту. И кажется тебе, этой вонью пропах весь город, все вокруг, вся жизнь. И ты бежишь в ужасе: опоздаешь к отплытию – и прощай летняя плавательская практика. Чудесный, как мечта, белый теплоход уйдет без тебя.

МОЯ МАКАРОВКА

Дежурный пропускает, у меня приглашение, меня ждет сам адмирал Макаров. Вот он в вестибюле, приветствует со своего поста. Под его ногами на бронзовом море выстроились корабли «Витязь», «Великий князь Константин», «Ермак». Память его морских походов. Поднимаюсь по парадной лестнице на второй этаж. Коридор, двери аудиторий. Идут занятия. Только в одной аудитории пусто. Мое место на заднем ряду, на «камчатке». Вот тут на этой скамье я и сидел, прячась за спинами товарищей, чтобы, невидимый для взора преподавателя, добирать недоспанное в кубрике. Но теперь тут никого из моих товарищей. Ни Сережи Седова, ни Гриши Мушкетова, ни Бабошина, ни Анохина, ни Борисова, ни Маяцкого, ни Баландина, ни Соркина, ни Горкуши. Всех, всех их нет здесь. И за кафедрой не висится грозный профессор Никифоровский, с адмиральской осанкой, вперив в кафедру два своих неумолимых перста. Никифоровский, преподававший нам теорию электротехники и особо равнодушный к моей фамилии. Не прогремит его страшный голос, пробуждавший меня от сна на моей «камчатке». Я тут один.

Я окончил Макаровку в 1970 году. Тогда называлось ЛВИМУ. Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова. Жили в экипаже на 21 линии. Каждое утро наша рота шла строем от экипажа на Косую линию в учебный корпус на занятия. Шли быстро, торопились в столовую, на завтрак. Через боковой вход, вниз, в просторный гардероб, устроенный в подвальном помещении, где мы оставляли свою верхнюю одежду. Сколько раз за пять лет учебы я прошел по этой, теперь такой дорогой для меня, Косой линии...

Читаю на табличке: «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова». ГУМРФ. Здание реконструировано, теперь оно, как новое, радостно на него смотреть. Совсем не то, что я видел в перестроечное время. Горестное было зрелище. Крыша проржавела, стены трескались, кирпич крошился. А на башенке над входом проросло упорное деревце, зеленея на зло всем бедам.

Обхожу здание вокруг. С тыльной стороны оно П-образной формы. Теперь и тут благоустроено. Садик, скамейки, спортплощадка. Иду по аллее. Пасмурно, трепещут на сучьях редкие листья. А когда-то здесь были склады-сарай. И нас, курсантов младших курсов, ставили в наряд, охранять эти склады. Помнится мне один такой ночной наряд, восемь часов стоять на страже, зимой, в декабре, перед Новым годом.

Курсантская шинелька не спасет от стужи. Была у нас тут железная печурка, мы жгли в ней щепки, чтобы хоть как-то согреться. Сижу около нее на корточках, поближе к огню, а рукав-то шинели уже горит, паленым пахнет... Трамвай пролязгал за оградой, заворачивая, последний, до рассвета. Еще целая ночь впереди. Как я дотяну до смены...

А дотянул до окончания училища. Выпускной вечер, актовый зал, все наши преподаватели. Начальник училища Жерлаков, лицо торжественно. И весь наш курс тут. Нам вручают дипломы. Мы новые инженеры и офицеры. Разлетимся по всем портам, по всем морям, по всем пароходствам страны. И встретимся ли мы еще когда-нибудь вместе, все, такие же, как сейчас, веселые, молодые...

АДМИРАЛ МАКАРОВ

Жизнь адмирала Макарова цельна, как его характер. Препятствия и обстоятельства не отклонили его от прямого, раз и навсегда выбранного пути. А препон было предостаточно. Его упорство и твердость, громадная энергия и убежденность в своей правоте преодолевали их. Макарова нельзя было свернуть с его дороги, согнуть, сломать. Он был создан из того же крепкого материала, что и другие гениальные русские люди, полководцы, ученые, художники. Недаром он был дружен с Менделеевым и Верещагиным. Его дух был выкован в том же горниле, что и дух Ломоносова, Суворова, Ушакова, Нахимова.

В городе Николаеве на бывшей Католической улице (в 1986 году переименована в улицу адмирала Макарова) сохранился беленый домик и мемориальная доска на нем. Здесь 27 декабря 1848 года родился Степан Осипович Макаров. Отец, Осип Федорович, начав службу простым матросом, в 25 лет получил офицерский чин. Мать умерла, когда Макарову было девять лет. Позднее Макаров писал в письме: «Я с девяти лет был совершенно заброшен и почти никогда не имел случая пользоваться чьими-нибудь советами. Все, что во мне сложилось, все это составилось путем собственной работы». Затем Дальний Восток, Николаевск-на-Амуре, куда отправили служить отца. Окончил там мореходное училище. Назначение на пароход «Америка». Первые плавания. Четыре года служил гардемаринем на различных военных кораблях. Корвет «Варяг», корвет «Аскольд». В 1867 году переведен в Петербург. Учеба в Морском корпусе. В 18 лет написал первую статью, опубликована в научно-военном журнале «Морской сборник». В 1869 году – мичман. Зачислен на броненосную лодку «Русалка». В одном из походов «Русалка» получила пробоину от удара о скалу. Авария едва не привела к гибели корабля. Макаров занялся проблемой непотопляемости.

Изучил причины аварий, произвел расчеты. Результаты исследования опубликовал в журнале «Морской вестник». Изобрел специальный пластырь для заделки пробоин. «Пластырь Макарова». Стал применяться по всему русскому флоту.

В 1871 году – лейтенант. Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Макаров – командир парохода «Великий князь Константин». На Черном море у Турции сильный флот. У России морские силы малочисленны. Макаров предлагает использовать пароход «Великий князь Константин» – поставить на него минные катера, которые можно быстро опускать на воду. После обнаружения турок катера в темноте самостоятельно атакуют их корабли шестовыми или буксирными минами. После атаки отходят к пароходу, их поднимают на палубу, и пароход быстро уходит. Действие Макарова успешны. Несколько турецких кораблей утоплены или повреждены. Турки напуганы и уже не рискуют оставаться у русских берегов на ночь. Макаров в этой войне ввел новые приемы морского боя, впервые в мире применил мины для атаки, а не для обороны. Его идея возить на быстроходном пароходе минные катера осуществлена затем на русском флоте – плавучие базы торпедных катеров и малых подводных лодок. Минные катера Макарова – прародители современных торпедных катеров и эскадренных миноносцев. Призыв Макарова: «Если вы встретите слабейшее судно, нападайте; если равное себе, нападайте; и если сильнее себя – тоже нападайте!».

1880 год. Направлен на Каспий. Война с текинами (туркменское племя). 1881 год – послан в распоряжение русского посла в Константинополе, командир корабля «Тамань», капитан второго ранга. Еще одна научная работа: исследование о течениях в Босфоре: «Об обмене вод Черного и Средиземного морей». Удостоен премии Академии наук. Награжден Малой золотой медалью Русского географического общества. 1885 год. Командир фрегата «Князь Пожарский». В 1888 – 1889 годах Макаров совершил кругосветное плавание, командуя корветом «Витязь». В плавании почти три года, 993 дня. Океанографические исследования обобщил в капитальном труде «Витязь» и Тихий океан». Более тысячи страниц. Впервые в мире дал описание гидрологии северо-западной части Тихого океана. В Монако существует океанографический музей, один из крупнейших в мире. На стенах музея начертаны названия судов, с которыми связаны крупнейшие открытия в области океанографии. Там есть латинскими буквами и слово «Vitiaz».

1890 год. Контр-адмирал, самый молодой адмирал на русском флоте. 1891 год. Главный инспектор морской артиллерии. Изобрел особые наконечники к бронебойным снарядам. «Макаровские колпачки». Снаряд с таким, насаженным на него колпачком, пробивал самую прочную броню.

1897 год. Издал книгу «Рассуждения по вопросам морской тактики». Широкий успех, переведена на многие языки мира. В этой книге Макаров написал: «Каждый военный или причастный к военному делу человек, чтобы не забывать, для чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал на видном месте надпись: «Помни войну». Макаров вывесил плакат с этими словами над письменным столом своего кабинета. Даже заказал золотые запонки с этой надписью. Книга Макарова о морской тактике стала принадлежностью всех практиков и теоретиков флота. Макаров написал очень много. Им создано почти 100 печатных работ. Гигантское эпистолярное наследие, дневники, записные книжки, путевые заметки. Дневник вел всю жизнь. Многие тетради хранятся в Центральном архиве Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге. Макаров пишет в дневнике: «Работа — это моя лучшая и всегда неизменная подруга, я всегда находил в ней утешение». Другая запись Макарова о любви к кораблям, о боли и скорби моряка при их гибели: «Тот, кто видел потопление судов своими глазами, хорошо знает, что гибель корабля не есть простая гибель имущества; ее нельзя сравнить ни с пожаром большого города, ни с какою другою материальною потерей. Корабль есть живое существо и, видя его гибель, вы неизбежно чувствуете, как уходит в вечность этот одушевленный исполин, послушный воле своего командира. Корабль безропотно переносит все удары неприятеля, он честно исполняет свой долг и с честью гибнет, но не к чести моряков и строителей служат эти потопления, за которые они ответственны перед своей совестью». Любил повторять слова одного известного английского адмирала: «Дайте мне корабль из дерева, а железо вложите в людей».

1896 год. Вице-адмирал, в 48 лет. Предложил план освоения Северного морского пути с помощью ледоколов. В Географическом обществе обсуждение его доклада «Об использовании Ледовитого океана». Добился заказа на строительство первого в России ледокола. Ледокол «Ермак». Строился по его проекту. 1899 год. Первое плавание Макарова на ледоколе «Ермак» в Ледовитом океане. Спас на ледоколе севший на мель у острова Готланд броненосец «Апраксин». Всего совершил три полярных плавания. Написал книгу ««Ермак во льдах»; более 500 страниц, рисунки, карты, таблицы. Издана за свой счет. Ледокол «Ермак» надолго пережил своего создателя. Провел через льды Балтики около тысячи судов. В 1918 году во время знаменитого Ледового перехода вывел корабли из Гельсингфорса в Кронштадт, предотвратив захват эскадры немцами. В 1938 году «Ермак» снимал со льдины экипаж первой в мире станции «Северный полюс». Во время Великой Отечественной водил корабли на Севере в Заполярье.

1899 год. Макаров назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта. Издал приказ «Об улучшенном способе варки щей». Любил говорить: «Под Полтавой мы победили своими щами, а Наполеона одолели гречневой кашей». Матросы Макарова уважали и любили, называли: «Борода» и «Наш старик».

Война с Японией. 1 февраля 1904 года назначен командующим флотом в Тихом океане. За короткий срок своего командования в 36 дней Макаров усиливает боеспособность русского флота и поднимает боевой дух моряков и гарнизона Порт-Артура.

31 марта 1904 года адмирал Макаров вышел с эскадрой в море. Находился на флагманском корабле броненосец «Петропавловск». При возвращении эскадры обратно в Порт-Артур в 9 часов 39 минут утра, в двух милях от маяка на Тигровом полуострове, броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине. Макаров находился на мостике. С ним художник Верещагин и Великий князь Кирилл. У правого борта раздался мощный взрыв, затем последовал еще более мощный взрыв под мостиком корабля. Броненосец накренился на правый борт, объятый пламенем, за две минуты затонул, погрузившись носом в воду. Спасти удалось 7 офицеров и 73 матроса. Спасся и Великий князь Кирилл. Погибли 27 офицеров и 652 матроса. Вместе с моряками погиб и художник Верещагин. Тело адмирала Макарова не было найдено. Осталась только его шинель, которая была накинута у него на плечи, когда он стоял на капитанском мостике.

Последняя книга Макарова: «Гидрологические исследования в Лаперузовом проливе». Издана после смерти.

Макаров любил повторять: «В море — значит дома». Этими же словами он закончил одну из своих книг.

Семья адмирала Макарова. Жена — Капитолина Николаевна Якимовская, из родовитой дворянской семьи. 1860 — 1946. Скончалась во Франции. Трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь Ольга, умерла в возрасте шести лет. Вторая дочь Александра. 1886 — 1982. Скончалась во Франции в возрасте девяноста шести лет. Сын Вадим. 1891 — 1964. Сохранилось предсмертное письмо Макарова сыну, посланное из Порт-Артура:

«Дорогой мой сыночек!... Ты уже подросток, почти юноша. Я обращаюсь к тебе с другого конца России, как уже взрослому мужчине. Письмо посылаю своему старому другу в Кронштадт. Он найдет способ передать тебе в руки. Тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хотя и за пределами ее границ. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса, но я чувствую, о чем ты пока никому не скажешь, что нам, и мне в том числе, словно бы мешает — не адмирал Того, нет, а как

бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю! Душа моя в смятенье, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже чего-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин Василий Васильевич что-то пытается объяснить, но сбивчиво, как все художники и поэты... Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь об этом пока ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни...».

Сын Макарова Вадим пошел по стопам отца, поступил в Морской корпус. В 1912 году закончил. Произведен в мичманы. Участвовал в Первой мировой войне на корабле, носившем имя его отца, крейсере «Адмирал Макаров». Был награжден орденом святой Анны 4-й степени. Знак этого ордена крепился на эфесе сабли и кортика, с надписью «За храбрость». В 1916 году произведен в лейтенанты. К революции 1917 года отнесся отрицательно. Присоединился к Колчаку. Назначен флаг-офицером. В 1919 году назначается флагманским артиллеристом Камской флотилии, принимает участие в боях. После отступления Белой армии Колчака уезжает в США. Учреждает свою фирму. Двадцать патентов на изобретения. Собрал большую личную библиотеку, завещал России. Ныне хранится отдельным фондом в главной библиотеке страны. На свои средства издал в 1934 году книгу о своем отце. Скончался в Нью-Йорке в 1964 году.

Имя Степана Осиповича Макарова носят:
город в Сахалинской области;
котловина Макарова;

Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге;

Национальный университет кораблестроения в Николаеве;
Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке;
Улицы в различных городах России и Украины.
Несколько кораблей в Советском Союзе и России в разное время носили название «Адмирал Макаров».

Памятники

В Кронштадте, Санкт-Петербурге, Николаеве, Владивостоке.
Бюст в Смоленске.

Обелиск в селе Янракинот Чукотского Автономного Округа.

Корабли

«Адмирал Макаров» – советский легкий крейсер. В 1945 году был передан по репарациям СССР после окончания Второй мировой войны. Был назван в честь адмирала Степана Осиповича Макарова. «Адмирал Макаров» – советский большой противолодочный корабль. Спущен на воду 22 января 1970 года. 3 июля 1992 года разоружен и исключен из состава ВМФ. «Адмирал Макаров» – дизельный полярный ледокол.

Построен в 1975 году в Финляндии, второй из серии ледоколов, построенных в Финляндии по заказу Советского Союза. «Адмирал Макаров» – фрегат, третий сторожевой корабль проекта 11356. Планируется принять на вооружение Черноморского флота России в 2018 году. 30 июля 2017 года фрегат «Адмирал Макаров» принимал участие в торжественном параде ко Дню Военно-морского флота у нас на Неве в Санкт-Петербурге.

Макарову посвящено немало работ известных художников. Одна из них, картина Евгения Ивановича Столицы «Вице-адмирал С.О.Макаров и художник-баталист В.В.Верещагин в каюте броненосца «Петропавловск».

Фильмы о Макарове: «Адмирал Макаров». Леннаучфильм, 1984 год. В 2013 году вышел двухсерийный фильм «36 дней войны».

Гибель Макарова и моряков на броненосце «Петропавловск» отразилась в поэзии. В газетах было опубликовано стихотворение неизвестного автора. Выбито на памятнике Макарову в Кронштадте.

Спи, северный рыцарь, спи, честный боец,
Безвременной взятый кончиной.
Не лавры победы – терновый венец
Ты принял с бесстрашной дружиной.
Твой гроб – броненосец, могила твоя –
Холодная глубь океана.
И верных матросов родная семья –
Твоя вековая охрана.
Делившие лавры, отныне с тобой
Они разделяют и вечный покой.

Об этой войне строки Блока:

Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?...
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января...

Велемир Хлебников, поэт, наделенный не меньшей пророческой чуткостью, писал в стихотворении «Перуну», соединив в вешем символе события древности и современности:

Бог, водами носимый,
Ячаньем встречен лебедей,
Не предопределил ли ты Цусимы
Роду низвергших тя людей?

Известие о гибели броненосца «Петропавловск» побудило его искать закон времени, исследуя хронику исторических сражений. На Троицу 1905 года Хлебников записал на коре березы:

Слушай! Когда многие умерли
В глубине большой воды
И Родине ржанных полей
Некому было писать писем,
Я дал обещание,
Я нацарапал на синей коре
Болотной березы
Взятые из летописи
Имена судов,
На голубоватой коре...
Я дал обещанье всё понять...

Отозвалось эхо этой катастрофы и в творчестве японского поэта Исикава Такубоку. Писал стихи в старинном жанре «танка». Умер в нищете, от туберкулеза, в 26 лет. Был убежденным противником войн. В Русско-японскую войну опубликовал сборник стихов «Стремления». В этом сборнике есть поэма «Памяти адмирала Макарова». Перевела на русский язык Вера Николаевна Маркова.

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров!
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.

.....
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи!
При имени Макарова молчи,
О битва! Сопричислен русский витязь
Великим полководцам всех времен,
Но смертью беспощадной он сражен.

ОСОБНЯК БРУСНИЦЫНЫХ

Я решил посмотреть один не слишком известный старый дом на Косой линии, в самом ее конце – особняк Брусницыных. Давно мне хотелось взглянуть еще раз на этот полуразрушенный шедевр архитектуры, осколок былой красоты Петербурга, о котором сохранились легенды. Начинало темнеть. За углом – угрюмая перспектива Кожевенной линии с характерной приметой – крытым мостиком сверху над улицей, между кирпичными корпусами мертвого теперь завода. По обеим сторонам, у края узкого тротуара – мокнут под нудным, ноябрьским дождем крыши припаркованных машин. Передо мной справа буро-серые стены двухэтажного особняка. Жалкий вид. Остатки лепнины и украшений. Увы, здание в еще более плачевном состоянии, чем было, когда я видел его несколько лет назад. Вот-вот мы его навсегда утратим. Требуется срочная реставрация. Сохранился интерьер, есть экскурсии. И эта легенда о загадочном, мистическом зеркале Брусницыных...

«И в переулках пахнет морем». Писал Блок. Это о другой части Петербурга, на Пряжке, но как похоже. Юго-запад Васильевского острова, местность, известная с 1-й половины XVIII века – Чекуши. Косая линия – название возникло в начале XIX века. В отличие от остальных линий Васильевского острова, проходит не перпендикулярно Большому проспекту, а под косым углом к нему. Первое название – Новый проспект. Под этим именем улица была на картах Петербурга начиная с 1798 года. Косой линией стала в 1821 году. Иногда ее называли Кожевенным проспектом, поскольку проезд вел к Кожевенной линии и заводам на ней. На углу Косой и Кожевенной линий и стоит особняк Брусницыных, Кожевенная линия, 27. Читаем краеведа конца XIX века Михаила Бахтиярова: «Когда иностранное судно из Финского залива вступает в устье Невы, то оно проходит мимо Чекушей. Первое впечатление от Петербурга, когда к нему подъезжаешь морем, это запах кожи. В Чекушах постоянное зловоние. Когда с моря дуют ветры, то запах уносится в самый город». Что правда, то правда. Верно пишет Бахтияров. Тот же запах господствовал здесь и в годы моей учебы в макаровском училище. Доносился к нам на Косую линию. А когда попадали на Кожевенную – зажимай нос и беги. Хотелось поскорей ее покинуть. А название Чекуши вот почему. Кроме кожевенных мастерских тут склады были, в том числе и с мукой. Мука в амбарах от сырости твердела и сплипалась. Вот ее и крушили специальными деревянными колотушками. Колотушки эти назывались – чекуши. Стук чекуш стоял тут постоянно. Вот и называли эти места – Чекуши.

Теперь о купцах Брусницыных.

Название «Кожевенная линия» – от кожевенных производств, которые по указу Екатерины II стали размещаться здесь, в глухой части города, поскольку «при самом въезде в городе быть оным неприлично, затем что от оных происходит нечистота и нездоровый воздух». Здесь и купили участок в 1848 году Брусницыны.

Николай Мокеевич Брусницын, крестьянин Тверской губернии, начав дело с небольшой кожевенной мастерской, быстро преуспел, построил кожевенный завод и основал фирму «Брусницын Н.М. с сыновьями». Стал купцом 1-ой гильдии. Семья у Николая Мокеевича была большая: трое сыновей и пять дочерей. Сыновья после смерти отца продолжили дело, расширили производство. Двое из них – Александр и Георгий – сделались купцами 2-ой гильдии (т.е. владели капиталом более 20 тысяч рублей). Третий сын Николай – коммерции советник, купец 1-ой гильдии, гласный Городской Думы, вице-председатель совета Русского банка для внешней торговли.

Поселились Брусницыны рядом со своим заводом, который к концу XIX века был крупнейшим в Петербурге, в год выделывал до 110 тысяч бычьих шкур для ремней и конской сбруи. Чтобы упростить сообщение между частями завода, расположенными по разные стороны Кожевенной линии, выстроили «мост» – крытый переход из одного заводского здания в другое.

Завод Брусницыных был оборудован на высоком технологическом уровне. Брусницыны часто бывали за границей.

Александр Брусницын, будучи в Стокгольме, купил яхту шведского наследного принца. Роскошная паровая яхта под именем «Астарт» – белоснежная, 60 метров длиной, с надстройкой красного дерева, на носу – золоченый голубь с тянущимися от него вдоль борта резными золочеными ветвями. Такой яхты не было ни у кого в России. Об Александре Брусницыне рассказано в книге капитана Д.А.Лухманова «Соленый ветер».

После смерти родителей в 90-е годы XIX века братья Брусницыны, Николай, Александр и Георгий, в память о родителях основали дом призрения для малолетних детей-сирот имени Николая и Елены Брусницыных. Ныне в этом доме № 15а на Косой линии Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. ГУМРФ. Это было незаурядное заведение. Брусницыны выделили объем средств в 1,5 миллиона рублей. Архитектор здания – Павел Юльевич Сюзор. Тот самый Сюзор, который возвел знаменитый Дом компании «Зингер» на Невском проспекте, 28. Теперь Дом Книги.

В приют принимались дети – преимущественно круглые сироты обоих полов от шести до двенадцати лет, а также потерявшие близких

ветераны преклонного возраста. Для детей были организованы школа, больница и учебные мастерские. Перед 1917 годом в приюте на полном содержании находились более ста детей и более пятидесяти стариков.

В центральной части здания, на третьем этаже помещалась домовая церковь с хорами. Росписью церкви занимались художник Николай Андреевич Кошелев (роспись главного купола московского храма Христа Спасителя – тоже его работа) и мозаист Михаил Иванович Зошенко (отец Михаила Зошенко писателя).

При освящении здания богадельни в декабре 1897 года (в день 50-летия Кожевенного завода) присутствовали принц А. П. Ольденбургский и Иоанн Кронштадтский. Вскоре после открытия дом посетил Николай II с семьей, дабы выразить благодарность Брусницыным, передавшим свое заведение в распоряжение города. Александр Николаевич и Николай Николаевич Брусницыны были гласными Городской Думы и участниками Комитета Санкт-Петербургского Попечительства о народной трезвости. Они организовывали столовые, читальни и спектакли, чтобы отвлечь мастеровых людей от пьянства, а также приюты, ясли, убежища для подростков. О заслугах братьев Брусницыных перед городом напоминала мраморная доска, установленная в Александровском зале Городской думы.

В Петербурге жива легенда о загадочном «зеркале Брусницына». Один из братьев Брусницыных для гостинной своего дома заказал в Италии старинное зеркало, до этого якобы висевшее в усыпальнице графа Дракулы, а потом оказавшееся в каком-то венецианском палаццо. Со всеми, кто смотрелся в зеркало, происходили несчастья. Внезапно умерла внучка Брусницына. А в советское время пропал то ли директор завода, то ли заместитель, в чьем кабинете висело это самое зеркало. Исчезали и рабочие, в него взглянув. Зеркало сняли и куда-то запрятали. Кабинет заколотили. Заводоуправление переселили в новое здание. Но, говорят, зеркало еще хранится где-то в доме.

При советской власти кожевенный завод расширился и стал называться «Кожевенный завод им. А.Н.Радищева». В особняке разместилась администрация завода, на месте ворот сделали проходную для рабочих, а на фасаде герб семьи Брусницыных заменили на серп и молот.

В годы войны кожевенный завод не работал. В блокаду его сырье стало пищей.

Яхта «Астарта» в 1921 году была передана ускоренным курсам комсостава флота для обучения курсантов. Затонула в первом же плавании. Экзотические растения из оранжереи Брусницыных в 1924-1925 годах передали в Ботанический Сад.

Иконы и резной дубовый иконостас из домово́й церкви дома призрения сейчас можно увидеть в храме в честь Казанской Божией Матери в Вырице. Сама домовая церковь теперь восстановлена (при реставрации всего здания в 2012 году). Там долгое время был спортивный зал. Помню, я в нем занимался в мои курсантские годы. Тогда же чудесным образом нашли в кафе на Невском проспекте мозаичную икону Калужской Божией Матери. Украшала фасад здания, в годы войны была утеряна. Как я уже говорил. Редкий иконографический тип – изображение без младенца, с книгой в руках. Взгляд Богоматери устремлен на страницу развернутой книги. Работа, возможно, выполнена в мастерской М. И. Зощенко, уже упомянутого мной отца писателя Михаила Зощенко, художника, известного в начале XX века. Икона возвращена в Макаровку.

После революции Николай и Александр Брусницыны с семьями эмигрировали во Францию. Георгий Брусницын остался в Петрограде. Умер в 1934 году в коммуналке на Пушкинской улице. По другой версии эмигрировали Николай и Георгий. Александр остался в Петрограде, работал на заводе в должности главного инженера и председателя коллегии заводоуправления. В 1919 году был арестован по ордеру ЧЕКА и посажен в тюрьму. В 1920 освобожден.

Особняк Брусницыных, архитектурный памятник федерального значения, обломок старого Петербурга. Как я уже говорил, сохранились интерьеры. Здесь проводятся фотосессии, съемки фильмов. Снимались сцены из исторических фильмов: "Шагал –Малевич" Александра Митты, дом Вронского в картине Владимира Соловьева "Анна Каренина", здесь же работала съёмочная группа фильма Алексея Учителя о Матильде Кшесинской.

Первоначально это здание построено было в 1770 годы на углу линий Кожевенной и Косой. Каменное, фасад смотрел на побережье. Владелицей дома стала вдова иностранного купца А. Е. Фишер. В 1787 дом перестроили, поместили в нем контору завода. В 1844 это строение купил Н.М.Брусницын. В 1857 по проекту архитектора А. С.Андреева старый дом дополнили пристройкой на западной стороне. Расширены проемы окон на первом этаже. Изменен лицевой фасад. В 1882 особняк перешел к сыновьям Н. М. Брусницына. Дом был капитально перестроен. Архитектор А. И. Ковшаров. Второй этаж увеличен, появилась мраморная лестница для парадного входа. Также оранжерея. Особняк Брусницыных с тыльной стороны похож на букву «Ш». У каждого из троих братьев было свое крыло здания. Особняк украшен фризом, лепными гирляндами. Сильно выступает карниз. Над лестницей фронтон. Фасад справа украшен эркерами в форме полукруга. Во внутреннем дворике был сад. Теперь редкие деревья, сарай и пристройки.

После революции 1917 года парадный вход был заколочен. Здесь помещалось управление и лаборатории, столы с приборами для анализа кожи. В 1993 году реставрировали Белый зал и столовую. В настоящее время помещения особняка переданы в аренду частным фирмам. Планировали корпуса завода превратить в гостиницу с видом на морское побережье. А в особняке Брусницыных устроить ресторан.

Экскурсовод в начале осмотра поведет вас показать помещения второго этажа. Первое – купеческая столовая. Потолок, лепнина, огромная люстра из бронзы и настенные бра. При Брусницыных стены столовой были обтянуты тончайшей белой кожей изумительной выделки. Сейчас на стенах белые обдирающиеся обои клеены. Буфет из резного дерева. Когда-то тут стоял стол из дуба и 60 стульев, обитых кожей. Каждая панель на стенах изготовлена вручную. За одной из них тайная дверца, через которую можно попасть в Бильярдный зал, он же Красный кабинет. На дверях изображена голова барана, олицетворяет божество торговли. Стол с зеленым сукном утрачен. Сохранилась бронзовая люстра с ручкой, позволяющей опускать её над столом. Далее можно проследовать в зал для танцев, Белый зал. Здесь увидим красивую лепку с золотыми элементами. Оформлено в стиле Людовика XV. Большое количество причудливых узоров. Орнаменты, изображающие растительность, музыкальные инструменты, венки, панно в виде цветов, сказочных персонажей. Композиция гармонична и выглядит утонченно. Ее дополняют пилястры и капители с лирами. Рамы окон остались цельными. Стекла у них плотные. Подоконники из мрамора. На люстре подвески из хрусталя. Сама она из бронзы, советское время и тут оставило свой символ – серп и молот. Камин из мрамора, один из лучших в Петербурге, украшен скульптурами амуров. В прошлом веке зал этот превратили в актовый зал кожаного завода. Здесь проводились собрания и праздники. Тумбы у камина, вместо ваз с цветами были подставки под бюсты Сталина и Ленина.

Возле Белого зала курительная комната, хорошо сохранился декор. Восточный мавританский стиль. Купол – позолоченная лепка из гипса, яркие краски. Красивая люстра. Зеркало утратило свою цельность, разделено на отдельные фрагменты. На стенах утонченной вязью многократно повторяется надпись «Слава Аллаху».

Отсюда можно попасть на парадную лестницу из мрамора, идет от парадного входа, сейчас заколочен. Лестница много лет была спрятана под деревянным настилом, превосходно сохранилась.

Отголоски былого: где-то лепнина на потолке, где-то необычная старинная ручка. Памятник архитектуры умирает. Будущее особняка Брусницыных не менее призрачно, чем его прошлое.

ЖИЗНЬ С КНИГОЙ

С чего началось чтение. Первая моя книга – «Путешествия Гулливера», подарок матери на мое семилетие. По этой книге она и научила меня читать. Издание для детей, широкий формат, крупный шрифт, иллюстрации. Обветшавшая книга с пожелтелыми, истрепанными страницами. Она еще там, на полке в книжном шкафу, в старом доме. Память детства. Давно я уже покинул родной дом, а книга ждет меня. Зимний вечер, мы с матерью у печки, за железной дверцей жарко пылают и трещат дрова. У матери часок, свободный от домашних забот. Мать читает мне об удивительном великане Гулливере в стране лилипутов. Голос у матери молодой, звонкий. Я люблю ее голос. Но мне хочется читать самому. И вот, запинаясь, по складам, как будто продираясь сквозь дебри, вода пальцем по странице, произношу фразу. Как я горд своим подвигом! Это же что-то совершенно невозможное! Чудо из чудес! Я читаю! Читаю сам!

Позже, взрослый, я перечитал эту великую книгу Свифта в другом, солидном издании. И открылся невероятный мир. Детское чтение затмилось. Третье путешествие Гулливера, летающий остров Лапута. В третьей главе Свифт пишет о том, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. И приводит параметры их орбит, почти совпадающие с действительными. Как Свифт мог знать об этом в 18 веке (книга вышла из печати в Лондоне в 1726 году) за 150 лет до практического открытия этих спутников? Спутники Марса, названные Деймос и Фобос, были открыты в 1877 году американским астрономом Асафом Холлом. Но предположение об их существовании еще в 1610 году высказал Иоганн Кеплер. А в наше время появились гипотезы, что о Марсе было известно уже в древности. В 1939 году в армянском хранилище древних рукописей Матенадаране ученым Арутюняном была обнаружена древняя карта с изображением Марса и одного спутника вместо двух. Карта эта, возможно, копия, снятая с оригинала из погибшей Александрийской библиотеки. Вот он какой, автор «Путешествий Гулливера», первой, прочитанной мной книги! Книги, по которой я научился читать! То ли он был посвящен в тайные знания, взятые из древних астрономических книг и карт, то ли предсказал все это в непостижимо провидческой фантазии вплоть до точных математических расчетов. Кстати, существует предположение, что параметры двух спутников Марса, приведенные Свифтом, для его времени были точны. К нашему времени они незначительно изменились, поэтому и расхождение.

А еще четвертое, последнее путешествие Гулливера в страну мудрых и благородных лошадей гуингмов и отвратительных человекообразных йеху. Эти йеху имеют гнусный обычай при знакомстве с чужаком обгадить его с головы до ног.

А еще я люблю великолепное стихотворение Николая Тихонова «Гулливер играет в карты». Оно из тех, что я знаю наизусть. Уверен, великан, играющий в карты с современными лилипутами, – это Маяковский. Гигант-поэт, мир огромивший мощью голоса, проиграл всё дотла толпе жуликов и пройдох, шулеров-мошек. Да и как может быть иначе.

ГУЛЛИВЕР ИГРАЕТ В КАРТЫ

В глазах Гулливера азарта нагар,
Коньяка и сигар лиловые пути, –
В ручонки зажав коллекции карт,
Сидят перед ним лилипуты.

Пока банкомет разевает зев,
Крапленой колодой сгибая тело,
Вершковые люди, манжеты надев,
Воруют из банка мелочь.

Зависть колет их поясницы,
Но счастьем Гулливер увенчан, –
В кармане, прически помяв, толпится
Десяток выигранных женщин.

Что с ними делать, если у каждой
Тело – как пуха комок,
А в выигранном доме нет комнаты даже
Такой, чтобы вбросить сапог.

Тут счастье с колоды снимает кулак,
Оскал Гулливера, синяя, худеет,
Лакеи в бокалы качают коньяк,
Лакеи на лифтах вздымают индеек.

Досадой наполнив жилы круто,
Он – гордый – щелкает бранью гостей,
Но дом отбегает назад к лилипутам,
От женщин карман пустеет.

Тогда, осатанев от винного пыла,
Сдувая азарта лиловый нагар,
Встает, занося под небо затылок:
«Опять плутовать, мелюзга!»

И плюнув на стол, где угрюмо толпятся
Дрянной, мелконогой земли шулера,
Шагнув через город, уходит шататься,
Чтоб завтра вернуться и вновь проиграть.

Это стихотворение мне дорого еще и тем, что две строки из него любил цитировать Виктор Соснора на занятиях своего Лито в ДК им. А.В. Цюрупы, как пример изумительной звукописи:

Лакеи в бокалы качают коньяк,
Лакеи на лифтах вздымают индеек.

Звучание этих строк и сейчас открывает мне тайны музыки стиха не меньше, чем пушкинское «роняет лес багряный свой убор», или пастернаковское «роскошь крошеной ромашки в росе».

Еще одно чудо в начале моего чтения – «Слово о полку Игореве». Опять – подарок матери. Я уже учился в школе, мне было девять лет. Эта книжица открыла мне поэзию, «злато слово». Я был заворожен красотой древнерусских образов и музыкой речи. Сшил самодельную книжку и переписал в нее весь текст, стараясь красиво выписать каждую букву. Тогда-то я и научился по-настоящему писать, научился письму. Теперь уже не помню, был ли это на самом деле древнерусский текст. Книга, подаренная матерью, к великой моей печали не сохранилась. И список мой с нее – тоже. Да и не приснилось ли мне все это? Мог ли девятилетний ребенок что-нибудь понимать по-древнерусски? Но полюбить-то мог, околдованный этой магией, звучанием, ритмом, этим звоном и сверканием дивных слов, этим волшебством языка.

«Боянь бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы, помняшет бо, рече, первых временъ усобице. Тогда пушашеть десять соколов на стадо лебедей, которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы касожьскими, красному Романови Святъславличу. Боянь же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пушаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами князем славу рокотаху».

С тех пор «Слово о полку Игореве» со мной всегда, всю мою жизнь. Позднее я приобрел несколько разных изданий, в том числе и в издании Дмитрия Лихачева в 12-томном собрании «Древнерусская литература». Все 12 томов этого собрания стоят на книжной полке в моей библиотеке на видном месте. Знаю все известные стихотворные переводы, начиная с Жуковского. А сам древнерусский текст «Слова о полку Игореве» заучил наизусть, помню и повторяю. Русская литература началась для меня с этой поэмы, с нее же началась и моя любовь к книге, к слову, к письму.

Я категорический противник любых стихотворных русских переводов «Слова о полку Игореве». Они всегда ниже оригинала. Ни один из них никогда не заменит красоту древне-русского языка и неподражаемую поэзию этого древнего произведения. Надо читать сам древне-русский текст (не так уж это и сложно), а не заменять его рифмованными имитациями и перепевами. Прозаические переводы – дело другое. Там нет претензии на перевод с поэзии на поэзию.

У меня никогда не было сомнений в подлинности «Слова о полку Игореве». Верю Пушкину, его чувству языка. Вот известное высказывание Пушкина из его неоконченной статьи: «Некоторые писатели усумнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока... Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться».

А после блистательного доказательства подлинности «Слова о полку Игореве», осуществленным нашим замечательным лингвистом Андреем Анатольевичем Зализняком, этот нелепый спор, я думаю, окончательно решен.

У Пушкина были планы издать свой перевод «Слова». В последние месяцы перед дуэлью он был занят только этой работой, исследованием и комментированием текста. Именно поэма неизвестного древнерусского автора была с ним в его конце. О ней думал Пушкин, о ней любил говорить с ценителями. С. П. Шевырев писал через шесть лет после смерти Пушкина: ««Слово о полку Игореве» Пушкин помнил от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров». А вот что пишет археограф М. А. Коркунов вскоре после гибели Пушкина: «С месяц тому назад Пушкин разговаривал со мной о русской истории. Его светлые объяснения древней «Песни о полку Игореве», если не сохранились в бумагах, – невозвратимая потеря для науки».

Не без горечи я повторяю слова Пушкина: «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности». Как печальна зачастую судьба книг. Не менее печальна, чем судьба их авторов. Ведь и гениальное «Слово о полку Игореве» чудом дошло до нас. В единственном списке! Через шестьсот лет! Случайно обнаружено в одном из монастырей. Вскоре после публикации (издание Мусина-Пушкина в 1800 году) оригинал гибнет, сгорев в пожаре 1812 года! Рукописи горят! Еще как горят, целыми библиотеками! И в наше время. Пожар в петербургской Академии наук в феврале 1988 года; в Петербурге же в феврале 2004-го сгорело здание музыкально-художественной библиотеки им. А. Блока; и совсем недавний пожар в Москве в январе

2015-го в библиотеке Института научной информации по общественным наукам. И все-таки чудеса случаются! «Слово о полку Игореве» уцелело, не дало себя сжечь. Героическое оно, во всех смыслах.

Бесценны для меня и беседы о «Слове о полку Игореве» с Виктором Соснорой. Это была одна из самых частых тем наших с ним разговоров. По признанию самого Сосноры, он и начался, как настоящий поэт, с переложения этой древней поэмы на современный лад: его сборник «Всадники».

О Пушкине, наверное, от матери впервые услышал. Запомнилось «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / То как зверь она завоет, / То заплачет, как дитя». А потом, позже, уже в школе прочитанное «Мороз и солнце; день чудесный!.. / Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, / На мутном небе мгла носилась; / Луна, как бледное пятно, / Сквозь тучи мрачные желтела...». Почему-то в ту пору меня больше привлекали мрачные картины, силы стихии, бури, вьюги, вихри. И, прочитав Лермонтова, его «Ангел», «Парус» и особенно «Демон», я предпочел Лермонтова Пушкину. Лермонтов надолго стал моим кумиром. Я, как говорится, был под властью его могучего очарования. Мне было 13 лет, поэзию Лермонтова мы уже изучали в школе. Помню, учительница по литературе и русскому языку Людмила Михайловна задала урок, выучить отрывок из Мцыри, кому что нравится. Я выбрал бой с барсом и с большим воодушевлением декламировал на уроке. Но сильнее всего меня зачаровал «Демон». Эту довольно большую поэму я заучил всю наизусть, от начала до конца. Хотелось кому-нибудь ее читать вслух. Но читать было некому. Матери в ее хлопотах было не до стихов. Сестра Лена, младше меня на четыре года, девочка чувствительная, ранимая, чуралась всякого демонизма. Друзей-приятелей не было, всех чуждался, в классе прозвали «фак-отшельник». Уходил один гулять в наш парк на дудергофских холмах, там, на «дикой природе», в безлюдье, бродил в одиночестве, по тропинкам и во весь голос декламировал «Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей...». И так далее, всю поэму. Темный осенний вечер, иду по склону, голос мой звенит в чащах. И чудится, я сам этот лермонтовский демон, лечу, распластав крылья, не над нашими холмами, а над мрачными вершинами Кавказа. Потом полюбил стихи Блока, его Демона: «И в горном закатном пожаре, / В разливах синеющих крыл, / С тобою, с мечтой о Тамаре, / Я, горный, навеки без сил...», и Пастернака «Памяти демона», из его гениальной книги стихов «Сестра моя жизнь», посвященной Лермонтову: «Приходил по ночам / В синеве ледника от Тамары, / Парой крыл намечал, / Где гудеть, где кончаться кошмару...». И Врубель, «Демон сидящий», «Демон поверженный». Какой грандиозный образ! Вот что меня тогда зачаровывало в 13 лет – грандиозность!

У нас в доме была библиотечка, собранная моей матерью. Средств на приобретение книг не очень-то находилось. Жили скудно. В книжном шкафу на полке стоял и томик Лермонтова небольшого формата, бурая обложка, издательство художественной литературы, Ленинград, 1941 год, редакция Б. М. Эйхенбаума. Этот бесценный томик, (первый том из двухтомного собрания) и сейчас там. Он дороже мне всех лермонтовских изданий.

А силу Пушкина я понял и сумел оценить только в зрелые годы. Добрался и до полного академического собрания сочинений Пушкина в 16 томах (17-й дополнительный). Брал по одному тому в библиотеке ДК им. Цюрупы (я тогда посещал Лито при этом ДК, руководил Лито Дмитрий Резников, затем там свое Лито вел Виктор Соснора). Большие тома, в желтой обложке. К тому времени я Пушкина знал всего, и меня интересовали отрывки, неоконченное, другие редакции, варианты, черновики, комментарии. Помню впечатление мастерства: как филигранно отточены и самодостаточны у Пушкина даже небольшие наброски из незавершенного.

И еще одна книга той ранней поры. Стою на крыльце, без шапки, голая шея. Уже тепло, апрель; у тополя у нас на дворе набухли крепкие клювики почек. Стук калитки. Подходит девушка, в руке большая кожаная сумка. В поселке книжная торговля на выезд. Предлагает купить книги. Я выбрал сборник баллад Шиллера в переводе Жуковского. Недорого, полтора рубля (до денежной реформы 1961 года). Мать без возражений выделила сумму. Радость! Как я тогда был счастлив! Эта простенькая книжица и сейчас там, в том старом доме, где я уже не живу. Но я помню ее, помню тот светлый день, ту девушку книгоношу.

Читал я тогда запоем. Брал книги в нашей поселковой библиотеке. Библиотека на пригорке в старом деревянном здании, где и почта. (Теперь ее уже давно нет). Библиотекарша Капитолина Ивановна меня полюбила. Немало списанных книг подарила она мне, чем я и пополнил значительно свою домашнюю библиотечку. Одно из сокровищ, подаренных ею: шеститомное собрание сочинений Пришвина, без первого тома.

Закончил школу одиннадцатилетку, поступил в морское училище, в Макаровку. Появлялись деньги, тратил на книги. Так всю жизнь. В плаваниях, в судовой библиотеке, перечитал собрания сочинений Тургенева и Бунина, все тома, от корки до корки. У Тургенева нравилось «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь», «Накануне». Щемящее чтение. А то, что в школе заставляли – «Охотничьи рассказы», «Отцы и дети», «Муму» – пренебрегал. Ну а от Бунина – без ума. «Натали», «Легкое дыхание», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Темные аллеи» и прочая. И от стихотворений его был в полном восторге. Два последних

тома из бунинского собрания сочинений, с его стихами, каюсь, умыкнул из матросской библиотеки, когда три месяца томился на воинской переподготовке за Мурманском на базе подводных лодок в городке «Полярный». Эти два потрепанных, замусоленных тома в темно-вишневой обложке из 9-томного собрания сочинений 1965 года издания и сейчас в моей библиотеке, хотя я давным-давно переменял свое отношение к Бунину в целом, и к его стихам в частности.

Ушел с моря, менял места работы, инженер на заводе, архивист, потом служил в милиции. Женился. Стал посещать Лито при ДК им. Цюрупы. Занялся самообразованием, в свободные от службы дни просиживал от открытия до закрытия в Публичке в зале литературы и искусства или в тесной комнатке русского фонда с окном на Садовую улицу и Гостинный двор. В этой комнатке я прочитал многие малодоступные тогда книги, в том числе Андрея Белого. Там же читал и переписывал себе в тетрадь изданные на стеклографе стихотворные книжечки в несколько страниц Алексея Крученых. Там читал собрание произведений Велемира Хлебникова в пяти томах, составление и редакция Н.Степанова, 1928 – 1933 гг. Дважды прочитал от корки до корки все пять томов и самое важное для меня переписал в толстую тетрадь в клетку 96 листов мелким бисерным почерком. Это мое рукописное избранное Хлебникова храню как драгоценную память о поре того страстного увлечения. Бегал по букинистическим магазинам. Часто бывал в букинистике на Литейном проспекте. (Теперь этот магазин не существует). Помню, сразу, как войдешь, редкие книги лежат под стеклом на витрине. А справа ступени, к стеллажам, продавщица пускает по два-три человека, жди очереди, когда снимет шнур барьера. Там я купил письма Шопена; полное собрание сочинений Всеволода Гаршина в одном томе, издание Т-ва А. Ф. Маркс, 1910 г.; том второй Помяловского того же издания 1912 г.; несколько книг литературно-художественного альманаха «Шиповник»; тома Октава Мирбо «Дневник горничной», «Голгофа», 1906, 1908 гг. издания, Пьер Лоти «Турецкие гаремы»; том Кнута Гамсуна, 1910 г.; Пантелеймон Романов «Детство»; 1929 г, роман Стефана Жеромского «Ранняя весна», издательство Кубуч – Ленинград, 1925 г., альбомы живописи и многое, многое еще. А рядом, чуть подальше магазин Академкниги, заглядывал и туда. Именно в Академкниге я приобрел по заказу драгоценное издание, первое на русском языке, «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. «Наука». Главная редакция восточной литературы. Перевод Т.Соколовой-Делюсиной. Всего не перечислить, что мне посчастливилось там добыть.

Возвращаясь с ночного дежурства, по пути домой, сойдя с трамвая, я заходил в магазин «Старой книги» на улице Зенитчиков. Радостные моменты. Сколько чудесных находок! И это предвкушение встречи с

неизвестными книгами, это возбуждение: что мне сегодня попадется, ждет ли удача, посчастливится ли найти что-нибудь интересное. Спешил к открытию магазина. У входа, как правило, уже стояло два-три человека, таких же энтузиастов-библиоманов. А если приходил поздно, к самому открытию, то и целая очередь. Помню все погоды, и солнечные летние утра, и осеннее ненастье, октябрьские, ноябрьские дожди, мокрый снег, декабрьскую стужу, февральскую оттепель, мартовскую свежесть, майскую зелень тополей. Нет, никогда я не был так счастлив, как с книгой и чтением.

Частенько бывал на черном книжном рынке; по субботам и воскресеньям. В то время частная торговля книгами в общественных местах была запрещена, разгоняла милиция. Потом легализовали, никто не преследовал. Книжный рынок кочевал с места на место. Был возле ДК им. Крупской и в самом ДК, был в клубе Водоканал у Таврического сада. Собирались и на окраинах, несколько раз в Ульяновке, в поле за железной дорогой. Помню, чудесный летний день, далеко в поле чернеют кучи людей, спешу к ним, возбужденный, с томлением в сердце. Вот я уже близко. Книги разложены на траве, можно ходить, смотреть, спрашивать цену. Вижу, навстречу идет рослый парень в пиджачке, лицо багровое, опухшее, в высоко поднятой руке томик Пастернака, библиотека поэта, малая серия. Продает, недорого, за бутылку водки. Этот томик теперь у меня на даче, уже почти сорок лет, читанный, перечитанный. Там же я покупал и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, разрозненными томами, в переводе Любимова. Значительно позже попался том «В сторону Свана» в переводе Франковского, и я мог сравнить. Там удалось достать и Платона в четырех томах, издание «Академия наук», 1968 г., редакция Лосева и Асмуса, и двухтомник Леонардо да Винчи «Академия», 1935 г., редакция Дживелегова и Эфроса. Но больше всего книжных сокровищ я приобрел на книжном рынке в ДК им. Крупской, особенно изданий китайской и японской классической литературы. (Этими литературами я тогда увлекался). От метро Елизаровская шел пешком и уже по пути до самого входа в Дом культуры встречал разложенные прямо на земле книги. И мои глаза ничего, кроме них не видели. Только книги, книги, везде книги. Лиц тех, кто их продает, я не замечал. И в самом Доме Культуры, во всех помещениях, всех залах, и на первом и на втором этаже, и во всех коридорах – несметные, необозримые лавы и обвалы книг, пестрая рябь обложек, толпы, толкучка, духота. Такая же картина была и в клубе «Водоканал». Походы туда запомнились тем, что они были в мае, я шел вдоль решетки Таврического сада с цветущими над ней кленами и сияющей синевой безоблачного неба. И меня всякий раз приветствовал знаменитый дом №35 на углу Таврической и Тверской, прославленная «башня» Вячеслава Иванова.

Не забывается еще один яркий майский день. Коля Русанов, замполит в нашем батальоне, такой же страстный книжник и мой друг (он учился на заочном на философском факультете в ЛГУ), пригласил меня на лекцию, что-то вроде политзанятия в здании около Михайловского замка. А после лекции будет книжная распродажа. Приманка, чтобы пришли слушать скучищу. Время перестройки, конец 80-х. Цветущие каштаны, солнце, расстрелиевский Петр на коне, блестят доспехи, императорская голова в лаврах. Лекция в маленьком зале на первом этаже, томительный час ненужной идеологии. Как только лектор закрыл рот, все толпой ринулись к столам, на которых были разложены для продажи новенькие труднодоступные в то время книги. Я успел ухватить том Андрея Платонова, в черной обложке с серебряными буквами, свежий, только что из печати. Радости моей не было предела. «Котлован», «Чевенгур». Какая могучая проза! Что там Тургенев, Чехов, Бунин, Горький, Шолохов. Рядом с Платоновым меркнут все писатели. Надо сказать, что для меня и сейчас так. В русской прозе мои вершины – Аввакум, Гоголь, Лермонтов («Герой нашего времени»), Достоевский и Платонов. У этих мощь. Хотя в русской прозе я люблю еще очень многое.

В октябре 1989 года мы с женой проводили отпуск в Анапе в Доме отдыха МВД. Там, в Анапе, в книжном магазине я увидел том Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец», в красной обложке с футуристическим рисунком. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1989. Наиболее полное собрание произведений Лившица, стихотворения, переводы и знаменитая мемуарная книга. К столетию со дня рождения. С иллюстрациями Чекрыгина, Гончаровой, Розановой, Малевича, Ларионова, Бурлюка, Татлина, Гуро, Филонова, Кульбина, Экстер, Митурича. Лившиц был расстрелян в 1939-м, и с тех пор его произведения не издавались. Купил сразу четыре экземпляра. Потом в Питере обменял на другие редкие книги. «Полутораглазый стрелец» – бесценный документ по истории футуризма, написано прекрасным стилем. Три раза перечитывал и все еще нет-нет и загляну в эту замечательную книгу. Загляну и опять вижу Анапу, солнечный южный октябрь, вкус спелой, сочной хурмы, только что купленной на рынке. День ветреный. Улица привела нас к обрыву над морем. Дорожка узенькая, камни, спускаться трудно. Жена осталась наверху. Я решил один. И вот, стою внизу у воды, зачарованный: море в блеске, простор, синева, чайки. Бенедикт Лившиц, «Гилея», братья Бурлюки, Хлебников, «На серебряной ложке протянутых глаз / Мне протянуто море и на нем буревестник... И к шумящему морю, вижу, птичая Русь / Меж ресниц пролетит неизвестных».

В те времена, когда книги были за барьерами прилавков и их нельзя было трогать, я часто заходил в Дом книги на Невском, знаменитый Дом

Зингера. На первом этаже справа от входа – философия и история. Под стеклом на длинном прилавке и на стеллажах за спинами продавцов. На втором этаже – художественная литература. Как часто там стояла огромная очередь, закрученная по всему залу. Толпа, толчея, шум, спрашивают, что сегодня, какую невиданную и неслыханную редкость выставили. Хватит ли на всех. За многими новинками я стоял в очереди в той жаждущей толпе книголюбцев, томясь мучительной тревогой, возрастающей по мере приближения к прилавку: достанется ли мне. Продавец громко выкрикивает: «Осталось столько-то, зря не стойте». Самое обидное, если перед тобой закончится. Но зато какое счастье, когда ты окажешься последним, кто получил. Так мне достался двухтомник Плутарха «Параллельные жизнеописания». Продавщица объявила: «Товар закончился!» Надо же! Как раз на мне! Но вдруг спохватилась: «Нет, вот еще есть один бракованный. Берете?» Что за вопрос? Протомился три часа в толпе, раскаленной добела яростным ожиданием, готовый растерзать в клочья любого, кто попытался бы влезть со стороны, и теперь не взять! Верх абсурда! И вот я уже держу в руках сокровище, своего Плутарха. Пустьковое повреждение обложки у второго тома, ободрано в двух местах. Москва. Издательство «Правда» 1987. Цена каждого тома 2. 80 к. На черном рынке этот двухтомник продавался втридорога. Вот какие книжные времена были! Какая безумная любовь к книгам! Ненасытная библиомания.

Дом книги! Это знаменитое здание на Невском, построенное архитектором Павлом Сюзором, Дом компании Зингер, где продавались прославленные на весь мир швейные машинки, а в 1938 году отданное во владение Книге. С какой необоримой силой этот дом на Невском манил и притягивал меня к себе «и имя Зингер возносил» уже издалека, заставляя мои глаза смотреть только на него!

В девяностые годы в Доме книги продавалась и моя первая книжечка «Одна ночь». Недавно вышла в свет, тираж тысяча, за свой счет. Кто-то посоветовал обратиться к зав.отделу в этом зале. Я и подошел. Симпатичная женщина невысокого роста. «Вы хотите, чтобы ваша книжка полежала у нас на витрине?» – спросила она. «Да, хочу» – подтвердил я. «Приносите. 50 экземпляров. Для пробы». Неслыханное чудо! Чтобы книжонка никому неизвестного автора была принята на продажу в Дом книги и лежала на виду на витрине! Да разве такое возможно? И еще одно чудо – книжка моя пролежала недолго. Все 50 экземпляров были разобраны за три дня. Милицейская тема интересовала. Но взять на продажу еще партию отказались. Той симпатичной доброжелательной женщины зав.отдела уже не было. Вместо нее была другая.

ТОТ ДЕНЬ

Полнолуние, серебряный шлем, кровать, свеча, круги на воде, не помню... Колеса шелестят по шелку, желток в тумане, тринадцатая годовщина свадьбы, вихри на дороге, пыль в лицо, желтая юбка, янтарь на шее, церковь, скамейка у сосны, ела яблоко, кидая зернышки голубям, печет, чешуйчатая луковка, золотом горит крест. На пустой платформе, ждем поезда, ураганный ветер. Один из героев начала века. Мишель почти всегда писал без поправок. Могушественные вымыслы, звездно, заморозок, трава беловолосая. Приехала, ее сон: будто бы моется в бане, а снаружи в оконце на нее глядят дети. "Нет, я так не могу, неловко, дети смотрят". К чему бы это?.. В пятницу опять приехала. Вчера на канале у китайского консульства нашла золотой браслет.

От метро, в черной куртке, перехваченная кушаком, сумочка, русые волосы, высокие ботинки, черные шерстяные чулки, торопясь, бегом, свернула в темный переулок. Сумерки. Внутренняя жизнь состоит из очень немногих слов, бессловесна, раб, червь, почта с девяти, комета в алмазной короне, сигарета на снегу, забытая книга, золотой колокольчик, потерянное слово, стрелы в пепле, струна из Индии, рукав в Дунае. Записывающее устройство, пиши, пиши, пока пружинка не раскрутится. Нет контакта с луной, прилив-отлив, крабик бежит, высокостенная Троя. Октябрь уж наступил, серебряная труба, шляпа для монет, город женщин, ему пятьдесят, прощание с ней, недостижимой и единственной, ночь, листья, простуженный кашель, безумная, глухая. Кошмар, язык не поворачивается рассказать, талый снег, телефон, тяжелый крест нести на Голгофу, полотенце бьется на балконе верхнего этажа, страшное, желтое. Красилась у зеркала, пела, ушла, обернулась, машет рукой, черная каракулевая шуба. Внутреннее самоощущение процесса жизни остается одинаковым в любом возрасте. После 1-й Мировой войны в цирках Европы гастролировал артист, именовавший себя То-Рама. "Я выработал свою систему победы над самим собой и вообще не испытываю страданий, если не хочу их испытывать". Активность души, мир представлений и стремлений, жизненная сила организма, непостижимая для ума. Художественные натуры вообще отличаются особой способностью внутренне сосредотачиваться на чувственных образах, проходящих перед их внутренним взором, и поэтому их состояние определяется не окружающей их реальной обстановкой, а ситуациями, связанными с воображаемыми образами, с которыми они бессознательно себя идентифицируют. Я делался кем-то другим. Мое

воображение было настолько сильно, что переселяло меня в какой-то другой образ, с другой судьбой, с другими чертами характера. Душа мыслит, а человек этого не замечает. Февраль, мост, утки на черной воде, пар, метро, лестницу давай!.. Понедельник, четверг, толпа под высокими стеклянными сводами, Невский украшен, "подъем, ночлежники!", по темной, заснеженной, незнакомой улице, так это Седова! Волосы на голове клочками в засохшей корке и рана все еще кровоточит.

Встал на рассвете, вихри, в лабиринте, Тетраграммотон. Литва, Гора крестов, красный месяц, Паскаль, это вечное молчание безграничных пространств ужасает меня. Точка. Слова уст. Пойман словами, опутан сетью слов. Атом – это вихрь. Всё – вихрь, всюду – вихри. Победная белоглазая молния. Играло, сверкало, звенело, летело, горело, пело. Что тебе еще угодно? 23-е, понедельник, силуэт с цилиндром, блокадные дни. Голос моря, инфразвук, ужас, сумасшествие, моряки бросаются за борт. Индусы везут на колеснице гигантскую раковину против Александра Македонского, это ультразвук, лошади падают, всадники вылетают из седла. Тибетские монахи бьют в барабаны и трубят в трубы вокруг камня в 200 тонн, камень взлетает на 400 метров и ложится на вершину утеса, где строится храм. Голос моря убивает за одну секунду весь экипаж корабля. Для призраков закрыл я вежды, сплю, Осло, голод, варяжский гость, сберкасса закрыта, сосульки при луне. Веберн. Я ношу в себе переживание, пока оно не становится музыкой, неотличимой от этого переживания. Меня мучает совесть, я чувствую обязанность сочинять. Духовная сила музыки безгранична. Вдохновение – это минутное разрешение долго обдумываемой задачи. Дворцовая, ремонт, гул механизмов, "Стратегемы", как воевать, купил соли и картошки. Круги ада. Священный город инков в Андах, Мача Пикчу. Тело – пещера голоса, дверной косяк в Елабуге. Пресность, у марта две цифирки осталось, уплывет на серебряной лодочке. Город – светящаяся каша в плоской чашке, мотылек, соленый ветер с моря. Тросточка Канта стучит по старым камням. Долг философии состоит в устранении фантазий, порожденных заблуждениями. Весной шумят, ложный ореол вокруг потери. Цунами, великая волна высотой в 300 метров три раза обходит мир. Если произойдет извержение вулкана на Канарских островах – поднимется катастрофическая волна в 400 метров и затопит весь мир. Если в океан упадет крупный метеорит – результат будет примерно такой же. Пятница, апрель, мглисто, птицы на верхушках голых тополей. Мокрые хлопья, асфальт, ну куда тебя несет, безнадежно ведь, книги лежат по обеим сторонам дороги, в грязи, никто не берет. Метро, вишни. Святослав Рихтер, тень черной ноты на лице, косноязычная иголочка. Гений, который мечется

между светом и тенью. Моцарта познать нельзя. Чтобы понять музыку Моцарта, ее надо остановить и рассмотреть – но это-то и невозможно, она слишком летуча, она всегда ускользает. Чем больше я пытаюсь понять Моцарта, тем больше я прихожу к нулю. Подобно птице, он обладал быстротой реакций, Художник – тот, кто обладает органом восприятия тайн, неисчерпаемости градаций вещей. Вносит в музыку нечто сокрушительное. Метель, побыть без света, тени ветвей в комнате.

Стачек, тускло, к зубному врачу, мычит, рот набит ватой, товары для дома, столько прекрасных вещей, когда я вхожу в такой дом, я сразу чувствую, какая я нищая, горестно говорит она, я так люблю кухонную утварь, я так люблю готовить! Купили заслонку для ванной, итальянскую. Мои произведения родились из моего понимания музыки и страдания, в моей голове бродят новые ритмы и мелодии. Поистине в этом Шуберте живет божественная искра, этот еще заставит говорить о себе весь мир. Он жил в мире творческой фантазии, умер в 31 год, в чемодане под кроватью нашли много прекрасных песен. Я чувствую себя, как вода, меня уносит течение – смерть. Леонардо да Винчи, идеальный город – Ладомартин. Город, знающий дорогу к богам – Тиу-Тиу-Токан, пирамида солнца, аллея мертвых, Людвиг Баварский, сказочный принц, прекрасный и безумный, король-поэт, Лоэнгрин, Замок Лебеда. Озеро, рельсы, жаркий день, деспот Сан-Франциско, человек холодного, ироничного ума и надменного нрава, "Житель Каркозы". У художника глаза зоркие, как у голодных. Девушка должна быть чистой, как рыба чешуя, и тихой, как степной дым. Поэты рисуют, зор-вед, зрение и ведание, Мартышкино, забытая могила. Эйнштейн. Одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке – это желание уйти от будничной жизни. Я был переполнен миром и мой мир через меня пролился. Потребность в искусстве объясняется стремлением к иным мирам. Центр искусства в настоящее время находится в моей голове. Листва, влажно, Шёнберг, "Просветленная ночь".

Черемуха, мглисто, тут жил Шаляпин, с этого балкона пел, Макбет, билетки кусаются, 300-летие города, зонты, пельмени, Караванная, фонтан, фиалки, флажки, фуражки, скрещенные якоря, дождь, в магазине музыка, стоять в очереди, за дверью мглисто, брызги. Четверг, чайка, чудный хохол. У поэта слова – то же, что звуки в музыке. Я хотел бы умереть, слушая "Послеполуденный отдых фавна". Музыка создана для невыразимого. Я хочу, чтобы музыка выходила из тени и тут же в нее возвращалась. Дом цыган у станции, одинокий гусь жалобно кричит, зовет подругу. Не умирай раньше меня. Дождь, сирень, бурь порыв мятежный. Капли бегут по стеклу, одни быстро, другие медленно, путь одних длинный,

других – короткий. Падший воин, чинарь, ласточки-антропософки. В розовой куртке, сумка через плечо, жмурится, ослепленная солнцем, золотые головки одуванчиков, машу рукой, не замечает. Привезла огромную белую рыбину, белугу. Будда, высшая ступень – девятая, полнолуние, Троица, зеленые листья, сорванные грозой, летят во тьме над дорогой. Хмель-хмелина. Высунув голову в форточку, смотрел на закат и пел. Ветер и лучи, корабли у берега, толпа голых, камни, овцы, стражники, ловля угрей, дорога в город, письмо.

Дождь, яйцо, Парменид, непогрешимое сердце легко убеждающей истины. Камбоджа, Анкор, город в джунглях, 400 лет забвенья. Айны, народ в Японии, медведь, сова, змея. День Ивана Купала, свадьба солнца, купание солнца. Купальская ночь самая короткая в году, колдовская, собирают волшебные травы, цветы папоротника. Колдовская сила на весь год. День Ивана Купала – начало года. Ночью три раза обежать обнаженной вокруг ржаного поля – приворожить парня. Увидит во сне и влюбится. Заря, шоссе, стрижи над школой чертят свои воздушные чертежи. Чжу Да: настолько чужд каких-либо правил, что у него невозможно чему-то научиться. Ветер треплет ее светлые волосы, юбка морщится на бедрах, сумочка под мышкой. У автостоянки разошлись в разные стороны. Вставила золотые зубы, улыбается, как цыганка. Постель разобрана, солнце бьет в окно, блеск залива, голое плечо, спина. Дуб у пруда, солнце садится, про любовь, кровь, желтые вершины. Плясала на платформе, разучилась ходить на высоких каблуках, солнце, озеро. Встретились у китайского консульства, Троицкая церковь, театр дождей, рынок, икона, через дворы, бегут с хохотом, кормят голубей, жар-птица, поют, синий пиджак дирижирует плавными кистями рук, катера, иностранцы, Мария Афанасьевна, царствие ей небесное, скамейка у Никольского собора, там и посидим. Не судите, да не судимы, не донесла свой крест... Тополиный пух, поход к заливу, так по этому валу и дойдем, соломенная шляпка, иван-чай, клевер, ромашки. Гранитные глыбы, набросанные руками титанов, теплая, удивительно, до Кронштадта не доплыть. Подвернула ногу, до трамвайной остановки нам век тащиться, несчастья преследуют нас. Жара, жасмин, клавесин, Ванда Ландовская, я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Проводил Л. А. на Балтийский вокзал. Майстер Экхарт, взыскую покоя, птицы, перламутр грозовой, шум дождя, стрела крана кружит над домом. Травмпункт, сидит на лавке, грустно улыбнулась, очередь, мрачно, голо, грязно-голубые стены, забинтованная нога. За окном темно, тучи, тополь трепещет, день давящий, парной, влажно и тяжело, вот-вот пойдет дождь. "Что ты такой напряженный?" спрашивает она.

Ван Гог, высокий каблук, пушок над верхней губой, изогнув по-змеиному талию, проскользнула из-за стеллажей с альбомами. Долистал, спустился по ступеням, зеркало, брюки гармошкой, дикие глаза. Тучи, дождь, Казанский, черная ограда, сирень отцветает, розовые штаны, шляпка с бантиком. "Юнона", солнцепек, трамвай не тот, жарься, карась на сковородке. Ничего, ничего, дождичек в четверг, жемчужно живем, ласточка, трепеща, ловит брызги с неба. Цветет один цветок, а вся вселенная расцветает с ним. Поиски, ходил, читал на столбах, купался, бодрость, тополь шумит, две девочки на берегу, луна, храмы в горах, Будда здесь, Будда там, Будда везде, ласточка, щебеча, облетела солнце, треугольные звезды, шмель спит в пионе, послеполуденный отдых, Чен Хао, понедельник ветхий, сон разорванный на две части, тени, тучи, птица Пэн, последняя страница. Не ищите следы древних, ищите то, что искали они. Свет ходит по тополию, шум шелковый. Красиво, потому что некрасиво. Освободись от всего, что ласкает чувства, неудобство души, пусть душе неудобно, ласкать и карябать, я ухо словом не привык ласкать. Закат, стеклянный корабль, коринфяне, слова остроглазые, сдвиг, разрыв, замерз, две рыбки на одной связке рвутся в разные стороны – астрологический знак, под которым он родился, туберкулез, стремление за предел, всегда ощущать себя стоящим над бездной и идущим по тонкому льду. Солнце садится, ало пульсируя, круги в воздухе, как в алой воде. Тишина на дороге, брошенный платок, синие колокольчики. В половине шестого, мелко, ленты щекочут живот, песок, легко, продуктовый у платформы, рыхлая, в фартуке, что вам угодно? удары грома, пахнет грозой, ветер сердитый, рвет тетрадь из рук. Мой учитель – это мое сердце, сердце берет у учителя глаза, а глаза учатся у горы Хуаншань. Две старухи на велосипедах, тут колючая проволока на дне разбросана, осторожней, да он не слышит, он глухой. Сухие иголки, муравьи, вечер, девочки, гигантская розовая рука с неба растопырила пальцы. Ну и характер у вас, Павел Николаевич! Сто одиннадцать ночей, маятник Фуко, работал с упором, молнии, двойные зрачки, лошадиный рот, отрешенно-порывист. Приехала, ходим босиком по траве, влажная, холодит, ходить босиком по утренней росе оздоровительно, от земли сила идет через кожу ног, зябко вздрагиваем.

Разговоры, сны, следствия без причин. Полярная звезда окружена семью черными солнцами, которые излучают сокрытый черный свет. Говоришь всю жизнь – и ничего не скажешь. За всю жизнь не произнесешь ни слова – и все выскажешь. Прежде, чем открыть рот, ты уже все сказал. Каир, крушение, бегут с носилками, черный петух, муэдзин, прохлада звезд, в лодках загорают девушки. Во сне голос матери, звала меня, ясно слышал мое имя, проснулся в

тревоге. Плыл у берега, вода теплая, мочалка в руке. Босиком по лужам, дождь, банные березы. Вечер, радуга, восток чистый, купался на закате, драконы, морда лошади, телега везет травяную гору, сверху два цыгана лежат на животе, поплеывая, блестят вилы. Приехала, говорит непонятно, зубной протез, надо разнашивать. Ее рассказ: пошла за арбузом, две цыганки на дороге, заморочили голову. Море, Шелли, томик Софокла в кармане. Станные люди – европейцы, им все нужно доказывать. Я никогда не ишу доказательств. Преподный народ, хотя и создал Шекспира. Книгоедные дела, лапка плюща, дрожали ступени, выразить интуицию в энергии слова, тайнопись неизреченного. Обклеивали стены газетами, полночь, смертельная усталость, гигантская черная фигура стоит в окне, окно готическое, от пола до потолка, метнулась женщина, исчезла сквозь стену, еще одна, сидят в фартуках, шьют, обрадовался: "ну вот, с вами-то мне будет хорошо!". "Да нет, не думаю, что тебе с нами будет хорошо" – возразила сидящая передо мной и что-то шьющая молодая женщина в головном платке... Луна, сарай, тень на траве, ветер, календарь, поезд, мох, кисточка рыси, туман, в плащах, с чемоданами, книга о смерти, дверь распахнута: "Да входите же!" Лежат в тельняшках, все койки заняты, свободных нет. То, что человек всегда делает и никогда не видит. Судить его по тем законам, которые он сам над собой признает. Затопленная лодка, шелест.

Кассиопея, рояль, безумство музыки, немка, ее порывы, дневники, запирает дверь изнутри на ключ, от мужа, лейтенант, по вечерам играет в шашки со своими служанками или заставляет читать ему Геродота. Лежит на диване, как паша, покуривая сигару и слушая чтение красивой молодой девушки, что-то про обычаи фригийцев. У лейтенанта дрожит стакан в руке. Лошадь, испугавшись динамитного взрыва, понеслась по камням, он едва спасся, как стальная пружина, уже вися на сползшем седле, под брюхом, вцепился в гриву, остановил на скаку. Блестящая шинель с золотыми пуговицами, рыжеволосая девушка Давердана, сказочное имя, грязные руки, лейтенант приказывает мыть их перед приходом к нему... Капельки дождя, срываясь, чертят по стеклу свой жизненный путь. Из леса корзина, полная шляпок, ночь, сырой ветер, дуб шумит, мерцанье луж на дороге, две девушки, разговор об ухажерах, брызнули фары, озарив мокрый забор. Местечко Сегельфосс, телеграфист Бордсмен с черной виолончелью, могуч, плечи покачиваются, монетка на пристани блестит, две кроны, сорока украли ключик, доктор Муус. Лег спать, тяжело вздыхая, ночь мрачная, холодная, и я один в доме. Телеграфист Бордсмен с актерочкой Кларой один в номере гостиницы, закрылись. Что они там делают? Бордсмен выходит, распевая, у него прекрасное настроение, вид помолодевший, он

чувствует себя юношей, он летит, как на крыльях, с пристани, дальше, дальше – чайка над стальным заливом... Я уже сплю... Клара смеется, смех ее, как лопающиеся жемчужные пузырьки, она спрашивает, она хочет узнать: вижу ли я в ней будущую великую актрису? Она своей игрой потрясет весь мир... Глаза у нее светлые, сумасшедшие, юные... не понимаю, что она от меня хочет... На пристани фонарь, черное масло... Я сплю... Живу на необитаемом острове, ни следа на песке, только – книги, везде под ногами у меня книги, куда бы ни пошел, по всему острову. Они, как раковины, в перламутровом футляре, старинные, с застежками, диковинной формы, иные похожи на черепаха, иные – на рыб. Есть книги в пурпурной царской мантии. Есть книги-солнца и книги-звезды. Я хожу по своему острову и читаю то одну книгу, то другую, перелистывая быстро, как ветер. Шелест страниц и шум прибоя у скал, птицы поют, мелькают буквы, знаки, картины. Ничего там нет человеческого, ни одного упоминания о человеке, ни малейшего намека, решительно – ничего. Я хожу весь день по моему острову из конца в конец и пою, как птица. И книги поют. Мы поем с сомкнутыми ртами. Чудесный у нас получается хор, священный трепет пронизывает меня насквозь. Вот к хору присоединяются скалы, они поют звонко-бравурно, как грандиозные раковины, как трубы...

Пришел из леса – ее рыжая сумка. Где ж она сама? Дождь сильнее, ливень. Вбегает мокрая, за пазухой собачка, наша любимица, с золотой шерсткой. Распили бутылку красного вина, рыдала, потом смеялась, у нее прическа, называется – вшивый домик. Ее мечты: что я стану известным писателем, разбогатею на моих книгах, купим дом, отправимся путешествовать... Мглисто, холод, платить земельный налог, у вокзала тополя спилены, очередь во весь коридор. Электростанция, река, плотина, девушка на велосипеде махнула рукой: "Да вон она, на том берегу! Через мост перейти!" Два мальчика с ранцами, из школы, гнедая кобылка с телегой скачет по больничному двору, цыган, козырек на носу. Мост, мох зеленый в щелях ступеней. Четверг, Гатчина, солнцепек, из конторы в контору, справки, очереди, тихо, солнечно, Куприн, улица Карла Маркса, ржавая табличка, гуляли у озера, павильон любви, красные клены, Павел, безотрадно, ели из кулька финики и орешки. Золотые тыквы на столе, Франсуаза д.Эстро, недолгая любовница Ронсара, растерзана в своей постели вооруженным сбродом, ворвавшимся в замок. Чтобы понравиться своему новому любовнику маркизу д.Аллегру, у себя в потайном месте заплетала мелкие косички, завязанные разноцветными бантиками. Вернулся в город, вечер ясный, детский сад, лужи на асфальте после дождя, тополя, влажно. У кондитерской, как договорились, девять утра, сырой ветер,

машет у столба, с той стороны, в трауре, шесть белых гвоздик, горящие свечи, отпевание, темно, клены, дорожка кладбища, шуршат под ногами опавшие листья, за мной везут на тележке гроб, шаркают, кряхтят, колеса повизгивают, шествие останавливается. "Здесь!" Мглистый день, пучок свечек воткнут в песок, бледное пламя трепещет, задуваемое из-за оград. Артклуб "Эклектика", ремонт, красят. Трех сотен совершенно новых строк хватило бы, чтобы затмить гениев всех времен. Нодье, старые книги. Померкли представления, почерпнутые из книг. Опадают имена. Солнце, рельсы, трамвай бежит, свидетель заката, пыльная куртка вылезла из травы: "Подскажи, сколько времени?" Мрачные коробки с горящими окнами, резко-желтые фонари, и над ними – небо в фиолетовых завихреньях. Умер Сенкевич, парус с красным солнцем в бурном море. Голова, горькая редька, человечество. Жизнь скучна, как зеркало, дождь шуршит, ушла грустная-грустная, в плаще, под зонтиком. Есть "чуть-чуть". Если это "чуть-чуть" не сделать, выходит около. Не то. Понимаешь, все хорошо, а запаха цветка нет. Все сделано, все выписано, нарисовано – а не то. Цветок-то отсутствует. Можно удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык, и вол трудится, работает двадцать часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит – если он артист. А как – неизвестно.

Великий архитектор 20-го века, величайший гений, нищий старик, полубезумный, бормочущий, слепой, погиб под трамваем в Барселоне. Жюль Элькем, путешественник по Северу, от Норвегии до Берингова пролива на собачьей упряжке. Шопен, метель, траурное шествие старух по дорожке замерзшего кладбища, голая чаща, мутная вода канала, имена умерших. Стрельна, трамвай, темнеет, дворец, "Балтийская звезда", ничего тут теперь не узнать. Фонари, сучья, те ли это дубы, промозгло, пальцецо подбито ветром. Антон Веберн. Быть бы хоть немного понятым! Моя музыка – она как воздух с зарею. Пруд, мостик, сумерки, дом строится, брызжут электросваркой. Полнолуние, мглисто. Бежал за ней по сырому снегу до кондитерской, крича, машины заглушали мой голос. "Ну зачем ты побежал!" – говорит сердито. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Многоцветно, Софроницкий, раскаленная кипящая лава, а сверху семь броней. Из псковских лесов елочка, лазили в дебрях, там никого, мы и медведи. Суббота, сырой снег, мрак, воронье, конец года, Гомер, бумага, метелочки посеребренные, кто может сделать так, чтобы были записаны слова мои, кто может сделать так, чтобы они резцом были высечены в книгах?.. Рынок, алый, огромный, закатный шар, зябко.

Гололед, бесснежно, этой ночью – звездный дождь, в час падает сорок звезд, гибель Титаника, цвет граната, полнолуние, голова замотана платком, болит ухо, капал ей в ухо бром из пипетки, никак не мог попасть, она сердилась. Блаватская, бронзовый буддийский колокольчик – дин-дин, белый ослик в башне ходит по кругу, вращая мельничный жернов, день за днем, год за годом, прикованный цепью, пока не свалится, старый, ослепший, замертво, мед из-под Пскова, все главное и настоящее в жизни происходит непринужденно, нужно снимать чрезмерную выразительность. Понедельник, метро, незнакомка, рыжее золото из "Ностальгии", кроссворд в журнале, вышла на техноложке, Феллини, Софи Лорен, задыхаюсь, весь мокрый, что-то с легкими, лыжи. Мойка, о чем хлопочут, маленький, чугунный, на дворе, правое полушарие, я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ступень белая, ступень черная, выше, выше... И-Гуасу – великий водопад в Бразилии. Народ Паоло в Бирме, выращивает поля чеснока, лес пагод, Будда улыбается, дома на сваях, школьный учитель, в доме гладкий пол, нет мебели, и едят и спят на полу. Горские игры шотландцев, силачи в шахматных юбках мечут ядра. Чапаева играет молодой Бабочкин, всплеск пуль, рука исчезла. Жена Конёнкова, Маргарита, шпионка, красивая женщина, любовница Эйнштейна, Шалапина, Рахманинова, умерла, всеми забытая, одинокая, беспомощная старуха. Прислуга издевалась: будила, зажигая над лицом газету. Молодое летающее тело, друг прелестный, она, ее черная шуба. В Китае птичий грипп, в баню, старички-венички, обратно тащился в темноте через парк, шатаюсь, как пьяный, пел песни. У нас придуман телескоп, который разглядит черную дыру. Черная дыра – это гигантская черная энергия, не отдающая, а поглощающая, пожирает всё, что попадает в сферу ее притяжения. Черная дыра – центр вселенной, центр мира, вокруг нее крутится космос, все звезды вселенной, все миры.

Сегодня мне 57. Гори, гори, моя звезда. Таянье. Вера Холодная, умерла в Одессе в 1919 году, от гриппа, молодая, красивая. Ее очарование, ее грация. Боготворяет ее тень. Ловля гребешков в Приморске, мясо гребешка полезно для мужчины, 90% белка. Мексика, гитары, сомбреро. Китай, 1,5 миллиарда, разрешается один ребенок в семье. Мавритания, верблюды, прогулки для туристов в пустыню, пьют кислое верблюжье молоко, хорошо освежает и подкрепляет силы. Сто лет со дня гибели крейсера "Варяг". Капитан "Варяга" Всеволод Руднев, это был его первый и последний бой. Он человек и птица, и нечто третье. Его я не могу ничему научить, его научил сам Бог. Четверг, мороз, толпа, пышно-золотой шар прячется за крышу вдали, набережная Макарова, столбы дыма, машины мчатся через

мост, крутятся цистерны с цементом. Евлалия Кадмина, оперная певица, отравилась, прототип Клары Милич Тургенева. Разрыто, ремонт, лед, колдобины, вот этот, голубые ели у входа. "Фаворит", о беговой лошади, у тебя есть шанс. Ближе к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём. По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Герои, пророки, артисты, пропасти, снежная лопасть, птичий гам. Умер Бурундуков, сыщик из Скотланд-ярда, в кепочке. К зубному, март, солнечный туман, таянье, ей жарко в шубе, снег мягкий, как глина, капли летят, блестя, закат, Франко Сакетти, король Фридрих и старый аптекарь, кедровые орешки и яблоки на тарелках в обеих руках, пять аптек, той мази, которую она просила купить, нигде нет. Взрывы поездов в Испании, множество жертв, весь Мадрид вышел на демонстрацию протеста. Президент объявил войну с террором. Черный лекарь, аромат вишни, за шторой Венера, ее звездный час, усталость, дева красоты, изогнутая, как ложка, салон причесок, музыка, сумки, с крыш льет, щиты, афиши, иду как бы и молодой, дрожат ножи черных решеток, сырая простыня метели, глухие сны. Идем в мастерскую, миксер отдать в починку, картинки Марса, буро-красные. Марс болтается на оси перед солнцем, туда-сюда, полюса меняются местами за одни сутки, жизнь невозможна. Нашу Землю Луна держит в равновесии - вот почему и жизнь тут появилась и развилась, почему и мы тут, и весь наш людской мир, и книги, и живопись, и музыка, и Гомер, и Платон, и Шекспир. Один в комнате, звезда, ветер. Апрель, Мальта, рыцари, аркебузы. Индонезия, народ Бали. Поиски Атлантиды, извержения вулканов, страшные катастрофы 30 и 9 тысяч лет д.н.э. Напрасно я трудился, ни на что и вотще истощал силу свою. Я не стыжусь, я держу лицо мое, как кремень. Живу я. Письма, распутство, итальянство, огни большого города, Шуман, Дино Липатти, пагоды, Богана, храм Ананда, золотой голос Будды, волосы и ступни Будды, русские в Аргентине, Николай Рыбников, весна на Заречной улице, ночь, месяц, поссорились, кричала, плакала. Гойя, Банионис, Шри Ауробиндо, не думать. На бревнышке, в тумане моря голубом, жарковато для начала мая, эти желтенькие цветочки у дороги.

Примирение, у Никольского, морякам миноносца, цветущая мощь черемухи, золото, небо, Нева, флаги, французский матрос, финики, лучи прожекторов у Казанского, ей нравилось ходить сюда на работу. Сальвадор Дали, провокатор, мистификатор, театр безумств, шут, клоун, деньги, слава, гигантский мировой успех, усы, как у Веласкеса, великий артист, дряхлый, обгоревший, сгоревший старик в инвалидном кресле, трясущиеся руки, безумные, полные ужаса глаза. Павловск, лужи, здесь дождь был. Малая Конюшенная, янтарь в стаканах, официант приподнимает палкой изнутри

провисший под тяжестью дождя тент, потоки с шумом рушатся на тротуар. У погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучаться. Хроника Акаши, университет, немцы, цветущая сила каштана, увиденная из окна троллейбуса, Генри Перселл, Фрискобальди, клавишин, месяц сквозь листья. Старые тополя на канале, чаша весов в изморози, три зеленых яблока, женщина во весь рост, в цветной рубашке навывпуск, трет тряпкой окно на третьем этаже, сирень на грязном дворе прислонилась к закоптелой стене лиловыми кудрями, Невский, толпа стеной, карнавал, на цыпочках, тянем шеи, из-за спин не увидеть, вечер, морячок из Таллина, развлечется, развеется, две бутылки, под дождем, трава зеленая, в прошлом году зеленой была, ноченька, приди скорей. Кинорежиссер Косаковский, ливни, стена, лужи, комочки тополиного пуха бегут, испуганные, как овцы, под колеса, кто ты?.. Крылатый круг. Ограда, фотографируются, белокуренькая, в канале колышется золотой шелк, на троне, курносый, в сапогах, лекция, книжная распродажа, Чевенгур, туберкулез, белые ночи, казино, крутится колесо, гипноз, зелено-красные огоньки, огнецветные пляски, девушка сидит на ступеньке, приложив к уху разговорную дощечку. Желтый ремонтный трамвай стоит на пути, рабочий в ярко-оранжевой куртке, лежа на свеженасыпанном гравии, роется рукой под рельсом, другой в такой же куртке в дверях трамвая выбрасывает из него на землю падающие с резким звоном железные плашки. Я прошел в десяти сантиметрах от лица лежащего у рельса рабочего, он, поглощенный своим делом, не обратил на меня никакого внимания. В переулке пахло чем-то знакомым. Персидская сирень!.. Не спится, Дракула, прерывистые грозы, рамка тесна, уехала с собачкой на руках, как с ребенком, помахав из вагона. Лучи пурпурного заката, меж елей, белые цветы у дороги, ручей, месяц двоится, Вий, Пермандра. Да кто тебя тут ждет, пьяная стелька? Сплю, свернувшись калачиком, тоскливо, грохот ночного поезда. Синяя гроза во все небо сдвигала громады туч, сейчас ударит, бежим скорей, до дома далеко, калина цветет. Ситиро Фукадзава, "Сказ о горе Нараяма", старухе 70 лет, сын несет ее на гору, там бог Нараяма, кости мертвецов под каждой скалой, тучи ворон, вот свободная скала. Сын снимает старуху мать со своей спины и, оставив ее на циновке под скалой, быстро уходит, бежит. Кружатся белые хлопья, пошел снег – примета удачи, благоволение бога, счастливая 0-Рин. Четыре молодых цыганки, хохочут, белые собачьи зубы, вышли в Павловске. Купались, столбики, вода теплая, возвращались поздно, упреки. От Нарвских ворот на маршрутке, благородный муж печалится о своем несовершенстве, он не печалится о том, что неизвестен людям. Кружим от

магазина к магазину, дворы, старые парадные, темные проходные лестницы, стертые ступени, комья тополиного пуха. Юсуповский сад, тут прошла ее юность, пруды, коньки зимой, летом – деревянная эстрада, там она танцевала. О, тут прошли ее юные годы, дом на Римского-Корсакова номер пять снесен, строят новый, ничего уж нет того, родного. На Сенной громкий женский голос предлагает измерить силу. Вошь победила весь свет. Час расставанья, час тяжелый, помахала ручкой. Не горюй. Заря, музыка из дома, под елью комары, тьма, Египет. Сны, страшно, киношник крутит свои кошмары, размагниченность с прошлого года или раньше, звездный свет, шадящий, русалки у реки, зеленые волосы, лег в час, грохот колес, железный вихрь, в город, так это уже рассвет?.. Бьет кувалдой о железный столб, в трусах, волосатое брюхо, шестая раса, венец творенья. Приехала, чтобы не тосковал, голое плечо. Сатурн, духи планет, влияние звезд на бедную душу, камень Мнизурин, прогоняет злых духов, дождь снотворный, сад залит, конец света, пчелка летит, по бокам два кувшинчика, полные нектара, красное вино на закате, Эпоптейя, облачно, визгнула калитка, собачка радостная бежит ко мне по дорожке среди высокой травы, золотые волосы развеваются.

Рано утром уехал в город, душный день, многослойное небо, лилово. Нет, не могу я тут, хожу-брожу, везде люди, убежал обратно. Собаки лают всю ночь. В такой дождь она, конечно, не поедет, это точка, недостижимая в пространстве. Приехала рассказать, с каким увлечением она смотрит олимпиаду. Спортивная ходьба 50 км, победил поляк. Говорит, что она хотела бы раз в месяц приезжать в центр города и выпивать чашечку крепкого, горячего, хорошего кофе. Разве она не может себе этого позволить? Сидеть одна за столиком в тихом кафе и пить по глоточку черный кофе из чашечки. Так она сидела, чуть ли не час, забывшись, на Невском, и смотрела на Казанский собор. Счастливое состояние. Как можно его назвать? Быть в согласии с собой? Тебя словно и нет, а только смотришь, растворясь в том, что видят глаза, и на сердце покой и радость. Да, вроде медитации. Чувствовать себя вольно, в одиночестве, в покое. Спала она плохо, потому что проснулась посреди ночи и начала думать о жизни, что же с ней дальше будет, как же она будет жить, эти черные мысли о старости, о беспомощности. И никак не могла уснуть до самого рассвета, эти мучительные мысли лезли в голову, не давали ей ни минуты забытья, жестокие, беспощадные мысли.

Это полнолуние так действует, власть луны, от нее, знаешь, никуда не денешься, от ее ледяного взгляда и на дне моря не спрятаться. С возрастом мы с тобой, бедные, все больше будем подвержены ее пагубному влиянию.

Что же делать. Да, печальные у нас с тобой дела. Два лица одной медали: они друг о друге ничего не знают и знать не хотят. Вот она такая – жизнь в нашем подлунном мире. Ждал с поезда, поздно, не приехала. Тютчев тосковал смертельно, всё рвался избавиться сам от себя, так ему осточертело собственное общество: ни на секунду с собой не расстаться. Его записи об этом в поздние годы. Закинул сеть – попало чудище морское. Эх, ты, артист! Сфера – душа воды, нимб – облако. Камень из созвездия Орион в одном из монастырей Тибета, башня Ригден-Джапо. Смотри в точку. Оставь всё, смотри в точку и больше ни на что не смотри. Возвращался в темноте, золотогривый, огненный конь скачет из бочки. Музыка – это таинство и разорение. Я чувствую дыхание других планет. Что я могу сделать с этими несколькими звуками? Очень многое. Всё. Иногда мне интересно знать, кто я такой. "Музыкант, прилетевший с Юпитера" – назвал Шёнберга Глен Гульд. Парацельс – выше Цельса. Филипп Ауреал Теофраст Бомбаст Гогенгейм. Мировая душа, звездная душа, жизненные духи. Архей – верховный жизненный дух всякого существа. Сберкасса закрыта, ливень, солнце, проспект блестит, ржавая листва, толпа, ломбард, почта, аптека. Что я тут? Зачем всё это? Метро, метроном, вверх-вниз – одна и та же гармонь. Ремонт, как зимой, и этот холодный ветер, тополя еще зеленые, шумят, сентябрьское малоголубое небо, облаков летучая гряда, не попади под колеса... Двулико, Янус, золотой ключик к загадке мира, любовь-вражда, Этна. Оно подобно светлому кристаллу, который принимает все цвета и испускает их опять, однако это не портит и не уменьшает его прозрачности и чистоты. Оно подобно бриллианту, который поглощает свет, окружающий его, и сияет в темноте, испуская его. Ману. Все религии сохранили память об одной первичной книге, написанной мудрецами первых веков мира, символы которой впоследствии были упрощены и вульгаризированы. Блаватская, нить ведет в Индию. Странная беспричинная радость весь день, собрал яблоки в саду. Живи незаметно, бусинка, забвеньё. В пространстве Лобачевского кратчайшее расстояние между двумя точками – не прямая, а кривая. Брама вошел в мир образом и словом. Ибо вселенная эта простирается до пределов, до которых простирается слово и образ. Имя и Форма – две великие силы Браммы, и тот, кто знает эти две Силы Его, сам становится великой силой. Сатапата Браман. Пел и умирал, бумеранг. Мерлин Дитрих жила 91 год. Это страшно – быть старухой. Никому не показывалась, говорила из-за занавеса. Бунуэль, "Дневная красавица", играет Катрин Денёв, жена Марчелло Мастоияни. Призрак лучистый, кто ты? Полнолуние, эта нота, прилив-отлив, мировая мистерия, прыщик на губе, счастливые свиньи будущего, лук Пандара, из рога серны. "Не

отверже мне во время старости". В 32, как Шуберт, белая горячка. Рождаются дети-индиго, с синей аурой, энергетически втрое сильнее обыкновенных детей, у них изменена ДНК. Нестандартны, непослушны, гениальны – новая, шестая раса земли. Показали старуху лет 70 на вид, а оказывается, ей только 24 года, у нее быстрое старение организма, втрое быстрее обычного, очень редкая болезнь, один случай на миллион, опять же – нарушение ДНК, такое бывает при рождении ребенка от близких родственников. Биологические часы не совпадают с календарными. Нострадамус, 5-я центурия, лампа Трояна, не забудь пуговицу купить, пруд, ветер, не очень-то ей весело, парикмахерская, музыка, обдула голову горячим ветром из широкой трубы. Лунное затмение, в России не увидеть ни с какой точки, бессонница, продолжаю скучное дело существования. Приехали посмотреть пожарище, поздно, обратно едем, полнолуние. У друидов это праздник, венки из дубовых листьев, белая одежда, священная роща. Мрачно, Прага – праг, порог, Карлов мост, Карлова площадь, Влтава, Градчаны, Золотая улица, при императоре Рудольфе тут жили маги, астрологи и алхимики. Император Рудольф умер от сифилиса, похоронен без почестей, на пальце его любимое кольцо с каббалистическими символами и надписями. Аравийский полуостров, эмираты, посажено 8 млн. пальм, под каждой бьет хрустальный ключик. Древний город Варанаси – самое священное место в мире для индусов. Город на Ганге, сюда везут умерших со всей северной Индии, вот уже тысячу лет тут жгут на погребальных кострах покойников. Бросают горшок с водой Ганга в пепел. Сюда приезжают умирать старики, старухи. "Вы боитесь смерти?" – спрашивают дряхлого, изможденного, как скелет, старика-индуса. "Нет, почему я должен бояться!" – отвечает он. "Здесь храмы и священный Ганг. Город призвал меня". Тому, кто умирает в Варанаси, гарантируется попадание на небеса. Святая земля, охраняемая богами. Тропический ливень, мутный поток каскадами стекает по ступеням к Гангу, люди бредут по улице по колено в воде. Купание в Ганге во время лунного затмения приносит счастье. На пристани гудит огонь погребальных костров.

Понедельник, Средний 62, желтая стена и листья, никуда ты не пойдешь. Голые тополя, листья летят по рельсам, мир камня, осенняя депрессия, купи кошку. Шведский король Карл, на конюшне случают жеребца с кобылой. Космос-эрос, пять симметрических тел, тетраэдр и другие, черные, граненые, чудовищность фигур отовсюду дует, грусть, отцвели, туманный ход, ржаво живет, травка-стрижка, октава, погасло, что бы это могло быть?.. Индонезия, остров Ява, Джакьякарта, дворец султана. Султан бросает монеты в толпу, кто поймает монету, получит

благословение богов. Джакъякарта – столица покоя. Ночью слуги ловят в дворцовом саду летучих мышей, в Джакъякарте мясо летучей мыши – большое лакомство. Мирапи – действующий вулкан, священная гора, обитель богов. Праздник Болухан, обрезанные ногти и прядь волос султана несут к океану, жертва богам. Одежду султана несут в ларце на священную гору Мирапи, заслоня пышно разукрашенным зонтом с кисточками от жгучих лучей явайского солнца. У слуг за широким, пестрым поясом сзади воткнут крис – кривой явайский кинжал. Раймонд Луллий повел меня на невидимую для всех людей магическую гору, эта гора вся из одного цельного гигантского изумруда и на ней везде таинственные знаки, странные буквы на непонятном языке. Луллий объяснял их, эти буквы, и раскрывал мне значения знаков и слои, и я знал все о мире и Боге. Но потом я все забыл. Я вознесен над кругами мира, земля без формы, со звезд приходят дожди. Дожди происходят от шести звезд. Площадь Мужества, Орбели, трамвай 55. Долго искал дом во мраке. Психотропное оружие, нарушение биоритмов мозга – сумасшествие, шизофрения или эпилепсия. Электро-магнитное излучение вызывает чувство тревоги, страха, повышенное – сводит с ума. Аудио и видеокодирование, воздействие на подсознание, говорящий голос /неслышимый/, или образ /незамечаемый/ действует вне поля сознания, и потом человек внушенные ему мысли и образы осознает как свои. Скрещенье страшных сил, Селена, веточки. Столица Непала Катманду. В Катманду тысяча храмов, у подножия Гималаев. У девочек ритуал посвящения – брак с солнцем. Двенадцать дней и ночей проводит в заточении, одна, в комнате без окон, первое, что видит, выйдя наружу – солнечный луч. Богиня Кумари – хранительница города, девочка 4-х лет. Цветок Фулпати – символ животворящей силы богини. Ноябрь, в Катманду приходит богиня счастья Лакшми, дарующая жизнь, девушки и женщины зажигают лампы, город в огнях...

Ветер на Обводном, среди шума мирского, в колбе начинается чудовищно бурная реакция. У меня в запасе 20 минут, я могу не бежать, а идти спокойно до сфинксов, родной Египет, урология, автоэмали, грязь, снег с солью, еще два шага, Канонерская. Купили зимнюю обувь, теперь есть в чем ходить. Вышли из метро, уже и сумерки. Адаманские острова, черное племя, плещутся в океанской воде. Дебюсси, "Море". Я пишу, как сумасшедший, или как человек, который умрет завтра. Ворота Альгамбры, лунный свет, сотканный из нежных, изысканных звучностей, Орфей прерванных сновидений. Струна Орфея пронзает все сердца, вокруг нее крутится мир, пенье муз, у них много имен. Руины древней Пальмиры в пустыне в Сирии. Иран, посередине пустыни лежит древний город

Исфахан. Знаменитые исфаханские ковры. Через город течет река Заиндеру – река жизни. Город построил шах Абас Первый. Шахская площадь, голубой купол мечети. Кто созерцает синеву, тот делается счастливым. Жители Исфахана – художники. По древнему обычаю один раз в году ковры моют в воде реки Заиндеру. Исфахан – мечта о рае. В этом городе чистый воздух, чистая вода. В конце мая на шахской площади верующие бичуют себя цепями, праздник Ашура: бичующие себя цепями в этот день попадут в рай. Ждем электросварщиков, Стравинский, "Жар-птица", штурм Киева. Оттепель. Жизнь Черчилля, 80 сигар в день, бутылка крепкого виски, Сталин посылал ему в дар ящики армянского коньяка. Черчилль про Сталина: "Пустили варвара в сердце Европы". Черчилль каждый день прожигал сигарами свой новый дорогой фрак. Жена сшила ему кожаный нагрудник, чтобы пепел сигар сыпался на грудь этого свирепого бегемота, не вредя фраку. Уйдя от дел, разводил свиней у себя в поместье, предпочитая их обществу людей. Последние годы жизни – тяжелая, мрачная ипохондрия. Ослеп, оглох, последние слова перед смертью: "Жить – это так скучно". Мойка, гололед. Мне брюхом хотелось с тобою увидаться и поболтать о старине. Чехов, девушки на тюфяках. Корейская борьба, ученики-монахи тренируются на скале под статуей Будды, здесь заряжаются они древней энергией кин, без чего невозможно достичь совершенства в этой борьбе. Индия, свадьба, жених в алом тюрбане, невеста в накидке, соединенные шнуром, идут под алым покрывалом, которое несут над ними поющие индусские девушки. У всех мужчин серьга в ухе – знак касты кшатрий. Падуя, университет, тут преподавал Галилей, соборы, три площади, Дворец Разума, фрески Джотто. Япония. Киото с трех сторон окружен горами. Тысячи родников Киото, подземные ключи, храм "Чистая вода". Для создания кимоно необходима абсолютно чистая вода. Улица Водного источника, улица Канала, улица тысячи родников. Так сколько же воды под Киото? 27 миллиардов кубических метров воды. Над этим огромным резервуаром вот уже 12 веков стоит Киото. Чайная церемония. Всё начинается в Новый год. В 4 часа утра великий мастер чайной церемонии школы Уросэнке идет к колодцу. Еще до восхода солнца великий мастер заваривает чай из воды взятой в Новый год, смешанной с водой, взятой накануне. Происходит перевод воды из старого года, в новый. Приношение воде – главный праздник города, в мае. Праздник Аори, праздник воды. Эту чистую воду в священном пруду оберегает бог Камо, повелитель дождя и ветра. В белом ларце хранится дух Камо, его несет в горы священнослужитель, за ним идет длинная процессия в священных одеждах, светло-зеленые одеяния, черные остроконечные шапки. Идут к святилищу Силогама. Праздник заканчивается под дождем. Цапля ходит по

воде, ловит рыбу. Мастер сыра тофу катит свою тележку по улице, поет в рожок, призывая покупателей. Было время, когда журчание воды можно было услышать в Киото повсюду.

Одикан – созерцание первого звука. Мир создан звуком, мир пронизан звуком, в мире всё из звука и живет звуком, мир можно понять только через звук. Тайная музыка дзэн-буддийских монахов на бамбуковой флейте; странствуя по дорогам, они игрой на этой флейте передавали послания своего духа. Китайская семиструнная цитра Гуцынь, этому инструменту 7 тысяч лет, его находят в раскопках древних слоев. "Звуки чая". Чайная церемония – очищение, возрождение своей собственной сущности. "Люшуй" – поток. Кто написал эту старинную песню – неизвестно. Есть легенда: жили два друга, один музыкант, играл на гуцыне для своего друга, а тот слушал его музыку. Когда друг умер, музыкант решил, что никто уже не сможет понять его музыку, звуки его гуцыня, как понимал друг, разбил свой гуцынь и бросился в поток.

Месяц справа. Чехов, "Чайка", врал против правил, иду на медведя, автор провалился, поездка на Сахалин, фильм Сокурова, Ялта, дом Чехова, ступени вниз, сверкает пуговица на белой, длинной нательной рубашке. 6 томов писем. Бушмены, племя Сан, в набедренных повязках, отравленные стрелы. В полнолуние танец духов. Легенда о прерванной нити, поют: "Моя нить прервана, поэтому я больше не чувствую этого места. Звезды – это глаза умерших, или это костры, которые жгут души умерших. Мы уйдем, и поднимется ветер, взметая пыль, ветер приходит, чтобы исчезли наши следы". Любовь Попова, амазонка цвета, ценности живописные, а не изобразительные. Страшная тяга в неведомое, Фонтанный дом, ингуши, пела и плясала. Оттепель, Хемингуэй, в библиотеке 9 тысяч книг, любил русскую литературу, русская литература была у него на первом месте, а выше всех – Лев Толстой, его кумир и эталон. Под конец жизни Хемингуэй страдал головными болями, не мог писать, не мог читать, буквы видел только первые десять минут, потом они расплывались. Чайковский о Пушкине: вырывался из тесного мира стихотворства в неограниченную область музыки. Как зашипевшего аи струи и брызги золотые. Твой умный разговор оживляет меня, как музыка Россини. Филигранности, звучности, зрительности, Гоголи как грибы растут. Библиофаг – тот, кто не дает читать книги. "Поэзия выше прозы" – Пушкин Вяземскому. Театр Таирова, Алиса Коноен. Нет, Пушкин, рок певцов – бессмертье, не забвенье. Индийский океан, Таиланд, цунами, погибло 2 тысячи человек. Рассказала свой сон: будто бы она входит в ванную, а там, в ванне, разложены наши зимние одежды, пальто, шуба, меховые шапки, и всё это орошается потоком

горячего душа, густой, как туман, пар. Она закричала в ужасе и проснулась. Шествие теней. Одно слово на всех. Божественный глагол. Микровихрь, ускользание, молчит красиво, золотоносно. Кости сифилитиков толстые и искривленные. Томительное, неприятное чувство. За порогом – миры, они неведомы, нет для них органов восприятия. Звонки, звонки, звонки. Конец года. Двенадцатый час.

Под арку, студенческое общежитие, ступени вниз, проводил до автобусной остановки. Это не жизнь. А что это? Птица Феникс существует в единственном числе в своем виде, она – царь птиц, умирающая и восстающая из пепла – одна во всем мире. Агриппа Негтесгеймский. Четыре бесконечных образа. Но Ты всё расположил мерою, числом и весом. Сириус, собачья звезда, палящий, жгучий. Мой угол, скала книг, бумага, метель, паркет скрипучий, Летучая мышь, Сильва, нельзя оглядываться, хаос и вихри. Иду сказать людям, что они сильны и могучи. Вернулся в сумерках, мандарин. Пошли к церкви, пушистый снег, ель, воткнутая в сугроб, рождественская звезда и иконка. Она молилась и плакала. Рядом скрипучие полушубки, рация, отъезжают и приезжают. Сто тысяч погибших в Таиланде и на островах. Оттепель, наводнение, ураганный ветер. Затопило Данию и Англию. Мрак, дождь со снегом. У Моцарта в минуту было в сто раз больше живых впечатлений и эмоциональных откликов, чем у обыкновенного человека. Он всё знал о человеческих страстях. Чудовищный напор. Сжигай в воде, топи в пламени. Ясность, корона. Между слов есть большее, чем без слов. Ученые прогнозируют, что в связи с потеплением на планете и таянием льдов на полюсах через 50 лет затопит всю землю на 80 метров, и Петербург, и Нью-Йорк, и Америку, и Европу, и Африку, и Азию, и Австралию, и все острова. Только будут торчать вершины гор. У Петербурга – только шпиль Петропавловской крепости и Александрийская колонна. Астрономы подсчитали, что в 2029 году на Землю упадет гигантский метеорит 400 метров в диаметре. Проводил до поликлиники, ждал у плотины, желтая вода переливается струями сквозь черные зубья полусгнивших столбов. Темнеет. Луна и вода, их магия. Понимание – это кончики пальцев. Луна понимает воду, вода понимает луну, они понимают друг друга, у них полное взаимопонимание и согласие. Смоктуновский – Порфирий, Тараторкин – Раскольников. Петербургским ученым удалось уловить и измерить прибором импульс от нейтронной звезды, отраженный от луны, поэтому смягченный, и прибор смог зафиксировать. Нейтронная звезда – гигантская энергетическая машина космоса, ее энергия в несколько раз превышает сто миллиардов звезд нашей галактики, вместе взятых.

Рассказала сон: будто бы она сидит в глубокой яме в темном осеннем лесу и кричит, но никто не отзывается, никто не приходит на помощь. Что же означает этот сон? Эта яма – что это как не могила? Я умру. Никак не мог ее разуверить. Фонтанка, мост, кошка в золотой короне, фабричная труба, боюсь опоздать. Ремонт, рельсы. Американцы закинули аппарат на Титан – спутник Сатурна. Метановая планета, единственная в солнечной системе, на которой, как на Земле, есть атмосфера, возможна жизнь. Вода на Титане существует только в виде крепчайшего льда. Титан – чрезвычайно холодная планета. Метановые моря. Американский прибор сделал снимки, что-то гористое, и записал звуки, издаваемые этой планетой, нечто похожее на техногенную музыку. Феллини, "Дорога", Джульетта Мазина. Калмыцкая конница считалась непобедимой. В русских войсках французское "виват" сменили на калмыцкое "ура", что означает – "вперед!". Северное сияние – это в атмосферу Земли попадают заряженные частицы из космоса. В Финляндии стеклянные дома-шары – чтобы ночью, лежа, созерцать сияние. Супружеская пара увидит сияние – родится сын. Сожмись в точку – будет удар силы. Резонанс, зазвучало, звучит, задет нерв. Это первичный, первородный звук, отец, это он создал мир. Ось под током. Сила не призрачна, она есть. Это волны катятся по всему космосу. Оседлать волну. И с ним себя желал я слить, чтоб этим бег наш ускорить. Капова пещера на Южном Урале, наскальные рисунки. Джорджо де Кирико, "Тревожное утро". Ученые открыли секрет старения человеческого организма, клетки в мозгу, гипоталамус. Таблетки вечной молодости. Сбылась мечта алхимиков всех времен и народов. Ты мертв или жив? Не знаю. Только о тайнах знаю слова, только торжественная речь моя. Знаешь ты имя мое? Не знаю – и лучше не знать. Кровь молчалива моя. Я ритм души потерял, я утратил астральный ритм. Священная формула Дальнего Востока: Ом мани падме хум. Семь – это лучи, испускаемые солнцем. Космос и человек – десять. Правый глаз – Меркурий, левый – Венера или Люцифер. Средний тон фа на клавиатуре пианино – тон, преобладающий в природе, то, что китайцы называют "Великим Тонем" – Кунт. Тициановский зал, Старов, "Лунная ночь в Среднем селе". Низкий сахар, худоба, депрессия. Астрономы говорят, что космос не безмолвен, он звучит, звуки космоса подобны шуму листьев в летнем лесу. В космосе бегут гравитационные волны, от всех звезд, комет, галактик, по всей вселенной – рябь волн. Позвоночник, флейта, стихи ей, Шопен, похоронный марш, ветер на могиле, это уже и не музыка. Полнолуние, без божества, шатает.

Март, пешком до Нарвских ворот, ярко, капли. Над земным шаром – реактивные потоки. Венеция, Большой канал. Еще не родившийся ребенок в

утробе матери видит сны, видит свою будущую жизнь. Зрительные образы будущей жизни уже заложены в его генах. Пришел солдат с фронта. Хор-реквием, без слов, с сомкнутыми ртами. Щемяще. Шаляпин, Крым, взрывы прибоа. Сад Чехова в Ялте, розы. Махнем к заливу, буран, снегоход. В правых височных долях мозга – мистические переживания, видения бога. Эпилепсия: у эпилептиков в мозгу возникают новые, небывалые нейронные связи и это открывает новое, неизвестное восприятие, за границей нормального, то, что выходит за рамки восприятия нормального человека. Эпилептик абсолютно уверен в себе, он чувствует в себе силу и власть Цезаря, безграничную мощь и полное знание обо всем в мире, всезнание. Шаровая молния обладает громадной энергией; если она находится вблизи человека, то воздействует на его мозг, нарушая восприятие: ему кажется вблизи него чье-то незримое присутствие. Ненавижу две вещи: анализ и власть. Залив, ладони печет, ловим энергию. Серенько, серопись, списывают с чужих рук. Как проводят арктическую ночь пингвины. Сокол, птица облачного дня. Барток: "Вся моя музыка – дело чувства и инстинкта. Я не знаю и не могу объяснить, как и почему я так написал, а не иначе. Как чувствовал, так и написал. Моя музыка достаточно сильна, чтобы могла сама за себя постоять". В Бартоке было два человека: один повернут вперед, новатор, другой – назад, к древности. Залив, рыбаки на льду, ярко-голубое. Бутылки гудят, как трубы, в них поет ветер. Сила зовет сильного, подвиги ищут героя. Слабого не зовут. Мокрая земля. Мир разделен надвое: одни озабочены только значением, другие – только звучанием. Богач страшный, перед которым ничто весь мир и его сокровища. Земля и люди. Две клавиши: ухо и глаз, звук и знак. Ручьи. Многое поймется по смерти моей лучше. Ведьмины круги в Англии. Геоглифы пустыни Наско в Перу. Гигантские линии и фигуры, рисунки зверей: касатка, обезьяна, колибри, паук, кондор. Такие огромные, что видны только с воздуха, с самолета. Это гигантская карта подземных рек. В образе скрыт свет, в свете скрыт образ. Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у вас нет другого, от кого вы можете слышать их! Наступят дни – вы будете искать меня, вы не найдете меня. Евангелие от Фомы.

Май, Пасха. И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов своих. Три известия. Молодая жемчужная душа. Мокрые крыши вагонов, прибьет пыль, освежит мир, мгlisto, под сурдинку, на Гатчину. Не надо толковать. Невский, шествие ветеранов, старики, согнутые под тяжестью чешуи орденов и медалей. Толпа кричит: "ура!". Распогодилось, солнце, мы стоим впереди, на кромке тротуара, держась за оранжевый шнур ограждения.

Михайловский, травка, идем, где Пушкина отпевали, поставили свечку. Предчувствие, тучи, канал, метро, прятались от ливня. Весь день такой. Безымянная высота. Музыкант должен втянуть в себя зал, как водоворот. Большие, сильные чувства – всегда строгие чувства. Смыслы надоели, смыслами все сыты. Музыкально-живописная тайна мира – вот что волнует. Только это и интересует меня. Так называемая душа из этого и состоит. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Сила сцепления слов. Тяга слов к центру силы. Центр всегда неведом, всегда другой. Корень могуч и глубок. Звучная подруга, и от мира уводила в очарованную даль, прозорливый и крылатый. Встреча на мосту, лестница, выше, выше. Ночная гроза, зигзаги, ливень, дверь в сад, шум падающей воды, не заснуть, гремучая тоска. Всё это не так называется, как они называют, а как надо – не знаю – вот в чем мое несчастье, моя каждодневная мука. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Слово Мое не вмещается в вас. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Левое полушарие говорит: надо всё понять. Правое полушарие говорит: я всё понимаю. Бури озверелый рев, каштаны в свечках, нечаянные встречи у метро.

Глинка, вагон, дождь, запотелые стекла, Достоевский в Москве, чествование, тосты, осетры, балыки, шампанское рекой, дорогие сигары, памятник Пушкину. Я за всю свою литературную жизнь высказал в своих книгах только малую часть того, что во мне есть и что осталось невысказанным и мог бы сказать. Я читал громко, с огнем. Начальник жизни. Дни сии. Люди не книжные и простые. Человек конченный и сложный. Со всюю смелостью говорить слово свое. Слова жизни. Время идет, а мне мешают. Дождь всю ночь, улочка, черная машина, седая борода, грузит тюки в багажник. Не умещается. Человек он чрезмерный, не умещается в мире, что с ним делать, с этим, мягко говоря, гигантом, не знают. Сны, женщины, зловещая убедительность, серпик, белая ночь, цветущие шапки рябины, одноразовые миры, единственный экземпляр, не с чем сравнивать, вне сравнений, экран гаснет, за ним – ничего, отсутствие сведений и свидетелей. Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен. Землю разрывают реки. Парной вечер, разговоры, белые ночи, свет этого неба всю ночь, шум, дождь, поезд? Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? Гулял по туманной дороге. Лабаз у платформы, рослая, крепкая, как репа, курит на крыльце, коня на скаку остановит. Капитальный вопрос. Дождь весь день. Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Кондрашка с ветерком, зарезали барашка, два братца, нательный крестик, оловянный, солдатский.

Нечто зримо-звучное, понятного в этом мало. Я говорю о внутреннем звучании. Слово есть внутреннее звучание, да, некая чувственная вибрация, производимая в организме, или, другими словами, звон. Представь, что у тебя внутри хрустальная ваза. Ударил палочкой – хрустальная ваза внутри тебя звенит. Или звенит, или не звенит. Дело или в палочке, или в вазе, или в ударе. Палочка – слово, ваза – ты, удар – молния, разряд электричества между небом и землей, минусом и плюсом. Жемчужина рождается, цельная и нераздельная, а ты ходишь-бродишь, жемчужная раковина, что ты, в самом деле, кому, зачем? Приторная размазня, бедные, бедные люди. Художественная сила состоит в правде и в ярком изображении ее. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Человек есть ложь. Приехала бледная, разговор о щенках, Чингис-хан и Васька. Хотят узаконить проституцию, древняя профессия, речь проститутки, зал аплодировал. Солнце, облака, в пятерочку, ул.Котина, к подножию стены далекого Китая. Умирают и рождаются рядом, а закона жизни и смерти не разглядеть.

Сестра, окно, холм, теплый день, лицо потемнело, землистое, это твоя мать, говорят мне, а я не верю, еще вчера я видел ее во сне молодой и смеющейся, когда ее успели подменить? Надо дожить до осени, говорит она мне, летом нельзя умирать, скамейка перед домом, сидим втроем... Вели меня под руку, поезд, поплыло... Этот роман правильнее было бы назвать не "Идиот", а – "Идиоты". Очарование речи, ее магия, формула, ритм, вздох. Дышу, стало быть, существую, – так говорит душа. Брожу душою, безвыходно, безысходно, до последнего вздоха. "Молодой человек, что вы ищите?" Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Мозг стаи. Спешит писать, слишком скоро и много пишет. Идеи смолоду так и льются. Лучше подождать побольше синтезу-с. Он мало сдерживает перо, чрезвычайно спешит высказаться. Решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Хочется высказаться погорячее. От живой струи жизни отстану. С жаром работать. Твердое, небоящееся слово. Жизнь полна комизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее. Слова-иглы. Составлять много книг – конца не будет.

Бутылочка, залив, гуляющие, вечерний свет в трамвае. Говорит – отдышалась. Нога забинтована, вчера опять упала с лестницы в жилконторе, подвернула ступню. Купался, вода желтая, как в Хуанхэ. Речи не нуждаются в словах, тот, кто знает, не говорит, кровельщик, лжеум – книжный, фуражка с черешнями, секунданты, десять шагов. Облачно, мотылек, короткий ливень, две в лодке, красная юбка, Купчино, гудки, колеса, композитор для кино, душ, спать. Камень на дне моря – врата Гадеса, страшное оружие, способное

уничтожить весь мир. "Я сегодня оскандаюсь" – всегда говорил он перед выступлением. Неба содроганье. Писать краской, бить в точку. Приехали и – гроза. Венки молний. Язык живородящий: рождает поэта, со своею пламенной душой. Самородки – сами себя рожают. Душа-рояль, слова-клавиши. Судьба играет человеком, а человек играет на дудочке. У египтян: душа – шар. Внушение свыше, "нашама" – дыхание бога. Спит с открытыми глазами. Плотины, церкви, толпа, поют, праздник Казанской Божьей матери. Хлеб, муравьи, шум дождя ночью, перо Маат, сердце умершего на чаше весов. Хадир – существо зеленого цвета, спасает погибающих в пустыне. Переставит местами две горящих свечи у меня в груди, опустятся руки, протечет дом. Рутинка романа, медный пестик, красные ягоды калины, Митю увели. Митя, погубила тебя твоя змея! И покончили нашего Митеньку... Над дорогой золотой треугольник зари острием вниз, младогрудая, прошла мимо, глядя вдаль.

Сосуды неба, слова мешают. В последние годы жизни Достоевский любил читать Апокалипсис, это была его любимая книга. Составил перечень тем, над чем работать, пишет: "Деятельности минимум на 10 лет. Мне теперь 56". Страстный элемент, страстен, анатомист, Черномазовы, "кара" по-тюркски – черный. Письма Тютчева, вопль: "Не живется! Не живется! Не живется!". Феофраст, богоречивый, у него книги: О ветре, О старости, Об образах, О любви, О людях, О счастье, О припадочной болезни, О вдохновении, Об Эмгедскле, О животных, которые кусаются и брыкаются, О завистливых животных, О животных, меняющих цвет, О тепле и холоде, О поте, Об усталости, О камнях, О металлах, О морских болезнях, О меланхолии, О пьянстве, О запахах, Об огне, О дыхании, Об оцепенении, Об удушьи, О повреждении ума, О страстях, О знаках, О наказании, О волнах, О воде, О тирании, О смешном, О клевете, О похвале, О музыке, О мерах, О мудрецах, О зрении... Умер в 85 лет, со стилем в руке. Дающий не знает, что он дает, и несущий не знает, что он несет. Тот, кто заглянет в кувшин, сойдет с ума. Имя младенцу дают на седьмой день после рождения. День кувшинов, увидеть солнце в полночь, отклик таинства в душе миста, вода Леты и вода Мнемосины, вода забвения и вода памяти. Ты не знаешь ни мира, ни мистерий, ни души твоей, ты не знаешь, что знает твоя душа, сокровенный разговор души и таинства не достигает твоего уха. Ночное сознание, душно, дорога, Лира, Лебедь, Музыка и Математика. Потом вспомню, шуты, уроды, звериный образ имею, гордецы, немцы, желтое, четвертые этажи, вещие знаки, забежим вперед, кровь кричит, утопленница в канале, колокольчик, раскололся, Дуклида, это от месяца такая тишина, три сна, мышь, девочка, дождь, уехал в Америку. Полнолуние, холодом дохнуло, чувственность у человека – это его звон,

судей 42. Комсомольская площадь, замки, дверные, разные, не выбрать. Когда придет время умирать, да будет в ладье приготовлено место для меня в тот день. Дух – молния, материя – камень. Софья Губайдулина, о боли, наивные не знают последствий, все наивны, все прагматики, в 16 лет ушла в темноту. Зеленоватый облик, подобный зеленой молнии, выражаясь по-человечески, так что у иного отнимается зрение и он не может смотреть. Он и читатель – биологическое отторжение. Вороньё, пляска животных духов, рынок, южный ветер, ржавь тополей, что-то купить, Баланчин, гладиолусы у метро, девка в тельняшке, пуп с кольцом. Сыны звона. Звон в знак не умещается. Чемоданы, на юг.

Белые камни, полнолуние, голос массажиста на пляже, панамы, кровати, аттракционы, ледяное пиво, жуют, поют, ветер с гор, безлунность, пловец с подводным фонарем у берега, выпили на ночь от простуды кипяченого молока с кусочком жгучего перца. На море шторм, пасмурно, прибой, гуляли по улице Победы, съели у моря жареную курицу, памятник Лазареву, вокзал, фонари, глас валов, гремя и сверкая, музыка из ресторана у нас за спиной. Голова болит, волны, зловещий блеск, ночью и у нас на горе был слышен грохот моря. Вечером гуляли в городе по улице Калараш и к морю вышли. Калараш – герой войны, летчик, подполковник, погиб тут в воздушном бою в 1942-м. Пальмы, магнолии, платаны, кипарисы, грохот моря, столики, музыка, парнишка голышом пляшет на берегу, извиваясь, издавая дикие, блаженные вопли, сын природы. Карнавал, толпы, эстрада, песни, пляски, кубанские казачки в лентах, в белых рубашках, идут по улице, поют. "Белый аист", втридорога, в темноте, на скамейках, фейерверк, школьники. На рассвете нас разбудил стук и крики старухи, ночной скандал в доме вора. Море рушит зеркала у берега, закат, девушка с велосипедом на песке, сизо-темно, замерзли, этот юг, собрали вещи, заказали на завтра по телефону такси на вокзал. Колеса на север.

Сон железный, редкий металл, неземной, стихи, торфяники горят под Москвой, огонь и дым всю Москву окружил, Москва в осаде. И по всей России горят торфяные болота и леса, вся Россия в густом дыме, как в тумане. Тибет, Непал, древние храмы в скалах, на храме глаза атлантов, странные, нечеловеческие глаза. В тайных пещерах, охраняемых тибетцами, 10 тысяч лет сидят спящие атланты. Ростом они 6 метров. В горах Тибета есть многокилометровое Зеркало Времени, оно вогнутое, внутри – Долина смерти. В этой долине человек старится с колоссальной скоростью, в тысячу раз быстрее обычного. Сюда йоги приходят умирать. Это Зеркало Времени – 20 км. длиной, 6 км. – шириной. Астроном Козырев открыл этот закон, и сам создал зеркало времени, небольших размеров. Хирург Милтушев, уникальная операция глаз, необъяснимое вещество алапланта–

ускоряет регенерацию. Лама в Бурятии, мертвый, но распада нет, все клетки тела живые. Спящий, замороженный, ждет пробуждения, как и атланты, спящие 10 тысяч лет в тайных пещерах Тибета. Шамбала – таинственный мистический город где-то в горах, город атлантов, его искал Рерих, никто еще его не нашел, никто толком ничего не знает. Гул легенд. Фонтанка, темно, Шереметьевский дворец, рояль-птица, черно-зеркальное крыло. Всю эту славу старики прокричали. Некоторые обрывки и кончики мыслей. Некая планета, на ней обитают некие разумные существа, у каждого жителя этой планеты свой особый, ни на кого не похожий язык, свой алфавит, своя письменность, никто друг друга не понимает, все пишут свои книги на своем языке, который никому не понятен, кроме самого автора. Плешь, пошлость, мораль, валенок, топор, вор. Имя во мраке, спокойствие мастера, терпи, терпи, крепче спи, смерть Орфея, бездна двух дней, продажные пропасти, конюшни, сны, Казанский...

Нарвские ворота, чай, у нее мать карелка, метро, вино Марона. Марон – сын Диониса, жрец Аполлона. У вас теперь есть высокое спокойствие, вы теперь можете царствовать в вашей роли. И слово дивное гремит. Музы – мыслящие, дух – говорит, слово – это дух, дуновение, холодно и жутко. Бессонницы, искали кровать, всё не то. Она смотрела фильм "Девушка и дельфин". Эта девушка плавала быстрее всех людей в мире, но – в одиночку, без свидетелей, когда на нее не глядел никто из людей. А на соревновании пришла самой последней. Потому что была скована страхом, подсознательно, помимо воли, мистический страх людей, их глаз, их внимания. Художник видит насквозь, а выражается внешними формами. Странно. По ночам слышу скрип оси какого-то черного волчка на краю вселенной, как будто предчувствую тот неотвратимый день, сердце содрогается в предчувствиях, вешнее мое сердце, оно обливается кровью, оно стучит, как молот. Есть эта страшная связь, она у связистов мира, в их твердых руках, и есть свобода от связи – невесомость, несвязь. Чего-то смело ищет ум, чего-то тайно негодует, свод синезначимой свободы, угол меняется, форма уха, опять конюшни, четыре фонаря, буран, я только рыцарь и поэт, нерв, светящийся в бесконечной ночи, музыкальность и артистичность, жемчужный ряд, стан певучий. Бурятский лама Этигелев, остался нетленным телом. На Волге гибнут лебеди, погибло 350 лебедей. Орфей и его орфическая сила, оторванная голова уплывает в Финский залив. Стравинский: "Музыка ничего не выражает, никаких чувств, внутреннего мира композитора, его личных событий, переживаний, тайн души, ничего этого. В музыке есть только музыка. Вот она – то, что звучит тебе в уши. Больше ничего нет, кроме самой музыки".

Искали ортопедический матрас. Фуражечка в толпе, на демонстрации с красными знаменами, смотрит на нас удивленно, недоступный, гордый, чистый, злой. Бессонницы, тревожный жар, Купчино, кровать, потерял перчатку в метро, дурная примета. Если есть музыка, то зачем мудрость этих сов, свиное царство, трон разума, фило и Софья, черные крылья кошмара, зачем, зачем?.. Переключки серебряных колокольчиков, белый и зеленый нефрит, тишина, разожмусь, гелий, азот, девять планет, через страдания и радости. Смелее! Мой гений восторжествует! Мне 25 лет. Мне должно подняться во весь рост! Один, совершенно один. Один день чистой радости. Мое царство там, в эфире. Маленького роста, плотный, красное лицо, маленькие, глубоко сидящие глаза, косматые, черные, как деготь, волосы, львиная грива. Жил в убогой лачуге. Бетховен. Устал, день железный, не нужны маяки, на грани, острые углы, привезли кровать. Широкая, как степь. Говорим, говорим весь вечер, для того и слова – закласть этот мрак. Чаплин: "Мое кино без звука. Я считаю, что разговоры портят фильм. В моем фильме будет только музыка и действие". Корабль плывет, чистая палуба.

14-е, метель, мокро. Египетский мост, туман, гуляли по городу. Прачечный переулок, ель на Дворцовой. Хрустальный крест на могиле Скрябина, украден. Посмертная маска Моцарта разбилась. "Писателям открыты многие пути ко славе, и бесчисленны венцы бессмертия. О, вы, одаренные от природы творческим духом! Пишите, и ваше имя будет незабвенно". Карамзин, "Письма русского путешественника". Пишет твоя сила, а не ты, орфеист, недостаточно зла к себе, сны, беспредельная живопись-музыка. Мы ведь это не логикой вяжем, а психикой, вот и связывается несвязуемое, и ничего не понять – откуда, почему и как. Нетерпим к серому. Он не играет, это не игра, он опьяняет собой звуки, вот они и безумствуют, он их окрыляет, он их околдовывает своими чарами, он ведь маг. Свет, цвет и ритм – самоценность мира. Одной любви музыка уступает, поэзии священный бред, чудесный арап. Морфей, сын Сна, Гипноса. Морфей – крылатое божество, является в человеческой форме спящему. У тех, кого ударила молния, остается отпечаток на теле в виде листа папоротника. Молнии могут достигать 45 км. в длину и 3 см. толщиной. Температура молнии горячее солнца. Непредсказуема, невозможно предугадать, где ударит и почему выбирает такой замысловатый путь. Рисунки молний многообразны, ни один не повторяется.

Мойка, мгновенной думы долгий след, сердце-лира. Котел Арианта,

царя скифов, Асмофлей. Метель, безногий инвалид на Невском, обрубок войны, нечаянные встречи, столяр из Эрмитажа, чьи-то слова витают в воздухе, чутье сложности, музыкально-живописная сложность мира, может быть, у них на это собачий нюх, может быть, а я прост, как песчинка, уносимая вихрем этого дня. Снайпер пера, буквы, вывески, прилавки, входят, выходят, никто не знает то, что он знает, смычок черноголосый, коллажно-цитатный принцип, чистый, как боль, снег на канале, мороз и солнце, жду, когда она выйдет из того дома на том берегу. Постоим чуть-чуть и пойдем дальше. Жизненная сила, которая нас движет и нас держит. Наши слова идут оттуда, из силы, из центра. Мы идем по льду, закат, Кронштадт, нам не страшно. Ладно, не будем думать о худшем, хотя бы сегодня. Лао-цзы, старый ребенок, зачат без отца от солнечной энергии в пятицветной жемчужине, проглоченной его матерью. Пробыл в материнской утробе 81 /или 72/ год и вышел из левого подреберья. Прожив 200 лет, верхом на черном быке отправился на Запад. Оставил начальнику заставы книгу о пути. Ученые произвели эксперимент: играли музыку Баха у моря, потом брали воду, замораживали и получались прекраснейшие кристаллы. "Вся моя музыка принадлежит Богу" – говорил Бах. Буран, шведка, древние пергаменты на древнеармянском. Ничего, ничего, смотри бодрей. Доживем до января-февраля. Ждем весточки от родной души.

В тот день, 19-е марта, подводные лодки, пустая поездка, солнце, наб. Макарова, Чекрыгин, воскрешение отцов, ночной поезд. Языковое окно до семилетнего возраста открыто, потом закрывается, и если к этому времени не начал говорить, останешься немым и глухим. На вопрос "почему это так?" в средневековье отвечали: "Потому что так делали великие мастера". У древних искусство называлось – священное знание. И дух мой, звуками богатый, смеется вольный и крылатый. Не робей, воробей, дерись с орлом! Глухие строчки, что-то надо сделать, переставь звуки. Купили стол, несли под дождем. У нее пониженная температура, черные мысли. Лучизм. Солнечное затмение, такое один раз в сто лет. Плотность мысли, Гурджиев, талый туман, во взаимопротиворечьи всего – полнота замысла природы. Свежий лак, Моцарт, пешком от Сенной, тепло, вода брызжет из ртов водосточных труб. Импульс, чувствительность, кончик иголки, неопределенность. У атлантов мышление, общение и понимание были образно-телепатические, они не размыкали уст. У атлантов – язык богов. Сон – разрыв связи между центрами. 6-е апреля, метель, мокрое крыло, несчастье, упала на улице, увезли в больницу. Тихий голос в телефонной

трубке, плотина, потоки бурной, желтой воды. Кровать в коридоре, на сквозняке, но это только к лучшему, в переполненной палате ей было бы нечем дышать. Пусть я не грущу. Все течет, все меняется. У воды есть память, вода может сойти с ума. Горцы живут долго, вода у них чистая и в 40 раз сильнее, чем у нас, бедных, отравленных горожан. Прихожу в приемные часы, ей делают уколы, от которых у нее заторможенная психика, много спит. Я как растение, живу растительной жизнью – говорит она мне грустно. Гуляли на больничном дворе, чудесная погода, апрельское тепло, она стояла, держась за меня, лицом к солнцу, улыбаясь... Делос – остров, на котором запрещено рождаться и умирать. Всех, готовых разродиться от бремени и умирающих увозят на другой остров. Посвящен Аполлону. На Делосе Латона родила Диану и Аполлона. Первая гроза, вырваться из этой квартиры. Вспомни же, что подобным глине Ты создал меня, и во прах Ты возвратишь меня. Ее выписали из больницы, отвез домой. Бурные, прошлогодние листья, несомые бурей, летят по земле в голой чаше, как стая испуганных птиц. Солнце, аттракцион, не оттаявший пруд, музыка, дикие крики чаек. Синежестяная баночка из-под пива, сверкая и дребезжа, быстро катится, гонимая ветром, по серо-ноздристу льду. Горит тростник, алые язычки, старик загорает на берегу, костлявая спина, кошей, держит на руках черную таксу.

Поехали подышать, нашли поваленное дерево, сидели, глядя на эту еще прозрачную чашу. Дрозды, изумруд полей. Воздух колдовства. Самые обыкновенные слова, попадая в зону действия этой магической ауры, начинают сиять. Какое-то упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Может побеждать даром слова и владеет пером. Преображение, Фавор. Сущность мира магична, Орфей, Жар-птица, дивные дела. Мораль и ум губят дивность. Правдолюбие и ученость. Зачем губить дивность, срывать цветок?... В слове есть еще что-то, кроме слова, я не знаю – что это, знает мой организм. Ширина солнца равна человеческой ступне. Плохая физика, но зато какая смелая поэзия! Не будь предателем воды и ветра, не предавай, не предавай!.. Холод, ужас, сопровождал ее в больницу в машине с красным крестом. Оглушенный, бесчувственный, черемуха. Ул. Авангардная, УЗИ, проверить сердце, ждал ее на лужайке, солнце, золотые головки одуванчиков, кучи земли, бульдозер роет, оранжевые куртки, белые медицинские халаты, калеки, уроды обоего пола, машина с крестом, ветер, курят, на третьем этаже, с рыданием, с воплем, подобным крику смертельно раненого зверя, захлопнули темное зеркало с листьями и облаками. Провидцы, духовидцы, дивный, вещий, и силен, волен буду я. Нас не

поймут, мы одноразовые, Солярис, он возбужден, волны-мысли, отрывок случайный, голос миров иных. Мокро, запах сирени, с ней в поликлинику. Русский музей, Аделина, тюльпаны, мы тут посидим под чистым небом, как в старые, добрые времена, минут пять.

Дождь, отсырелые шапки, бессыянно, крылатый звук, клювик вороньего пера, это он писал, давление водяного столба над нами, машет рукой, ветер. Безрадостная жизнь индусов. Хождение по чиновникам, документы, мглисто. Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. У крыльца, комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Капитанская дочка. Венецианский дилетант, современник Вивальди. Орфей входит в звук и в знак, входит в ноты. В эти двери из слоновой кости входит Психея. Белые ночи, бессонницы. Понять, что не надо понимать, не надо знать, не надо уметь. Будь в своей точке и не выходи из нее. Сильно-жизненный звон, что из него сошьешь? Купался в заливе, белая, смотрела пристально, два корабля таяли в мареве. Остру перо, заостряю слово. Звук, это безграничное слово, которое... Костыли ума. Сидят на корточках вокруг черного бидона на огне, варят варево, булькает смола. Ни дуновенья, мертвый час. Из дверей бара выбежали гурьбой, красные от духоты, возбужденные, покурить, юбчонки, маечки, обручи в ушах, галдеж. Поднимаюсь по ступеням, гроза. Разбудила муха, пятна, папоротник, желтый вагон, страх, неприкасаемый, рынок, ваниль, подошвы прилипают к асфальту. Пишет, как жемчуг сыпет, самоцветные капельки. Залив, тела, машины, пыль, лягушки. Пустопенно, без названия. Четыре амазонки в березовой чаще. Обозначить своё, за тебя это никто не сделает. Творцы новых знаков. Знак – сердце вещи. Верю тону, по тону понимаю, как зверь. Нет отзыва, дева за холмом. Финляндский, фонтаны, ВТЭК, ее инвалидность, ей дурно сделалось на комиссии, потеряла сознание, врачи, санитарки. Сажу у ее койки. Отпустило, идем, шум воды. Рядовые дни, неизворотно, тонкий сон. Тонкий по-древнерусски – вещий. Понимание – кончик иголочки, подушечки пальцев. Они – знающие, знание родилось с ними, они, родясь в мир, уже всё знают, они пришли не узнавать, а сказать. Жизнезапись, ожог.

Залив, шторм, желтоголовые волны, купался. Школа, спину печет, оглушенность, хождение по чиновникам, СОБЕС. С Землей едва не столкнулся астероид величиной 999 метров, пролетел около луны. Голые на

параше, фонтаны, флаги, бурно, валуны. Рука славы, что пишет за всякого писателя, хоть сколько-нибудь достойного этого имени. Черные круги вокруг глаз, видишь, какой стала твоя старая мать, говорит она мне печально, благодарит, что навестил, спасибо, сынок. Лилии, орхидеи, пионы у нее в саду. Купался, кружка молока, чайки на столбиках. Всё высокое упало, липы, медом тянет, две лесбиянки на заливе, гроза, прятался под березами. Ул.Костюшко, проверять ей голову, магнитно-резонансный аппарат, всё в порядке. Штормовое предупреждение, жара, голая в камнях, с велосипедом, смотрела на меня вызывающе. Грохот, замерз, тяжесть и боль в затылке. Ночная гроза, проснулся, душно, в переулке кашель, шум мотора, голоса. Еще один жаркий день. Нечистых слов нет, есть нечистые представления. Искать, искус, укус, две бутылочки, мостик горбатенький, закат. Она опять в больнице, увезли на "скорой", носилки, реанимация, растирал ей ноги, ледяные, она бледными губами шептала молитву, говорит: "Ухожу". В среду к ней, светлая палата, за раскрытым окном двор, клены, тихо. Ей легче. Врач, черная борода, Григорий Исаакович. Вышел из метро, дождь. Инфаркт, инсульт, рюмка водки. В тишине есть звук. Есть не сочиненные, но воображаемые звуки, они неслышно существуют в музыке, неслышимые, в паузах, или дополнительные к слышимым звукам, тогда музыка преобразуется, расцветает. В звуке нужна опьяненность, звук меняется от какого-то психического сдвига, ощущения. Мою музыку нельзя играть этим ужасным лирическим материальным звуком, как Чайковского и Рахманинова. Я действую на звук своим астральным существом. Это не музыка, это мистерия, тут начинается тайнодействие, белое звучание. Скрябин. Жара, роза, глубже, серп! Вода обожгла, морская даль, мешала музыка, тихо, фиолетово, зной, яхты, девушка с таксой, зайчики, не возвращаться домой. Похитили одинокого старика, заперли в гараже, били, требовали, чтоб подписал продажу своей квартиры у нотариуса. На другой планете, где всё не так, как тут, где другая химия жизни. Луна, сон, одинокий день, уклончивость, скрытность, нельзя называть, эти имена не годятся, а других не знаю. Старая-старая логическая ось, вокруг которой крутятся эти общеутешительные соображения. Луна, дом у реки, костер, золотой друг, семья за столиком, рюмочки, разговор. Стираются знаки, на их месте пишутся новые, волна за волной, письма на воде. Цепь, терпение, вкус пустоты, дальний гул, угрозы, машет рукой с берега: "Поезд!" Успели. Уравнение Пуанкаре, чем отличается яблоко от бублика, миллион долларов. Звездно, в душе звенит тальянка. Все смоем вода, все сожжет огонь, все сдует ветер, все засыплет земля. Теплый вечер, пьяницы,

девки, корабли. Отвез ее в больницу, Невский район, гроза, ливень, бледная, вялая, осматривал невропатолог, снимок головы. Кассирша уставилась на меня веселыми глазами: "Кому шестьдесят лет?!" Звезда-колокольчик, туман, с мостков пускают по тихой воде парусники, светловолосая, в гимнастерке с тремя звездочками, стройные ноги. Метро, мальчик-азиат с мешком в руке. Идеи-видеи. Пруд, поваленная ива, лодки, взмахи весел, визг, музыка из пивного бара, закат. Крики чаек, темно, трамвай, дети, лошади, аттракционы, внизу, под обрывом, у огромного валуна, парочки кормят уток. К ней в больницу, попал под ливень, до нитки, люди-призраки. Долбить шаблон, дуть в рутину. Чайки низко летят над зеркалом, плеск, белый корабль, шампанское, закат, камыши. Вернулась из больницы, ураган, дождь, блуждали по городу, во мраке, Автово. Луна дует серебряными устами. Звук и образ входят в знак. Дух мастера филигранный. Случайные черты, босой алмазник, сила в отказе, на море туман, призраки яхт, запах рыбы. Фонари в фиолетовом воздухе. Пишет звонко, с нажимом. Скелеты царей майя, красные, окрашенные в сурик. Когда один – правил нет. Двое – уже правила. Ушел в кончик иглы, что он там вяжет, златошвейка, невидимая работа. Не могут разгадать секрет леонардовского приема сфумато, картина гладкая, не видно ни мазочка, ни под каким микроскопом, ни под каким инфралучом. Предполагают, что Леонардо писал пальцами, но не найти ни одного отпечатка пальца. А картина вся мерцает, вся светится волшебным светом, вся магия, вся наваждение, ни у одного художника нет такого на картинах. Обнаружили, что Мона Лиза окутана незримой накидкой. Такую накидку носили родившие женщины. У Моно Лизы это были вторые роды.

Надо больше гулять, дышать воздухом, говорят ей врачи. Поехали на трамвае в Приморский парк. На декабрь непохоже, теплынь, изумруд лугов, запах этот странный какой-то. Отлегло, повеселела, говорит мне: "Опять жить захотелось, а то уже умирала. Может, еще поживу, а?" Решено: будем бегать, так мы укрепим сердце. Солнце, луна, звезды – бегут. Бог – это бег. У египтян Новый год в день летнего солнцестояния 22 июня, когда на рассвете всходит звезда Сириус после ее отсутствия на небе 70 дней. Потом каждые 4 года Новый год сдвигался на один день. Через 730 лет Новый год отмечался в день зимнего солнцестояния 22 декабря. Встреча у Гостиного двора, в подземном переходе, на сквозняке, разговорчики. Сенная, гололед, корявое имя, спотыкался, падал. Сложно организованные смысловые структуры. Гигантские кальмары достигают 20 м. длины. У них головной нерв в сто раз толще, чем у человека. Самая мощная и тонкая нервная

система в земной фауне, все их тело, это, можно сказать, нервы, из нервов. Поэтому их реакции мгновенны и всегда абсолютно точны, их атаки безошибочны. Это высшие бойцы мира, в искусстве это были бы высшие художники. Голова кашалота – одна треть его тела. Кашалот издает самый громкий звук в земной фауне. Спит головой вниз, в глубину. Основная их пища – кальмары. Литейный, два льва, голубые стены, светлей лазури, сила и повороты. Не играй в их игру. Я только чарам верю. Встреча на мосту, мокрая метель, вернулся домой в сумерках, грустный. Звук ближе к центру, чем цвет. Свой порядок, где-то там, в крючках нервов, в косточках, вот и карябашь, да что толку, слабый стал, обратный путь еле плелся, нога за ногу. Бессловесная душа, звериная, темная. Кто-то каждый день переставляет передо мной мир в новом порядке, каждый раз порядок новый. Чем фантастичней, тем точней. Нет ничего фантастичнее, чем точность. Филологический, тускло, зеркало, зыбь, мгла, железно-серый, автобус "семерка", студенты. Простота без пестроты, старая песня. Высшая точность выглядит как неточность. У всех спущены рукава, не мастера. В знак входит Исида, во всеоружии, мать богов. Смоленка, серенько. Сверху давит внешняя сила, а внутри нет духа. Истощенная, пустая жизнь начинает философствовать. Будут сильные слова, смотри в корень. Иридий – космический элемент. В метеорах иридия в тысячу раз больше, чем в земной коре.

Бойтся выходить на улицу, не уговорить, страхи ее растут. Что там у нас за штормой? "Лунная ночь на Днепре", выставка одной картины, очередь по всей Малой морской, весь Петербург посмотрел эту колдовскую картину. Такой луны ни у кого нет в мировой живописи. Остров Пасхи, изваяния вождей. Небывалая вспышка на солнце, какой астрономы еще не наблюдали, солнце содрогнулось. Звездное вещество достигло поверхности Земли, небывалой силы магнитная буря, людям со слабым здоровьем не рекомендуется выходить на улицу. Ураганный ветер, шторм. Юкио Мисима, 40 романов, 18 пьес, более 100 рассказов, 7 кругосветных путешествий, мастер боевых искусств, мастер меча. Создать прекрасное произведение – сделать прекрасным самого себя. Для красоты высший миг – смерть. Мужчина соприкасается с прекрасным только в смерти. Только в смерти – полнота бытия. Совершил харакири перед императорским дворцом. Мисима умер, потому что хотел умереть. Владимир Горовиц: "В десять лет я уже не хотел играть как другие, я хотел играть только по-своему. Меня привели к Скрыбину, он сидел такой, и весь дергался. Скрыбин ведь был сумасшедший. Я играл ему минут десять. Скрыбин сказал: он будет неплохим пианистом".

Каждые 18 тысяч лет изменяется земная орбита, из круга в овал, и изменяется угол земной оси. Финикийцы разбогатели на добыче и продаже соли. Соль создала могущество Венеции. Солонка на столе ставилась около самого важного человека. Рабочим платили солью. Итальянское слово "соларио" /зарплата/ означает – соль. В древнем мире и в Средние века соль была главной ценностью. Северное сияние – это сражаются души павших воинов. Хвосты комет всегда направлены в сторону солнца. Это великая идея, но великие идеи часто падают лицом в грязь. Каждые 6 минут солнце вдыхает и выдыхает. Солнце звучит, это хор, симфония. Мы созданы из звездной пыли, выкованы из сердца звезды. Водород, гелий, эпилептический ветерок, успею добежать до Сенной.

Безвылазные дни, бессонницы, висим на волоске, вот-вот оборвемся, врачи не боги, единственное ее утешение – ее золотая собачка, спит клубочком у нее на подушке, лижет руки и лицо, это она лечит, лаской, ласковая собачка. Поехали в центр, Фонтанка, фонари, черная вода, бесснежно, месяц слева, концерты. Кровь движется по спирали внутри сосудов, цепочки и цветки крови. И музыка, и слова действуют на кровь или благотворно или злоторно. Кровь настраивается энергетически на космос, на потоки космической энергии. Кровь знающая, кровь хранит в себе знание о мире, кровь мудра, в ней мудрость. Знание – это энергия. Весь мир перевернется, если я остановлюсь. Боязливые зародыши, поговорки англичан, дьявол в деталях. У кальмаров самый большой мозг в мире млекопитающих и самые большие и длинные нервные волокна. Глаза кальмара вдвое больше человеческих, способны видеть в темноте. Кальмар Гумбольдта, красные дьяволы. Красный цвет самый незаметный в глубинах океана. На Венере непрерывные грозы, Венера вся в молниях. Электрический дракон Венеры. Пики гор Венеры покрыты металлом, металлическим снегом, они металлически сверкают. Марс – это пустыня. Небо Марса розовое, в полдень красное, на закате голубое. Песчаные бури. Юпитер – гигантский газовый шар, бури на Юпитере длятся 300 лет. Вода, углекислота, азот, образуются сложные органические молекулы, а это и есть жизнь. С глубины 300 метров водолазу надо подниматься 12 дней. Различия, а не тождества. Арка – солнце. Сила – в точке. Каждая точка – центр силы. Сила переходит из одной точки в другую, в другой центр себя. Мой отец был неловок, робок, нелюдим и скорее некрасив, он говорил мало и больше прислушивался. Рисовал на полях рукописи готические соборы. Но, брат, как приятно быть понятым! Мутно, смычок, канифоль, безумный год, больницы, разрывы, крушения, пустой стол.

В новогоднюю ночь выпал сырой снег, мы его не ждали, шли в громе фейерверков, шипенье хвостатых звезд. Вернулись домой под утро, в шестом часу. Страшный мир, разрезы, фантазмы, реальность вымыслов, чаш Грааля, орел влип в решку, плюс вплюснут в минус. Буквальное значение слова "религия" – связь. Куда улетают души, уйти от тяготения земного, невесомость психики, свобода от психических законов земли, что это такое? Агнистры и агни-ратхи – древнее магическое оружие и летательный огненный аппарат. В Индию духа купить билет. Врубель, глазная сила, вперед, вперед. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли! Слон плывет, Земля – голубая жемчужина. Основная часть мозга – это вода. В нас ничего нет, кроме воды. Человек есть вода. Молитвой лечат воду внутри организма. Колебание волн при чтении молитвы любой религии равны 8-ми герцам, что равно колебаниям магнитного поля Земли. Вода при таких колебаниях структурируется наиболее энергетической и благотворной структурой, соответственной жизненной структуре Земли. Человек – это водная структура. Какие слова больше всего очищают воду? Это два слова – любовь и благодарность. Бессонницы, концерты, Белозерских-Белосельских, три женщины, гуляли по Невскому, "Чайка", и тут она. Сгорел деревянный купол Троицкого собора, мрачное ночное небо. Фортепиано, которое вообразило, что вся гармония мира находится внутри него. Шапки долой! Моцарт, ты гений! Я ограничил разум, чтобы дать место вере. Поэт, обладая особой чуткостью, по своему состоянию может судить о состоянии всего мира. Изучая себя чисто психологически, человек может объяснить всё, весь космос. Чувство миров иных. Как бы нам приободриться, побороть уныние, поводов для веселья что-то маловато, вся одежда стала велика, болтается на ней, как на вешалке, 46 кг., это косточки столько весят. Вечером в темноте ходили освящать воду.

В квартире душно, открываем форточки, наш дом далеко от машин, мы должны быть счастливы. Такая теплая, бесснежная зима губительна для ежей. Они пробудились от спячки, бродят по лесам. Грянут морозы, они погибнут. В библиотеке Академии наук украли бесценную книгу: "Византийские эмали", единственный экземпляр. Буря, наводнение, зеленая трава, небо расчистилось. Бесцельность – вот признак глубочайшей потребности. Где говорят стихи, там молчит разум. 400 млн лет назад океан Епетус перестал существовать, три континента соединились в один. Мы произошли от кистоперых рыб. Древние амфибии имели на передних конечностях 8 пальцев. В Ирландии ученые обнаружили следы самого древнего животного на Земле, жившего 380 млн. лет назад, этих следов 260.

Вся жизнь на Земле произошла от микроба меньше миллиметра. 250 млн. лет назад на Земле произошла колоссальная катастрофа, от которой погибло 95% всего живого на планете. Подморозило, Чкаловский, к травнику, куда же мы теперь, сад, грязь, темно, так это Фонтанка? Тут жил Державин. Афиша, концерты дают по понедельникам и средам. Паганини – Наполеон скрипки. Виолино – по-итальянски. "Это человеческое, слишком человеческое" – говорил Ницше. В России 17 скрипок Страдивари. Орган – древнейший музыкальный инструмент, ему 2 тысячи лет, изобретен в Китае, на нем играл бог. Воздух в трубы качали рабы, прикованные к органу цепями. Там, за органом, они и спали и проводили всю жизнь до последнего вздоха. Освобождали от оков только мертвых. Сырой снег, ул.Костюшко, сделать ей снимок груди. Опять Чкаловский, железа идеальная, темно. Жизнь Земли – 10 млрд. лет, возраст Земли – около 5 млрд, половину прожила. Азербайджан – страна огня. Девичья башня. Себя ограничивать, гипнотизер, созерцает тайное. Жизнь возникла от вулканов, вулканы – это природные химические реакторы. Извержение вулкана Крокотау, от этого извержения волна обошла весь мир, атмосфера всей Земли на месяц была наполнена пеплом, целый год в Европе наблюдались кровавые закаты, Эдвард Мунк, увидев такой кровавый закат, был потрясен, ему показалось, что природа кричит, он услышал ее крик, это его знаменитая картина "Крик". На Земле 5 тысяч крупных вулканов. Февраль, 3-е, частые поездки, разные углы города, она боится одна выйти на улицу, тем более оказаться одна далеко от дома, вдруг с ней опять случится припадок в таком месте, где она будет лежать беспомощная и никто не подойдет, ее надо сопровождать, мы едем, мутно, город, шар, огонь, Демокрит, пестрый и многоглавый зверь, Водолей, серебряные руки, крылья, зигзаги, юность, мудрец, все числа, что делятся на четыре, Гомер, сосна-Мафусаил в Калифорнии, ей 5 тысяч лет, старше пирамид, старше письменных источников человечества.

Скрип снега на улице, детский сад, спиленные тополя, месяц справа. Страшная тяга дней, этот полет, мрак, Индия, Симуург, 30 птиц, свастика, "свасти" означает – быть добру. Спрашивают, как я себя чувствую. Да так, как спиленный тополь, в этом феврале у нас 60 колец. На почту, за телеграммой, в сумерках, рубеж, распутица ночная, салазки под гору, быстрее, быстрее. Высокий строй, пустые скорлупки, узелок, пуповинка, мастер себя, язык сам знает, тяжелое похмелье, прошлое веселье, закат печальный, мороз жжет щеки. Я ничего не рассказываю, это путешествие, где что-то происходит, но понять это нельзя, не укладывается сюда, в этот день,

как столб заоблачный, вертикаль не перевести в горизонталь. Говорят: сосредоточенность. Вот я сосредоточен в светлой точке посреди этого мрака, я куда-то плыву. У китов в плавниках пять пальцев. По буддийским верованиям тот, кого убили, превращается в голодный дух, рыбу или цветок. Письменность появилась 5 тысяч лет назад в Шумере, принцип письма, клинопись, сохранился во всех европейских языках. Никола Тесла, великий серб, равный Леонардо по количеству изобретений. Больше кого-либо проник в тайны электричества. Он знал о молниях больше, чем сам бог /по его словам/. "Я мог бы расколоть земной шар, но я никогда не сделаю это" – говорил Тесла, человек, обладавший техническим могуществом, которым мог бы погубить весь мир. Тесла всю жизнь спал не более двух часов. Бесконечные эксперименты и изобретения, не успевал фиксировать на бумаге, на 200 лет вперед, вся современная техническая цивилизация – его дело. Создатель гигантских искусственных молний. Возможно, он виновник тунгусского взрыва, бросил со своей башни гигантскую шаровую молнию через океан. И атомы, и нейтроны, и все микрочастицы – живые, разумные существа, возможно равные человеческому уму, и могут подчиняться человеческой мысли, если войти с ними в контакт. Плюс и минус в природе меняются местами. Ида Рубинштейн, Саломея, Клеопатра. Новое мировое обледенение, это жизнь Земли, ее ритм. Водород – самый простой и самый распространенный элемент во вселенной. Огромные облака водорода блуждают в мировом пространстве – это звездные туманности. Звезда – это сгущение водорода. Опять Чкаловский, на Владимирский, гомеопатическая аптека, Достоевский, снег на плитах, церковь. Икона – вид из космоса. Вся сила мира входит в эту точку. Расцвет силы, мировой расцвет в этой точке, в этом человеке, вся мощь. Мировой расцвет силы в человеке – мерило всех вещей. Высшее напряжение, гул провода, метель, Гатчина, районная библиотека, поэзия, мрак, маяк. Были на выставке фотографий Эммануила Евзерихина в Мраморном дворце, сыро, мглисто, март. Смотри в глаза тому, что пишешь, оно тоже смотрит тебе в глаза. Смотри прямо, не отводя глаз, не опуская их, не закрывая, не уклоняясь. Важно выдержать взгляд того, что пишешь. Если ты будешь так писать и так напишешь, то этот же взгляд с такой же силой будет смотреть в глаза того, кто будет читать, что ты написал. Оттепель, туман, болит висок, залив, лед, рыбаки, золотая заря, ясность, шорох, беспредельная жизнь.

Тепло, в аптеку на пр. Поляриков, метро Ломоносовская, аптека во дворе, Нева, широкая тут, шире, чем у Адмиралтейства, льдины плывут, туман. Молнии на Земле возникают от вспышек сверхновых звезд в

космосе. Древние имели обыкновение излагать свои мнения в символической форме, загадками. Феллини, жизненно, стихийное восприятие, фантазия, сон, выдумка, правда, ложь – жизнь целая, нераздельная. Я не знаю, где правда, а где ложь, где реальность, факт, а где фантазия. А как же иначе, ведь я художник. Неврозы, стрессы, раны, жизнь точна. Тучи, черемуха, освежиться. Кровь излучает ультрафиолетовые лучи, кровь больных не излучает. Мозг излучает электромагнитные волны, эти волны создаются движением электронов, летящих со скоростью света. Мозг – свыше 12 млрд. клеток, огромное количество электронов. Мозг – центр сложной электрической цепи всего организма. Мозг истериков, невротиков, эпилептиков создает токи, во много раз превышающие норму. Глен Гульд, оттопыренное, красное ухо, играет, беззвучно напевая, раскрывая рот, как рыба. Любит в музыке не то, что любят другие, не то, что все, что обычно любят. Гиперион, высоко идущий, инки, золото, кровь солнца, безумие в 32 года, еще 37 жил безумный в семье столяра. Март, ледяной залив, чайки. Апрель, ходили платить за квартиру, вихрь на дороге, крутится мусор, пыль в глаза, шли, сгибаясь. Бдения, чтения. Могучая работа человека над вещью, в которой он являет себя. Мастер должен любить все, что сделано хорошо, и ненавидеть все, что не сделано. Громада ненависти. Я прям, как гром. Глаза вишневого цвета, мог долго смотреть на солнце, не мигая. Гипнотизер, 3 декабря 1941-го, девять дней лежал под своей картиной "Пир королей", не было досок на гроб, через 9 дней Академия дала 9 досок на гроб. Игрек-хромосома неизменна, только у мужчин, передается от отца к сыну, как фамилия, от Адама. Ураганный ветер, снег. Теория катастроф Кювье. На Земле было 27 мировых катастроф, когда погибало все живое и жизнь начиналась с нуля.

Теплый день, апрельский, костры, шашлыки, пьянство. Весь день она лежит, губы синие, ноги как лед, плачет. Растирал ей ступни. Залив, волны, яркость, свежесть. Китайский ресторан "Звезда Востока", огненные рыбы, ночь, автобус. Я ведь божья дудка, колосья-кони. Бери эти ноты, внушение, душа знака, монашеские рясы смыслов, уместность, свободные места. Дом ученых, Дубовый зал, тоска, флаг, потеплело, бледная, в зеркале, в гардеробе, подкрасит губы и пойдем, серовато, брызги дождя. Душа-птица в клетке, ураганное утро, холод, что-то обозначается, назревает, что-то важное. Липики – записывают каждое слово, сказанное на Земле. Все представления – ложь. Не представляй себе ни то, ни это, и ничего. Не пиши по представлению, пиши по настроению. Сон, верхом, конь белый, женщина, купание в проливе, высокие берега, туманно, поезд, тут же на берегу, у самой воды, мы с ней, мокрые, в вагон, успели, вагон темный, она

полуодета, что-то ищет, неизвестно. Зачем-то приехал в эту местность, в этот город, ищу жилье, какого-то человека. Зачем, для чего?.. Встреча на платформе, миллион соображений, самосожженец, а не размноженец, серые тряпки жизни, друг-портянка, эфирный друг, путь ясен – в никуда. Внутренняя яркость, каждое слово – царь, в короне, властелин мира. Ржавые мечты. Украшения обезоруживают кинжал, безделушка, а не грозное оружие. Кинжал должен быть гол как сокол. Самоцветный корень, поющий и танцующий, жало языка, бей в краску, вертикаль, равный Матери, ее раковины высоко в горах. Шувалово, больница, дождь. Дух дивный и вещей, цветной, певчий. Понедельник, циклон из Сахары, жара, зной, залив, соловьи, лягушки, вода обожгла, ребенок миров иных, священник цветов, сирень, фонтаны, толпа, музыка, стальное зеркало с отблесками крыльев, простор, сон наяву, камни. Вечером в грозу сбежал из дома, ливень обвалом, оглянулся, машет в окно, бледная, худая, с собачкой, прижатой к груди. Молнии, гром, пока добежал до метро, стихло, промочил ноги, брюки сырые, липнут, зябко. Витебский вокзал, солнце брызнуло, загло лужи. Скрытый во тьме корень, артистический, звездочка дрожит, зябкая капелька. Невиданные грозы в Европе, 500 молний в минуту, Европа омыта молниями. Древо зеленеет, глаз с изгибом, зоркая грация, суббота, ураган, трава крутится. Имячко-яблочко, самоцветное семечко, что из него вырастет? Нет юмора – пора умирать. Сундук серебра потек, твой Оредеж, льется письмецо, звенит струйками. Приснилось: выпал зуб. Стою на горе, обхватив голову руками, солнце закатывается, яркость, сила пульсирует, ей тут тесно, толчки крови, у него власть надо мной, я прикован к этой вершине, я с нее не спущусь, пока не погаснет над темной землей последний луч. Я укоренен в нем, уходящем, произрастанье, незримо шумят крылья, шевеля волосы на моей голове. Этому июню не будет конца, двадцатые числа, заперты в доме, дождь-тюремщик. Ее весь год терзает тревога, никак не может победить в себе этот страх. Выводит за руку слепую мать, в саду сыро. Психозы, изломы, самоистязанья, скользим по тонкому льду, с грани на грань, филигранность эта, рост жемчужин в раковинах на дне неведомого моря. Взбурли язык, седлай небесную пружину! Белые ночи в стеклах, суд мертвых, два сокола на шестах, глашатай и стражник, у каждого в руке нож. В день взвешивания слов. Уста всех умерших, женщина и число четырнадцать, прячет что-то в своих ладонях. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и помрачатся смотрящие в окно, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы.

Не выпался, свинец в затылке, текущая вода, зеркало, эхо, суд слов, этот железный тон, кто его задает?.. Есть точки силы, способные оторвать от тяжести и притяжения земли, сделать полет, невесомость. Шум ветра умный, на платформе, ливень, промок, поезд пропади. Опять в городе, музыка, липы в цвету. Введенский канал, душно, томяще, зеленый откос, тополя, грозное облако клубится, бензоколонка, хмырь в кепке, краснокирпичье, клумбы с цветами, печет, магазин, ремонт тонометров, она сама не знает, где это, но, может быть, и здесь... Сталь залива, ураганно, радость мастера кованая, штыки рассияем в блеске. Четверг, бессонная ночь, днем – "скорая", ей плохо, лежит. Темно, II погибших альпинистов на Эльбрусе, томлюсь, кровь вялая, один вольт, а надо, по меньшей мере, тысячу, зашумело, он самый, водолей, серебряные струнки. Невский, тучи, ненужная встреча, череп грома в гуле. Кашалот, старый-старый, весь в шрамах, 80-летний, выбросился на берег, гиблое дело, самоубийство, конец, в океан не вернуться... Шорох снов, купался, дела воды и света, ветер, высокая трава гнется и блестит. Я не здесь, не в этих словах, конечно, я далеко от произносимого, в стороне от сказанных слов. Две лодки за ноздрю прицеплены к ели. Чудно человеку в Чикаго, в серебре как в песочке старичонки височки. Сизо-темно, день гроз, сад гнется, черный закат, частокол, поваленная ураганом сосна с расщепленным стволом, жалобный стон ремонтного поезда. Не для денег, в расчете, ясно, как чай. Ласточки низко над землей, кругами. Наводнение в Англии, многие города под водой, Лондон затоплен. Поехали к знахарке за Кировским заводом, топила воск в чашке, водила над чашкой серебряным крестом, говорит: у нее порча, поможет, даст святой воды и скажет, какую молитву читать. Вышли, вечер, она в смятении. Пережидали дождь под липами. Вечером стали делать всё, как знахарка велела: она в ванной, с зажженной свечой, поливала себе святой водой голову – снять порчу, я сторожил у дверей. Порча должна улететь в вентиляционное окошко. Всё это надо производить в молчании. Потом она с горящей свечой идет к себе в спальню, читает молитву об избавлении от порчи, задувает свечу и ложится спать. Бутылка со святой водой у нее в ногах, около кровати. Так три вечера.

На заливе шторм, купался. Невский, пустые столики под навесом, бахрома, трепет, светло. Язык у всех тусклый, из одного котла. Полнолуние. В горах Ирана на скале, над древней дорогой, ведущей в Индию, выбиты клинописью заклатья царя Дария на трех языках: на древне-персидском, эламском и ново-вавилонском или аккадском. Прекрасный город Персеполь, построенный Дарием в 427 г. д.нэ. Сожжен Александром

Македонским. Пьяный, после пира, с буйной ватагой своих сподвижников, ночью, с факелами, подожгли. Сгорел дотла. Обломки камней и голые колонны в пустыне. Спелые ягоды черемухи. Вечером собираюсь в путь, плачет, боится оставаться одна. Все же уехал. Изъеденный гусеницей лист, ночной стон, диск над лесом, простуженный крик пассажирского поезда, дальняя дорога, руки шпал. Опять город, пятница, звонки, сорваться с цепи, ночь, метеорчики. Без работы ящички мозга, остренькая иголочка редко пишет. Древний город Аксум, великий город древнего мира. 300 поверженных гигантских стелл – все, что осталось от великого города. Стеллы посвящены мертвым – память о древних царях. Стеллы глядели на восток, на них изображения солнца. Эфиопия, земля бога, монастырь на горе, там хранится книга Кебба нагат – слава царям. Город Лалибела, воздух дрожит на жаре, дыхание пустыни, II скальных церквей Лалибелы, церкви, выбитые в скале. 13 августа, томились в ожидании, машина пришла только в час ночи, трудный путь, но хоть дышать можно, дневная жара затаилась в камнях.

Гроза под утро, удары в вате. Пришла от молочницы, бидончик поставила на стол, хочет поделиться впечатлениями. Сумерки, костер за красным забором. Утром она опять пошла за молоком, вернулась печальная. "Вот видишь" – говорит, "мне с собой не справиться. Стала к нашему дому подходить и рыдалась". Полнолуние, плотина, переполнен, чернильница-сфинкс, алая рубаха, кожаный стул, на столе лампа под медной четырехугольной шляпой, Офицерская, Пьеро, Дон Кихот, Оливер Твист, не смейся над моей пророческой тоскою, без страха жду я свой довременный конец, дружба с Надсоном, навещал его в Кронштадте, научился играть на виолончели, печальные звуки, сердце рвет, хватит и печальной наружности, Печорин, любовь к Лермонтову, с квартиры на квартиру, не пишется, игра в колокольный звон, вброд по горло через ледяную реку, весной, в половодье, в апреле, чтоб посетить вдову Писарева, "сумасшедший господин", секретарь в конторе железнодорожного съезда, мучение совести, именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!.. Первый боец человечества, бороться разом со всем злом мира. Писатель, известно, должен писать. Выговорил, выкрикнул, разбудил, ударил. Отдать душу за обиженного человека. Пишу страшную штуку с кровавой развязкой. Памятлив, прекрасная пальма, погасло пламя жизни, Поварской переулок возле Владимирского собора, дом номер пять, третий этаж, лестница, ужасная, темная, грязная, пролет, угол печи, март, 20-е, тридцать

три, мартовская тоска, меч Демоклесов. Всё... Агасфер, его псевдоним. Понедельник, пепел, сны, хвостики нервов, однозвучно, шорохи, ночной лай, луна. Впервые в мире батискаф погрузился на дно Ледовитого океана на Северном полюсе, ждут возвращения. Договорились насчет бани, широкий двор, две коровы, бык, куры, козы, козел, белый, безрогий. Молочница, розовощекая, ходит босиком по коровьим лепешкам. Филология, преподавала в Мухинском русскую литературу, родом с Волги. Дождь сырыми пальцами ощупывает вслепую сад, мокрое, заплаканное лицо в сучках, в дуплах. Молочница проворная, в халате, глаза яркие, как. у галки. Безрогий козел-великан, белый-белый, как снег при луне, встал, смотрит сурово, борода до земли, Аарон... Небо утром, хвосты энергии, северная щека, сыро, мшисто. Ночь-арапка, страстная сила сдвигает эти предметы с их насиженного места, лучистые головы фонарей на дороге, грустный лучизм, фантастический товарищ одиноких прогулок.

Сентябрь, туман, спирали и стрелы, черный трон, туман гуще, поезд на рассвете, трубный, царский звук. Мастер – это быстро. Простудился, сплю за печкой, как сверчок. Тени, книги. Всякий день и час сжигать сердце свое в слове написанном. Писать кровью. Литературные люди, друг-содорожник, я брежу, у меня жар... Тревожно и тщательно, подняться над собой, выше, выше, в каждой букве, написанной на бумаге, оставляя каплю крови. Побеседуй с землею, и наставит тебя; и скажут тебе рыбы морские... Над нами уже прошло время. Он писал книги и умер. Встреча на вокзале, из Мурманска, проездом, постарел. Будда, Тибет, монастырь на скале, желтый монах, бронзовый колокольчик, бритые головы. Три ступени посвящения: имажинация, инспирация, интуиция. Ее ослепшая мать, наваждения слепых, слова врача, приглашающего на операционный стол: "Пожалуйста на эшафот!" Понедельник, навелит мать, круги под глазами черней, лицо опухшее. Рассказала о том, что мыла голову на кухне в тазу в третьем часу ночи. На сердце камень. Обратный путь. Пруды, музыка, глухой кондуктор в черных очках. Я под другим знаком, этот мне глубоко чужд, черная орхидея, на острие, двуединое жало этого пути. Черная нота в центре. Октябрь, 31-е, мутно, тускло, бессонницы, стук каблучков в переулке на рассвете, тревожные шорохи, хлопанье голубиных крыльев, бесцельно бродить, как слепой, спотыкаясь, читать под дождем газету. Просветление в высях, перламутровое настроение, пульс живого, рисующий, угадывающий, вещие фантазеры, не ведают, что творят.

Ноябрь. Нормандия, аббатство на горе, каменный остров, море и небо, старые пергаменты, король переписчиков Фрамон, мысль о снеге, черные, тяжелые сны. 5-е, понедельник, просыпался от страха и опять засыпал. Без кожи, голые нервы. 8-е, Пестель, Соляной переулочек, снег, слякоть, тускло, она в красных сапогах, хромота, жмут, снег летит в лицо мокрыми хлопьями. Мухинская академия. Вход да не тот. Следующий. Вещий трепет. Вздрагиваю от скрипа дверей, от звонков. Поздно легли спать. Посреди ночи проснулся от страшного вопля. Ей приснилось, что ее душат, и она звала на помощь. Эти кошмары идут черной чередой весь год. Открою окно - в воздухе мелькают иголки, бросая едва уловимый жемчужный отсвет. Гололед, полнолуние, пьяные, город гаснет, щемящая пустыня, заноза в сердце, свинцовые щели этих дней, каждый атом, отравленный луной, просит пить, рискованные трюки, Гарри Гудини /настоящее имя Эрих Вайс/, летит с гигантского небоскреба, раскинув черные крылья летучей мыши. Маг, великий иллюзионист, венгерский еврей, эмигрировавший в Америку, его отец был раввин. Шлиман, Троя, два топора из зеленого нефрита. Нефрит – почка. 10-е, воронье на рассвете, все жалуются, всем трудно жить, у всех предчувствия, а я этого лишен, мне, должно быть, легче, чем им, хожу из угла в угол, бесчувственное бревно, мне все равно, во мне пусто и глухо, тревоги по мелочам, а вырастают в снежный ком... Я ничего не выдумывал, я только почувствовал в себе ночь...

14 ноября, позвонила сестра, сказала: мужайся. Вчера, в 11 вечера... В субботу выпал снег, много, много снега, мы поднимаемся на гору, где кресты и клены. Я давно не плакал, отвык... В комнате матери полумрак, зеркало завешено, кровать, на которой она спала, аккуратно застлана темным, в клеточку, покрывалом. Пустая кровать, пустое изголовье, и, кажется, подушка еще хранит отпечаток ее головы, ее тепло. Я прижался щекой к этой подушке.

В ТЕНИ ВОДОЛЕЯ

Сон в скорлупке, сплю, сплю, ноябрь, сумерки, сучья; крылья ангелов, чистые перья укрыли землю; страшную, черную землю. Час прощанья, провода в последний путь; душа, жемчужно светясь, улетает, выше, выше, тая в темном, беззвездном небе. Облачко, пар из рта. Кто-то там есть, смотрит оттуда, с острия иглы. Юдоль, юла, слюда, бедное тело, сын праха. Иду по зеркалу; разбуженные моими шагами, всплывают фантастические рыбы, чудища морские, дети бездны. Девятый день, кристаллики соли на столе, искорки смыслов. Лучше не разворачивать эти рулоны. Несу голову на плечах, скучную гирию. Долго ли еще ее нести, как на казнь?..

У ног гиганта, сила слов, рукоплещут ложи. Козерог, кимвры, готы, котельная. Теодорих, Библия Вульфила, самый древний памятник германской письменности, серебряными чернилами на пурпурном пергаменте. Серебряная Библия. Пурпур добывался из желез пурпурных улиток, для одного грамма краски требовалось десять тысяч улиток. Декабрь, 22, сороковой день, кресты, ограды, водку из белых пластмассовых стаканчиков; бесснежно, раскисшая земля, ноги вязнут. Запрокидывая голову при глотке, вижу серое небо и черные сучья зимних кленов. Пустая кровать в ее спальне. За упокой души Марии. Жужжит кинокамера, прошлогодний снег. Мама в черном платке-чепчике, ее голос: «Вы - мое богатство, вон какой богатый стол приготовили!». Слабый жест, как бы отстраняя направленный на нее объектив.

К зубному врачу, сучья, черно, антиквариат, унылые лабиринты, дворы, стены, парусники, мычанье сквозь вату, тихая безысходность, нить оборвана, клубок закатился. Вышел и – вечер. Огни, колеса, хлопья вьются. Этот мокрый блеск, мост, брюхо коня. Свое, чужое, не разберешь. Не ты один. У всех боль. Воронье на рассвете, черные крылья рубят воздух; голое сердце, ожерелье рассыпалось, не собрать; эти сырые следы нового дня никуда не ведут. Раковина года, завихренья, разомкну створки и – январь. Гнет этой плиты, гололедица, черное небо, стройка, кран-дракон. Снял шапку, вошли, трепет свечек, губы беззвучно шепчут молитву. Тот, кто создал этот мир – Стеклодув. Жалость, хрупкость. Вторник, желтый закат; ушло, плача. Древний город Нерв в Каракумах, столица сельджуков, шелковый путь, 200 тысяч жителей, разрушен до основания армией Чингисхана, все перебиты. Библиотека Леонардо да Винчи, 116 книг. Витрувианский человек в круге – самый знаменитый рисунок в мире. Манеж, выставка, ослиные хвосты, художник в черном берете. Это древняя игра, древняя, как мир, она ждет своего нового героя,

великого Игрока, который вдохнет в нее новую жизнь. Грандиозность и филигранность, отречение, белый призрак, опять, опять. Бесцельная поездка; унывать не надо, друг Петрушка. От метро, в неизвестность, пустынно, как на Марсе, лицо в сумерках, полустертое, мелькнуло, и нет его, не узнал, забыл. Так легче жить, так легче жизнь терпеть. Стеклодув выдувает из себя полноценный цветной мир. Нижинский, Киев. Морская птица, летящая над неподвижной землей. В тридцать лет перестал танцевать, безумие, жил еще тридцать, умер в шестьдесят. Черный январь, 14, штормовые дни, вихри с Атлантики, американские фильмы, Казанова, тень Отелло в Венеции. Гости, Гамбург, гололедица, дождь. Дон Кихот, сердце гор, безумцы в квадратных, черных коронах супрематизма. Отлив-прилив, лимон, трамвай до Нарвских ворот, к невропатологу.

Едем, четверг, рожки новорожденного месяца, черный ассирийский жемчуг, Ватутич. Пчелы чувствительней собак. Цунами шумит, как реактивный самолет. Лев Ландау, родился в Баку. Жидкий гелий, принцип неопределенности, Бог играет в кости. При охлаждении до абсолютного нуля атом жидкого гелия начинает совершать одновременно два противоположных, взаимоисключающих действия. Можно понять, но вообразить уже нельзя. Ландау разбился в машине, отек мозга. Нобелевская премия, вручал в Москве Нильс Бор. Прожил еще пять лет, наукой не занимался. Снег, стол накрыт, звонки, гости. Не грусти, мы ведь с тобой Водолеи. Наши рожденья на текучей ниточке одного ожерелья. Дон Кихот, предпоследняя глава: стадо свиней сбивает и топчет их, героев книги. Пятница, к сестре на гору. Таянье, платформа, солнце. В нотариальную контору, завещанье, разговоры о погоде, страх простуды, слякоть.

Горе. В квартире пусто. Нет нашей золотой собачки, нашей Дусеньки, погас солнечный лучик. Рыдает по ночам, не может утешиться, везде мерещатся ей золотые ушки. 27, снятие блокады, бродил в парке, уныние, лед, тусклость, вечерний звон, лежать и мне. Что там, в чужих окнах? Тени, лампы. После ванны, похудевшая, притихшая, слабые, бледные руки. Разбирала письма, мои к ней, полные любви и страсти, и заплакала. Гора Меру на Северном полюсе, ось мира. Гипербореи. Существует 108 цветов. Кузница языка, книги куют титаны в тайных пещерах великих гор. По этим книгам люди учатся говорить и читать. Пушкин о Шекспире: «Это был гениальный мужичок».

Болезнь, бинты, февраль. Вчерашняя буря утихла. Отлив, дохлый краб, камни, водоросли; замок Кабилон, чаша Грааля, кораллы, старый король, Парсифаль. Пузыри в котле, вход в пещеру, булькает, три жабы, темное варево этих дней. Сырой снег, машина с красным крестом у нашей парадной, голубые комбинезоны санитаров. Посланцы далеких планет.

Херувимы. Заботы низкой жизни. Прощай, душа моя – у меня хандра – и это письмо не развеселило меня. Обняв осину, шепчет, просит освободить от горя и печали. Есть поверье, что осина спасает от горестей. Таити, цинга, Кук, Австралия, великий коралловый риф тысячу миль, виден из космоса. Циолковский, глухой с десяти лет, гениальный самоучка. Рассыпал в темной комнате светляков: ему казалось, это полный звезд космос. Жизнь – это атомы духа, занесенные на Землю из космоса. Нищета, семья, дети, впроголодь. Сам освоил высшие научные знания, ходил в Румянцевскую библиотеку в Москве, подружился с Николаем Федоровым, тот доставал ему запрещенные книги. Арест, ЧЕКА, по подозрению в шпионаже. Отпустили через две недели. Говорил, что в тюрьме кормили лучше, чем он ел на воле. Его ученик Чижевский приезжал к нему в Калугу. Дом Циолковского в Калуге, деревянный, двухэтажный. Есть легенда, что построен на месте падения метеорита. Калужский отшельник, там и умер, старик, борода, пышные похороны, толпа, вся Калуга идет за гробом.

Галерная, позировать, художник, речи волхва, поморские руны, надписи на камне, следы гипербореев, языческие святилища. Поэма о Коловрате. Бой Коловрата с Вотаном. Эра Волка, эра воинов – мировой расцвет. Снег с дождем, мрак, огни, скользкие тротуары, туман, талость. Гармонические затеи, последняя дорога, страдальческая тень, гимн времен. Что пользы в нем? Поникнул лавровой главою, старинное дело мое. Февраль, Шаляпин, Казань, сын крестьянина Шелепина. Грезы любви, памятник. «Слушая чужое пенье, я думал: нет, не то, не так надо петь, я бы не так спел, а как – еще не знаю. Не должно быть лишних деталей, не загромождать образ». В доспехах Дон Кихота. Последние слова Шаляпина: «Я не знаю, на какой я сцене, на русской или нет, а мне надо петь».

Ветер, мрак, этажи, тревожный шорох, бег по черному льду, янычар в тучах. В Сибири нашли тело замороженного мамонтенка, хорошо сохранилось; это мамонтенок-девочка, утонула в болоте 4 тысячи лет до н.э. Флоренция, Давид, резец юного Микеланджело. «Жизнь кончена. Тяжело дышать». Блок. «Вот они кривляются на стене. Боже, прости мою душу». Автор "Ворона", в Балтиморе, бесчувственный, оборванный, лежал на дороге. «Я искал истину. Не понимаю. Ничего». Лев Толстой. Привезли двух шук, страшные, зубастые; глаза мертвые, утрюмые. Из Великих Лук. Февраль, 21, полное лунное затмение. Луна влияет на здоровье и самочувствие людей, при лунном затмении обостряются все хронические заболевания. Болею. Жар, бред. В бреду очень тонкие соображения, каких наяву никогда не бывает, но ничего не запомнить. Умирающие при смерти

смотрят вверх, в правый угол потолка, сосредоточенно, с вниманием, многие со страданием на лице. Кошки чувствуют присутствие невидимого, того, что не фиксируют приборы. Пусто. Болею пятый день. Снег, бело. Мышки живут два года. Тургенев жестоко секли в детстве, каждый день – розги. Так его воспитывала суровая матушка. За то, что он увлекся Полиной Виардо и поехал за ней в Париж, прокляла и лишила наследства. Прислала ему в Париж сундучок, полный кирпичей, – вместо слезно просимых денег.

Март. Умерла Софико Чиаурелли, в Тбилиси, 70 лет. "Хевсурская баллада", "Цвет граната". Фильмы о Сталине. "Есть правда жизни и есть правда искусства, эти правды несовместимы". Артисты и моралисты. Утром разбудили чайки. Слушал Баха, орган, fuga. Бах последние свои годы был слеп. В день смерти прозрел. Последние его слова: "Я вижу! Отдерните занавески!". Жене Магдалене: "Твои прекрасные руки закроют мои верные глаза". Пятница, солнце, синее небо с облаками, идем к метро. Литературный вечер, о Горьком, филологи. Любимое произведение Горького из всего им написанного – рассказ "Рождение человека". 20 томов писем. Резко и зло обругал картины-панно Врубеля на ярмарке в Нижнем Новгороде – "Микула Селянинович" и "Принцесса Греза". Вообще к Врубелю относился крайне отрицательно. Вечером у нее воспоминания, рассказывает про свою жизнь на Римского-Корсакова. Бабушка, затопив печь, ставила ее внутрь опрокинутой табуретки, а сама уходила на кухню готовить. Она стояла в опрокинутой табуретке и заворуженно смотрела на огонь в раскрытой дверце печи. Ей было года два. Метро, синий подонки, ждал с ножом, затаясь у стены. Пикассо. "Корни искусства в эротизме. Искусство не целомудренно. Если оно целомудренно, то это не искусство". Апломб в балете – осанка, прямо держать спину, равновесие. Кураж в цирке – уверенность в себе, уверенность, что у тебя все получится, что будет успех. Кураж – это победоносность, легкость, летучесть, огонь, полет, крылья. Без куража выступать нельзя. Не чувствуешь куража, лучше откажись от выступления, будет неудача, провал. О да! Провал, провал, Урал, Дарьял. Где мой апломб, где мой кураж, юность, свежесть?..

Апрель, залив. Пьянел, вдыхая струйку новой воли. Желтенькие, по обрыву; пробуждение, воскрешение, растительная душа, улыбка природы. Блеск, плеск, рыбаки в нимбах, радость на приморском берегу. Брезжит в голубом тумане голый стол Финского залива. Перышко пылится, забытое, ненужное. Чайка-парус. Куда ж нам плыть?.. Жду, сидя у моря на гранитной глыбе, брошенной тут титанами. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Куда мчимся, рванный мешок?

Полет пчелы. Сестра, ее сон: будто бы мама метет веником, выметает сор из дома. Нефертити – красавица пришла. Пальма – ладонь. Паломники – это те, кто возвращались из святых мест с пальмовыми ветвями. Еду, иголка в сердце, вечерний трамвай, фонтаны, закат над прудом, крик чаек, музыка, аттракционы, гуляющие. Опять, опять это... Тоска, пустота. Пресловутый внутренний голос, суровый судья, мрачный диктатор, провозглашает свои безжалостные скрижали. Воздержись от этих черно-белых клавиш "да" и "нет", не нажимай пошлые пружины. Не понимаю: что с нами? Молчим, молчим. Слова ранят, любые. Снилось нежность, невозможная, прежняя. Золотой сон о счастье. И как жестоко было пробуждение! Вот уже и май. Поехали на Южное кладбище, навестить Марию Афанасьевну. Долго искали могилу. Убрали мусор, посадили цветы. Она плакала. Ее терзают воспоминания, чувство вины: Мария Афанасьевна, любимая ее бабушка, взрастившая ее и взлелеявшая, умирала от рака груди, а внучка – гуляет, как же – у нее любовь, сумасшествие, она в вихре, ночи безумные... День Победы, черемуха. Проснулась, что-то мешает под мышкой. Смотрю: клещ! Подарок с кладбища!.. Ехать куда-то на другой край города, лаборатория, анализы, только б не заразный. Сны, Тамерлан, голубые купола Самарканда. «Счастлив тот, кто отказался от мира раньше, чем мир отказался от него».

Понедельник. Дом-тюрьма, сойдешь с ума. Ее беспомощная, слепая мать кричит по ночам, зовет, терзаемая кошмарными галлюцинациями: будто бы лежит посреди мостовой на проспекте Стачек, а рядом река, под самым боком, вот-вот подхватит и унесет в залив... Едем. Бегут две стальных змей, то сольются в объятиях, то разлучатся. Да куда им друг от друга? Некуда, одна дорожка на двоих на всю оставшуюся жизнь. Вырица твоя! Райский сад, цветут яблони. Оредеж, приветствуя, машет еловой лапой. На берегу дворец строят для Царя Салтана, шум мотора, сварщик на башне, брызги огня. Закат, стою на горе, светило опускается в лес, мошки выются, пузырьки шампанского. Ночь, Ковш в небе, шум поезда. Дни, сны, длинный туннель, а впереди что? Пепел и косточки. В словах тесно, душно от слов; слова вдруг поворачиваются новым, страшным лицом, тревожным, как при ударе молнии, их не узнать. Изгоняем случайность. Тщетно. Блаженный хам, Чекрыгин, Киев, отец-приказчик, в семье десять детей. "Пути своего я не знаю, но предчувствую, и он, как дорога ночью, стоит у меня перед глазами и конец – моя насильственная смерть... Никакого колокола мне нет. Быть самому звонарем, сочинить себе колокольню я не хочу. Звонить напрасно, что может быть печальней или глупее. Надежда? Что же надежда. Впереди то же, что позади. А у меня всегда были сумерки и даже ночь, когда ничего нельзя разобрать. С

каждым днем все меньше веры в людей. Он так хорошо говорил, а его распяли. Я иду прямо и дорога моя прямая". С художниками он никак не сходился, они были ему не нужны и чужды. В 1921 г. выставка, 200 рисунков, в сыром помещении, с потолка стекло, окантовка расклеилась, почти все рисунки упали, стекла разбились, осталось висеть 15 рисунков. В ночь 3 июня попал под поезд, отрезало ногу, смерть. Жар-бог, мировая энергия – душа всех художников, прометеев огонь в их груди. Зевсов орел летит.

Потеплело, косяба весь день. В городе, простужен, ветер, солнце, цветущая рябина; белые ночи, черные дни. Ювачев, чинарь, сумасшедшинка. "Меня интересует только чувшь, только то, что не имеет никакого практического значения. Я мелкая птишка, залетевшая в клетку к большим неприятным птицам". Письмо на столе. Что он пишет, вымерший мамонт? Июнь, холод, ветер, шумящее и гремящее, вихрем по шпалам. Раскрыл книгу – крючки запятых рвут душу. Сны, пустыни, папирусы; змей на пути, жалящий в пятую; шепот чтеца, рушатся стены. Литейный мост. Зачем я тут? С какой целью? Лить крокодилы слезы? Мечемся, из города, в город; стриженная, крашенная, американка. Тени вещей, шаткая опора. Понедельник, теплый дождь, одиночество. Елена, Клеопатра, пурпур парусов, шепот роз, резная корма, взмах золотых весел, звон арф, шея лебедя, черные гребни. Не спи, не спи, Аякс, Одиссей, древнее колесо, плен времени; по черепам ночей грядут новые гунны. День без числа, жизнь была полная. "Мы же с тобой Водолеи" – говорит она, – "вот и ходим, как в воду опущенные". Сады литератур. Тупая боль в висках весь день. «Путь роковой и бесцельный сердцу певучему дан». Невесомость, свободное паренье без точки опоры; кукушка, василек, хлеб; ненаписанная пьеса "Аист и заря"; воспоминания Чулкова. Троица, на кладбище, навестить дорогих усопших. День пасмурный, могильные плиты, отец, мать, – смотрят с фотографий в траурном круге. Авто и авиокатастрофы, кораблекрушения. Король времени Велемир Первый. "Поэзия живет смертью человека. Люди одной задачи живут 37 лет". Ненужное пробуждение, воробы, что у них там, митинг? Комочки тополиного пуха катятся по асфальту, как стадо снежков. Все валяешься, Обломов? Альбомы, аэродромы. Миров, мираж, пора умирать. Испанский закат. Сон разума порождает чудовищ. Искусство начинается там, где сила воображения вырывается из под контроля разума. Пьяная, пухлогрудая, завалилась в лопухах, поет песни. Победы и поражения. Лови мячик удачи! В горьком воздухе неизвестного города. Уехал в автобусе, счастливчик! Желтые отражения. У реки после дождя, вечер, капли с листьев мелодично падают в воду.

Сны, пустота в сердце растет с каждым днем, черная дыра, чудовищная ненасытность сверхзадач, тяжесть тайного смысла, миллионы брызжащих перемен. Провожал на платформе, уехала, горе мое. Жара, гул мух. Лживая трость книжников. Вода сжимается. Тарелка абрикосов на столе солнечным утром. «Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Вернулась, у калитки, ее белая шерстяная кофта, принесла молоко. Дуновение Божие, туман над водой, вздохи капель, муравьи на оголенных корнях старой сосны, дрожат стебельки, тревожно, влажно. Дорога к церкви, облака, целебный воздух жизни новой. Идем поклониться Серафиму Вырицкому. И это ее милое, усталое лицо, морщинки, тень под веками. Уехала к врачу. Чтение, муравьиные цепочки бегущих букв. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Коня готовят на день битвы, но победа – от бога. И погружен в самом себе, смеюсь я людям и судьбе. Года волнений протекли, и мне перо оставить можно». Облачно, читаю, пружины сюжетов. Холодная ночь, замерз, голоса пьяниц. Прямой позвоночник из Китая, пятицветная жемчужина во рту, второго такого в мире нет. Смена психоформ. Влажно, душно, праздные стремленья. Прометей раскованный. Тибулл, суровых сестр противно вретено, беспробудным сном печальны тени спят. Ушла за молоком, ее соломенная шляпка, та самая, с юга, Геленджик. Дрожат розовые головки клевера. Забор, горлопан, блестящи очи его от вина. Нож резучий, еж колючий. Ждем печника. Купались, плеща и фыркая. Усики водяной блохи, сиюминутные памятники лопнувшим пузырям. Сон слова, под сердцем вспыхнул и погас образ возвышенной речи. Тень близится, за нею утро. Гроза, небо ломалось и рушилось. Встретили на дороге двух латышек, мать и дочь, у них хутор в Латвии. Пришел печник, краснощекий, голова бритая, ручищи, осмотрел печь, говорит: работа будет стоить 20 тысяч. Вечером опять гроза, отключилось электричество. Ночь, стою у сарая, летят драконы-гучи, темные, полные непролитой влаги, конца им нет. Печник, другой, косоглазый, в тельняшке, бывший десантник. Мастер оттенков серого прячется в тумане, невидимка. Купались. Дом у реки, костер в саду, трескучий, алая грива, стол с бутылками, «имел бы я золотые горы». Бессвязно, стеклянные колокольчики. Где та верховная точка? Альфа и омега, начало и конец? Сии облеченные в белые одежды. Ночь, утрюмая владычица теней, горсть фимиама; гаснут бледные угольки. Полнолуние, титанический диск слева, над железной дорогой, Медуза-Горгона. Сторукие ели, брошенные дома с разрушенными крышами, совиные глаза фар у ворот, двое, мужчина и женщина, прощание, горячие пальцы, черный сад, подпорки век, лучше уйдем.

Ливень на рассвете, забытая в саду на столе книга размокла. Буквы расплылись, не прочитать, ни начала, ни конца... Ты разбит морями в пучине вод; товары твои и все толпящееся в тебе упало. Печник в черном клеенчатом плаще, под дождем, многоречивый. Печь должна сохнуть полторы недели, сразу топить нельзя, угорим. Цыганский стук копыт по шоссе, тишина и зной. Теплый вечер, плывет саженками, фыркая. Бледный пожар месяца. Гулял один в красной рубашке, толстые купальщицы, заборы, румынское небо, с песнями, ленточки, ножички, кони, гитары. Вечер, розовые языки. Как лук, напрягают язык свой для лжи. Загорелая, рослая, в магазине у шоссе, взглянула на мой голый живот, уехала в черной машине. Другая, у реки, на пне, молодая, красивая, как лошадь, отвернулась. Муж купал овчарку, кидая палку с берега. Мужайся, будь в терпенье камень. Понедельник, привезли песок, самосвал. Вечер. Что он пишет чернилами теней, в шелесте тополей, в городе ветров? Тучи, тревога, гарнизон, артиллерийский капитан, безумец, на плечах вместо погон две мышеловки. О, земля, земля, земля, слушай слово! Холод. Скандинавский циклон. Таскали на тележке обгорелые бревна, брошенные у почты. Будет, чем топить печь. Выдохлись. Работенка для волов, а не для нас с тобой, одуванчиков. С ее-то грыжей и моим упрямством. Пуп развяжется. Вечером пошли гулять, у нее жажда новых путей, забрели в незнакомую сторону, дворцы, жирный модерн. Послезакатно. Сосны у реки, змеи-корни. Красавица, прорвав кристальный плащ, вдавила в гладь песка младенческую ногу. Небо в венцах, стон поезда. Искаженье глубоко, в корне. Афродита гробовая, час гнетучий. Не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос. Дождь, грусть.

Солнечно, ветер, август. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? Не тревожь свою природу вещами. Храни свою высшую простоту. Внутри тьмы вижу свет, чистые кристаллы ритма. Опять один. Вечерняя прогулка. Оредеж твой в розовых отражениях, последние отблески. Наяды робкие. И вольный ласточки полет. Суббота, вдвоем, в лодке, на голове у нее накручено красное. Шампанское, пенистое шипенье, взмахи весел. Не спится, кипятил молоко, светает, сыро. Введу их в землю, которую Я назначил, – текущую молоком и медом, красу всех земель. Красная лошадь, послушно-ненавидящие птицы, Литейный мост, холод бинтов, и свет померк там, а я вот думаю... Умер великий писатель, солнце с бородой, трехногая кошка. Возбну от сна, Шостакович «Альтовая соната». «Мой долг – бороться с музыкальной халтурой во всех ее видах и формах». Ночью гроза, вспышки молний, шум дождя в саду. В Вырицу за лекарствами, кашляет, пневмония, уезжать в город. Солнце, облака, печатал на машинке в саду под яблоней. Дождь,

опять в аптеку, антибиотики, под зонтом на платформе, цыгане. Узбеки, старухи, девки. Туман, уносятся шпалы, рыдая; стучу на машинке. Звук упавшего яблока. Слова не знают о литературе, чирикают, свистят, щебечут. Ночь, звездочка упала, сверкнув. Кто-то родился с козырным тузом во рту.

К нотариусу, телефонный звонок, сестра, что-то нечленораздельное. Преображение, язык мой – перо скорописца. Ночь, белый камешек в небе. Проснулся в пять, мышь, скребется в углу. Капля клюнула крышу, еще одна. Первая электричка, рассвет. Бледная, жалуется, не спала всю ночь, больна, опять температура под сорок. Мир бессонный, безрамный, оса; голоногая девочка на дороге, быстро шла в вечерней темноте, размахивая руками. Река раскинулась, Версаль, огни, отражения отражений. Луна в саду, шорох капель; книга, не помышляющая о читателе; ночная добыча, плавники в корыте. Единственная в мире Ватиканская рукопись, настольная книга Льва Толстого. Дождь весь день, дуновенье, дерзновенье, темная струя, запретный путь. Слепая ласточка, Персефона. Чрезмерность – это ощущение, нет берегов в себе. На электростанцию, плотина, шум падающей воды, пена, камни, заросли высокой травы, низкий полет ласточек, сизо-темно. Загадочное строение, окна в ржавых решетках, крошащийся кирпич, на крыше растет березка. Камень или голова? Глядит, провидец, весь – глаз, зоркая сфера, видит все вокруг себя. До поезда еще час, зашел в книжный. Это ему Твардовский так сказал, у него было: «Нет села без праведника». Дождь, в венце вина, две цыганки, продавщица и другая, у входа, с детьми, мальчик и девочка. Обрыв над рекой, кружочки на воде, всхлипы, темно. Чернокрылый Борей, ночь ужасов, круги ада. Понедельник, натопил печь. Утром солнце, через полчаса – тучи, ветер. Ехать в город.

1 сентября. Размять ноги, "В сторону Свана". Твой Оредеж, чешуя серебрится, на том берегу вечерние огни, Версаль, разбуженный страх. Приснилась связка ключей, но я не знал, что ими отпирать, голос говорил: "Тамань. Иди в Тамань!". Четверг, темно, дождь. Босфор, быки с золотыми рогами. Сквозь это сито все проваливается. Третий день в городе, тьма ДЕЛ. «Внимай только голосу, который говорит без звука». Весть из Индии. Парк, русалка, серебристые волосы. Гулял у пруда. Годовалый малыш, улыбаясь, пошел за мной, взял за руку, не отпускает. Мать, юная, в плаще, Боттичелли, ему: «Ах ты, предатель!». Солнце. Заросли камыша под ветром гнутся и шуршат, залив вдали. Татаринова, Касаткина, Калашникова, Волжина, Лорие, Дарузес, Вера Тарпер, Станевич, Горбова, Жаркова, Горкина, Лан, Кривцова, Немчинова – переводчицы. В парикмахерскую, стригла, высокая, суровая, в траурном халате. Немезида,

Мойра. Дождь, мгла, поездки, больницы, огни, иглы. Девять – уста бессмертного духа. Черный квадрат – гибель ада, в кровь врагов подпустим яда. Иегуда Пен, витебский художник, учитель Шагала, писал обнаженных витебских красавиц, убит при загадочных обстоятельствах. Орфей, белый ворон в венке молний. Алмаз отказа. Будь тверд, как крест. В соседней комнате зашумело женское платье.

Что ж это мы? Половину месяца уже слизнуло! Жизнь наша! В квартире втроем: мы с ней да ее слепая, беспомощная мать, не дающая нам спать по ночам. Кричит, зовет на помощь, галлюцинации, кошмары. Лежит на полу, голая девяностолетняя старуха, скелет, обтянутый дряблой кожей. Гребни скал, хляби небесные, Данте. Воспоминания – вот единственный рай, из которого нас никто не изгонит. Шестикрылый серафим, шум полета, небес посланник, несет в мир новую книгу. Эта книга родит новые, вещие глаза; от них возникнет на земле великая раса провидцев. «Шопен – нежный гений гармонии» – так начиналась ненаписанная книга Листа о Шопене. Глупо, как факт. Бальзак, четверг, цель созданья, ветер с цветущих берегов. Устал, остыл, ничто, ничто моих не радует очей. Пыль воображенья. Пыльные громады лежалой прозы и стихов напрасно ждут к себе чтецов. Прощай, надежда, спи, желанье.

Телесная тоска, грусть на корабле. «Общее искусство знаков или искусство обозначения представляет чудесное пособие, так как оно разгружает воображение». Творец монад, Лейбниц. Темная власть этих клейм и печатей. Всё, всё помечено, всё и вся! Люди-знаки: у каждого на руках и на лбу – след Когтя. Читай Иоанна. Поехали на Крестовский остров, гуляли в парках, у прудов, лебеди, осенний день, Лоэнгрин, Людвиг Баварский. Сидим, скамейка с оторванной планкой. Аттракционы, хождение на ходулях. День Иоанна Кронштадского, у залива, в тумане моря голубом, доска, две чайки, сливы. Педро Альмадовар, испанский дирижер. Заморозок, собрал яблоки, с рюкзаком в город. Суфии, танец слепых птиц. Темно во облацех. Да умолчит убо всякая плоть человека. Мглисто, ветер, медсестра из Нью-Йорка. Аз же не словесен есмь. Речь рождается молчанием. Поэзия – это то, что дает речь молчания. Рига, вериги, прилив, Рильке. Понедельник, мой путь уныл, широкоскупные дороги. Витязь на перепутье, сырое дыхание пропастей, канатный мостик. Своя стезя.

Пятница, октябрь. Последние листы с нагих ветвей, Навои, мелодичный. Тройная сила речи, трехгранное слово, трехзвучие. Бронзовый звон заката. Голос Навои под утро, это он мне говорил. Узбек с гитарой, веселый, принес испанское вино и гвоздики, развлекал нас весь вечер. Сидит всю жизнь в своем углу, вяжет диковинные узлы, такие

никто не вяжет. Это о тебе, о тебе, барсук! Норы дней, новые своры, чем больше, тем звонче. Пора кончать. Гуляка праздный, шатаюсь весь день без дела, бездельник, смотрю иголкой. Чистое острие пишет на дороге осенние письма теней. Очей очарованье. Дождь. Мзда твоя многа зело. Семь сил. Звонки, выставки, галереи. Галерная, хромой художник, сибиряк, ученик Грицюка. Могу гордиться: мой портрет его работы повесит в Русском музее. Пели хором: «Ревела буря, гром гремел», «Священный Байкал». Разошлись поздно, под хмельком, фонари, троллейбус, спать. Речи-встречи, Невский, темные души этих книг. Музыка музыкой, а тут телеграмма тебе, весть без обратного адреса, от какого-то неизвестного: жизнь или смерть. Желтые скорлупки листьев у отделения милиции мокро блестят под фонарем. Это тополь, он, кто же еще? Узнаю тебя, жуть ночная. Мрак, дождь. Эти остренькие кристаллики марганца, я стал суверен, побежал на поезд, тележка тяжела. На углу у магазина, где вино и водка, девица доброзачна зело, подскочила с голыми ляжками, прося помочь. Чем, чем помочь? Не понял, побежал дальше. И тое ноци бысть дождь велик.

Ноябрь, Пушкинская, лирой пробуждал. Ушла на спектакль в Кировский. Книги в бане, на скамье распаренные мужики и бабы. Задумчивые письма, ничего не понимаю; когда понимаешь – это уже не литература, а мы ведь всегда отступники. Много словеса глаголаху. Сила этих линз, лисьи значки, свобода и ветер, который несется над прогорклым, масляным тротуаром. Вечером вместе, я в одном углу, она – в другом. «Мы с тобой живем на разных планетах» – говорит горестно. Чем ее утешить? Ласковым словом? Оно в книге за семью печатями. За шторой черно, космос. Безвоздушно. Стук клюки из дальней комнаты, ее зовет слепая мать, исполнить свой дочерний долг, нести свой крест. Ул. Стойкости, оловянный солдатик, призрак бедный, роковой; эти дни не под знаком мощи. Ветер стих, старые кирпичи, сильная спина воды у плотины, поликлиника, жду, когда выйдет. Хризантемы, слепая старуха в подземном переходе, аккордеон на коленях, поет звонким молодым голосом: «Люба, Любушка... на душе отрадно и светло...». Иду, понурый, через пустырь. Вот уже и холод, тот самый, бесснежный, ужасный. Ничего, ничего. Жизнь. Что ж ты хочешь, друг-жестянка, старый пень, миллион терзаний? Красное вино греет сердце. За что пьем? За то, за сё. Мелькают кадры. «Неоконченная пьеса для механического пианино». Мыли окна на зиму. Темно, мягко, ранние сумерки. Выбрались подышать. Сберкасса закрыта, понедельник. Черные дыры этих дней, пиршество в космосе, переводчики, Туполев, одно легкое. Солнечные затмения вызывают землетрясения. Полюса магнитного поля Земли менялись 700

тысяч лет назад. Если полюса поменяются местами, то Земля встанет с ног на голову, тогда мировые океаны придут в движение, возникнет гигантское цунами, будет мировой потоп, вся Земля будет затоплена. Гуляли в темноте, луна высоко сквозь веточки. Мама, годовщина смерти, Красное Село, кладбище, цветы. Старые фотографии 47 года, родители молодые, лето, август, среди деревьев; отец, полный, футболка с коротким рукавом; мама, юная, тоненькая, держит на руках младенца. Младенец – я.

Понедельник, снежок вьется. Звонок из Вырицы – обокрали нашу дачу. Залезли через окно на втором этаже, взяли съестные припасы. Голодный год. В Петергофе спиливают голубые ели вдоль канала. Погиб Петя, сосед со второго этажа, разбился на машине. Проводил ее до поликлиники к кардиологу. Книги в бане, дневник Льва Толстого. Метель, исполком, встреча с сестрой. Пополнела, постарела. Стихи. Обыкновенное переживание переводится в мистическое. Музыка и действие. Человечество прошло семь стадий освоения цветов: 1. Светло-темный. 2. Бело-черный и красный – огонь. 3. Зелено-синий – как один цвет. 4. Зеленый и синий разделяются. 5. Фиолетовый. 6. Розовый. 7. Все остальные. На Разъезжую, корректура, черный кот, кони, сани. Вечером привезли щенка, похож на мышку, мордочка, ушки торчком, голый, дрожит, забился под диван. Бесснежно, мутно, что-то с холодильником, нужен мастер, недостижимый и единственный. Чтение-осточертение, не суди, да не судим. Этот твой заоблачный критерий, чрезмерность, печень, черная желчь. Кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа добра и зла... Ну да ненадолго...

Декабрь, встреча в метро у ног гиганта, горлана-главаря. Босой алмазник, шлепать по грязи космических дорог километры бессмертья. Точка наивысшего сгущения-напряжения, ненужная свобода, Чехов-чайка. Общепонятность стен, камней, ступеней. Что пользы в нем? Так улетай же! Оторвешься от души Рода. Антей, обесточен. Моисей на Синае, речи молний, голос Бога, спуск, разбитые скрижали. При постройке Великой Китайской стены погибло 8 млн. человек. Камикадзе – божественный ветер. Музыка – самое абстрактное из искусств, а больше всего ранит человека. Слепой в очках, в голубой куртке. Нобиль, динамит. Сара Бернар, пилочка ювелира, пустые скорлупки новых лун. Что было здесь и что будет там? Белый сфинкс у двери, дверь приоткрывается, медленно-медленно, незримо вошла она, смерть. Мрак, бред, на столе свеча в красном круге. 13, слякотно. Умер патриарх всея Руси Алексей. Мутно, сыро, Эратосфен, папирус, свиток 3 метра 20 сантиметров. Артклуб,

выставка. Политехнический, встреча, 4 экземпляра, моих, прогулочных. Тревоги, сухо во рту, блеск бала, лицо ее сияло восторгом счастья. Исполком, 4 этаж, встреча, сестра, бесснежно, безоглядно. Окулист: «Зачем-нибудь вы же пришли сюда?». Невский в красе, желтоглазый коньяк, шумное веселье, павлиний хвост. Погуляли мы с тобой этот вечерок, друг-ситечко! Мощно и филигранно. Это не здесь. Провода под током.

Метель, у нашего дома роют траншею. Таиланд, Сукотаи, слоны, заря счастья, тысяча Будд. Гадамес, древний торговый город в северной Африке, оазис, которому нет равных. Финики – деньги Сахары. Фанагория, древний греческий город на Таманском полуострове. В Фанагории скрывался свергнутый византийский император Юстиниан Второй Безносый. Ему отрезали нос, чтобы лишить власти. Считалось, что человек с увечьем не может занимать трон. Он сделал себе золотой нос. Собрал армию, захватил Константинополь и вернул себе трон. Приказал отрезать носы всем своим врагам. Ходили платить квартплату. Вечером фильм, Урусевский, кинооператор, «Бег иноходца». Ахенский собор, октагон – восьмигранник, золотая гробница Карла Великого. Мело, бело, встречать на Московский вокзал. Опять я всё перепутал, Анна да не та, вагоны, колеса, ель несут. Переступить порог – и конец. Шаг Командора, тяжкая поступь дней, сотрясающих жизнь, нашу с тобой, друг единственный, эту жалость и малость. По ту сторону, над бездной. Не споткнись, не поскользнись. К нему на Ржевку. Сопровождать в аптеку. Он в кожаном американском пальто до пят, неповоротлив, как в скафандре. Вергилий и Данте. Твой звездный час. Поставил свечку перед иконой Божьей Матери и молился за книгу. Михаил Калатозов, «Красная палатка». Древний город Майя Паленке в джунглях центральной Америки, в 9 веке был покинут жителями и забыт на тысячу лет. Живописно-музыкальная плоть мира, трепещущая, чувственная, эта цвето-музыка бабочки-однодневки, танцующей свой предсмертный танец. 31, последний звонок года.

По новому кругу. Январь, яркость. Повез на казнь рукопись, в обувной коробке. Небо в ребрышках, артист, капелька ртути. Увенчанные лаврами, дивные и вещие. Жизненная правда и нравственный идеал. По-своему ставит слова и звуки, в своем порядке. Буран, насморк, Рождество, Казанский, толпа, свечи. Сучья качаются во мраке, Блок, несказанное. Широкое сердце, шире мира, задыхается, синие круги подлунных шестивей. Параджанов, «Легенда о Сурамской крепости», 85 лет со дня рождения. «Память, вознесенная в образ. Я должен вернуться в детство, чтобы умереть в нем». Болезнь, температура, честная ртуть показывает

сорок, и снова вечер. Неделя без воздуха, безвоздушная, семь кошмаров, бронхит, мороз, гололед, черная полоса. Приснилось: пишу книгу «Суеверия великих писателей». Все еще болею, не выбраться из этой ямы. Преступное, низкое, желтое, сытое. Желтый – цвет предательства. Иуда изображался в желтом плаще. Пятница, мороз, на Ржевку. Рукопись-ребенок. Зарезана. Тройка, семерка, туз. Ваша карта бита. Имя во мраке, о подвигах, о славе. Эхо последнего разговора. Он: «Я сейчас вообще живу без головы, болтаюсь, как какой-то кусок говна. Какой-то обломок». Я возразил: «Золотой обломок». Он: «Золотой еще хуже. Золото – значит, тяжелый. Скорее на дно пойду».

Февраль, мне 62, тусклость, месяц-враль, Феврония, камень за пазухой у судьбы. Пушкинская, литературный вечер, обо мне, филолог, казак лихой, орел степной. Заговорят, заговорят! Некуда назад! Телефон в час ночи, пьяная исповедь, совесть мучит. Таянье, дождь. Нет звона. Нельзя писать, нельзя жить. Надо, чтобы дух пылал. «Станционный смотритель», режиссер Сергей Соловьев. Гусар – Михалков. Мойка; нет, весь я не умру; толпа, речи, память той смерти. Кровь на снегу, Черная речка. Весь день молчим. Документальный, американский, Эдгар По. Его называли «Ворон». Был найден на улице в Балтиморе, без сознания, в чужой одежде. Седое утро, 13, снег. Лоран Эскер. Поэзия – это кульминация речи. Когда русская музыка исполняется китайцами, то в ней слышится китайская речь. Сократ о Платоне в передаче самого Платона: «Клянусь Гераклом! Сколько же навывдумал про меня этот юнец!». Сретенье, лыжи, мутный зимний день, мятущиеся метелочки, черная решетка, заснеженные деревья, дома, промельк машин на улице, шахматисты под синим навесом. Философское собрание, кидают камни ума в золотую паутину поэзии. Релевантность – что бы это такое могло быть? Похороны писателя Анатолия Степанова, Северное кладбище, ели-великаны, снег, замерзли, водка, метро Озерки. Встречал ставропольца на Московском вокзале, страшная рань, половина шестого, подвез Миша на машине. Ставрополец шатается, в руках сумищи, весь тираж, 100 экз., привет из Кабардино-Балкарии. Нальчик. Нашел, идиот, где издавать своего «Дон Кихота»! Метель, напился, ссоры. Сегодня заявила с серьезным лицом: «Нам пора расставаться». Помирились. «Чем больше мы знаем – тем больше надо знать, чтобы отменить то лишнее, что мы знаем». Акулы в тумане, их кровожадные рассуждения, Гиперборея, черно-белое мельканье клавиш. Встреча в метро, философ, ум-нус, энтехия. Крыть нечем. Худогласен и косноязычен аз есмь. Книжный магазин «Родина», Велес, буквые дощечки.

Март, таянье, «Хевсурская баллада», молодая Чиаурелли, горы, снег,

две черных фигуры в косматых шапках, наведенные ружья, выстрел. Литейный, Ахматова, библиотечный коллектор, пудовый рюкзак с сочинениями, моими. Постоял в саду, солнце, голубое небо, снег тает, как тогда, в такой же мартовский день, она, в черном пальто с меховым воротником. На Невском окликнул писатель Тропников: «Овсянников, куда бежишь?». Мои безответные звонки, туда, в никуда, в бездну отчаянья. На платформе, блеск рельса, поезд отменен. Добрались, стол на дворе, по-родственному, брат, двоюродный, водит автобус, Евгений, не бедный. Возвращались под хмельком, Луна и Венера. Телефон, из отдела редких книг, делают книгу «Белорусский Петербург», нужны сведения о моей причастности к Белоруссии. Музей Достоевского, вечер Кости Крикунова, Шельвах, Ильянен, мокрый снег. Малая Морская. Здесь жил Гоголь. Сверху идет сила, но внутри нет духа. Орфей – лечащий светом. Сны, темно, мокрая метель, дни-ночи, пусто-густо, хожу, как мертвый, отделение милиции, поликлиника, гаражи, стрекот капель, чириканье воробьев, в глазах черно. Моисей повел евреев из Египта, когда ему было 80 лет. И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. И будет небо над главою твоей медяно и земля под тобою железна. И будешь обидим и сокрушаем во все дни. Все словеса, написанные в книге сей... Среда, читать, голос глухой, как из пустой бочки. Туман, таянье, автобус, еду, черные клены, кресты, тот ноябрь, чистый снег, утром выпал, белый-белый, как божий покров, царствие ей небесное. Чтения, Гоголю, нобелеаты, я читал «Лестницу» и «Жалейку». Сергуненков: «Вы же талант». Случайные встречи, беспамятство, дни выпадают, блеск стекол, Мойка. Вам нужен труд, вам просто нужно заставить руку побегать по бумаге. Славная собака Париж. «Мертвые» текут живо. Приморская, о Платоне. «Ну что это за название!». Не падай, гордый человек! Стой твердо на своих двоих! Стой, как гора! В. Алексеев, А. Михайлов, «Борей», выставка Ю.Медведева, шестеро в лодке. Шесть писак. На носу, сине-зеленый, что-то птичье, морское, волосы-перья. Чайка, не чайка. Не скажи я сам себе, что это – я, ни за что бы не поверил. Тропников: «Я как Печорин, простужаюсь от раскрытой форточки». Звонки в неизвестность, Н., кашляет. После смерти Гоголя осталось имущества всего на 48 рублей и 38 копеек, старые панталоны, жилеты, носки, 262 книги. Александр Родченко. «Клоуны и акробаты не могут быть реалистом. Я предпочитаю необыкновенно видеть обыкновенное, чем обыкновенно видеть необыкновенное. Я предпочитаю из обыкновенного делать необыкновенное, чем из необыкновенного –

обыкновенное». Понедельник, исполком, сестра, дела по наследству. Гуляли в парке, таянье, рыхлый снег. Институт Герцена, с Невского налево, сто шагов, за решеткой, памятник Ушинскому. Тускло, выются хлопя сырого снега. Вход в библиотеку, Зимний зал. Пальмы в кадках, от окна дует, на экране портрет Гоголя, речи ораторов за трибуной, старики и старухи разглагольствуют о великом писателе, о молодом человеке, умер в 43. После речей – столы, шампанское, коньяк, закуски. Вышли, темнеет, до метро, Валентин, бывший моряк, военный врач на пенсии, капитан 1-го ранга, веселый, громадный, орел. А мы с ней – два неразлучных воробушка. Ночью – жар, не уснуть, читал до 6 утра Ю.Манна о Гоголе. Брезжит что-то, призрак нового дня, страшный, пустоглазый, в талых подтеках. И ужасеся сердце людей, и бысть яко вода.

Апрель, отключили отопление. Патриарх Кирилл, Вырица, толпа у церкви, чествование Серафима Вырицкого, богослужение. Дух слова и слово духа. Дух пишет, как дышет. Назначенная встреча на выходе из метро канал Грибоедова, Сергуненков, идем к Сенату смотреть, правильно ли крест поставлен. Нет, не на восток. Большая Морская, в Союз художников, выставка Климушкина. Коготь бессонницы, опять, опять эти страхи. Ибо в ночи не спит сердце его. Тоска, шурувание шин в переулке, всхлипы слякоти, синий фургон «мебель для квартиры». Тускло, Витебский, доска расписаний, асфальт сухой. Троллейбус «восьмерка», до Троицкого собора, ей надо помолиться, а мне?.. Купола синие в золотых звездах, два малых, новенькие, а центральный после пожара еще не восстановлен. В Италии землетрясение, жертвы. В Шушарах железнодорожная катастрофа, столкнулись товарняк с электричкой. Книга ночного неба, реченья созвездий, страница Млечного Пути, светящаяся пыль писем. Блуд слов, ветвистые витии этих чаш. Бодлер, ветер, яркость, крики воронья; прошлогодние листья летят над землей в голой чаще. Страшная, мертвая стая. Мы с ней на Марата; идем, «Медтехника», музей Арктики-Антарктики, белые колонны; полчища грязных городских голубей, у них битва, буря крыльев, шум и ярость, быются насмерть за корм – рассыпанное на ступенях пшено. Душный асфальт, толпы, траншеи, машины, светофоры, вывески; жду, когда она выйдет из этих стеклянных дверей. Обещали дождь, небо уже такое, достаточно мутное и нахмуренное. Вынырнули из метро – вот и он, брызжет потихоньку, запах влаги, тепло, апрель, веянье это. Ничего, ничего, поживем еще. Купили прибор – повышать углекислый газ в крови. Ларин, рак почки, завтра на Березовую. Пролить слезу над ранней урной. И возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к богу, иже даде его. Дымчато, пруды, костры. Гоголь Аксакову: «Вообще же я человек не мистический». Перед

смертью Гоголь по требованию священника отца Матфея отрекся от Пушкина. На обрывке бумаги неоконченная запись: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?». Дальше рисунок : книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Последние слова Гоголя: «Лестницу, поскорее давай лестницу!».

Умер Вильям Козлов. Минута молчания. Почтим память. Пасха. Ее несчастная слепая мать кричит по ночам, галлюцинации. Васильевский, ЛЕНЭКСПО. Пятый час! Опоздал! Гоголь и Белинский. В «Книжную лавку писателей». В пыли по магазинам, не брал и не берет. Плетусь, блеск чешуи, крики чаек. Так это пруд? Крест в облаках. Петра и Павла. А там, за церковью, под солнцем – золотая дымка, земля зеленовато-бурая, по Стачек постукивают трамваи, ветер шевелит сухие, прошлогодние листья, собаки бегают вдали по лугу, играют, весна, апрель. Стою, смотрю. Ведь таким несчастным себя чувствовал, таким ненужным, таким убитым. А тут полегчало. Эта ниточка еще тянется, ножницы подождут. В Карелию. Рань-ранняя. Доспим в машине. Собратья по перу. Поселок Пряжи, встреча в школе, директор, две учительницы, школьники и школьницы, музей боевой славы. Привезли им в дар наши книги. Нас чествуют. Таянье, блеск ручьев на дороге, кучка школьников предвыпускного класса, расстегнутые куртки, юные лица, покажут достопримечательности. Деревня Маньга, старая церковка на горе, деревянная, окошечки, разбито стекло, ветер гуляет, в углу рисованная иконка «Ангел златые власы», обернутая рушником с узорочьем, рушник трепещет на ветру. Лесное озеро, сосны, тут все еще под снегом, дико, дремуче. Обратный путь, Сvirский монастырь, нельзя не посетить. Огромное озеро подо льдом, молитва у мощей святого Александра Сvirского, молебен, колокольный звон, солнце, монастырский двор, черный монах в рясе и колпаке с развевающейся накидкой, березы, галки.

Энергия имени. Гамлет, померкло. Остальное – молчание. В слове светится его сердцевинка. Дионисий Ареопагит, «красота» (калос) от «килко» – «призывать». Проблематично, а не канонично. Количество буквы и количество духа обратно пропорциональны. Чем больше букв (слов), тем меньше духа. Искренний – твой ближний, плечо друга на дороге. Человек есть творение словесное. Красота языка скрыта в архайке. В слове сокрыта самая великая энергия, известная на земле. Человек – это его речь. Скажи слово, и я скажу, кто ты. «Я приходил к вам, братия, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. И слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Ап.Павел. От Бога должно исходить

непонятное слово, если слово понятно, оно слишком человеческое. Для того, чтобы слово что-то изменило внутри человека, надо, чтобы он понял. На примере санскрита: насколько важен звук, сочетание звуков – чтобы настроить на высшие сферы. Говоря о Боге, представляем мы образ или понятие? Понимаем в понятии или чувствуем в образе? Молчание, отрешение от речи – полнота присутствия Божьего Слова. Да умолчит убо всякая плоть человека.

Май, луна-чайка, тесно в стенах; тоска, тоска, трамвай по Стачек, этот стук, лязг, блеск стекол... Махнем куда-нибудь, крыло седое, Татлин-Летатлин... Гулянье, пруд, луг, костры, шашлычные дымки, машины. Малинин в камзоле, «Луной был полон сад». Звонки, встречи, речи; усталый раб, побег, расписание поездов, Витебский. Бессонные ночи, ссоры. Поздравляю: отросли коготки – рвать мне сердце. Мышья беготня, Парки лепетанье. Панченко: «Я эмигрировал в Древнюю Русь». Не любил интеллигенцию, «интеллигент» для него было бранное слово. Показывают картины, немые кадры, рябь дней. Психея-волна, изумрудный блеск изнанки. Нахлынула, схлынула. Библиотеки, читальные залы, книги, книги, каждая кричит о себе: «читай меня!» Разноголосый хор книг. Рев авторов. Писатели – честные, серые тряпки, литература – их бессменно шумящий и грохочущий цех, каждый за своим станком. Что ж, проживем врозь, она в городе, я – здесь, у Бога за пазухой. Натопил печь, жарко; тяга луны, сад, рай в шалаше, вздохи, шорохи; два бледных призрака, Адам и Ева. До грехопадения или после?... Ставил парники, пилил дрова. Вечером к реке, Оредеж, ярко, прожектор с того берега. Так это ж она – чертовка! Царица ночи. Геката. То стеклышко, бутылочное, у него, на плотине... Опять жарко натопил печь. Панченко, свеча, Аввакум, боярыня Морозова в яме, умирающая от голода, просит у стерегущего ее стрельца: «Умилосердися, раб Христов! Зело изнемогах от глада и алчу ясти, помилуй мя, даждь ми калачика». Стрелец отказал: «Ни, госпоже, боюсь». Вернулся в город. Вот еще, она и не думала горевать. Разлука ты, разлука, чужая сторона. С луны свалился? С Марса? Порохом пропах?... Мы тут празднуем. Не знаем, как у тебя, а у нас День Победы! Простором подышать. Березовая роща! Зеленеет! Давно не виделись. Светло, легко, Забела-Врубель, девушка, освещенная солнцем. Громовый хор лягушек, с реки, в камышах. Брачный чертог, песнопенья, Гименей. Поздно. Нахватаемся сырости. Аристотель Фиораванти – цветок на ветру. Решето переводов. Ураганное утро. Шкловский, Якобсон: самолеты нашей мечты так и не взлетели. Аз состарехся и проидох дни. Аз же днесь отхожу в путь, якоже и вси иже на земли.

Любоваться цветущими кленами. Молчим. Вечером ссора, люблю, не

люблю. Помирились. Работал в саду до семи вечера, посеял укроп, редис, репу, лук, салат, шпинат, щавель. Начался дождь, польет мой посев. Встал в пять, светает, мглысто, запахи, тишина, жемчужно живем. Зеленые паруса лесов. Смотрю на мир через призму мощи. Могу, всё могу – и то, и это. Книжки-ракеты, запущенные в дальнюю галактику на краю Вселенной, им лететь миллиарды лет. Глаз солнца между сосен, яркий голос соловья. Южно-приморский гранит, тучи, ветер, костры, шашлыки, пиво, гуляба, музыка, пьяные, толстозадые. Панфилов, Фильм «Мать» по Горькому, оператор Агранович. Красное знамя, вокзал, жандармы, кровь, мать – Чурикова, конец. А мы с тобой предполагаем жить. Продолжение следует. Стоит в степи каменная баба, ждет, когда приду и поговорю с ней. Скучно ей одной стоять века. Самые необходимые слова в роковые минуты. Страшные слова, от них сотрясется земля. Цветущие шатры черемух, майские мечты, белые ночи, соловьи, пруды. Ночью у крыльца, смотрел на звезду, Вега; какой-то тихий, едва слышимый серебристый звук сверху. Чтоб это могло быть? Посадка злаков, тепло, южный ветер, яблони в цвету; кукушка, голос ее из-за реки, гулкий, влажный. В городе. Жаркий день. С ней на Невский. Дворцовая, фотографировались у золоченых ворот Эрмитажа, у атлантов. Пешком по набережной, до площади Труда, закат на Неве, жарко; лайнер разворачивался у моста Лейтенанта Шмидта, белоснежная громадина. Домой вернулись в начале 12-го. Так ведь белые ночи уже, можно хоть до утра гулять.

Июнь, Витебский, везу рассаду, огурцы, кабачки, тыквы. Жара, сирень. Сварил куриный суп и гречневую кашу. В саду, голый. Вторник, молочница, бывшая филологиня, теперь у нее ферма. Пришла косить траву. Четверг, дождь, холод, простуда, бессилье, дышу, загнанная лошадь. Утро, окно, сирень, шум дождя в саду, шелест его струистых страниц. Капитан Копейкин, дотащился он кое-как до Петербурга. Въезд в какой бы то ни было город. Предстанут колоссальные образы. Появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. К чему таить слово?.. Воспитанному суровой внутренней жизнью... Дождь, буря, холод, стихии разыгрались, потрясены основания, ждем конца света, предсказанного майя в 2012 году, уже скоро. Сметет, смоет. Мир-жир весь из дыр. Неартистично, черный квадрат. Троица, на кладбище в Красное Село, отец, теперь и мама, цветы на их могиле, помянули. Фильм о Горбовском. Для звуков жизни не щадить. Холод, мгла, дождь, едем, метро Московские ворота, Новодевичье кладбище, годовщина смерти Миши. Там уже собрались его друзья музыканты. Дирижерская палочка на надгробной плите. Склепы, могила Некрасова, монастырь. Какие все стали старики. Поминали в беседке, жгучая водка. То в город, то из города.

Полный вагон, жарко, сосны, шиповник. Вечером гроза. Сидел наверху у раскрытого окна, молнии летели в глаза, вспыхивая, как цветы. Отгремело, отсверкало, расколотые скорлупки, ехали с орехами, юность, свежесть, спать... Часы встали. Утренние поезда. Сон-Сатана на черном троне. Низвергнут. Стреловидная ласточка. Ревень под окном, сочно-зеленый, лопушистый, разросся. Память о маме. Бедная моя мама, видишь ли ты меня?.. Мечты и звуки, радужные мосты сожжены. «Влечения – мифические существа, великолепные в своей неопределенности». Зигмунд Фрейд. Неужели? Неожданность девичьей ножки у психоаналитического слона. «Промежуток между ужасным действием и первым побуждением похож на призрака или кошмарный сон». Шекспир, «Юлий Цезарь», слова Брута. «Тот, кто отнимает двадцать лет жизни, отнимет столько же у страха смерти». Там же. «Человек не может жить без постоянного доверия к чему-то неразрушимому в себе, причем как это неразрушимое, так и доверие могут постоянно оставаться от него скрытыми». Галка из Праги. Обугленный шкаф, процесс превращения из Александра Македонского в глину для затычки, разрушенный замок, туберкулез, завешание – сейчас все слова, написанные его сновидческой рукой. Всю ночь дождь, и сейчас хлещет, шум низвергающегося потопа. Отверзлись хлеба небесные.

Тучи, стучу на машинке. Дожить до пятницы. На почту, заплатить за электричество. Соломон, вброд через этот словоблудный поток. «Да?» «Да!» «Нет?» «Нет!» Волчий вой. Изречения, тощие и толстые. Искусство – это укус вурдалака. Чувство красоты, правды и меры. Бедное, бедное ископаемое, позвонки, клыки. Жарко. Бродяга с сумой на плечах, «нобелюку получил». Его ненависть к Блоку. Соловьиный сад. Я ломаю слоистые скалы в час отлива на илистом дне. Ахматова об этих четырех: «Волшебный хор». Любимое слово рыжих – «метафизика». Сестра как никак, надо ехать, вот и ей 58. Холмы, мглисто, стол. Обратный путь, дождь, промочил ноги. Ночью, во мраке, при фонарях – фантастический шум ливня в переулке. Долго слушал у открытого окна. Один в квартире. Старый американский фильм, герой побеждает всех, всю банду. Проснулся, сводит ноги, боль жуткая, стонал, выл, растирал голени. Что такое со мной? Все мерещилось в мозгу: этот свой внутренний голос, свой язык, на котором я говорю, только я один, и никто, кроме меня, на нем не говорит. Вот никто и не понимает меня, когда я говорю на этом моем языке, он такой серебристо-сиреневый, птичий, что ли. Чтобы меня понимали, я говорю на их общем, человеческом языке, который для пользования, а свой прячу подальше. Понедельник, два дня в городе. На Пушкинскую, Алексеев. Сжатость и краткость. Это у Хемингуэя?.. Побег из города, поживем, еще бы лет десять. Божья дудка за пазухой.

Собака ночью на дороге, разбудил лай, не уснуть. Воздух в саду острым холодом веет, сырой. Обратно в дом, задремал под утро в шестом часу; уже светло за занавеской, в голове карусель черных мыслей, апухтинских, гром первой электрички в город, многоколесный железный вихрь. Приехала, бледная, озабоченная. Ходили за молоком на ферму, через железную дорогу. Козы, рыжий конь, теленок, куры. Петух, великолепен, орет во всю глотку, горлопан. Молочница (филология) подарила ведро навоза. После обеда купались. Радуга на сизом небе. Уехала. Ночью проснулся, кто-то шебаршит в углу. Мышь, крыса? Лежал без сна, опять дождь, шум ливня, уже светает, да и была ли ночь. Утром облачно, запах влаги в саду, солнце выглянуло, повеселей в мире; а вот и опять тучи, темные, дождевые. У Льва Толстого есть эпизод с моей фамилией: некий Н.П.Овсянников написал рассказ «Эпизод из жизни графа» и прислал Толстому на суд. Тот сделал в этом рассказе поправки. Похолодало, сплю на веранде. Острие роста, на этом хрупком острие нового, на кончике языка готовится удар новизны. Лев Толстой о Кюхельбекере: «Обманное призвание». Правда глаза ест, горькая луковица. Извлек экстракт из древа жизни: добро и зло. Воскресенье. В городе, один в квартире. До полуночи смотрел «Остров сокровищ», Сильвер – Борисов. Проснулся в девять, холод, дождь. Побег из города, бессонная ночь, больные, слепые. Спал наверху, под утро разбудили вороны, грохотали когтями по железной крыше. Распахнул окно, тучи, запах влаги. Лег опять, дождь начался, шум дождевой сильнее, громче, с нарастанием. Забылся. Опять проснулся, дождь все хлещет. Сад затоплен. Привезли дрова на самосвале, дотемна таскал к сараю. Чурбаки, колоты. Лев Толстой о подделках, лжеискусство. Сплю без снов, ночи теплые. Живем вдвоем. Она в одной комнате со своей несчастной слепой матерью. Три года как ослепла. Имя с берегов Эгейского моря, твержу, твержу эти л, а, р, с. Посреди ночи разбудил ее страдальческий голос, вопль отчаянья. Что-то с грохотом упало на пол. С нашей дачей дощатой может и не то случиться...

Зацвел жасмин. Колю дрова. Толстой против Шекспира, обвиняет в отсутствии меры, все у него преувеличено, все чрезмерно. Что же мне делать с этой чрезмерностью? Куда мне с ней? В Елабугу?.. Мглисто, сад после дождя. Буква – атом письма, незримый господин, раздвоенный язык, жало мудрой змеи. Решето, стерто, Астарта, увенчанная луной; и птичий клюв Тота, бога писцов – рогатый повелитель моих кошмаров; громкий разговор трех цыганок на дороге у нас перед домом. Разбудили, ведьмы. Бродяга, вброд, через родную речь, утонет идиот, глубоко, омуты. Стихотворение – это лингвистическое событие с фитилем в руке

динамитчика. Тучи, влажно, мешает музыка у соседей. Снилось книга, написанная водой и ветром, – то, на что горестно отзывались мои нервы. Может быть, это последняя книга, написанная мной в соавторстве с этими двумя стихиями, когда нервы еще отзываются на жизнь, угасая, замирая. Пишется не для читателя, не для себя, не для самой книги. Пишется, потому что нервы дрожат от ударов извне и отзываются то стоном боли, то вскриком радости. Нервы текут, как вода, как река, от истока к устью, от рожденья к смерти, нервы-струны, нервы-струи. Орфей растерзанный, вдоль Гебра, вдаль... Кончено, кончено... Голова и лира... Замерли, рояль молчит. Сосна. Закат. Каждый день этот исполинский Уход. Опять и опять тонуть в себе. Погружение в бездонное одиночество. Считается подводным свеченьем разрезанный надвое гигантский лимон. Фразы-водолазы. Столкновение поездов смысла и образа в одном слове, катастрофы, взрывы, на суше и на море, на небе и на земле. Мысль мгновенно меняет лицо, она уже незнакомка, упругие шелка, духи, туманы... Откуда она? Из головы Зевса? Или дитя воды и ветра? Чья это игра? Кто играет с человеком в жмурки и кошки-мышки? Это Водолей, это Он со мной играет, неумолимый, на жизнь и смерть. Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу... Сегодня нашел в лесу диковинное корневище, Божье создание. Нерукотворное.

Формы и формулы, орел и решка, двуединое жало. И Божий лик отобразится в них. Мать-Земля, Гея, в головах всех ее сыновей одни и те же мысли, Ее мысли, сполохи Северного сияния, игры творящих превращений. Кто ты, Великой Матерью любимый? Смертной мысли водомет... Но длань незримо роковая... Мысль, Царевна-Моревна, растворенная в море-океане, в воде кругло-синей, София, Премудрость Божья, по всей Сфере щедрот. Кристаллы соли, выступившие из центра сил. Бедные кристаллики, им хочется обратно в раствор. Облачно, ночи потемнели, душа – шар, внушение свыше – нашим, дыхание бога. Юлий Цезарь отсчитывает последние золотые денечки своего месяца. Вначале были чары, волшебство, колдовство, шепот молитв и заклинаний, колдовская сила, Орфей. Искусство – иридий, редкий металл, неземной, метеоры из космоса. Сказанные слова – это только пузыри на поверхности моря, обнаруживающие след плывущего под водой на глубине неизвестного чудища. Настоящие, главные слова – это несказанные слова, подводные. Слово плывет на глубине. Сказанные слова этого глубоко плывущего скрытого Слова – пузыри на воде, следы его движения. Читатель плывущего на глубине Слова, ау, ау!.. Писать тревожно и тщательно. Вот ты какой словесник-кудесник; посмотри, щепка, на себя в зеркало! Скелет тебя краше! Высосало слово из тебя всю

кровушку, тварь дрожащая, бессонная, вздрагивающая от каждого шороха. Звук рисует узоры у меня на столе, завитки морских раковин, приливы и отливы, пульс воды и ветра, ритм дыхания Водолея. Тредиаковский, серебряный колокольчик его трактата. Стрела кремнистого пути. «Поэзия – токмо звук». Тяжелые сны, сырые ночи, утром роса, ласточки, солнце на час, обессилен, руки как ртуть, дрожу, безлунность, капельки звезд дрожат вместе со мной, всю ночь, всю ночь... Страшна бесчеловечная старость. Приехала, купались. К вечеру у нее поднялось давление, лежит, голова замотана белым платком. Запах еще горячего смородинового варенья. Остынет – разольем в банки. Ночь, дождь, мрачно.

Проснулся с головной болью. Прохладно, комета. Катится это черное, многоглазое колесо; бабочка порхает над маком. Асмодей, чрезмерность. Гомер, тугие паруса. Гордо задранная голова, пиджачок, тубетейка, всегда и везде читал свои стихи, громко декламируя, маша правой рукой, левая, сжатая в кулак, в кармане пиджака, опустил веки, никого не видя, слепой, натываясь на встречных. Возьмет за пуговицу, отведет в угол или в тень и читает свои стихи, в Крыму, в Москве, в Петербурге. Потерял Данте на итальянском. Волошин требует книгу назад. В ответ ярость: Волошин подлец, мерзавец, как он смеет требовать! Пишет Волошину громовое письмо в Коктебель: «Знакомство с Вами – это большое несчастье». Понедельник. Всю ночь дождь, гроза, Илья-пророк, просыпался раз пять, сыро, рано, поезд прошумел, как птица. Елена, еле-еле, западают клавиши памяти, старость. Серебро годов, с тобой мы в расчете, молниями телеграмм... Володе шесть лет, на дворе чуры – грузинские кувшины для вина, большие как быки, лежат на боку. Володя забирался в такой кувшин и декламировал оттуда своей старшей сестре Оле: «Был суров король дон Педро». Слои языка, породы Земли. Душа моя! Гости ты мира... Пчелы черных солнц, язык бессмысленный, солено-сладкий. Ночь, дождь, вино, горячий шепот, луна. У, какая! Дракон в тучах! Спускаться по ступеням в подземелье своего сна, спать. Бред, голоса из космоса. Выросли новые органы чувств, ломкие, чуткие, как отраженья на призрачной, черной воде; усики, ромбы, спирали, глухота, слепота; устрицы, спящие в лунных раковинах.

Плющ разросся, завесил окно на веранде, надо его обрезать, – говорит она мне – чтобы стало опять светло. Психопатия, радиоприемник у соседей. Холодная ночь, спим врозь. В семь утра спустилась с верхнего этажа, говорит, замерзла. Шум поезда – лавина с гор, не хочется вставать так рано. Да и зачем? Лежи себе, лежачий камень. Самое важное скажется само, лозы прозябанье, три пальмы, пустыня-гусыня, совесть-повесть. Вольтов внутри нет. Чувствую чистые линии письма, художник бедный

слова, взыскательный искатель фраз. Курносая Истина на троне-черепе. Полнолуние, сыро, холодно. Разбудила собака на дороге, лает и лает. Вышел за калитку отогнать. Луна гигантская во все небо, Ярое Око. Ненаписанная книга, призрак, смотрит, вещие зеницы, Иезекиил. Лежу, труп, в пустыне, жду воскресения из мертвых. Божий глас: «Встань!» Встаю, иду. Что-то брезжит в тумане. Туман редет, берег, старая сосна, река. Так это наш Оредеж! Он самый и есть! На борту лодки номер желтой краской. Не прочитав, расплывается. Беспамятство, забвенье, Лета. Ладони ковшиком, зачерпнул, сладкая, утолит жар. Чувствую в себе громадную силу. Эта сила ведет за собой, как яркая, сверхмощная звезда. Вот она растет, разгорается в небе, все больше, больше, грандиозная, космато-огненная. Ведет за собой – вестница великой судьбы...

Идем к молочнице, в баню, солнце, яркость, жаркий летний день, двор, куры, козы, гуси, рыжая кобыла. Опять ночь, чары луны, невесомость, экстремизм этих излучений, ножевых, пронизывающих кости; сам я в белой рубашке, лунный, безумный, бессонный, с камнем в руке. Кто дал мне этот белый камень? Имя на нем начертано. Мое имя. Это имя тайное, не то, каким меня называют здесь, на Земле. Это мое тайное имя знает только один Бог. Вот Он зовет меня, глас Его слышу в ночи, призывает меня, произнося это тайное имя. И я иду, иду... Опять снилась ненаписанная книга, с рисунками морей и гор, как гигантская жемчужина в перламутровых переливах, скрытая в раковине звездно-сферической обложки. Загадочная способность писать вилами на воде, коготь льва, хвост скорпиона. Вышел, луна, белое пламя, ледяной жар, страшно. Вообще – жить страшно, как это я прожил 62 года с таким страхом? Постоянная дрожь внутри, нервная лихорадка, ничем не унять. Спим врозь, брачные узы ослабли, вот-вот оборвутся. Слышал: встала в семь, ехать в город, не выпалась, ее слепая мать, шум и крики среди ночи. Измучилась. Утром – солнце, и ничего, опять живется, радость-младость. День, как на дне, тяжесть водяного столба давит на позвоночник. Сад замер, гроза зреет, тень Титана. Читаю Книгу. Чудовищная! В каждой букве заряд в миллион вольт. Написано молниями. Ослеп. Пошел купаться. Вода, жизнь, Мильтон, огнистая рябь, письма солнца, порывы теплого ветра, еще лето, и я на дороге, прозревший. Мгисто. Снилось, будто я сплю с коровой: морда коровы, а тело женщины. Минотавр любви, страшные ласки. Утром у реки, три резиновых лодки с гребцами, проплывали мимо и уплыли, исчезли из глаз. Записав эту фразу, резко понял: лодки в глазах и лодки в словах – ничего схожего. Ужасное открытие! Сильно испугался. Девушка, письмо, дикие песни нашей родины, вся в черном, вся стерлядь. Железный тон. Мощь в тонких вещах.

Тонкое –вещее. Вибрация струнной души, нет-нет да и послышится какой-то только мне свойственный тон и тут же пропадает в гласе воды и ветра, заглушается в шуме мира. Идем с ней через лес к платформе. Прислушались: не поезд ли шумит? «Идет!» воскликнула. «Бежим!». «Подожди!» остановил я ее. «Это ветер в соснах. Никакой это не поезд. Ветер, ну, конечно». Она не верит, вслушалась снова. «Ну как же ты говоришь – ветер. Это поезд, я точно сейчас гудок слышала». Но я-то не слышу этого гудка, который, якобы, слышит она. Сказано же: поезда отменены до вечера. Потемнело, туча, черно-сизая, ползет с запада, от реки, над дорогой, на нас. Сейчас пойдет дождь...

За стеклами в Вырицу. Она знает, где продают. Стекол нет, будут в конце августа. На рынок. Скрылась за дверью, той или этой, мясо, мед, рыба. Стою, жду, лотки, прилавки. С громом проехал фургон, едва не задев меня бортом. Потемнело, дождь. Черное крыло. Ее все нет. Лариса – ее свистящее волшебной флейтой имя. Ах, Моцарт, Моцарт! Пропала, сквозь землю провалилась. Персефона, ласточка, Орфей в аду. Тревожно, страшно. Сны, звездно. Лечу ввысь, в эту разверстую бездну, держа в руках тетрадь и ручку, быстро-быстро записывая неслыханную, фантастическую, неземную жизнь. Сажу в норе, глубоко-глубоко под землей и пишу какую-то земляную, геокнигу с кристаллами различных, неизвестных миру пород. Вулканическая тоска, не печалься, друг пепел. Гаснем помаленьку. Стар – убивать. На пепельницы черепа! Старому лучше не жить. Спать, вспять. Маяковский, его последнее выступление. Шатаясь, сошел с трибуны, смертельно усталый, разбитый, бледный, сел на ступеньку, никто не подаст стул. Зал орет тысячью злобных глоток: «Маяковский, ваши стихи нам непонятны! Вы не поэт!». Потомки, потомки, кипячая, сырая, товарищ жизнь, брызнь. Дождь весь день, к вечеру стих, гуляли у реки, мрачно, сосны, корни. Читаю, птичья карусель, Чайковский, патетично, время содомское, стакан холеры. Неписательно, ни буквы с пера не льется. Оредеж в тумане, плавники, жабы; Набоков на велосипеде, блестит звонок. Рыбак в лодке, размахнувшись, закинул удочку до середины Днепра. Эх, мировой замах! Ловец! Зацепит за сердце, поведет смывком по душе. Пепел рухнувших планет. Полуслова и полутени. Светало. Но не рассвело. Клубки и спирали, хороводы, узоры, черный воздух этих миров. Страшно спать, тропа Трояна, шумер, халдей, пилотирует, скалы, волны, детская пятка Икара. Мглистость сада в запотелом окне. Рано, еще не заря. Под утро забылся. Поезд-петух.

Ходили в лес, грибы, брусника, черника, вернулись под дождем. Вечером писал письмо в Ставропольский край. Спал плохо, комар пищит над ухом, дождь постукивает по крыше сырыми пальцами капель. Лежу,

мысли. Оборотни. Дерево, человек, слово. Яркость. Скучен мне понятный наш язык. Мой странный, мой прекрасный брат. У реки три Евы сидят под елью, смотрят на закат, свистят. Звездно. Ледяная броня, под ней только сердце. «А ты поди да и победи». Куинджи. Пир во время чумы. Ураган аравийский. Детство Петра Первого, юность, Оружейная палата, фрегаты, Переяславское озеро, стрельцы, Софья, женитьба в 17 лет, Лопухина, красавица, топоры, пищали, пушки, знамена. Облака. Отравился. Собака на дороге. Ночь в грозовом мешке. Или это конец, или начало. Чего? Конца? Петр сверг Софью, 1689 год. Корабли, Гордон, Лефорт, фейерверки, пиры, великий шкипер, большой бомбардир, сын твой Петрушка, Архангельск, стремление к морю, Белому, Черному, Азовскому. Азов, турки, татары, пушки, стрелы. ... Сыны Слова, а вокруг густопсовая сволочь пишет. В Вырицу, заказали стекла. Жарко, на рынок, купили мяса, рыбы, помидоров астраханских, моркови, персиков. ... Петр под Азовом, два штурма, неудача, отступление, настойчив, добьется своего, строит струги в Воронеже, энергия, не ставит себя во главе, прячется за подставным, носит немецкое платье, когда вся страна ходит в русской одежде, самые близкие друзья – иностранцы, Лефорт, Гордон, особенно Лефорт, лучший друг, мин херц. Петру 24 года. ... Еду в город, отвезти рукопись в Публичку, в ЦГАЛИ, успокоить совесть. Думал: достичь высшей точки силы в слове. В Вырицу за стеклами. Тепло, облака, обещали грозу, парит. Стекла упаковали, обернув в покрывала и перевязав; привезли на такси, шофер почти мальчик. Ночью дождь. Слепая за стеной не дает спать, бродит ночью; Лариса с ней в одной комнате. Измучилась, неся этот крест. Несчастные обе.

Опять про Петра. Азов взят. Большой капитан возвращается в Москву, Триумфальные ворота, гром пушек, знамена, речи. Большой капитан идет пешком за каретой раненого Лефорта, верзила в черном немецком платье, в шляпе с белыми перьями, чулки, башмаки. ... История больших энергий. Вся история – это только история энергии. Энергия смотрит сквозь свою черно-белую призму. Ян-инь. Умереть с пеньем на устах – долг поэта. Хоть бы струйкой шевельнулись воды по хребту зеркального озера. Конница, Чингисхан, черные имена, степь в стременах, мастью весь в молнию я, выше по кaste, чем люди, я обдаю огнем. Шмель в пыльце, мельник. Поход в лес, на лодке через Оредеж, путь она хорошо знает, набрали на ее любимом месте, грибы, брусника. ... Большой капитан Петр Михайлов едет за границу, в Голландию, учиться строить корабли, с ним тридцать, неразлучный Лефорт, двойник, такой же высокий, чуть ниже, пошире в плечах. Среди тридцати и Алешка Меншиков. Через Ригу. Срочное возвращение в Москву, стрелецкий бунт, отрубленные головы на

колях. Цыклер, Пушкин, предок поэта. Петр недоволен приемом в Риге, впоследствии это станет одной из причин войны со шведами. Теперь он у курляндского герцога, тут другое дело, тут его чествуют, как должно, как великого царя. ... Вставлял стекла в рамы, обкусывал алмазом, провозился до темноты, луна вставала, огромная, желтая. Электричка промчалась многовагонным, железным вихрем, кидая отсветы на траву. Лирично. Состояние сердца, несовместимое с моим революционным достоинством. Не исполнятся мои высокие начертания, неизвестность зароет их в мрачную тучу свою. Блаженный, единственный проснувшийся из всего, что ни есть в мире, плетется, шатаясь, как пьяный, по своей одинокой дороге, бормочет что-то бессмысленное себе под нос. Очумелый, нищий, голый. Никто его не поймет, никто ему не поможет. ... Петр в Пруссии, одарен янтарем, доволен. ... Слепая, ее бред, везде видятся ей свинорезы. «Вот только что прошел!» говорит, сидя на кровати. «Не верите? Вы бы видели его лицо! Такой страшный! Не понимаю, почему вы его не видите. Сейчас он опять придет». Уронила на грудь седую, как изморозь, старую, девностолетнюю голову. Несчастливая, слепая, сумасшедшая старуха. Починил раму, вставил стекло, луна.

1 сентября. 20 лет со дня нашей свадьбы. В Вырицу в церковь как семь лет назад. Облачно. На ней китайское платье брусничного цвета. Подходим, звон колокола, удары редкие, звучные. За церковной оградой лавка, зашли купить свечей и монастырского меда. Пока она покупала, я вышел из лавки и увидел, как из церкви вынесли черный гроб; впереди девушка несла, держа обеими руками, большой деревянный крест; за ней траурное шествие с гробом под пенье сопровождавшего священника и колокольный звон. За ворота к черной машине. Я подумал: как хорошо, что Лариса в лавке и не видит, только б не вышла, надо как-то ее задержать. Вернулся в лавку, она занята рассматриванием меда в банках, спиной к окну. В окно я увидел, что все уже погрузились в траурную машину, вот – отъехала. Вошли в церковь, темно, никого, мы одни. Лариса молилась у иконы Божьей матери с младенцем Иисусом. У Богоматери темное, закопченное лицо. Похоже на старую фотографию моей матери, юной, хрупкой. Мне три года. Потом в часовню, где гробница Серафима Вырицкого; Лариса молилась, встав на колени перед гробницей. Снаружи около часовни под навесом свечи горят, воткнутые в песок. Мы тоже свои свечки поставили, рядышком; они быстро сгорали, ветер раздувал пламя, они своим пламенем то соприкасались, то отклонялись и горели отдельно сами по себе. Вот так и мы сгорим. У вокзала купили бутылку чилийского вина. Устроим пир. Лидия Андреевна сидела с нами за столом, седая, слепая, тощая, кожа да кости, полумертвец. Семь лет назад за этим же

столом была совершенно здоровая, зрячая, веселая, остроумная, шутила. Где все это? Ужасная перемена. Заклеил башмак. Две бутылки пива. После обеда сидел на стуле в саду, дремля. Солнце садится, закатное марево. Лариса срезает садовыми ножницами старые стебли малинника, сухой шорох. Облачно, ветер. ... Петр в Амстердаме, каждый день его осаждают несметные толпы любопытных – посмотреть на московского царя. Петр в гневе, прячется от толп, высокий, усики, голова трясется. Строит корабли. ... Мглисто, тучи, дождь. Не выпались. Слепая всю ночь колобродила. Вечером на кухне перебирали бруснику. Три старухи за стеной горланили песни, празднуют свое столетие.

Петр в Амстердаме строит корабль, рубит топором, несет бревно на плече, зовется плотник Петр Михайлов. Смотрит морские сражения на заливе, потешные, в его честь. Свидание с Вильгельмом Оранским в Утрехте. ... Дождь, беспрерывно, вторые сутки, потоп, сад залит. Это слова вод многих с неба льются, ливнем с туч, чудеса, цветки крови. Красные кровавые шарики, поющие, танцующие и рисующие. ... Петр в Гааге, в гостинице «Старый Дулен», полночь, носится из комнаты в комнату по всей гостинице, выбирая, где спать. В каморке на полу на медвежьей шкуре спит гостиничный слуга. Петр кричит на него в яростном иступлении: «Вставай! Вставай! Пошел вон!» Слуга, разбуженный криком и толчками, в ужасе убегает. Петр ложится на его место, на теплую, согретую телом слуги, медвежью шкуру, и, успокоенный, засыпает. Крепко спит до утра. ... Дождь четвертые сутки. ... Петр в Амстердаме, построил собственноручно фрегат и спустил на воду. Разочарован. Поедет доучиваться в Англию. Вильгельм Третий, английский король, подарил ему превосходную яхту. ... Дождь все хлещет. Носа не высунуть. Сидим взаперти под замком бури. Ярость и шум вод многих. Гнев Божий за грехи наши. Возмездье. Маяки смыты. Колосс Родосский рухнул в море. Тринадцатый апостол. «На каторгу захотели?» спросили его в редакции. «И как вы можете соединять лирику и большую грубость?». Делаю из досок и железа щиты на окна. Боимся, стекла не выдержат ударов воды и ветра. ... Петр в Англии, живет в Лондоне в двухэтажном домике из четырех комнат, спит в одной комнате с четырьмя своими приближенными, воздух тяжелый, проветривают, раскрыв окна. Посещение английского короля Вильгельма. Когда король сел на стул перед Петром, на него в ярости бросилась обезьяна Петра, его любимица, купленная им в Голландии. Вильгельм заказал сделать портрет Петра ученику Рембрандта. Петру 25 лет, лицо в конвульсиях, дергается глаз, ужасно на него смотреть. Высокий, стремительный, тяжеловатая походка.

В городе. Жаркий день, ветер, застолье. Дожди, один. Воспоминания Менделеевой, последние дни Блока. В приступе бешенства разбил кочергой бюст Аполлона на шкафу у себя в комнате. Разбив вдребезги, успокоился. «Я только хотел посмотреть, на сколько кусков расколется эта мерзская рожа». Из города, куда глаза глядят, вагон полный, ржаво-золотое, проносится за окном, дует, страх простуды. Психея, вздохи, шелест, и звуков и смятенья полн. Поэту поется, жалобный ветер, явил нам новы тайны. Скоро прощаться с дачей. Сезон кончается. Щиты на окнах, от воров. Река, дикий край, змеиный извив, даль в тумане, сфумато, лес стеной с двух сторон. Хладно, странно. Читал до полуночи, Бекетова, тетка, о Блоке, детство-юность. Клубы черного дыма из-за забора с соседнего участка. Ведьма жжет что-то. Видел вечером, седые космы, в резиновых сапогах. День хрустальный, лучи сил, стол в саду, железо юношей, Велемир, парус времени, бело-черный. Блок: «Я ведь тоже косноязычный». Вторую неделю я здесь один. Сколько бы я мог так вот прожить, Робинзоном? Староват, Азорские острова, годы-чайки. Продолжим бежать по строчкам воды и ветра. ... Петр в Лондоне, царь-плотник, московский дикарь, два брадобрея, послал в Москву брить бороды. ... В саду за столом. Бабочка села на страницу, я пишу, а она спит рядом, сложив крылья. Ей снится Чжуан-цзы. Вечером – в лес. Набрал сыроежек. Обратно, дорога, мощь заката, пылающий шар. Бронзовый звон над горизонтом. Ночью мышь в углу, скребется, мерзавка. Не уснуть, нервы.

Ван Вэй. Заоблачный уровень. Запрет перу писать ниже той верховной ноты. А тусклые строчилы терзают бумагу, брызжа слюной неукротимой мании. Облеванные словоизвержениями страницы. Нашествие неистощимых авторов. Апокалипсис литературы. В черном небе молний поступь. Сад потемнел, тьмой поволокоста. Звук, знак, узор. Усатый сом смысла в омуте, сам с усам, зачем он там прячется, поющий, бас, артист, Шаляпин? Ключ отрадный, корень мирового звука. Вечером гулял у Оредежа, осенние виды, тучи, черная рябь, три лодки на цепях, то расходятся, то опять сходятся носами к одному железному столбу. Центр притяжения, ось дао. Читал до полуночи. Петр покинул Англию. Дом, в котором жил Петр и его компания 21 человек, оставлен в ужасном виде, все переломано, изувечено, искалечено, разрушено, и дом, и двор. Все испоганено. Адмирал Бенбоу в ужасе, не хочет возвращаться в такое жилище, требует возмещения убытков. Анненский о Блоке: «Надменный мертвец». Не поняли, что – маска. Застенчивость, необщительность, замкнутость, нелюдимость. Боялся людей, боялся ходить в гимназию. Статный, прямая спина, в осанке что-то даже не кавалерийское, а –

горское, черкесское. Что-то байроническое. Каменное лицо, нет жестов, голос глухой, надтреснутый. Читал свою «Незнакомку» в доме на Галерной, глаза, полные слез. Мглисто. Дрозды, их полет, обрывистый, трепетный, в темном небе. Еще тепло. Еще вижу и слышу. Еще не вернулся в лоно Великой Матери, сын праха. Светятся золотые точки форм, вот они всюду, то там, то тут, алмазные зерна, из них вырастет кристалл Нового Дня. Твой алмазный венец, Водолей! Слышу, слышу над моей головой трепет и шелест твоих широких крыльев! Это Батюшков, безумная душа, вращает урну холодную, валя шумящий дождь, седой туман и мраки. Эти незримые семена форм везде, лучи силы; ты, Водолей, рассеял их в мирах своей высокой дланью. Тень твоего крыла взрастит мощь, удар молнии. Уже отточен серп для твоего урожая. Собрал сливы. Пошел в лес, пусто, холодный закат. Заря, заратустрь, сеятель очей, еще один птенец из твоего гнезда, белый ворон. Оредеж, ветер, золотые колосья блеска. Сила солнца размазывается, бесформенность. Черный плен ночей. Узнал траурную весть: 1 сентября умерла Нина (56 лет), во сне. Так вот почему тот знак мне 1 сентября, когда мы были в Вырицкой церкви!

В городе. Дождь, хандра. Давид Бурлюк: «Искусство вещь спорная, условная и жестокая». Каменский: «Поэзия – это праздник бракосочетания слов». Для себя я единица, для улья я – нуль. Поэт состоит из поэтов. Собрались в гости. Сестра, ее зов. Елена, ахейские мужи... Поезда не ходят. На автобус. От Красного Села пешком, мимо озер, день переменчивый, ну и характер у него, то дождь, то солнце. Осень, листья, Лариса, ее черная толстая куртка на молнии. Улица Нагорная, так, значит, лезть на гору. У сестры строительство, сад, сливы, яблоки. Пили водку. Возвращались домой в темноте. Пьяновато, тоску притупить, это жало черных дней нашего возраста. Всё, занавес, дитя, прощай. Ржавь, явь, сентябрьская падаль – червям; пора, пора, частичка бытия, дни-перышки, отлетался, оттрепыхался; числа стучатся в ночное стекло. Я не разгадчик их вещей знаков. Такой уж настрой у этой скрипки. Месяц – алфавит из тридцати букв-звуков. Лунный алфавит: у каждого дня свой звук и своя буква. Каждый месяц музыка лунного алфавита повторяется. В 2036 году Земля возможно столкнется с громадным метеоритом, и все живое на Земле погибнет. Поздно созрел, поздний фрукт, зимнее яблоко. Человек-луч, иголка, затерянная среди неведомых равнин, острие устремления, не туда, куда все смотрят. А куда? Ведь и ты, как все – вода. Еду, дождь, муть, осенний лес, мысли, рукопись. Что горевать, та страница перевернута.

Октябрь уж наступил. Не топят, холод, хаос, ахейцы проявляют

цепкость. Душа искусства – игра. Искусство – целесообразность без цели. Канта наголову бьет. Нервы, сердце, крушение, пустота; кожу как мертвец, руки опущены, ничего не делается, все висит в воздухе. Буран, Есенин, машина образов; на листах писал разные слова-образы, разбрасывал по полу как попало, подбрасывал над собой случайно выхваченные листы, ловил и складывал вместе, иногда получались очень яркие образы и даже фразы. Песня звериных прав. За песню душа отдана. Черный шелковый шарф с красными маками на концах – подарок Исидоры Дункан. Чернозубый ангел. Не чистил зубы. Набережная Макарова, Вечер Голявкина, вдова, стол. Петр Кожевников в раздевалке, мимолетно: привет Ржевке. Салон красоты. Две девки, в брючках, курят. Нервная, истерика. Проводил до поликлиники. Пруд, мостик, утки, студеный денек, ржавь каштанов. На Фонтанку. Татарская фамилия. Шах и мат. «Тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять. Без тайны нет стихов». Капелла, концерт Гаврилина. Через дворики, Шведский переулок, Малая Конюшенная, Казанский, фонари-тюльпаны, Гоголь. Темно. Толпа в метро у канала Грибоедова. Роден, статуя Балзака, уродство, травля в газетах, слава. Рильке: «Каждый гений ужасает свою эпоху». А.Зверев, переводчик, о Набокове. Селенджер, поиск подлинного, долгое молчание. Писать или не писать, вот в чем вопрос. Ветер, танец листьев. Алмазы в желчном пузыре. Еремин, Хромов, Чертков. Голявкин, юбилей, бывший кинотеатр «Рекорд». Петр Кожевников на сцене. Фильм о Голявкине. Дождь, мокрый асфальт. Балтийский вокзал. Исайя Берлин, «Еж и лиса». Лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь. Пошлость победила меня – и там, и здесь. Кровь шумит у меня, как у всех, кто один на один с темнотою. Адмони. Выставка в Манеже, художник Ю.Медведев, групповой портрет: Алексеев, Чернышев, Лебедев-Серб, Тропников, Степанов, я. Перед нами лежит голая бабища с толстыми ляжками (муза), пустые бутылки из-под водки. Я в синем, с глазами морской птицы, буреви́стник. Пешком до Мариинки, осень, сизо, клены. Шекспир: «Я разрешаю тебе играть до Судного дня». «Я огонь и воздух, прочие стихии отдаю низшей природе». «Его очарование было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жило». «Антоний и Клеопатра». А.Найман: «Ахматова ценила в стихах – тайну и песню – больше, чем, отзывавшуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности. «В этих стихах есть тайна. В этих стихах есть песня. Стихотворение – нарушение сущего, преступление. А если нет, то нет и поэзии. Поэт – существо, столь же прямоходящее, что и прочие люди, но его ось ориентирована под углом к осям прочих, и ось его мироздания, пространственно совпадающего с

общим, — под углом к общим, и слова — те же, что у всех, — под углом ко всем... Поэт всегда прав. Поэт всегда поэт, а не только когда пишет стихи, потому что его ось всегда под углом ко всему. Поэтому он всегда прав. Его нельзя судить общим судом, общей прямой осью». С Чернышевым, крейсер «Аврора», совет морских ветеранов. Трап в медных ребрышках, пушки, трубы, серо-стальная Нева. Константин Иванов, художник, мастерская, вид на Неву. Вечером, Васильевский, 17 линия, юбилей Гарнина. Чернышев, Тропников, Лебедев-Серб, К.Иванов, Бесперстов. Том Клюева (Гарнин составитель). Я, тост, клюевский: «Куда ты в глиняном сосуде несешь зарю апрельских роз?». Обратный путь, звуки. У Андрея Белого «Глоссалия». Но это не то. «Поэт и война». 80-летие Голявкина. Вдова в черном; длинный, белый шарф, обмотанный на шее. Обратно мимо ТЮЗа через сад к метро Пушкинская. Черно, голо, фонари, октябрь, листья на земле. Шел понурый, в тоске, в глубоком унынии, свесив голову и уронив руки. Крах. Катастрофа. Чудес не бывает. Кто мои толпе расскажет думы? Чумы-кучумы, угрюмо мне в Каракумах. Оборвать все нити, ничего не жду от кремнистого пути. Финита ля комедия.

Стою, пруд, первый ледок, низкое солнце на закате, золотой столб, усталость. Перу старинной нет охоты мараить летучие листы. Сумма слова. Моим единственным читателем, для которого я писал, была та сосна на голом утесе, на севере диком. Я был писателем и писал только для нее. Нес к ней свои книги: она прочитает, она оценит. В шуме ее ветвей я слышал суровый суд правды. Теперь у меня этого читателя нет. Вечером — снег. «Покровские ворота». Власов, тяжелоатлет. Хожу по следам силы. Впитываю мощь. Сжимаюсь в точку. Топчу соль, припорошенные листья. У ТЮЗа оранжевые куртки строят зимний каток, настилают на площадке что-то блестящее. Том, изданный в Нальчике, в Москву на выставку. Спускался по лестнице, а шапки-то нет. Забыл в кресле у секретарши. К метро, фонари, мрак. 30-летие нашей встречи. Бродил по сырому снегу в парке. Жестокость фраз; ясно, как репа. На этой планете и не то бывает. Уменьша-хотенья мало. Приходит на помощь Волна, поднимет на гребень и несет. Только держись! И каждый раз не знаешь, когда эта Волна придет, когда накатит. Но ты должен быть готов, подготовлен, твое уменьье. Приходит Волна и поднимает это твое жалкое уменьье, твое мастерство на жуткую высоту, на титанический гребень, что нельзя и сказать эти смешные слова — «мастерство», «уменьье», «форма». Это Нечто не вмещается в словечки. И когда Волна уходит, откатывается, прилив сменяется отливом, то ты опять внизу, на мелкой воде, с твоей человеческой и только человеческой силенкой, и снизу, отсюда, с

человечности не можешь и разглядеть тот гребень Силы, на котором был и на котором сделалось то дело. И понять не можешь: как же это сделалось. Говоришь: чудо. Но чудо чудом, а ты всегда будь готов, всегда во всеоружии, всегда мастер!

Отшельничество, не отзываться. Труд понимания и труд писания. Певучесть. Поют, плывя по течению привычек, навыков, навьюченные, окованные броней борта. Как называешь вещи, какие у тебя знаки вещей? Чистый порядок, союз волшебный, мыслить молчанием между звучаниями, пути в Незнаемое. Взлететь орлом, вещей клекот, за гранью дней. Ледовые поля скольжения. То ум, то неум, то черный, то белый, то молния седой интуиции. Или – или. Око ворона. Каменеющий крик, Кьеркегор. Корень перемен, буря новшеств. Напор, накал. Мостика через эту пропасть нет. Красное Село, кладбище, могила в снегу, желтые цветы, крупа. Зажженные свечи. Черный гранит плиты, фотографии отца и матери. Обратно на машине, слякоть, сырой снег, моросит. Галерея мгновений. Смотри надписи. Понедельник. Переулок Крылова, кафе, писаки и мазилы, речи, коньяк, шампанское, фотографировались. Тусклость. Письмена воды и ветра, 800 страниц, отнес в Публичку, в отдел рукописей. Ноябрь этот, риторические вопросы к самому себе. Магниты – вот и притягивают. Они из центра галактики, той, что мне снится, не Марфа, а – Мария. Об Аксакове кто-то из современников: «Он пишет так, как будто не прочитал ни одной книги». Капелька на оконном стекле, замерла, дрожит, чего-то ждет от меня. Слова ждет? Ласкового словечка? Любви, нежности? Чтобы я назвал ее жемчужинкой?.. Другие дни, другие сны. Точка взрыва, центр, из этого центра рост, расширение, мир форм. И обратный путь – в центр, в точку. Смотри в этот центр и будь им. Два пути письма. Темно, дождь. О знаменитых писателях, ненормальность, странные поступки, безумные выходки, нарушение психики, непредсказуемость, сверхчувствительность. Медуза с алмазным сердцем. Горизонталь и вертикаль, крест, ты в центре этого креста. У Гете: ткацкий станок, уток и основа. Нет исключения без правил. Платон еще пишет свои «Законы». Позвонил Алексеев, утешал: «Не грусти. Что ты грустишь. Ты – писец. Ты написал свой папирус. Теперь можешь жить спокойно и копить себе на похороны. Ты свое дело сделал. Что тебе еще? У тебя в жизни был твой фараон. И ты испытывал подъем, когда писал. Неужели тебе этого мало?».

Среда. Туман, седое утро. Проводил до поликлиники. В баню, книги. Гулял в парке, грустя. Мрак, огни. Альфред Шнитке, неисчерпаемые возможности, смерть остановила. Собор в Шпрее, романский, имперский. Скоморох, язык на версту, и поет, и рисует. Играет на кобзе, искорки

чудес-любес. Особый вид рыжих муравьев с прожорливыми челюстями. Весточка-веточка, нерасшифрованные сведения. Слепая не дает спать, сегодня ночью опять кричала, в ужасе. Бред, галлюцинации: будто бы она на какой-то улице, лежит на трамвайных рельсах, зовет на помощь, а никто не откликается. Под ней река бурлит, люди идут мимо. Несчастная старуха. Прибежали, подняли с пола; скелет, обтянутый кожей, говорит: «Я же твоя мать!». Сон под утро: будто бы пытаюсь писать, но у меня не получается, вместо слов кляксы, расплываются, заливают лист.

Встал в шесть, с сестрой в ГБР. Серый рассвет, тучи, дождь моросит, мокрые плиты. Брел понурый, безразличие. Эрмитаж, бродил в залах, картины, картины, и на третьем этаже у моего любимого Ван Гога. Лоджии Рафаэля, мутные зеркала, я в них, горблюсь, сутулый, мрачный. Невский, толпы, дождь, мусть, такая серятина. Домой еле дотащился. Ох, этот год! Белов, Африканыч. Маяковский называл: мужиковствующие. Туман, женщина с седыми волосами. Пустырь, фонари, горящие окна. Вяземский: «Таланта нет во мне излишка, не корчу важного лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца». Мрачно, холодно, чайки в призрачном, сером небе, крик воронья на рассвете, сквозь сон, сквозь бред, сквозь мозг. Вставать, голоса, ужас дня, дома, сапоги, гудки, фары, стук каблучков, президент отвечает на вопросы, взор светел, газопровод, бури в Европе, взрыв поезда «Москва – Петербург», Радищев, рельсы, лоб в лоб. Вот я стою, стена, крышка люка, за углом магазин, где мы покупаем продукты. Зачем я здесь, кого жду? Не забавно, не ново, журчание, сигнализация сработала у какой-то машины на каком-то дворе, я тут один, невидимый, проходят мимо, не замечают, рассвет, ветер... Дни Блока. «Забавно жить! Забавно знать, что под луной ничто не ново! Что мертвому дано рождать бушующее жизнью слово!». Зоркость. Есть зрящие колбочки в глазу и – формы, формы, формы, семафоры ночных дорог. Познать человека, вот он, из пупка бьют молнии, чакры. Вольф Мессинг, ловец душ, гипнотизер, чары летучей мыши, пленяет, волшебное видение, виртуозный полет бесшумных, черных платков. Ком дней, голая земля, хожу по гробам, бесснежный ужас. Город, попался в сети, голова два уха. Сон о водолазах, их работа, возня в мрачных безднах, влезть в их шкуру, наша «Макаровка», плавподготовка в учебном бассейне в Гавани на Васильевском острове, спустились под воду в водолазных костюмах. Пролез через торпедный аппарат, плохо помню... Не читается. Вышивать по готовой канве, сделанной жаром чужих рук. Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир ужасен. Мечников, депрессия, привил себе то ли тиф, то ли чуму, самоубийство под видом научного эксперимента. Умерла жена, женился второй раз на своей ученице 15 лет, жил в Париже,

Нобелевская премия за открытие иммунитета. Виктория Иванова, певица, ангельский голос, Аве Мария, итальянская песня из фильма Феллини «Дорога», «сеньор, купите фиалки». Художник Виктор Мельников, сын того Мельникова, авангардного архитектора, писал на картинах сам свет, изнутри, за всю жизнь продал только одну картину, на его холстах кажется, словно ничего не нарисовано. Дневники Байрона, против писателей и писательства, за людей действия. Бессонница, духота, никак не рассветет, звуки с улицы, воронье раскаркалось, в верхней квартире надо мной скрип шагов, шум льющейся воды, открыли кран. Ужасно, ужасно это всё – и звуки, и этот зимний рассвет, и жизнь. В феврале – 63. Зачем? Для чего дальше? Дорога дальняя, скучная, ненужная.

О Солженицыне, как он писал «Архипелаг ГУЛАГ». Ул.Пушкинская, пили водку. Томас Манн: «Художников много, а вот мастеров мало». От метро, ореолы. Снег, чернота кустов. Южное кладбище, снег, метель, кресты, сухие стебли. Долго ждали автобуса, замерзли. Телепередача, Анненский: «Поэт – это не тот, кто что-то высказывает, а тот, кто намекает о том, о чем сказать невозможно». Манускрипт Войнич, самая загадочная книга мира, написана на непонятном языке, с непонятными иллюстрациями, куплена Войничем у итальянских иезуитов. Написана якобы в 12 веке Роджером Бэконом. В 16 веке ее купил у какого-то торговца император Рудольф Второй за 700 дукатов. До сих пор нерасшифрована. Мороз, солнце, бетховенский день, героический, глухой. Зеркало книги – что в нем отражается? Миражи, гаражи, этажи... Чистое зеркальце, затуманенное дыханием девяти сестер. Муза, резвая подруга... Тревога к ночи, пол скрипучий, человечество-электричество. Дом писателя, юбилей, речи. Тоска. Ушел. Что со мной, сам не знаю.

Встреча у Финляндского вокзала. К. Иванов, художник, у него тут мастерская. Пейзажи, храмы, святые, в нежных тонах. У него уже накрыт стол. Фотографировались. Глаголы об искусстве. От метро пешком. Опять тоска. Необитаемый остров. Дожить оставшийся хвостик. Бессонная ночь. Ходили в аптеку. Мороз, метель. Подстилки для Л.А. (третий год лежит, нужно много этих специальных медицинских простынь). Ждал на улице, за электробудкой. Мрак, огни на проспекте, метель. Что-то гудит-звенит в этой метели. Провод под током? Ось Орфея? Встреча на Московском вокзале. Шампанское. За книгу. У ларька, перед площадью. Невский украшен, огоньки-гирлянды, толпа, месиво. Искорка радости. Пел и плясал. «И изглаголаша Соломон три тысячи притчей, и быша песни его пять тысяч».

Перелом года. Дню прибавляться. Шепот чтеца. В трубу улетим, со вспышкой в конце туннеля. «Совпадение душевных устремлений

писателя и объекта изображения, «натуры», среды, природной или человеческой, что живет как будто в том же напряжении, с теми же устремлениями, что и он». Рожденные с дудкой во рту. С косноязычной косточкой, щучьей... Книга чудовищностей. «Тем, кто думает о том, что вверху, о том, что внизу, о том, что было до и о том, что будет после, лучше было бы не родиться». Талмуд. Метель, ее письма. Пишет только о том, что ничем не подтверждается, чему нет аналогов. Одноразовые шприцы с кровью. Это главное, то, что Некто мне показал и чему научил. Этот Некто – Водолей, его седые, буранные крылья шумят над моей головой. Вечером в Александро-Невскую лавру. Монашки у ворот. Полный зал. «Филигранность фраз у Бунина». Купил елку. Чувствую себя сиротой. Невский, новогодний базар в Екатерининском саду. Конец этого черного года. Метель, город по уши в снегу, не убирают, только один Невский расчищен. «Духовидец», оборвано. Звуки. Звуковые узоры на окне тишины. В аптеку, выстрелы, фейерверк. На почту, книга В., о чеченской войне. Слои силы. Левиафан, ход его скрыт в бездне, а на воде виден только его светящийся след. На столе три книги. О Шиллере, о славе, о любви.

Новый год встречали у Старовойтовых. Ночь – чудо. Только что выпал снег, чистый, нежный, как лебяжий пух. Впервые в эту зиму, с ее мраком и ужасной голотой, мертвой землей. Всё преобразилось. На улицах толпы, молодежь, веселье. Беспрерывный грохот выстрелов, взлетающие звезды фейерверков со всех сторон. Светло как днем. Мороз, метель, Рождество, болезнь, бессонная ночь, круг мыслей, все тех же, заколдованный круг, опыт поражений. Тонко составленные образы звучат в унисон хрустальными колокольчиками. Чудотворство неизвестного мастера. Слово прямо вживлено в нервы, как в струны и клавиши рояля. Слово прямо бьет в клавишу нерва, и нерв звучит, и это звучание в организме живет и растет, как в резонаторе, долго, долго, навсегда. Магическая сила слова. Страшная магия. Язык – родовой дух. Язык – дух рода. Язык входит в меня, в мою плоть и кровь, от него я зажигаюсь. Как красиво стоят звуки в лучших стихах лучших поэтов! И в прозе – Пушкина-Гоголя-Лермонтова. Мировое достояние. Звуки стоят чисто и мощно, в строке, фразе. Этим я и счастлив, это мое высшее счастье, здесь, на этих путях-кругах. Как прекрасно расставлены звуки у Пушкина: «И ель сквозь иней зеленеет». «Мчатся тучи, вьются тучи». «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит». «Редет облаков летучая гряда». «Роняет лес багряный свой убор». У Пушкина почти везде звуки расставлены божественно, этим-то он и гений. И у Блока: «Змеишься в чаше золотой». Как красиво

поставлены эти два «З» в начале и в конце. И также: «И над твоим собольим мехом гуляет ветер голубой». Эти два «Г» в начале и в конце – дивно стоят. И два «Б» – чистая связка двух строк, и «твоим» с «ветер». Вот она – магия! Или еще у Блока: «Не пойму я, что нас манит, не поймешь ты, что со мной, чей под маской взор туманит сумрак ночи снеговой». Тут дивная постановка «М» и «Н». Эти же звуки в названии: «Смятение». У Гоголя: «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды...». И вся эта повесть. Как дивно, чисто и роскошно стоят у него звуки, перекликаясь, точно серебряные колокольчики. Все фразы поют при их произнесении. Хор фраз. И так – вся певчая проза Гоголя, вся она – музыка и живопись. Вся – песня. Почему? Потому что так божественно расставлены звуки. «Снег вдруг загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами». У Лермонтова: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». С первой же фразы – тонкая, изысканная расстановка звуков. Не навязчиво, изящно. И так – вся эта книга, весь роман. Эта проза – чистейший алмаз. Стихи, а не проза. «Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Вот в чем мое счастье, моя радость: я слышу звуки, их чудный узор, этот божественный хор из иных миров. Да, эта фраза Лермонтова – чудо из чудес. Тут два плана: небо и земля, вертикаль и горизонталь. Космос, два мира, небо и земля – помещены в сердце человека при его утренней молитве (мистическое состояние). Вторая часть фразы – переход в тончайшую зоркость взгляда, в происходящее мгновение, в деталь: «только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Так и чувствуешь осязательно на своем лице это дуновение и видишь своими глазами эту приподнимающуюся лошадиную гриву и на ней – иней. А какая, опять же, тончайшая, филигранная инструментовка звуков! Узор этих «У», «И», «А», «Е», и гласные, и согласные. Это ведь не просто так, это – рисунок звуками, это некая мистическая картина, нарисованная звуками, где аукаются «тихо» – «молитве» – «приподнимая» – «гриву» – «покрытую» – «инеем». Словно жемчужины, нанизанные на тончайшую нить. Если бы не это чудесное письмо звуком, мы бы не почувствовали так остро осязательно представшие образы. Еще один пример того же волшебства – знаменитая фраза из «Тамани» (о ней у Анненского в «Книге отражений») : «Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона».

Тут звуками рисуется ступень за ступенью восходящая лестница возникающего зрительного образа. Мистическое восхождение глаза.

А как чудно стоят звуки в «Слове о полку Игореве»! Вся эта маленькая древняя поэма поет и звенит, вся – музыка! И это другие звуки, не те, что в новой литературе. Звуки другие, но расстановка звуков равносильно чиста и мощна. Этот дар неизменен, и на этом даре стоит и будет стоять магия слов, магия поэзии. У разных поэтов разные звуки, у Пушкина – такие, у Державина – другие, у Маяковского – опять же, другие, но расстановка звуков равносильно чиста и точна, и, значит, равная магия. А нарушение, искажение или замена этой единственной, в каждом конкретном случае, звуковой расстановки неизбежно приводит к утрате этой магии. Что мы и видим на примере переводов, скажем того же «Слова о полку Игореве».

Вот почему я не могу читать тех авторов и те книги, где этой магии нет, где нет звука, где звуки свалены в кучу и перемешаны как попало, звуковая каша, мазня, грязь, глухота. Медведь оттоптал орфическое ухо музыки. Душа звука растерзана и убита. Не могу читать ни такие стихи, ни такую прозу; мое ухо страшно страдает, как у музыканта, который слышит фальшивые ноты и какофонию. Для меня это невыносимо, нестерпимо! Меня это ранит. И я отбрасываю от себя такие книги и таких авторов. А мысли, а чувства, а идеи, а образы, а новые формы и новые смыслы? Я не читатель смыслов, я читатель звуков. Я звуки читаю, рисунки звуками, узоры созвучий. Без звуков для меня нет ни мыслей, ни смыслов, ни чувств, ни образов, ни новых форм, ни новых истин.

Люди, дела, слова. Железно-серая безвозвратность кротовых ходов, поворотов и ворот – в никуда. Я, ученик Водолея, что я знаю и что умею? Рисовать звуки? Я вдруг оказываюсь в неизвестной стране, и тогда хочется о ней сказать «нечто». Свечение-звучание. Союз волшебных звуков, чувств и дум. Боратынский Киреевскому: «Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: «переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» заставила меня встрепетаться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия...». «Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца». Майская ночь, утопленница. Певучая гибель. Голоса миров иных.

Серо-пепельно, заиндевелость, седое небо. Каким предамся я дорогам? Видевше же звезду возрадовался радостью велию зело. Все яблоки, все золотые шары. Набоков о Пастернаке: «Всё в нем выдает со стихом Бенедиктова свое роковое родство». Упорный недоброжелатель. Зыбкое

мерцание хаоса за словами. Вихри и бури, размах крыла. «Содержательных людей мало». Шиллер. Единственный способ спастись: заключить пчелку в янтарь. Скоропись, клинопись, тайнопись. «Завьется в звуках музыки серебряная нить фантазии». Шуман. «Я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз». «Блок – поэт сквозных гласных». Чуковский. «Пить с веток, бьющих по лицу... Так это эхо?...». Из неопубликованных стихов Александра Добролюбова: «Девочку, сестру мою жизнь». У Верлена строка из стихотворения «Мудрость»: «Твоя жизнь – сестра тебя, хоть и некрасивая». «Обтанцовывание смерти». Цветаева. Пошел в сберкасса. На обратном пути в церковь. Никого, я один. Перед иконой Божьей Матери. В церкви уже гасили свет. Я вышел, и служба закрыл за мной дверь на ключ. Зимняя ясная ночь... Рост Маяковского 183 см. Гнилые, черные зубы, вечный насморк, грипп, депрессии, слезящиеся глаза, хриплое дыхание. Тяжелое заболевание голосовых связок. «Мы – и отца обольем керосином, и в улицы пустим для иллюминаций». «Выковыривать изюм певучестей». «Я не твой, снеговая уродина!». Некто о Пастернаке: «Через всю свою долгую жизнь пронес неукротимую ненависть к определенности». «Ты – благо гибельного шага, когда житье тошней недуга». Три шага Вишну. «Тот, кому жизнь была сестрой, никогда не поймет того, кому сестрой была смерть». Ревет ли бык в лесу глухом. Остались броски сочинений. Пепельно. Купил килограмм морской капусты с креветками, там, где обычно покупаю; бреду, нехотя, домой, мимо ювелирного магазина, цветочного, через парк; сумерки, карканье ворон. Безрадостны эти возвращения домой. «Хорошел, как рак в кипятке». «Тайная струя страданья». Старый Новый год. В полночь пили шампанское. Плакала, истерика, что несчастна, что жизнь прожита.

С сестрой в ГБР. Мороз, солнце, лыжи, четыре тростинки в снегу. «Твоя истинная сущность не лежит глубоко в тебе, а где-то недостижимо высоко над тобой». Ницше. «Я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и проч., и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою... Так что это вовсе не порок ваш, а – совсем другое». Флоренский Розанову. Крещение. Вечер Чехова, 150 лет со дня рождения. «Я знаменитость номер 877». Чехов. Врач дал ему бокал шампанского. Чехов сказал: «Ich sterbe», выпил до дна, повернулся на правый бок и умер. В момент смерти выстрелила пробка от шампанского. Ночью в раскрытое окно влетела черная бабочка. 44 года, его ощущение жизни, «Гусев», «Черный монах», «Чайка», письма. Костя Крикунов: «Это теперь не его собачье дело. Это теперь исторический документ». Летописи? Карамзин?.. В ларьке у старухи купил лилии. Бессонница, снег, крыши. С бессонною душой, душою чуткого поэта. Куда я попал?

Зачем я тут? Ожерелье катастроф. Метро «Политехническая», встреча. Дотащил в рюкзаке, луна. Ну, вот, сбылась мечта идиота. Теперь есть что повесить себе на могилу. Снятие блокады. Биографии великих – углы безумий. Партитуры скуки. Всё человечество – единый мозг и единая душа. Точка равноденствия. Нуль. Будь в нуле. Окраска, огранка, призма. Многогранность, голос. Острие блеска, пыль подножия. Или Лицо, или безликий Некто. Айн Соф. Дао. Горький вкус письмен, чары, магия; слух, способный уловить весть, пришедшую с края Вселенной. Снится Аввалон, хрустальный дворец, остров блаженных, меня встречают прекрасные девы в белых одеждах и венках из лилий. Каждая из них протягивает мне камень с написанным на нем, неизвестным мне именем. Это мое новое имя. Все камни разной окраски и все имена разные. Я должен выбрать. К метро, она знает, что мне надо. Мимо пруда, через мост, мороз, ветер в лицо, лютая стужа. В магазин посуды, долго выбирали, купили чудесную чашку из костяного фарфора, белоснежного цвета, с золотым ободком, сбоку летит Пушкин, изящный, бакенбарды, черный, эфиоп. Подарок. Вернулись домой замерзшие, как гипербореяцы. Брукнер, исполнение его третьей симфонии – провал. Чехов – премьера «Чайки» – провал. Чехов о Достоевском: «Длинно и нескромно». Дух музыки и поэзии – против духа журнализма и беллетристики, против талмудства. Белобог против Чернобога. Во мне ни слова, пустыня, оцепенение, ничего не хочется делать. Мог бы еще что-то. Не могу, не могу! Этой ночью Луна приблизится к Земле на 54 тысячи километров больше, чем обычно, она будет ярко-желтая и хорошо видна в горах и у моря. Дружеская пирушка. Писаки-собаки. Поздно, полночь. Когда вместе с толпой выходил из метро, мелодичный женский голос объявил, что сейчас отправляется последний поезд. Невесомость. Купили в подарок китайские настенные часы. Мороз, ветер, снег, пруды, ограды, троллейбусы. Жестоковейно. Отвага: иметь голые нервы. Гроза на Синае, «Поэма огня», голос из тьмы: ноты молний! читай ноты молний! Нас мало, нас, может быть, трое. Миллиарды. Улитка – воскрешение. Еще звенит в душе осколок былых и будущих времен. Мои цепи, думы и книги. Кто бунтует – в том сердце щедро.

Февраль, метель. Черные мысли. Гори, гори, моя звезда. Студент Чувеский и композитор-дилетант Булахов, парализованный. Мурзин, электронная музыка. Всей сердечной мерою. Садись один и тризну соверши по радостям земным твоей души. Вторник. Мне 63. Теракт на железной дороге между Броневой и Ленинским проспектом, взрыв фугаса. Загубленные души. Огонь с небесе сойдет и съест еще пятьдесят. Пугачев, заячий тулупчик, переулок, звезда, скрещенные сабли острием вниз, ледяное дыхание Сатурна. Ул. Восстания, на выходе в шесть, нас шестеро

в этом феврале. Дар случайный, однозвучный, месяц с левой стороны. Поворот да не тот, суеверная иголочка забытого страха. Пискаревское, ветер в спину, горькие глотки, назад, назад... Нижинский, опавший лепесток танца. Бреду один, невесомость, снег летит, сосны. Интерес к жизни потерян, а ведь в прошлом году я еще был другой. Вот опять поворот к свету, весной повеяло, но я уже не тот, неинтересный самому себе. С козырька над нашей парадной с блестящих наросших сосуллек звучно льются капли. Старость, третий возраст. Чего же жду я, очарованный?.. Приходит титан и закручивает вокруг себя мир, как гигантский водоворот, в эту воронку втягивается все вокруг, всё человечество. Эта воронка продолжает крутиться и затягивать и после смерти титана, тысячелетия. Карлейль, язык с бубенцами, ярость уст. Жернова, Росинант. Бессонно, круги ада, рев с нижнего этажа, лопнула труба, аварийка, крики, выстрелы. Стоим у окна, зимняя ночь, злая, безумная. Куда нам – из этих клещей?.. Книги, их звездный звон. Звучание, а не значение. Звук впереди смысла – знаменосец, язык богов. Читатели значений – потерянный рай. Железный век. Ночь, снег, фары машин в глухих переулках, скрещение черных лучей. Стучат часы. Сижу один в темной комнате, не хочется зажигать свет. Нельзя писать во время отлива, перо погрязнет в тине. Вот она, курносая, стоит за моим плечом, на страже пера. Быть в точке, в которой чувствуешь и точно знаешь то, что катастрофично ново, ничего такого никогда не было, такое впервые. Первозданный свет в первый день Творения. А потом – потоп, повторы, повторы... мысли, споры, зашторено шаблоном. Глухо. Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей. На запад, на запад помчался бы я. Последний потомок отважных бойцов увядает среди чуждых снегов. Водолей под двойной дланью Сатурна и Урана – это вихрь, который закручивает и людей и мир силовой спиралью, или острием вверх, или вниз, в плюс или в минус. Демонизм. Потемки души. В церковь, поставили свечки, родительская суббота. Воскресенье, солнце. Слово в лавровом венке – Софокл. Темная сила стучит в дверь. Набат, гроба, страна из серебра. На рынок. Кабан, мертвая голова на блюде, Иоанн Креститель. Жир книжной продажи. Ответ один – отказ. Кто ты, точка? Окончание какой истории? Настроение у нас с тобой! Нестроение. Некто двуликий на монете: два Ивана. Топоры судят паутинку на бороде. Терпи. Бог любит число семь. Светло, ветер, мороз, воробьиный хор на кусте сирени у стены дома, освещенной солнцем. Голос арфы. Встали в восемь, спешим. В девятом уже светло. Солнце встает между домов. В морге толпа, гробы, отпеванье. Мы тут уже третий раз. Теперь Владимир Михайлович. В автобусе, на Южное кладбище. Мороз, день яркий,

солнечный, снег блестит. Могильщики роют яму, из ямы пар. Замерзли, водка. Поминки, стол через всю комнату, от двери до окна. Фотографии. Избитая дорога, черепа по обочинам. Сгусток тумана, неизвестность, зов воды и ветра; меня позвали широко веющие крылья породившего меня. Толпы слепцов топчут земной шар. Им дают древнюю монету с оком Брахмы и они прозревают свой последний день. «Монета взвилась и упала звеня: все бросились к ней». Вот опять повеяло это дуновение, мистический ветерок. Паутинные кружева эфемерностей. Жил-был я. День – октаэдр в ледяном круге. Черная пчела сосет ось. Скольжу по зеркалам. Равноценные знаки избранных. Признак и венец. Полные молчания и пустоты формы в призрачном свете ультрафиолета. Звонки бездны. Не сплю, бессонницы, кресты, снега, к метро. Черные иглы этих дней пронизают насквозь, дрожу, какие-то общежития, проходные дворы, сквонзьяки. Нева слишком широкая для Невы, фонари, сфинксы. Мне холодно, я один. Балтийский вокзал, пустые перроны, странно их видеть, дальше возятся какие-то люди, яма от взрыва, развороченные рельсы. Не доехать...

Снег, сердце ноет. Не мешай молнии! Шекспир в Гамлете, Гете – в Фаусте. «Есть два чудовища в искусстве – художник, который не мастер, и мастер, который не художник». Анатолий Франс. Радужная весть: собачка оценилась. Лыжи, солнце. День – декаэдр в голубом круге. Вечер памяти Анатолия Степанова, годовщина смерти. Врубель, Эмилия Прахова, демоническая женщина. Фреска в Киеве, образ Богородицы – с лицом Праховой, и эти жуткие глаза. И потом стал писать своих демонов с ее глазами. Написав «Демона поверженного», сошел с ума. Зарёв – август. Рев зверей в этом месяце. Определение – это покров, покрыло и закрыло. Определители-покровители. Филины и совы. Лысо-кудрые любомудры. Из куколки числа рождается радужнокрылая бабочка мира. Умирая, бабочка возвращается в рай числа. Просветление после метели. Пока мир не перевернулся и сияет этот день, пока живу, пишу, шуршу. Писатель-невидимка, пишет, незримым для обычного человеческого глаза, биолучом на черной бумаге. Его писания можно увидеть только в потустороннем свете. Человек-молния, кому его летучие послания, гром телеграмм? Уже легла, Суламифь, Роза мира. Эта грозопись испепелит мир. Прозу Пушкина называют голой. Предельный лаконизм, сухость. Сухой треск искрящегося электро-провода, короткое замыкание. Удары слов, встряхивающие сердца. Искорки артистизма. Зимняя олимпиада в Канаде, лыжники, гонки. Буран. Южно-приморский парк, лошади, лыжники, толпа, аттракционы, музыка. Метель. Вышли на залив, все в пелене. Спал, не спал. Щенки пищат. Федор Абрамов, рассказ «Собачья

гордость». Он знает слово. О знахаре. Абрамов умер в 63. Как мне сейчас. «Это я начисто отметаю». Филонов. Мойка, Пушкин, речи, аплодисменты. «Писатель – это инициатива, инициатива – это писатель». «Все мы служим одной даме – Литературе». Сажу в норе, невидимый для всего мира, неизвестный миру, и тку свою золотую паутину слов, свои драгоценные, многоцветные кружева – вот я, писатель. Образ писателя, который не вписывается. «Искания в живописи не имеют никакого значения, важны только находки». Пикассо. Это вызов. Вызов на поединок. Цена силы – гибель. Она тебе – для боя. Игры со смертью. Во вся дни живота его. Тает, тускло, сыро. Мысль о траве, о дереве за окном, о вороне на суку или о грязи на дороге. Призрак работы. Стук капель, таянье. Он хочет жить ценою муки, ценой томительных забот, он покупает неба звуки, он даром славы не берет. Котельная на Гривцова. Отнес диск. Шел обратно (перейдя канал Грибоедова), – передо мной с крыши упала глыба льда. Еще б шаг... А когда шел здесь же два часа назад в противоположную сторону к котельной, из-под колеса проезжавшей мимо машины выскочил кусок льда и, как ядро, пролетев в сантиметре от моей головы, разбился о стену. Смерть на одном и том же месте промахнулась в меня за день два раза. Встреча на Сенной. «Среды». В кафе, разговор. Таянье, слякоть, хмарь, летит сырой снег. В древнем Китае черный квадрат – дракон драконов. Символ зла.

Март, к зубному врачу, на Стачек. Тает, сырой снег. Мистификатор, предатель, черная метка. Смотреть – жить. Землетрясение в Чили. Баня, Ершов, «Конек-горбунок». «Книга-то редкая, как это вы ее откопали?» Мощь пружины. Нуль с грохотом катится по пустыням страниц. На залив, проветриться. Шли и шли по льду, снег в лицо, свежесть, рыбаки, лыжники, санки, струнки камыша. Вернулись в сумерках, фонари. Сжатая пружина внутри, затаенная мощь. Боюсь ее пробуждения. Взрыв Слова. Витязь на перепутье: все стороны чужие. Оттепель, ураганный ветер. Сестра, шампанское. Принесли воды из трубы под горой. Старый дом, мамина комната, забрал дневники. Конец мира будет 21 декабря 2012 года. Гамов. Большой взрыв. «Как шумит гора!» – Лариса, когда мы шли от платформы. Брезжат в сознании узоры еще неясной мысли. Поэзия, ее безумные завитки, завихрения и зигзаги. Не предавай себя, не предавай молнию в себе, она – это ты. Всё, что не она – не ты. Разъезженная дорога. Снегопад. Игра золотая. Верный путь. И тот, и этот. Направо пойдешь – в сердце нож. Налево пойдешь – будет то ж. Эти песенки мы уже слышали из более интересных уст. Скудронжогло, Костонжогло. Не выговорить. Внутри – тайный жар, снаружи – железно-серый день. Фантастические соображения. Нуль игры. Метро Чкаловская; с башней, 12 этажей. Его

совиное гнездо на верхнем, 12-м. Хохлатые разговоры. Вид из окна: крыши, снегопад, метель, бесы. Ссора. Помирились. На залив, по льду. Морозно, ярко, трепещут метелки камыша, позлащенные закатным солнцем. Встреча. Иранские писатели. Григорий Перельман, математик, решил неразрешимое уравнение Пуанкаре. Живет на окраине Петербурга, в обыкновенной многоэтажке, один с матерью, 44 года, ни с кем не общается, дверь не открывает, на телефонные звонки не отвечает, в полной изоляции от мира. Обросший, волосы до плеч, борода, нигде не работает. Отказался от двух премий. Теперь отказывается от премии миллион долларов, премия тысячелетия. Депрессия. Святослав Рихтер, концерт в Лондоне, запись 1989 года. Пальцы-птицы летают по черно-белым клавишам. «Зеркало» Тарковского. Смотрим в четвертый раз. Мышление образами пресекает попытки рассуждений. Две стрелы в разные стороны из одного колчана. Чайки-ангелы высоко в небе. Масолов, композитор, симфония «Завод». Авангардная музыка, сверхсмелость. Исполняли по всему миру. В 37-м посадили. Вышел из лагеря сломанный. Писал уже чисто советскую посредственную музыку. Обращался по телефону: «Говорит покойник Масолов». К нему в квартиру забрался вор и унес только чемодан с его никому неизвестными ранними гениальными произведениями. Чемодан до сих пор не обнаружен. Если бы эти произведения Масолова были найдены, многое, возможно, в истории музыки 20 века пришлось бы пересмотреть. Нерваль, голубые волосы, водил омара на веревке по Парижу. Яркий день. Гуляли по льду залива. Рыбаки. Пишу без связок. Густовато. Из гусеницы родилась бабочка с узорами на крылышках. Потеплело, тает. Опять гуляли по льду залива. Солнце в дымке. Концерт во дворце Абамелек-Лазарева. В пышечную. Метро «Канал Грибоедова», встреча, журнал. Дождь, просветы. Вербное воскресенье. В Москве теракт, взрывы в метро, погибло 39 человек.

Апрель. Тополь светлый, трехтрубный. Язык воды и ветра. Медуза – самое древнее на земле животное. Все виды животных появились на земле 500 млн. лет назад, а медуза – 600 млн. лет назад. Так что все животные вышли из медузы. Медуза – прародительница всех животных, в том числе нас, людей. Пасха, пятна снега, светло, аз с вами. На Луне 3 млн. кратеров. Музей Державина, концерт. Чернышев, косточка того атамана Чернышева, сподвижника Ермака. Шумских-Леонова, редактор, рукопожатие. Тень Бунина и Рахманинова. Оредеж. Темный лес на том берегу, белеет снег, жажда света всю зиму, и вот он – свет. Оляха в золотистых сережках, солнце, солнце, всюду. Когти дьявола устремлены ко всему новому. Язык живородящий, самоговорящий и самопишущий, голос его – рев моря. Песнь дракона сокрушает горы. Белоголовый мастер боя, сила на острие

вихря. Во рту перламутровый перстень. Под Смоленском разбился самолет с поляками, погибло все польское правительство, президент, министры, генералы, всего 90 человек. Летели в Хатынь, туман, самолет задел деревья. Параджанов «Цвет граната». «Ты – огонь, ты облачена в черное». Цензура вырезала много прекрасных кусков, и фильм был перемонтирован. Умер Костя Крикунов, 48 лет. Эта хрустальная нота ушла из мира. К Техноложке. Втроем у окна, чашка кофе. Купол Троицкого собора, обновленный, синий с золотыми звездами. Смоленское кладбище, похороны Кости Крикунова. Яркий апрельский день. Извержение вулкана в Исландии. Черное облако пепла накрыло половину Европы. Отменены рейсы самолетов. Ожидается, что к вечеру эта туча дойдет до Петербурга, возможно, прольется серный дождь. Умно молчит. Мысль светится в глубине мозга таинственной незнакомой звездой. Мир ждет ее воплощения в виде мистической розы. «Приготовьте свадебный чертог! Грядет небесный жених!». Старо-Петергофский, Аня, день рождения. Снегопад, буран. К ночи стихло. Ясный месяц, зеркальце. Красят скамейки в парке. Пруд, чайки, гуляющие, музыка, юный изумруд пробивается сквозь бурое, мертвое, прошлогоднее. У нас в квартире маляриши, стекольщики. Лариса ушла за праздничным пайком для Лидии Андреевны, на бульвар Новаторов. Ветеранам, ко Дню Победы. Пришел врач, юный, высокий, тонкий, Олег Владимирович, делает зубной протез для Л.А. У него целый ящик таких протезов, пробных, для пациентов, стариков и старух. Зачем крутится вихрь в овраге? Как сердцу высказать себя? До дна, дотла. Душа воды – зеркальный шар, разбитый о скалы. Океан угрюмый, думы, трюмы. Вечером к травнику на Черную речку. Нарвские ворота, Аня, старость женщин. Читаю язык. Шершаво, шаблонисто. Фонтанка, Кандинский в двух томах. Метро Чернышевская, чашка кофе, разговор о журнале. Отдал диски. Пришел мастер ставить счетчик воды. Бесшумно ходит на кошачьих лапах, пума. Статью в литературную энциклопедию. Зализняк, о «Слове о полку Игореве», подлинник или подделка. Мысленно дерево. Новы тайны.

Май, влажно. Красные сережки, оброненные тополем, на белой кабине машины в переулке. Лариса, ее удобо, депрессия. Вырваться из дома, хоть куда-нибудь. Спасо-преображенский собор, черные купола, черные липы, темно-сизое небо, зелень газонов. Кто бо дал бы, да напишутся словеса моя, и положатся она в книзе вовек. Корень словеса обрящем в нем. Иов. Сила слова рвет оковы. Этот день потрясает копьём. Ул.Декабристов, редактировать. Засиделись. Темно, пусто, автобуса нет. Шестерка, до Нарвских ворот. Едва успел до закрытия метро. День Победы. Девять орудий с «Авроры», под горой. Гроза, дождь. Знание без

знаков. Темный корень мирового древа, растет, растет по ночам, вглубь, в немоту веков. Древняя пчела внутри янтаря. Посидеть где-нибудь. Невский. Коньяк Бержерак по сто грамм. Казанский собор, мостик этот. Подержались за золотые крылья грифонов. Быть счастливыми. Пешком до Сенной. Стоглавый дракон в броне алфавитов. Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна. Путь в смерть и в широкое непонимание. Дымка за плечами. День жаркий, черемуха, куст у железной дороги, уже доносится знакомый запах. Стоит Некто с мечом и чашей. Тень на свитке времен. Василиск, гнедая лошадка, бушующее будущее опыляю, уверхаю лето над муравой. Поэма конца и конец поэмы. Белый ворон в венке из молний. Где-то в какой-то книге написано: кто есть кто. Клавдия, хочет, чтобы я сказал что-нибудь по телевидению. Сорок дней. Храню в сердце. Хрупкий нервно-психический аппарат. Точность, точечность. Тогда, в марте, на вечере Чехова... При прощании на углу: «Никакая это не катастрофа». И пошел по Марата, на спине рюкзак. В последнюю встречу в кафе на Сенной: «Еще, может, и поживем. Весна наступает. Еще и буковки попишем». Сад весь в цвету. Тепло, влажно, черемуха, петух. Широкошумно. Сеть слов вылавливает чудищ морских: опять, опять этот древний ужас! Тайна письмен. Тюрьма смыслов. Душат шаблоны; ничего, ничего, друг матрешка, пробьем стену лбом. Малевич, два ангела-хранителя: белый квадрат на черном и черный на белом. Верит только в черное. Древний ворон. Страж северных ворот. Майская ночь, серпик, запахи цветения и молодой листвы, густой настой, тепло, влажно; вышел в одной рубашке, стою, дышу. Жизнь позволяет себе отражаться и позволяет видеть себя в зеркале. Но жизнь и ее отражение в зеркале не одно и то же. Зачем отражение, зачем зеркало? У древних китайцев, однако, именно отражение, луна в ручье, эхо в ущелье, считалось поэзией, а не сама луна, не сам звук. (То есть не сама жизнь, оригинал). Язык течет по новому руслу. Зовы новых губ. Верю в то, как делает природа. Мастер-невидимка, во всем видна его могучая рука-молния, его филигранный дух. Кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа. Пуп земли, Дельфы, мраморный шар с двумя золотыми орлами по бокам, восток и запад. Шершаво живет с друзьями истины. Филины и совы, сферы и просфоры. Белый ибис на плече Водолея. Цветущий сад. Посев. Семь, семья, семья. Жуки, лепестки, бабочки, облака, благоухание, петушок. Черемуха у железной дороги машет цветущим рукавом. Тепло, Алжир, чудный сон. Сверкающий рог голубой ночью. Дрожат редкие, в дымке, капельки звезд. Космос цветет, окутанный тонким сиянием. Утонченной жизни цвет. Чистописатель. Ни пятнышка. Красное ли красное? В телестудию на машине. Ночной город, май, теплынь, я в одной рубашке.

Троица. Ночью болит рука, не дает спать. Под утро забылся. Снилось Слово, египетский Тот, бог языка и письмен. Он, Тот, заверил, что кому-то, а ему-то понятен сей тонкий, паутинный путь слов, на котором вырастают эти невиданные, фантастические цветы, непонятные людям. Ему-то, Тоту, богу Слова – все понятно, абсолютно всё понятно! Так что же тебе еще, мурзик?.. Вечер, гроза, метель лепестков с яблонь. Буря выворачивает наизнанку лист ольхи; серебряная ладонь, нутро мира. Памяти нет, ничего не вижу. Что ж я тут делаю, слепой и ничего непомнящий? «В вечности от литературы остается только гротеск». Марсель Пруст. Молния и гром дают знак, что умершие здесь, с нами. Суровый свет совести, коготь сокола, желтое око. Пощадь нет. На чаше весов свинцовая гирька сердца. Уважение к рождению и смерти. Не уважающих настигнет кара уже при жизни. Развенчанный и низвергнутый кумир, Комарово, море, мелко, шоссе, камешки. Конечно.

Не спится, вышел в сад, уже светло, какая-то птичка пиликает. Начало белых ночей. Жизнь нежная, беззащитная. Не то, всё не то. Мышиный король. Золотое клеймо неудачи. Один, сиротство. «Только образ рождает идею, и никогда идея – образ». Чехов. «Мы с тобой отворили калитку и по темной аллее пошли». Почему Аничков мост, дикие кони, голые юноши-укротители? Почему Арсеньев, почему – жизнь? Почему не чижик? Вот я стою под Полярной звездой в точке скрещения страшных сил. В этой точке сошлись все боли и скорби, все тяжести. «Сцена жизнесмерти». Айги. Где ты, душа? На суде оттенков? Или твой судья – Анубис, черный квадрат? Из квадрата я смотрю в «чуть-чуть» – и «чуть-чуть» ускользает. Дождь и мгла. Я тут седьмой день, сегодня уеду в город. Сирень на столе. Озираюсь: какой-то дом, Оредеж, обрыв, блеск этот... За цветами каштанов, от варикозного расширения вен. Уже осыпаются, набрали мешок, говорит, на три года хватит. К сестре. Вспомнили маму. Холод, тучи. Праздник города. Лежит, давление. Дело дрянь. Напился, гулял в парке, девки ночью, плохо, рвало, не спал. Непонятные порывы. Мучительная ночь и не менее мучительные, медные стрелы рассвета.

Июнь, вернуть книги. У Нарвских ворот долго ждал автобуса. Теплый ветер, флаги развеваются, девушки на остановке. Разговор, ненавистница нашего общего знакомого. «Не гений, не гений», говорит с ядовитым сарказмом. Предлагает написать предисловие: «Позвольте объяснить». Объяснение с читателями – как писалась книга, создание мифа, мифологизация. При прощании трижды расцеловала. Во дворе оглянулся, машет рукой из окна, я на бегу махнул в ответ. На асфальте густо насыпаны семена от каких-то деревьев, пух летит. Мглисто, тучи, холод. Спал, не спал. Под утро разболелась рука, правая, беда моя, стебель,

пишущая лапка. Фонтаны. Игра радуги на ветру, на струях. Ночью опять болела рука, не дала спать. Чистый вечер, закат, стена туч через всё небо на западе, фиолетовая с розовым гребнем и зигзагами. Опять ночью болела рука, наказание божье. Холодное лето. Горение, кипение. «Стих – это трансформированная речь; это – человеческая речь, переросшая сама себя». Тынянов. Эту ночь спал спокойно, рука сжалась, не болела, почти, только под утро тревожила сквозь сон, но сон пересиливал боль. Кукушка, ветер в саду, шелест, седые головки одуванчиков, пчелка, душой исполненный полет. Путь богов, свой путь, супремус. Как будто существует некий незримый гигантский кристалл-многогранник, мировой алмаз, и при особых сочетаниях слов-лучей одна из его бесчисленных граней вдруг сверкнет в глаза. Тайна созвучий. «Лобзать уста молодых Армид». Всегда новая земля и новое небо.

Погрыз в знаках. Отец мой, мать моя?.. Великая Мать всех живущих. Не пора ли вернуться в родной дом? «Что ты, сынок, такой невеселый?» спросит. «Теперь уж мы не разлучимся, теперь мы всегда будем вместе». У меня в груди вместо сердца было зеркальце, грустное кривое зеркальце мечтателя и фантазера; я споткнулся о знак зодиака, льющий из черной урны воду забвенья, и выронил это зеркальце; и вот оно разбилось и разлетелось на много-много осколков и стало звездами, большими и маленькими звездами этой, не знающей предела, Вселенной. Вечер. После дождя сыро, туман, комары; старая береза у реки, мешок с мусором, крутой берег, стук капель о картонную коробку. Светло. Так ведь белые ночи! Начало. Сад, холод, бледно-розовое на западе, сквозящее сквозь зелень деревьев. И трепет этот, и дрожь жизни сквозь меня. Глубокий вдох, глубже, глубже, как серп в небе, вдох бездонный, втянуть в себя всю эту ночь и задержать в себе, не выдыхать... Чую дуновение с юга. Скользнуть призраком по этой мглистой дорожке. Уничтоженье, смешенье, ковш чистой глубины... Засыпая, просыпаясь... Туманные ступени, вкус неизвестности, ожог радости, разрыв всех связей, вот сейчас увижу то, что нельзя никому видеть... Боль в руке под утро слабая. Зеркало, ветер, облако. Мой голос глух, мой волос сед. Певучий сумрак. Слеп, как Савл, очи в чешуе. Письма Блока – Менделеевой. Стоял наверху у раскрытого окна, солнце заходило, долго-долго дрожало его золотое марево, там, сквозь крону дальнего дерева, клена или тополя. Уже и ночь, полночь, а все еще так светло, такое чистое голубое небо, и стрижи несутся по этому голубому простору. Вот они, белые ночи. Сейчас, помчусь туда, в вихре мгновенья... Вихрь возникает из ниоткуда и несет в никуда, и я – никто, незнакомец, блеск воды, вздох ветра, вздрог неизвестности, ребенок, не родившийся в мир... Я несусь, и негде

остановиться... Снится: брошенный корабль; вода – густо черная, как смола, зеркало, мертвый штиль. Обхожу помещения, заглядываю во все уголки. Ни души. Что тут произошло? Ни ветерка, ни звука. Океан, действительно, – Тихий, как его назвал Магеллан. Солнце в зените, палящее. Стальная палуба раскалена. Не знаю, что мне тут делать. Надо возвращаться к моей лодке. Подхожу к борту, смотрю: ужас! Лодки нет! Болтается у борта пустой трос... Всю ночь дождь. Утром опять гром, опять дождь. И тучи движутся – Батыи. Душная ночь, душный рассвет, душно, душно мне. Вышел на крыльцо босой. Небо совсем светлое, верхушки деревьев колышутся. Какие-то знаки. Читаю по веточкам, по камешкам, по капелькам росы на траве. Радость! Книга мгновения! И опять нас сожгут на этом костре. И мы полетим на крыльях сна и узнаем любимые места наших гуляний в давние, забытые белые ночи. Поцелуев мост, Нева, Новая Голландия. Пепел Клааса стучит в мое сердце. Ехать в город. Перепутал поезда. Стою на платформе, жду, рюкзак. Кто меня гонит? Поеду завтра. Лямка скуки. Горний ангелов полет... Умер Андрей Вознесенский.

Галерная, Волхв, усы, как у Перуна. Пел древние славянские песни. Вторую ночь не сплю, болит рука. Вчера, позавчера, дождь, буря. Двойное сознание, смена масок. «А под маской было звездно». Лучистые переклички, ведется таинственный, неслышный разговор их нежных и суровых душ. Я этот разговор слышу, он звучит в моих ушах, как пение тоненьких хрустальных колокольчиков. В Вырицу за квитанциями. Поезд ушел, показав хвост. Обратно по шпалам. Дымка, мутно, влажно, трава в ночном дожде, рыжий гравий насыпи пахнет дегтем. Жара, парит, купался. Гроза. Ночь душная, влажная, не уснуть. Лежал на спине, слушая железный гром поездов. Пили красное французское вино, гуляли до разлива. Комары, влажно, тучи. Вечером дождь. И ночью, барабанные палочки по железной крыше. Тучи, сестра, Цветаева, паутинка и росинка. Кто-то занес сюда семечко миров иных, оно проросло, стало писать книги. А ему говорят: «Ты так не пиши! Пиши по-нашему!». Похороны сна; сон хороню все тот же, детский свет незнакомой страны. Всеотменяющее Одиночество. Железно-льдисто. Идем в церковь Казанской Божией Матери, к святому Серафиму Вырицкому. Она в длинной юбке с ромашками, в соломенной шляпке. В церкви много народу, воскресенье, детский плач, крестят младенцев. Поставили свечки за здоровье. В часовню. Молилась на коленях у гробницы Серафима, просила помощи, плакала. Сидели на скамейке у сосен. Пирожки с черникой. Пешком до вокзала. За обедом красное вино. Оса на стекле, стойкий воин, битва с незримым гигантом. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други... Танец

лучей в саду. В городе, жара, фонтаны, загорающие на траве. На почту, письмо в Ставропольский край. Вагончик с книгами. Веберн. Пьяная бабенка у пруда за рисовальной школой, едва на ногах держится, красивая и молодая, играла в мяч с младенцем, падала в траву. Тут же боролись два мальчика лет шести, близнецы. Солнце в пульсирующих кругах, в алой закатной дымке. Вот откроются западные ворота, и выйдут настройщики затаенных струн. «Ночь – лучшее время, чтобы верить в свет». Платон.

Ужинали на веранде, красное вино, вечер, многоярусье туч. Громыхнуло. Змейка в стекле, вторая, третья. Нарастающий шум ливня. Ларису от выпитого вина клонит в сон. А я возбужден грозным электричеством, бьет дрожь. Не избежать сегодня бессонной ночи. Влажно. Мир твердосмертный. Шумят деревья и душа разрыта. Чудо понятия – «падают листья». Огромно и чисто. Вставные зубы в чашке с водой – скелет со дна глянул. Жасмин зацвел; железный вихрь по рельсам. Купались, нагромождение облаков, колокольчики за калиткой. Цветок ее имени, тот над пропастью, змееволосый, звездоочитый. Прага, прогулки, на мосту, луна больше неба, объятья, поцелуи. Нельзя, нельзя, при всех! Серб Селены нас не минет. Вода любит своих утопленников. Допили вино. Вечером за таволгой, засушим, лекарство. Лида, соседка, детский врач в школе, долго беседовали на веранде. Лида тихая, кроткая, голос робкий... А ночь: спи, спи, спи... Но опять и опять зовет меня знакомый-незнакомый голос. Амфитрита. И я просыпаюсь окончательно, бесповоротно, навсегда. Выхожу из воды на плоские доски мостков. Безлюдье, отмель... Сладко-дурманный запах таволги (сушится на веранде), зеленый стол, вянущая пена цветков. Вечерний сад, лучи прощально дрожат в листьях. Тоска уходящего солнца. Жасмин, стрижи, гул мух, звон зноя. Жить в безмыслии, утопая в лени. Встала мрачная, кашляет, разговор начистоту, все то же, что и прошлым летом. Невеселые веянья этих возвращений на круги своя. Надо жить в мире с непониманием. Начинаю ничего не понимать, как когда-то, в прежние, забытые времена, давным-давно, как во сне. Зачем же я хотел все понять? Червивое яблочко, запретное, с древа соблазна. Полдень, сад, бабочка. Где ты, гроза? Отблестало, отгоревало, отрыдало. Туман-шаман. Заблудился в спиралах и вихрях, в поле незнаеме, на неведомых дорожках. Встал, утро, тишина, Гильгамеш. Травы бессмертья, добытая со дна древнего океана, исчезает, как влажный след сновиденья на моей подушке. Месяц-льдинка. Петушок поет, откуда-то, из блаженной страны, голос такой чистый, звонкий. Лето, июль, радость. Все как когда-то. Радость еще есть во мне, еще жизнь, еще живу. Это и нужно и верно – когда никто никому. Плывть спящей щекою. Прочли мы эти туманные письма в общей братской

крови. Звон ускользающих слов. Мы не успеваем их впитывать. Всё больше мягкостью, ни для кого – закат. У него такое доброе, ясное лицо, и оно что-то говорит мне, прощаясь. Говорит: «До завтра, дружок! Не грусти, вернусь!». Песенка для себя. Жара, как тогда, в Атлантике, в юности. Та жизнь давно отхлынула. Пустопенно. На лодке, кувшинки, купальщики. Треск костра на том берегу, веселое, алое пламя, всепожирающее, очистительное. Ушла собирать листья земляники на опушке. Искупался. Новорожденный. Стою на горячем песке босыми ступнями, в забытии, долго-долго, вечность, в объятиях солнца. Не хочется просыпаться окончательно, покидать это полусонное состояние, эту расплывчатую область неясных чувств. Пытаюсь зацепиться за клочок дремучей водоросли и еще побыть хоть сколько-нибудь на границе сна и яви, в промежутке, в паузе, пытаюсь пожить в этой стране пограничных чувств, уловить ветер с ее цветущих берегов. Отглаженные отливами пески, одна волна, на ее гребне – тот, «Золотой жук», Эдгар. Радужный трепет в его «Маргиналиях». Драгоценная поблеклость, патина, многое мира. Почему я так мало помню, живу в каком-то полубеспамятстве, вздрагиваю от каждого шороха... Может быть, это тихо-тихо, призрачно стучит в дверь (не от тебя ли, далекий человек) – чуть беспокоя: весть?.. Душная ночь, комары, не спится, небо – зеленоватый нефрит. К реке, пьяные; наядя, нырнула, блеснув грудью. В Вырицу за лекарствами для Л.А. Печет. Аптека. Жду во дворе в тени под липами. Прошла, шелестя и блестя. Гроза назревает, томительное нарастание. Туча уронила две капли – вот и весь дождь. Белокостно-огромный день, пекло, рынок, облака. Выбирает рыбу, жду в тени, три цыганки, колеса в ушах. Только вернулись и – дождь. Долгожданный! Сумрак рвет, жасмин взмок, хорошо, хорошо, дышать можно! Гора с плеч, свежо, перламутр. Проснулся сегодня, и это летучее чувство упорхнуло опять, оставив только едва уловимое, мгновенное дуновение мысли: огромный, неизвестный день впереди. Ребристо-новое небо, какие-то знаки, в саду, на траве, на дороге, всюду, не разгадать. Страшная тишина, поистине страшная. Доносится звон посуды в соседнем доме. Неужели я еще живу?.. Пузыри на реке, мутно, желто, пни, лодки, еловый лес. Не хватает какого-то звучика, муравьиного шага, вздоха... Где же прячется ключик этих тайн? Грудь давит. Не буду, не буду сегодня ни с кем говорить, ни полслова... И вот, наконец, облако, забытое, из другого мира! Оно – спасенье от бездонного, неумолимого Дня, с его неразгаданностью, его шифром. Лестница между двух небес, шатается, гнется, тает... Иаков, зигзаги... Сад после грозы вечером, отряхивается, шорох капель. Тройная радуга во всю небесную ширь, тающий семицветный мост.

Суббота. Пестрое колесо снов. Гигантское крыло энергии во весь мир, в высоту, вчера, уже погасло. Сухой пол, раскрытое окно, ветерок, предчувствие полета, как в юности. Син, сын сини. Чара голубого вина, священное число 317 в чистом, безоблачном небе. Ноги-волны идущего по этому гребню, шаги-вихри. Слышу доносящийся с этих смутных высот, скрытый из-за горы, единый хор живых и мертвых. Меня зовут, я молчу, мой рот замкнут, я не пою в этом общем хоре. Кто я? Не тот и не этот. Не знаю. Сам себе незнакомец, никто и некто. Мой день впереди, там – закат, сизо-чешуйчатый запад, отмененность сил, зависшие в пустоте, красные, изгибистые строки над горизонтом. Иду туда. Немота – это накал. Белое пламя. Место встречи сил, смерть хороводов, полушка за душой, нищее серебро, апокалипсис окончательной точки. Застарелые, рыжие травы на склоне. Мощно молчит гора. Вагнер. Стол, хлеб, вино. Слов не помню. Я в долгу перед вами, первые небеса, первый звук и первый цвет. Поэты-пчелы, солнечный мед скальдов. Все же – молчу. Мастерство – это молчание. Мастер молчалив. Знойно. Привезли инвалидную коляску для Л.А.. Муравей взбирается на вершину цветка, как на башню. Тающий шелест волны из последнего, перед пробуждением, сна на рассвете. Эта волна пришла с вестью от древнего, давно отшумевшего океана. Белые, бедные, седые волны, плещущие в берег дальний. Радость луча в саду. Радость в том, что моей нищете ничего не надо. Подкованный терминами Пегас, загнанный ездоками в магистерских мантиях, пал на дороге, гордый скакун, шепот гор, «Падалъ» Бодлера. Пенье зреет, блеск безликих. Красный слон с закрученным хоботом, на животе написано: Маяковский. День, жара. В Европе + 40. Еще неделя – и будем, как две обугленных головешки. Заря, шелест блекло-алых платьев в саду. Куй-син, дух Полярной звезды. Камень с отливом сине-роковым. Все та же жара, дыхание пекла. Наполнил бочку для душа на дворе, по лесенке, обливаясь потом, шатаясь, как пьяный, отбиваясь от слепней. Купались, недолгое освежение. В саду, в тени, на скамейке, читали. За молоком, два магазина закрыты, третий открыт. Жду под елями.

Всё тот же круг, замкнутый тихим отчаянием. Жара усилилась, марево зноя с утра. В Колпино образовался смерч, поднял и отбросил машину. Тропические повадки атмосферных духов, аномалии климата. Прячемся в саду под сливой. Сон: будто бы стройка, горы земли, песка, орошаемые струями. Под обрывом – люди, море, отлив; люди чего-то ждут, смотрят на море. Мне не протиснуться сквозь толпу этих ждущих. Тут же какое-то старое каменное здание, с ржавой башенкой на крыше. И вот я внутри, темно, мусор, пыль, переломанные школьные парты. Хожу из помещения в помещение, с этажа на этаж, коридоры, лестницы. Мне никак отсюда не

выбраться. Спрашиваю у старух в черных траурных платках: где выход? Они показывают: там! Иду на смутно брезжащий, пыльный свет, как в пещере. Какой-то широкий двор. Грязь. С трудом пробираюсь, глядя под ноги, где б чистое место, чтоб не запачкаться. Кто-то называет меня по имени, знакомый голос, но мне не вспомнить... Жребий. Смелый бросок тела в пропасть. Может, я где-то далеко в темном поле... «Веяние неуловимого». Метерлинк. Мотыльки. Купались. Пурпурный час заката; робкое, едва ощутимое прикосновение. Разве к человеку речь моя?.. Не спится, в саду мелькают призрачные фигуры, сквозное покрывало. Пудовые веки Вия, кто их поднимет?.. Тяжелый зной, облака, душно. С запада надвигается сизо-темное. Бежим через лес, ветер налетает, качаются еловые лапы, шумят вершины. У магазина пыльные вихри. На обратном пути все уже темно вокруг, гроза застала в лесу, грохот грома, молнии блистают. Добежали до калитки уже под дождем. Приключение. Пьем красное французское вино. Гроза разбушевалась, ливень. Через час стихло. Электричество опять отключили. Где-нибудь провода оборваны. В полночь иду спать во времянку. Третий том Блока, голубой, потертый. Буйной музыки волна. Не спится, душно, влажно. Тучи. Что-то ведь я любил? Что? Что-то призрачное и ускользающее, какую-то дымку жизни, какой-то неясный ореол, как луна в тумане. Любил все смутное, смуту, смятение, волнение. Следи за остротой иглы, царапающей узор, больше от тебя ничего не требуется. Ощущение, где твои чуткие, что-то ищущие в темноте щупальца? Спи, спи, зародыш, ты еще в тепле и уюте, в утробе матери. Выйдет из туч бык, стряхнет в наш сад иней с серебряных своих рогов. Вижу, вижу: в бычьей маске – это ты, Отче! Мастер филигранных снежинок в суровом фартуке уже приготовил мне чистый стол февраля. Новые раковины дней, завитые тревожной улиткой вьюги. Мастер – это молния, и он знает, куда ударит молот. Начинает с иголки в стоге сена, а находит никогда не бывшую Трою.

Разбудили когти на крыше; ходят и ходят, скрежеща по железу. Четыре женщины в синей лодке, за черникой, звонкий голос и смех. Читаю по-спартански, лаконизм: как писатель пропускал то, что надо пропустить, не писать, читаю пропуски, паузы, умолчания, звонкую пустоту в кувшине, и душа радуется, дыша гулом этих пустот. Гончар, Амма, книга мира из глины, семь страниц света и семь – тьмы. Любовь к земле; пробудясь, слышу: поскрипывает эта древняя, святая ось. Инвалидное кресло на колесах в саду. Черные маки, эти кивки молчаливых чудовищ. Хор мух, рев рек, мост, плотина, ржавые рычаги, блеск полдня, непрорубная тоска, лопухи, заросли. Толпа на берегу, кого-то ждут с той стороны.

Нарастающий гул. Вот он – железный дракон в черно-желтых полосах, поднял ветер, вихрь крутит траву. Крушения, обломки, пузыри. Ураган в Москве, вырванные с корнем, поваленные деревья. В Чили снег. Зодчество облаков. Вещие зеницы во все небо. Колокольчики у железнодорожной насыпи, раскаленные рельсы. Мозг плавится, не вспомнить ни одного имени. Ночью – обмылок. Луна. Магические стекла снов. Испепелен. «Новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением учителей». Давид Бурлюк. Паучок живет один и тклет из своей одинокой жизни тончайшее кружево, чудо мира. Маленький-маленький паучок, совсем незаметный. День Военно-морского флота, парад на Неве, корвет «Стережущий», хлопки выстрелов. Зной, марево, ни ветерка. Опять рельсы. Финн в спортивных трусах приезжал на велосипеде. У него дача в Новолисине. Душно-лилово. Лилипут в стране вулканов. Аномальная жара в наших широтах, огнедышащая радость с восхода до заката. В Москве + 40. Илиас, чернобородый гигант, пришел красить крышу. В стекле веранды мигнул корень неизвестного растения. Речь в тысячу вольт, высокомерие небесного глагола. Что ему я? Важнее сказать, чем говорить. Август, роса, красный стул в саду. Письмо, слова размыты, не прочитает. Ржавый гвоздь, Роджер Бэкон, Темза, Тауэр, дрожащие жерди мостика через лесной ручей, сон Сципиона, бесследность. Чосер умер в шестьдесят лет от старости. Совесть мучает, спящий орел, нет кипенья, поникли перышки. Поехали в Вырицу за краской. Ночью, наконец-то, прорвало – гроза, ливень. Укол чуда – в сердце. Я вздрагиваю или сад? Блеск стрекозы, стук яблока, испуганное лицо, предсмертные записки мгновенных жизней. Их лавры, их венцы. И вдруг чувствую: сердце-то молчит, замерло от непонятного страха, и вот я кричу ему: ау! ау! А оно не отзывается, далеко ушло или затаилось, нарочно молчит. Сердце у меня – раковина странной, ни на что непохожей формы, таких в мире нет, единственный экземпляр. А внутри кто-то невидимый, неизвестный, дышит, вдох-выдох, прилив-отлив. Успею ли я поймать эту петляющую, ускользающую от меня золотую змейку глубоко-глубоко под веками на зеркальной глади какого-то сумеречного моря (ведь я не сплю, я бодрствую, я только всматриваюсь в свой закат, повернув глаза внутрь). Нет, опять исчезла, испарилась, бесследно, Психея, оставив тревожно дрожать, как лист в ночном саду.

Илиас покрасил крышу. Он мастер на все руки, сделает нам и душевую кабинку на дворе. Жара. Пробую писать, буквы тут же сгорают, превращаясь в пепел. «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения форм проникнуть до глубины содержания». Блок. «В

конечном счете все сводится к душе автора; пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта нежели от объекта». Шиллер к Гёте. «Для художника лучше один крик журавля, чем тысяча чириканий воробья. Один цветок лучше, чем сто передает великолепие цветка». Ясунари Кавабата. «У сердца есть свой разум, которого разум не знает». Паскаль. Письма Шостаковича. Шостакович ненавидел мемуарную литературу, переписку свою не берег, уничтожал. Не хотел, чтобы о нем писали воспоминания и опубликовали его письма. На завтра обещают ураган, град. Европу затопило, бури, смерчи, ливни, сносит дома, люди не успевают выбежать наружу.

«Горе – это мрак, радость – это свет, и когда свет достигает предельной высоты, рождается мрак. В этом судьбы людей, идущих по кольцу». Ляо Чжай. Музыка запахов. В Японии слабый, едва уловимый запах ценится больше, чем сильные, пронзительные запахи. «Вы рисуете ветку и слышите, как свистит ветер». Цзинь Нун. Корень глубокий, а тайна – вот она, шелестит веткой. Видится и не видится, слышится и не слышится. Незаметное сделать заметным, неясное ясным. Следуй кисти. Дзуйхицу. «Наверное, я постепенно лишился того, что называется инстинктом жизни, животной жадной. Я живу в мире воспаленных нервов, прозрачный, как лед... Меня преследует мысль о самоубийстве. Только вот никогда раньше природа не казалась мне такой прекрасной! Вам, наверное, будет смешно, покажется парадоксальным: человек, очарованный красотой природы, думает о самоубийстве. Но природа потому сейчас так прекрасна, что отражается в моем последнем взоре». Акутагава Рюноскэ. Предсмертное письмо.

Рисунок – ритмическое изображение внутренней силы, ци. Ци состоит из цзин и цу. Цзин – тончайшее духовное начало, цу – грубое, материальное. Во Вселенной существует первоначальное ци, и только! Оно проявляется то как инь, то как ян. В живописи следует сторониться шести духов: 1. Дух вульгарности. 2. Дух ремесленничества. 3. Горячность кисти. 4. Небрежность, в искусстве мало изысканности. 5. Дух женских покоев, кисть слабая, нет силы. 6. Пренебрежение тушью. Цзоу И гуи. Ненамеренность, непринужденность, душевный порыв, игра воды. Незнание глубже знания. Тогда незнание – это знание? Разве есть внутреннее и внешнее в прозрачной воде? Разве есть внутреннее и внешнее в пустоте? Когда сочиняешь стихи, не думай, что сочиняешь их. Сайгё. Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Где живут другие, я не живу. Куда идут другие, я не иду. Когда стихи написаны, они становятся клочком бумаги. Басё. Прекрасное рождается само, в нужный момент. Важно почувствовать этот

момент. Кёрай. Стихи, которые мы сочиняем, разве это истинные слова? Когда пишешь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда пишешь о луне, не думаешь о луне. Мы создаем только подобие того, что нам хочется, к чему нас влечет. Упадет красная радуга, и кажется, что бесцветное небо окрасилось. Засветит белое солнце, и пустое небо озаряется. Вот и мы в душе своей, подобной этому небу, окрашиваем разные вещи в разные цвета, не оставляя следов. Сайгё. Если не знаешь неизменного, не имеешь основы, если не знаешь изменчивого, не обновишь стиль. Басё. Истине тесно в словах. Истина вне слов. Пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем то, что начертала нам кисть.

Ночной дождь. Обещанной бури нет, чистое небо. «Я не считаю, что лишенное «повествования» произведение лучше всех остальных. И все же с точки зрения «чистоты», т.е. с точки зрения отсутствия вульгарной занимательности – это художественное произведение в наиболее чистом виде. Вульгарной занимательностью я называю интерес к происшествию как таковому. Существует другой, более высокий интерес. Произведение, лишенное «повествования», почти полностью лишено вульгарной занимательности». Акутагава Рюноскэ. Выхожу в сад на рассвете. Свежесть утра, и это Нечто, в воздухе, как в незапятнанные времена, миллионы лет назад, восточка оттуда, от древней Земли, Геи, от ее бессмертных, вечно юных уст, дуновение ее могучего дыхания, великой Матери всех живущих. Жучок, паучок, травка, улитка, воробышек устремлены к этому Нечто, к этой туманной свежести. Жара нарастает. Конец света. Купались, облако. Письма Шостаковича. В 30 лет уже жалобы, что стареет, что близка старость; что возникают паузы, перерывы в работе. Не сочинял день или два – и он в ужасе, паника. Ему надо сочинять музыку непрерывно. Сочинение музыки – вроде недуга – преследует меня. Не спи, не спи. Настрой струну на смертный бой. Георгий Победоносец. Великий Змей, стерегущий сокровище. Художник-химера. Неизящно и немелодично. Фрак, инфаркт, обрыв струны. Приутих наш круг веселый. Правая рука, как плеть, не сыграть даже «чижика». Следопыты в дебрях. Гости из Сиверской.

Чистое утро. Стою на крыльце, лицом к солнцу. Петушок, тоненький, ломкий голос из-за железной дороги. Десятилетие гибели атомной подводной лодки «Курск». Погиб весь экипаж, 48 человек. Салют, алые гвоздики на океанской воде. У соседей маляры красят дом, узбек и узбечка. Змеистое небо, хвосты энергии. Формо-содержательно, джин в кувшине. Сломалась какая-то пружина в мозгу. Печальная привычка изъясняться знаками. Пишу: «ночь», и мне из-за стены отзывается Что-то,

чему нет ни имени, ни названия, и просит меня молчать. Беззвездно. Жара, кремнистый запах раскаленных пустынь. Луч за лучом, штык за штыком; ясная сталь, твердый шаг, верный путь, роковой. Мы забыты, одни на земле. Мы с тобой старики. Только стены, да книги, да дни. Страшной памятью сердце полно. Только вышли за калитку – потемнело, черно, вихрь налетел, закрутил пыль на дороге, деревья зашатались. Нет уж, лучше вернемся в дом, закроем форточки. Повалены столбы, оборваны провода, сидим во тьме, без электричества. Легли. Фары бьют в окна. Рука грозы рисует молниями с нечеловеческой быстротой, миллионы линий в секунду. Что она хочет сказать? Этот замысел недоступен. Друг, друг, я ведь дух. Слышу шаги дождя по листьям в саду, легкие-легкие, нежные-нежные, лечащие. Соль языка испаряется под одиннадцатым знаком зодиака. Как узнаешь об этих утратах на страницах пресноводных книг? Петрарка, стерто, груз имени, библиофилия, монастыри, старые пергаменты. Безвозвратно утраченный трактат Цицерона «О славе», был в его руках, единственный экземпляр, не переписал, дал почитать другу. В Вырицу, купили растворитель, гвозди, хлеб, мясо, рыбу, творог, сметану, масло. Ждем поезда на мокрой платформе. Опять дождь. И ночью. Барабанит по крыше водяными палочками. Разбудил голос за стеной, бормотанье, ее мать, несчастная, слепая старуха. Сидит на лавке, скелет, смех сумасшедшего, похожий на плач, говорит, что у нее сегодня первая брачная ночь. С трудом уложил в постель. Хохочет беззубым ртом, слепые бельма.

Голос забытых книг. Матово-красный камень, ртутная руда. Да мы с тобой теперь миллионеры, друг Томми! Циклон-дракон, ледяное дыхание из космоса. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Брюссельское кружево, узор, воздух, проколы, глаголы. Демон чтения, зверь в шкуре письмен. Пляска шамана, солью опалены волосы. Отключилось электричество, полгорода без света. Встали поезда, электрички. Люди в метро добирались до выхода по туннелю. Петрарка, спасаясь от бандитов, упал с седла, сломал руку. Его домик-садик в Воклюзе под Авиньоном. Его «Тайное», «Secretum». Нашел в монастыре, в Парме письма Цицерона, отсыревший, заплесневелый пергамент, гниль. Книга, о которой давно бредил. Единственный экземпляр. Какое счастье! Опоздай на год, на полгода – и книга бы пропала навсегда. Переписывал три месяца. В полном блаженстве. Библиотека Петрарки – несколько сот книг, древние античные авторы. Из современных писателей – ничтожная часть. Вообще их не читал, и знать их не желал, не прочитал ни одной книги из современной литературы, ни одного писателя, как будто их и не существовало, с

презрением о них отзывался. Не смог дочитать Данте, его «Божественную комедию», скука. К схоластике – ничего, кроме отвращения и ненависти. Отрицал Аристотеля и предпочитал ему Платона. Но из Платона у него был только «Тимей», вот над ним и горбился. Писал за пультом, по краям которого торчало два спиленных бычьих рога. В одном черные чернила, в другом – красные. Пучок гусиных перьев и свинцовый грифель – линовать пергамент. Петрарка писал каллиграфически. Все писатели того времени были каллиграфы. Сам переписывал свои книги, а также и чужие, из любимых античных авторов. Увенчан лаврами на Капитолии. Европейская слава. В Вырицу, купили крестовую отвертку, гвозди, помидоров, лука, ночной горшок. Ветер, яблоки падают со стуком, как железные. Одноразовый организм, миражи, дуновение чумы. Все, что есть сейчас в мире, и все, что когда-либо было и когда-либо будет, – присутствует здесь, в этом месте, в этот миг, в блеске этой паутины в саду. Собака лает на дороге; луна, желтая, жуткая. Не уснуть. Она и ее слепая мать, их громкие голоса за стеной, крик и плач. И поднял я глаза мои, и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. Кто ты, Гора? Взор объемлет всю землю. Петрарка, Милан, Венеция. Том Цицерона, тяжелый, как железо, фолиант, ни с того, ни с сего упал на ногу, два раза. Нога распухла и загноилась, слег в постель. «За что ты меня бьешь, Марк?». Путь к морю, Неаполь, там друг Боккаччо, бедняга Джованни. Ди Черталдо. Монах напугал, требует сжечь рукописи и думать о спасении души. Петрарка уничтожил все свои письма на итальянском, оставил только написанные латынью, отредактировав, чтобы предстать перед потомством в героическом виде, и ни в коем случае не обнаженным, а если уже обнаженным, то как древнегреческая статуя. Петрарка умер над книгою с пером в руке. Голова лежала на раскрытой странице. Кончить писать и умереть в один миг. В мае 1630 года монах фра Томазо Мартинелли украл из саркофага правую руку Петрарки. Эта рука очутилась в Мадриде и теперь хранится в музее в мраморной урне. Петрарка был высокого роста 1.83, правая нога на один сантиметр короче левой. Крупный нос, большой череп. Мозг намного превышал средний вес. Уехала в город. Остался с ее слепой матерью за стеной. Посреди ночи проснулся от страшного вопля: «Помогите!». Вхожу. Сидит на постели и пытается снять через голову ночную рубашку. Ей мнится, что ее душит ворот, все туже и туже сжимая шею.

Полнолуние. Вслушиваюсь: звучит ли еще тот первоначальный звук, которым все создано, та чистая нота? Тень сарая, черные доски, угрюмый час. Вхожу в дом. Ее мать сидит на стуле. Слепая старуха под 90 лет. Говорит, повернув голову в мою сторону: «А вы мне нравитесь. Вы

высокий, плечистый. Настоящий мужчина. Мне предложили выйти за вас замуж, и я согласилась». Ей кажется, что она юная девушка, мечтает о замужестве. Я для нее незнакомец. По моему голосу представляет, что мне лет тридцать, что я сильный, высокий, смелый. Она в восхищении от моих достоинств. В Нижнем Тагиле однорукий инвалид-пенсионер застрелил из ружья трех чиновников пенсионного отдела. Много лет добивался, чтобы ему увеличили пенсию. Потерял руку по вине завода, на котором работал. Суд постановил выплатить ему 250 тысяч рублей и втрое увеличить пенсию. Он предъявил постановление суда чиновникам. Разговор не получился. Двоих убил, одну тяжело ранил. Потом застрелился сам. В Смоленске в 2001 году маньяк-убийца убивал, изнасиловал, высоких девушек блондинок, душил черной шелковой лентой, затем завязывал ее бантом на шее задушенной жертвы. Десять девушек. Из-за несчастной любви: изменила, пока он служил в армии. Высокого роста блондинка. Утро, бреюсь. Морщин прибавилось. Позвонила, не придет. Соседка, латышка, светловолосая, просит лестницу – чинить крышу. Вздыхалась грудь ее волною. Краткодневен и пресыщен. Ранневизантийский поэт Нонн. Гарсиласо де ла Вега. Фернандо де Эррера. Тереса де Хесус. Чертоги, замки, крылатые мосты, скорпись, смутен, тысячеуст. Всю ночь барабан дождя. И пошел пророк, и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда. Сижу, мыслишки. Книгу пишет гроза внутри автора, книга – шаровая молния, раскаленная сфера с температурой, превышающей температуру солнца, в ней герои и персонажи, идиот, Лев Мышкин, перед грозой, его предчувствие, состояние, жуткий накал, напряжение, нарастание, насыщенный электричеством воздух... И вот она – гроза! Разразилась! Разряд! Припадок падучей на лестнице в гостинице. Нож Рогожина, занесенный над ним, молнией во мраке. Автор внутри грозы или гроза внутри автора? Имею ли я мировое право не творить ужасного? Блок. Садовник, цветок себя; сила древнего семечка, из пупа Вишну вырастает невыразимо прекрасный, небесный лотос, а на лотосе восседает Брахма. Ночь духа. Ничто. Чтобы всем обладать, не имей ничего; чтобы сделаться всем, будь ничем. На титульном листе первого издания «Дон Кихота» латинский девиз: «После мрака ожидаю света».

Пьяный велосипедист на дороге. Пусть забудет его утроба матери; пусть лакомится им червь; пусть не останется о нем память. Снилось: куда-то едем, с вокзала, несущая бутылку шампанского в кастрюле. Выронил, шампанское разбилось. Хорошо, что в кастрюле, можно выпить и так, с

осколками. Попробовал: нет, не получается, губы порежешь. Идем, Фонтанка, черно, чугун. Негде ночевать. Постелила в лодке. Благодарю вас. А, может быть, есть другой выход из этого прискорбного положения?.. Опять в городе. Холод, мрак, фонари, наплыв беспричинного ужаса. Страшно взглянуть на горящие электричеством окна. Тарковский, «Сталкер». Свист поезда, стук колес, стол дрожит, стакан с недопитым чаем, как живой, рывками движется к краю. Сын погибели. То ли девочка, то ли мальчик. Помылся под душем. Спать. Судороги в ногах, боль, волком вой. Валокордин. Невский, в книжном, максимы Наполеона, грудастая, преградила путь: что у вас в кармане? Верю в гармонию сфер. Они так красиво поют! Ангельскими голосами! Их семь, из горного хрусталя, в руке Пифагора. Столпы небесные прострошась и ужасошась. Пастернак в Чистополе, зима, Шекспир, патефон весь день на кухне у хозяев. На Марсе открыли метан. Два спутника Марса, Фобус и Деймус, страх и ужас. Последний листик августа. Все тот же холод. Борей сорвался с цепей в пещере. И всплещет нань рукама своима и возьмет с шумом от места своего. Кит и его рыбка прилипала. Не мог вспомнить имя. Лег спать. Нет, не уснуть, мучает, что не вспомнить. Встал, нашел в книге: Магритт. Успокоился. Твердя, Магритт, Магритт, заснул.

21 годовщина нашей свадьбы. Молилась, стоя на коленях у гробницы Серафима Вырицкого. Ждал снаружи. Холодно, солнце, пирожки с луком. Чувство, что я в любой миг свободен от всего и вся, от всего приобретенного. Гол сокол. Сброшенная шкура. Один, сам по себе, с зияющей пустотой в сердце. Ничего у меня и во мне нет. Я в нуле. Я всегда в нуле, в начале и конце всего, в ускользящей точке свободы. Непоколебим. Неуловим. Низкий и нищий. Нерожденный. Дождь, буря, дух. Молния вязнет в земле. Я Вас любил. Анна под поезд. Книга гор и морей, Шань хай цзин. Змеистый шелест этих страниц из «Героя нашего времени». Прояснение. Наяву или во сне. Блеснет золотой волосок – единственно верный путь. Паутинка в осеннем небе. И вот я иду по этому волоску. Кто-то меня ведет. Вэньчан. Это называется – путь паутинки. И я знаю: этот ускользящий из-под ног путь-паутинка на Страшном суде слова будет Верховный судья, он-то и будет решать: кому направо, кому налево. А его уже и нет, паутинка-то пропала. Паутинка-волосинка. Темно кругом, тучи, беспутье, распутица. И я опять один, сам с собой, и не знаю, куда идти. А кто-то мне говорит: да ты не сомневайся! Иди туда, не знаю, куда; найди то, не знаю, что. Уехала с матерью в город. Один в доме. Жарко натопил печь. Ночь. Тихо, глухо. Глаголы уст Его храню. Хмель-хмелина, зверь-зверина, лоб-лбина, пес-псина. Из-за решетки слов глядит Кто-то орлиным взором. О, страшных песен сих не пой про древний хаос,

про родимый... Слово сферично, мы всегда внутри Слова, всегда в центре Слова. Мы всегда меньше Слова. Слиться со Словом, стать Словом. Молния из центра на один миг соединяет нас со всем Словом. О, лебедиво! О, озари!

Уж небо осенью дышало. Утром нашел на дворе около умывальника мертвого воробышка. Похоронил в саду под сливой. Кому ты говорил эти слова и чей дух исходил из тебя? От духа Его – великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь? Силою своею волнует море и разумом Своим сражает его дерзость. Бреду по лесной дороге; тепло, облака, листья летят, рябина красная. Бабье лето. Большие цели, большие примеры. До трагедии ли нашему черствому веку? Размагниченность. Доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих. Зеркало около умывальника во дворе, чуть запотелое, я в синей рубашке, волосы зачесаны назад, седоватые у висков, слегка развеваются в дуновении ветра, сад, изгородь, высокие, желтые цветы колышутся. Автопортрет мгновенья. Восплещут о нем руками и посвищут над ним с места его. Пушкин в русской красной рубахе, подпоясанный ремнем, с палкой, в шляпе, на ярмарке. Вульф пишет, что так он нарядился один единственный раз и этим скандализировал весь бомонд. При его-то светскости и байронизме. Ткацкий станок, Гёте. Ценная монетка, профиль стерт. Сад после дождя, краснобокие яблоки в каплях. Сжаться в точку, вернуться в центр, там прячутся ритм, имя и форма, и не желают выходить наружу, под дождь и ветер. В местах, забытых ногою. Всё драгоценное видит глаз его. Но где премудрость обитается и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: «не во мне она», и море говорит: «не у меня».

Чехов, его восхищение «Таманью» и «Капитанской дочкой». Подводное свечение этой прозы, сумеречный, серебристый отсвет. Заячий тулупчик, Гринев, кавалер де Грие. Грация – изящная краткость; точность чарующего. Художник бедный слова, чан Диониса. Мастер, выйдя из центра Желтого, движется сразу в четыре стороны – к Зеленому, Красному, Белому и Черному. Уста его замкнуты, в правой руке циркуль, в левой отвес. Многоглавое дерево, корни в сердце первопредка. Адам Кадмон. Проснулся посреди ночи от звука, как будто что-то треснуло. Тихий такой треск. Что бы это могло быть? Лопнул какой-то шовчик на другом краю Вселенной? Плюс ищет свой минус. В яйце брезжит зародыш. Кто ты, птенчик?.. Заблудился в сумрачном лесу. Туманный день, козы на дороге, с фермы, их таинственное «ме» из Шумера. Молочница, филологиня, родом с Волги, ее семь дворов и семь ворот.

Чтобы пройти, надо снять с себя всю одежду и украшения. В полнолуние встань голый на перекрестке с круглым зеркалом в левой руке, увидишь свою смерть. Не забудь, Аристотель, очищение, шестая глава, жалость и скорбь. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. В стране теней они пробуют призрачный звук на вкус. Осенний лист летит за окном вагона. Все мы умираем неизвестными. Слава – солнце мертвых.

Опять в городе. Утро, забытое молоко на подоконнике. Собачка наша разродилась; пять щенков, два желтых, три черных, еще слепые, сосунки. Создание с девятью отверстиями, пишет в манере доселе неизвестной. Эти узоры проступают изнутри солью изморози на панцире, на скорлупе, на камнях, на листьях травы, на странице. Они от меня не зависят. Рыцарь бедный, под броней только сердце. Помолиться о форме. Слова столпились в кучу, не видно леса. Вар, Вар, верни мне мои легионы! Боль в виске. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Таинственная... Какое длинное и бесконечно чудесное слово. Ни одного «р», и – «печально», и «обнажалась». Лесов – инст-сень-аль-лась. И еще эти – а-а-а – такие долгие, так долго и печально обнажалась. И – ложился на поля туман. Так просто, так обыкновенно и так дивно. Опять ни одного «р». Эти ло-ился-ля, эти на-ан, и – а-а-а. Именно – «ложился», именно – «на поля», именно – «туман». А это «туман» – какое туманное, большое, плотное, емкое слово, как оно, туманно клубясь, опускается, опускается, на поля, на поля... И – гусей крикливых караван тянулся к югу... У! – какое длинное-длинное и тонкое-тонкое «тяну-у-у-у-лся к ю-ю-ю-гу...». Эта бесконечная ниточка, и это гу-гу, в начале и в конце – гусей-югу. Безумно красиво. Именно это сочетание звуков, рисующих именно эту картину. И – приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Ведь именно – ноябрь. Не оттого, что – по смыслу. Тут дело не в смысле, а в том, что – «довольно». Есть это «но», значит, надо, чтобы было еще одно «но», там, дальше, через некое пространство и время, то есть именно «ноябрь». А поставь вместо «ноябрь» «октябрь» – и все рухнуло, вся эта красота. От одного неверно взятого (в строке, строфе) звука рушится весь мир. Не метафорически, а буквально, физически. Также, как рушится снежинка, утратив свой узор, свою кристаллическую красоту, свое хрупкое чудо, а вместе с ней, всякий раз (с гибелью одной снежинки) рушится и все мироздание, весь космос. Потому что все это – одно Создание, создано одной Рукой, одна плоть. У слов та же плоть, и эта плоть слова – такое же хрупкое чудо, как и у снежинки. И каждое слово создано той же Рукой. И живая плоть фразы, строки, стихотворения, поэмы, книги. Узор, вэнь, мир-книга. И в этом Узоре, в этой Книге, в этом Кристалле мира нельзя произвольно менять, ни звука, ни буквы. Я слышу:

всякий раз при неверно взятой, фальшивой ноте содрогается и вскрикивает от внезапной боли весь мир, как смертельно раненый, и я содрогаюсь и вскрикиваю вместе с ним. И как же мне не страдать – ведь это же для меня единственное, чем ценен мир, чем он диво и чудо, из-за чего я еще здесь и не спешу уходить.

Показать, скрыв. Показать, не показывая. Спрячь белое в черном. Сквозь маску – звезды. Твердое слово «дорога». Прокрасться, вычеркнуться. Лермонтова должны были назвать Петр или Юрий. Так было принято называть мальчиков в роду его отца, в роду Лермонтовых. Бабка пересилила, назвала по роду Арсеньевых, по деду, Михаилом. Троица: резец, ряса, рынок. Погибе память его с шумом. Возносясь я от врат смертных. Проснулся в семь. Мглисто, листья. Лишь паутинки тонкий волос блестит на праздной борозде. И действительно: как блестят эти два «з» в этой паутинке. Унылая пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Тут ведь шелест – эти п-р-с-ч-щ-ш. А в конце «б» и «з» дают блеск. И преклони небеса и сниде, и мрак под ногами Его. (Наклонил Он небеса и сошел – и мрак под ногами Его). И взыде на херувимы и лете, лете на крилу ветреню. (И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра). Вот и сравни. Имеющий уши да услышит. Что происходит при переводе. Изменяется тело слова, плоть и кровь слова. А с ними – и душа и дух. А с ними – и смысл и суть. Потому что каждая фраза, каждая строка – это единое Слово, единая Плоть. Имя Бога, Змей, Нирах, Номмо, Фанес, сияющий, неизменный. Слово, змея, спираль, нить, узор, вэнь, первый язык мира. Утешься, друг Петрушка, погибай в балагане. Понедельник, дождь, буря, вихрь. В Пушкинский дом, любомудры. Укиё, быстро текущий. Студенты на остановке, Нева, Исаакий, золотой сон. Пятница. Щенков увезли. Пусто в квартире. Грустим. В ЦГАЛИ, сдать архив. Гора с плеч. Дождь, холод, листья, осень, Нева, машины, шум этот, ремонт, огорожено, фасады в «лесгах». Нашупать нить. Ломоносов, новые слова: маятник, чертеж, насос, созвездие. Карамзин: человечность, сердечность, трогательный. Карл Брюллов: отсебятина. Достоевский: стушеваться (очень этим гордился). Крученых: заумь. Игорь Северянин: бездарь. Хлебников: летчик. Лезем в потайной карман языка за словом. Режиссер Ростокский. Печорин – Ивашёв, слепой – Бурляев, ундина – Светличная. Идем в аптеку, сумерки, пруд, мост, утки. Между домов, желтые клены. Вдруг зашуршало. «Что это? Дождь?» – спрашивает. Смотрю: нет, снег! Крупа. Так и сыплет, так и сыплет! Уже вся дорожка у нас под ногами белая. И как все осветилось вокруг!

Четверг, писец, Набу, грифель из Шумера. Эта рыба не умещается в

море; умаяясь, она превращается в знак на стене катакомб. Сокрушительная свежесть вулканических извержений. Рим, арка Адриана. Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? На выставку Ю.Медведева. Васильевский остров, Большой пр. 62. Мрак, дождь. Алексеев, Тропников. Бокалы с вином на столике. Ее тревоги. Пятница, прялка, изгибы, извивы, тонкие дела, веретено. Брось в колодец. «Все складывалось так, чтобы убедить его самого в полной своей бездарности». Волошин о Богачевском. Звонил Алексеев, святой в венце вина. 140 лет со дня рождения Бунина. Ночью буря. Дух пишет, где хочет, перышком вороньим на полях. Сжатый кислород. Не уснуть. Стук часов на столе, это он нагоняет страх и ужас. Заостренная стрелка секунды, пульс ночей и дней, душа в пятках. Эх ты, Ахиллес! Среда, котельная, Шельвах, Костя Крикунов, посмертный том. Артистический жар, повышенная температура, как всегда, как всегда. Андрей Белый, 130 лет со дня рождения. Ни букета, ни портрета. Метро Чернышевская, песнь творит. Северная Аврора, Лукин, свет в окне, проблеск; выстрел с моей публикацией готовится не за горами.

Ноябрь, дождь. Дом Державина, концерт. Вышли, темно, брусчатка во дворе. На Фонтанку, через мост. Твой день и твоя ночь. Собрание пишущих вилами на воде, плетущих корзины извилистых витийств. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Приснился Оредеж, лето, яркий солнечный день, сижу на берегу, быстро-быстро пишу в текучем, сияющем свитке, и поток уносит мои письма. А я пишу и пишу, нельзя не писать, нельзя перестать записывать ни на минуту. Так велит мне мой Повелитель. Я должен писать до последнего вдоха. Московский пр., Парк Победы. Блок, 130 лет со дня рождения, концерт. Галина Дюмонд. «Незнакомка», юноши и девушки из театральной студии. В квартире грусть. Хризантемы на столе. Снегопад, в церковь, память Марии Афанасьевны. Запах из пекарни. Николай Харита, автор романа «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Красавец, высокий, стройный, сердцеед, женщины его обожали. Жил в Киеве. Убит каким-то бароном-ревнивцем, застрелен на выходе из ресторана. Ночью буря, дождь. Лев Толстой, сто лет со дня смерти. Писатель, двуликий, раздвоенные личности, пропасть внутри, а мостика нет. На кладбище в Красное Село. Память мамы. Голые, черные клены, земля, дождь. На обратном пути поссорились. Опять предложила расстаться. Вот уже третий год твердит как заклинание: расстаться, расстаться. Ее слепая мать снова кричала ночью. Подняли с пола. Одна и та же галлюцинация: как будто она лежит на улице, на рельсах, и ее сейчас зарежет трамвай. И нам никак не убедить ее, что это ей только грезится. Так у нас теперь чуть ли

не каждую ночь. Метель, экстремально, эквилибрист на шаре. Яблочко, куда котисься? Играй на одной струне. Сестричка смерть. Мороз. Нарвские ворота, канцтовары, лента для пишущей машинки. Тротуар перед магазином оцеплен оранжевыми флажками; три узбеки орут, чтоб шел прочь, пока цел. С крыши сбрасывают снежную лавину. Умерла Белла Ахмадулина. Звонок судьбы: начнет печатать мою книгу в своем журнале.

Концерт в университете. Чернышев с женой, шампанское. Лыжи, метель, сумерки, колючки репейника в белых шапочках, решетка ограды, шахматисты в тулупах под синим навесом, спортплощадка, турник, шум шоссе. Вечером к Старовойтовым, вино. Обратно через парк, нес на плече две пары подаренных нам новых лыж, она – мешок с лыжными ботинками. Адская ночь. В квартире под нами опять оргия. Концерт в музее театрального искусства. Чернышев с женой и мы. Флейтистка. Мороз, метель, переулочек Крылова, продувная труба. Оглянулся: Пушкинский театр в метели, озаренный фонарями. Рух: разруха, проруха, старуха. Украинская газета. Можно ли трезвой то высказать силой ума, что опьяненному муза прошепчет сама? Злая лающая Парка. Оттепель. Идем в аптеку на Дачный проспект, буран, снег в лицо. Большая очередь, человек двадцать. Говорят: это еще что, бывает, и на улице стоят. На рынок, купили рыбу, пикшу, картошки 4 кг., из Волосова, морковь, груши. Книжный вагончик у метро, продавщица в тулупе, занесенные снегом книги. Умер Коля. Запой. Пил десять дней, никому не открывал дверь в квартиру. 43 года. Всю ночь буран. Дом писателя, вручение премий молодым поэтам и прозаикам. Н.Н.: «Надо почаще упоминать обо всех вас, чтобы что-то сдвинулось». Лыжи при месяце. Ветер сдувает с ветвей седые космы. Ушла на собрание жильцов, расселение «хрущовок». Мастер игры в го, проиграл последнюю партию и, не вынеся позора, умер, в 64 года. Письма А.Белого, вопли черного отчаянья. Места силы, Жар-птица в волшебном саду, феерия искусств. Магические заклинания, начертанные древними иероглифами внутри бронзовых кувшинов. Вся земля моя и мне дано пройти по ней. Аполлоний Тианский. Поехала в СОБЕС. Звонок, забыла документы. Нарвские ворота, жуткие, зеленые, филоновские. Толпа, тускло, собаки на снегу. Зашли в кондитерскую у метро; а коврижек, каких ей хочется, нет. Приходите завтра. Дом писателя. Набросились: такой я и сякой, мозаист, пуантилист. Я был спокоен, как лед на Эльбрусе. Болевой писатель, закрученный. И показала рукой вверх, смерчеобразно, как я закручен. Мороз. Фонари. Смотрю в безраздушную мглу. Лунное затмение в ночь на 21 декабря. Смерть и живот в руке языка... Вода глубока – слово в сердце мужа. На Невский, ей хочется

посмотреть, как украшено к Новому году. Лиловенько, в сосульках. Заглянули в Книжную лавку. Книги мои лежат железно, как в саркофаге, до Страшного суда. В Пассаж, она скоро. Жду снаружи. Полнолуние, мороз, толпа. Александр Тихомиров, художник, одноглазый. Магнитная стрелка указывает на неизвестную звезду на Дальнем севере. Ацтеки. Золото – испражнение богов. А вот будет время, когда каждый человек, чтобы услышать одну ноту из моих творений, будет скакать с одного полюса на другой. Скрыбин. Купил елку, колючая, ах, как пахнет! Слава Божия крыет слово. Погряз в книгах. Закат. Прощай, уголек! Безрадостные дни, от года-то хвостик остался. Огни, мрак, дома, брести куда-то, месить эту кашу. Все равно не хватит силы дотащиться до конца. Игрушка-погремушка над ухом. Слава мира. Иди домой и ничего не жди. Пиши, пиши, червячок, стар и страшен, провидец божьих чудес. Тускло, мороз. Звонил Алексеев. В кондитерскую за тортом, Саша, пьяненький. Новый год вдвоем.

Январь, читаю, душа автора, след тигра в зимнем лесу. В начале был голод. Придет новый чародей, накроет наш стол скатертью самобранкой; тяжелы эти черно-белые чаши, чуют срок и черед. Творити книги многи несть конца. Гуляли в снегопаде. К церкви, пекарня, пирожки. Ей плохо, давление, лежит. К перемене погоды. Оттепель. В Манеже выставка, Ю.Медведев, Чернышев, Алексеев. Шестеро в лодке. Повторы, копии. Мокрый снег, слякоть из-под колес. Опять мороз. Сел за стол. В заутрии сей семя твое, и в вечер да не оставляет рука твоя. Юлиан отступник, речь «К царю Солнцу», написал за одну ночь; речь «К Матери Земле» – за две ночи. Проводил в поликлинику. Бледная, похудела, на грани отчаянья. Непосильная ноша для ее хрупких плеч – этот крест. Джек Лондон, 135 лет со дня рождения. «Морской волк», одесская киностудия, 1990 год. Волка Ларсена играет известный актер, литовец. Понедельник. К Нарвским воротам, снять ксерокс с моей повести «Рак на блюде». Там подешевле, скидка для пенсионеров, на рубль с листа. Для сборника «Повести петербургских писателей». Метель, мутно, метро. Вышел на площадь. Ворота триумфальные, зеленые. Вороньи лавры. Толпа, скользят, гололед. Ужас этот снежком припорошен, дьявольское коварство, долго ли шею свернуть. Вечером к Старовойтовым. Коньячок. Косноязычие мастера черных солнц. Утром к метро, розы. Вот и ей 65. Небо голубое, мороз, а я еле тащусь, на ногах гири. К вечеру метель. Гулял в парке, вернулся, стол уже накрыт. Опять оттепель. Мокрые хлопья вьются. Поехали на Литейный, приемная, полковничиха, рыжая, заявление.

Февраль, таянье, серо, тускло, сыплется мокрый снег. Мне 64. Нелепая

поездка на Васильевский остров, Михнов, выставка, не нашли. Проболтались четыре часа. Промочила ноги, сердитая. У метро Гарнин, нос к носу. Вечером Лена с Мишей. Напился. Мнози суть высоци и славны, но кротким открываются тайны. В Дом писателя. Алексеев: ты мне тем больше всего нравишься, что не делаешь лишних движений. Отзыв в «Литературной газете». Сергуненков, юбилей. Почто гордится земля и пепел. По всему миру мрут пчелы. Ученые говорят: из-за химикатов и телефонов сотовой связи. По предсказанию Эйнштейна, если на Земле вымрут все пчелы, человечество погибнет. Мороз, солнце, медицинский институт на Садовой, у цирка. Чернышев, Лебедев-Серб, Тропников, Алексеев, Константин Иванов, Сорокин. Шампанское. Алексеев: «Как пишет Овсянников? Вот так: Ночь, улица, фонарь, аптека. Пришел, увидел, победил. Ужасный, мрачный, отвратительный писатель. Ужасная отвратительная поэтика». Лебедев-Серб: «Что в народе говорят об Овсянникове – что он блее Андрея Белого». Выставка Константина Иванова, пл. Чернышевского. Вино, скука, ушел. «Поэтический гений есть истинный человек, а тело или внешняя форма производна от поэтического гения». Вильям Блейк. Снегирек на клене, каждое утро прилетает клевать семена. Пишу плотно. Сократи слово, малыми многая изглаголи. Концерт в Капелле, дирижер из Канады. Дебюсси, Равель, Дворжак. Среди говорящих тварей есть боги, есть люди, а еще есть Пифагор. Феллини, «Джульета и духи», смотрели до часу ночи. Только стал засыпать – зовет, у нее ужасная боль в спине. Растирал мазью, плачет, хочет жить. Утром солнце, яркость. У соседнего высотного дома-башни ослепительно блестят стекла.

Март, мокрый снег, березы за окном. Скрябин. Если бы Бог не любил музыки, я не мог бы ее писать. Я только поднимаю завесу, делаю скрытое явным, я только переводчик. Я ничто, я только то, что хочу. Я бог, я вселенная, я игра. Искусство – это светящиеся звуки. Ничего не создается, все только игра. В кабинете Скрябина перед его пианино висел на стене портрет восточного мудреца, мрачное, дьявольское лицо, работа его друга художника. Скрябин сочинял музыку, сидя перед этим портретом. Рисунок Леонардо да Винчи – голова девушки (для картины «Мадонна в скалах»). И высказывание Леонардо под этим рисунком: «То лицо, которое на картине смотрит прямо на художника, его делающего, всегда смотрит на всех тех, которые его видят». Смысл сказанного словами (в словах) и смысл видимого глазами (в смотреии, когда смотришь) – между ними пропасть. И я слышу: «Или смотри, или говори. Что-нибудь одно». В Мексике выбросило на берег кита, гигант длиной 10 метров. Сто человек сталкивали его обратно в океан. Некоторые астрономы утверждают, что в

2012 году у нас в небе загорится второе солнце, сверхновая звезда. На Земле будут белые ночи. Это и есть предсказание маяя о конце эры в 2012 году. Вечером вызывали «Скорую помощь». Лидия Андреевна потеряла сознание, повалилась со стула. Думали – смерть. Нашатырь. Пришла в себя. Мои самые сокровенные, самые дорогие для меня чувства и мысли чужды миру и не стремятся быть понятыми читателем. Франсис Понж. На грани сходства и несходства. Полное сходство вульгарно. Полное несходство – обман. Избегай вульгарности. Также избегай и обмана. Древние египтяне при мумифицировании сохраняли все внутренние органы тела, как необходимые для будущего соединения с духом. Кроме мозга. Мозг они просто выбрасывали, как совершенно ненужное для человека в потусторонней жизни. В филармонию, Лист. В Японии землетрясение, 18 тысяч погибших. Разрушена атомная станция. Взрыв реакторов. В Южно-приморский парк, давненько мы здесь не были. Талый снег, светлая березовая роща. Демьян Бедный, настоящая фамилия – Придворов. Возможно, незаконный сын К.Р., Константина Романова. На столе Демьяна Бедного стоял портрет К.Р. Известно, что К.Р. ему покровительствовал, помог поступить в Московский университет. У Демьяна Бедного был свой личный вагон, подаренный Лениным. Громадная библиотека, собранная из библиотек, реквизированных ЧЕКА. Ушла в поликлинику. Тревожно. В Доме писателя, женский день, читали три писательницы: Жорж Санд, Эмилия Бронте и Вирджиния Вулф. Звонил Алексеев, говорит: «Ты же самурай!». Гулял, ветер. Плеск талых ручьев, льющих с крыши школы. Иду, опустив руки. Пустота. Исая. Четыре крыла земли. Гюго, предисловие к «Кромвелю». Художник – внутренний строй, присущий всей природе. А подражатель – тварь дрожащая на всех ветрах. Перевели часы на летнее время. Утром чистое небо, но вот, уже заволакивает, будет, как вчера, буран. Сизо-темное небо в борьбе туч. Во всех сих не отвратится ярость Его, но еще рука Его высока. Забыл, где живу. Забываю вчерашний день. Беспамятство, сырой снег. Скрипим перышком. Осталось лет пять: чудить в этом чаду. 70 – это уже ятаган в тучах. Жалобы турка. Будь самим собой, старая подошва, дырка от бублика. Толпа толкает меня внутрь себя, а там Карамзин с «Бедной Лизой». Поскольку переживания – фундамент моего искусства, я не подлежу изучению. Сезанн. Сидеет, грецкий орех, ум за разум. Динамическая, речевая конструкция, Тынянов, чудище-юдище. Оскудеет слава сынов кидарских.

Апрель, клики чаек, проспект Стачек. Купили резиновый коврик под стиральную машину. Солнце в лицо, печет, жарко. У церковных ворот ручки блестят. Пекарня, проголодались, пирожки горячие, с луком. В

квартире душно, топят, как зимой, раскаленная батарея. Старый фильм «Изящная жизнь», немое кино. Перемена погоды, дождь, сырость. В приемную депутата, продуктовые пособия для инвалидов. Крупа, макароны, консервы, подсолнечное масло. Тащим на тележке. Ослабели мы с ней, истощение, тяжелая была зима. Шатает, ноги скользят и подкашиваются. Горе венцу гордыни, на версе горы тучные, пьянии без вина. И ногама поперется венец гордыни. Система вогнутых зеркал. Если стоять в ней, станешь ясновидящим, тебе откроется прошлое, настоящее и будущее. Болгарская провидица Ванга предсказала 3-ю мировую войну в 2012 году, сохранится только Россия. Россия будет ковчег всего мира. Столицей мира будет Петербург. Звонил Алексеев: мою книгу читает Москва. Поехали за тортом. Яркий день, грохот, приставленная к стене лестница, рабочие снимают вывеску, то ли Саргон, то ли Сайгон, все как во сне. К Нарвским воротам за подстилками для Лидии Андреевны. Там очередь, много таких, ухаживающих за лежачими, у кого муж парализован, у кого жена, у кого что. Обратно троллейбусом, груз громоздкий. Сухо, мутно, дико. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге. Это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать стихи! Хармс, из письма. Красота – это торжество порядка. Фома Аквинский. Вербное воскресенье. Надо идти от себя, и как можно дальше. Пиза, Галилей, площадь Чудес. ЛЕНЭКСПО, книги, злато слово, речь в микрофон. Оказался в каком-то неизвестном месте, дома кругом, детская площадка. Никак не могу понять, где я. Расспрашивал, как мне попасть на улицу Лени Голикова. Да тут недалеко, говорят, автобус ходит, пять остановок. Добрался до дома в десятом часу.

Цветы, птицы, майское, синее. Мама видится, в ватничке, в платочке. День Победы, Марсово поле, по набережной, Нева слепит. Лица, лица. Изнемогли в толпе, толчее. Грибоедов с отстрелянным пальцем, клен в цвету. Монетка 10 копеек, клейкая, кто-то ее потерял среди разбросанных по земле чешуек и хвостиков. Ветер, мгlisto, дождь. Поворачивает к теплу. В Эрмитаже выставка, из Прадо. Тициан, «Венера и клавесин». Устали наши ноженки кружить по залу. Где бы присесть? Черемуха! Запах донесся еще на дороге, когда еще ее не видел, там, в переулке. У, мировая! Размахнулась во всю Вселенную! Кукушка, туманный голос с того берега. Два рыбака, солнце садится. Упорная строгость, *hostinato rigore*, – девиз Леонардо да Винчи. Проснулся среди ночи, мешала спать какая-то мысль, которую надо додумать. А проснулся и забыл – что за мысль, о чем. Лежал на спине, слышу: первая электричка. Голова болит,

виски сдавило. Отчего эта боль? От забытой мысли? Что я ее забыл? Вот и мучает, мучительница. Ведь мысль – женщина. За окном светло. Сад в зеркалах после дождя. Скворец, блестя мокрой угольной спинкой, гуляет по грядкам, клонит червяков. Живу тут один, тяжелые сны, время сажать и сеять. Вид жаберных, человеко-рыбы, нулевой уровень узнавания. Дух времени в ноздрах моих. Оглянулся: синий купол Троицкого собора. В Екатерининском саду – сирень.

Оредеж. Сажу в лодке, опустив руку в воду. Блеск этот, листья тополей трепещут, такие еще молодые, зеленые. Голос кукушки из леса, гулкий, звонкий. Так и сидел бы тут в безмыслии до скончания веков. Ветер, веранда, книга. Закатные лучи озаряют страницу; шрифт резкий, как зубья, страшная ясность смысла вонзается в мозг. Вагнер, маленького роста, щуплый, с орлиным носом, очень подвижный, вспыльчивый, непререкаемый, не терпел никаких возражений, тиранический характер. Умер в 70 лет в Венеции от внезапного сердечного приступа, посреди работы, мгновенно. Ходил по комнате, писал статью, вдруг удар в сердце. Успел сказать: «доктора». Упал, агония, смерть. Опять сажу в той лодке, приложив к уху раковину. Вслушиваюсь: внутри зарождается звук, растет. Брахман. Рядом купаются две старухи. Выходят из воды, одна говорит: не пугайтесь, кому мы теперь нужны. И смеется, веселая. Ночь, по дороге кто-то бредет, шатаясь, то ли пьяный, то ли старый. Abussus abussum, бездна бездн. Двудликий быколев сеет в космосе новые знаки. В Вырицу, квитанции за электричество. Жарко, с ног валюсь, частичка бытия, покой и воля. А кто огород будет поливать? Луи Ламбер?

Дождь с утра и, кажется, на весь день. Лук Геракла. Скучно стреле в колчане, состояние неписьма. Лежу, сложив на груди руки, как покойник, тишина мертвая, только электричка прошумит глухо, и опять эта, глубокая, как бездонный колодец, тишина. Но я не верю ей, я знаю, у нее есть голос, и этот голос мне говорит: встань, садись за стол, возьми ручку и пиши. Все равно – что. Пока не начал писать, ты не знаешь – кто ты. До письма ты – никто. Начни писать – и узоры и формы с отпечатка пальцев, которыми ты сжимаешь пишущую ручку, перейдут в слова и фразы на листе бумаги – твой автопортрет. Эти узоры – с отпечатка титанических пальцев, пишущих Книгу чернилами древней крови предков. Это Он, Водолей, водит моей рукой, это его диктант. Жажущая смысла рассудочность, Юнг. Дождь весь день, как я и предполагал. К вечеру стих. Оредеж в тумане, влажно, матово. Шлепки капель о воду. Полнота, Плерома. С каждой каплей восстанавливается целость мира. Каждое слово земли и воды пишется изнутри мира, всем миром, всем мирозданием. Так в каждое мгновение восстанавливается мир.

Понедельник. Из соседнего дома пьяный вопль. Сок отравляет шумны мозги. Ставь на проигрыш, поражение – это и есть победа. Поэт начинается там, где кончается человек. Ортега де Гассет. Магическое превращение. Опять стоял на горе, созерцая закат. Что внутри, то и вовне. Во всем видно грустное нутро мира. Лариса, растрепанный голос. Облака, тополиный пух, вой пилы. Он может нести на голове Великий круг, ступать по Великому квадрату, глядя в зеркало Великой чистоты. Стоит ли пожертвовать хоть волоском со своей голени ради пользы Поднебесной? Вещи правильной формы. В городе, день темный, дождь, на Разъезжую. Троянский конь, авторские экземпляры, и черный рак на белом блюде. Никольский собор, облачно, день душный. Тревожное ожидание. Крюков канал, этот антрацит в масляных бликах, колеблются складки, тополиный пух летит. Черный чугун решетки. Весь день на ногах. Екатерину Васильевну привезли из больницы, 94 года, сломанная шейка бедра. Санитары вносят на носилках, громко стонет. Канал, Аларчин мост, музыка из машины на набережной. Спрашивает: что видно в окне? Не расслышав моих слов, просит говорить громче и помедленней, прямо над ее ухом. Таня, сиделка, Джан, Лейли. Низкий полет стрижей, их круженье, как много, как черно. Снова тучи собрались над моею головой. Не знает, что сообщают ему глаза и уши, сквозь пальцы пропускает тьму вещей. Бродить у начала и конца. Странствовать сердцем в пустоте.

Июль, сны. Чжуань-суй правил, используя магическую силу воды и давая по названиям вод названия должностей. Небесный узор. Ян рождается в знаке цзы, инь рождается в знаке у. Жаркое утро. Сложно-образованные формы облаков, высокая рука Мастера создала эти неведомые шедевры не для моего восторга. Они прячут свою тайну, их превращения мгновенны. Вот, они уже расплываются, распадаются, их форма рушится. Где они? В запасниках каких музеев? Роскошь крошеной ромашки в росе. Четыре «ро», три «ш», семь «о» и «ё». Чудо-строка. Такая, может быть, одна во всей мировой поэзии. Гулял. Господин Люй. Томление. Дева на дороге, отвернулась от моего пронизательного взгляда. Только путешествующие во временах способны владеть этим искусством. Грань приобретения и утраты глубока и тонка, неясна и темна. Дух обитает в сердце и управляет формой. Пошел купаться. Уже темнеет. Оредеж обмелел, спустили плотину. Танец привидений в тумане вокруг призрачного центра. Кто познал одно, тот знает всё. Кто не способен познать одно, тот не знает ничего. Обнимает корень Великой чистоты и ничем не обременен, вещи его не тревожат. Поехали на Английский проспект, получить пенсию Екатерины Васильевны на почте по доверенности. Ждал снаружи, ветер, чахлая трава газона. Екатерина

Васильевна третий день не ест, не пьет. Пришел священник, соборовать. Душный день. В Русский музей, выставка Бориса Григорьева. «Улица блондинок». Похудела, измождение, усталое, замученное лицо. Оредеж. Туман. Без руля и без ветрил. Грибоедов в Тифлисе при венчании уронил кольцо (трясла лихорадка). Дурная примета. Пушкин тоже уронил кольцо при венчании. Путь в Персию, свадебное путешествие, пышное, радостное, цветы, песни, всадники гарцуют. Обратно – гроб, ночь, факелы, черный Тифлис, траурные полотнища, вопли рыдающих грузинок, Нина Чавчавадзе, мертвый ребенок, мертвый муж. Пушкин, какая встреча, песни Грузии печальной.

Опять один. Един есть Бог, един – Державин. В саду под яблоней. Дао дополняется умом, и от этого возникают заблуждения; сердце обретает глаза, и теряется ясность зрения. Каждый стоит на страже своего дела, не вступая друг с другом в соперничество. Тот, кто постиг корень, не заблудится в верхушке. Великое совершенство похоже на несовершенное, постигается без слов. Сдерживая сиянье, можно устоять. Учитель говорит: «Струна права, это в звуке ложь». Форма – это то, чем соприкасаешься с вещами, чувство же остается скрыто внутри, и тот, кто захочет вывести его наружу, если увлечется формой, то погубит чувство, а если излишне отдастся чувству, убьет форму. Только когда чувство и форма проникают друг друга, является нам Феникс и Цилинь. Мелочью легко нанести урон сути, а это тут же отзовется в форме. Ум мудреца в умении по началу судить о конце и говорить намеками. Если ценить вещи за то, что в них ценно, то все вещи будут ценны; если презирать вещи за то, что в них презренно, то все вещи окажутся презренными. Пружина духа глубоко скрыта, резец не оставляет следа – таково тончайшее мастерство. Недостижимо высокое не может быть мерой для людей. Чувства приходят в движение внутри нас и обретают формы в речах и звуках. Господин формы, хозяин звука, узор – взнь. Резной дракон. Молния в пепле. Звук есть маленький листок дерева Земли и звезд. Вторник. Умерла Екатерина Васильевна.

Встали в семь. Морг у Троицкого собора. Голубой купол в золотых звездах над нами, солнце, яркий день. Отпеванье, попик в рясе пел перед гробом вечную память. В вагоне душно, Мейстер Экхарт, в переводе Сабашниковой. Надо еще додумать кое-что. Хвостики мыслей. Длань незримо-роковая, металла звон, скрежет тормоза, платформа. Для звуков жизни не щадить. Слышно страшное в судьбе русских поэтов. Приехала, бледная, унылая. Луна-льдинка, холодно, жутко. Как дальше жить, спрашивает. А я не знаю, что ей ответить. Не знаю, не знаю. Жить-тужить. Ничто из ничто создал ничто, как говорит Василид. Идем в Вырицкую

церковь Казанской Божьей Матери, пешком по шоссе, жаркий день. В церкви прохлада. Девочка некрасивая бежит. Толстый поп в черной рясе, очень энергичный. Когда мы подходили к церковным воротам, этот поп брызгал святой водой на богатый лимузин, освящал. Сверху с купола стук молотков. Ремонт. Поставили свечку за упокой Екатерины Васильевны. Грибоедов, слова по-кудрявее – это для поэтов. Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Радищев «Слово о Ломоносове». Лариса из леса, с черникой, радостная. Вышел: ночь теплая, ни ветерка, сад-Вий, на западе бледно-розово. Мотылек порхнул у самых ресниц, как молния, в пепельных пятнышках, мучнистое тельце. Трепетность, хрупкость. Идем, слышим: гром! Туча черная-пречерная! Скорей обратно. А до дома далеко, не успеем, гроза застанет на дороге, вымокнем насквозь, и спрятаться негде. Гром все резче, страшней, туча все черней, небо закрыла. Вот и змея в глаза, вспышка электросварки. Первая капля клюнула в голову. Бежим, только в калитку и – дождь. Сначала робко, потом разошелся, хлынул ливнем. Стихло, глядим: радуга! В полнеба на сизо-темном небе. Ах, красота! И тает, тает этот цветной пояс. Вот уж ничего и нет. Воскресенье, купались, замерзли, пили водку. Даосская книга «Люйши Чуньцю». Облако в виде человека в лазурном одеянии с красной головой и неподвижного. Имя ему Небесный Враг. Облака, как висящее знамя, красное. Душно. Проводил, уехала. Пена дней. Твари в панцирях, нота – юй, число – шесть, вкус – соленый, запах – гнили, жертвы – входу. На дороге, голоногая, загорелая, в коротеньком, черном платьице на тесемках, посмотрела на меня долгим взглядом. Глаза цыганские, жгучие. Угрюмый тусклый огонь желанья. Лет шестнадцать. Хрупкий свет, на западе розово-пепельно. Ночью гроза. Все небо вспыхивало, как будто гигантский ночной мотылек бился серебристым крылом. И гремело, и вспыхивало долго, час за часом, молнии чертили ослепительные зигзаги неизвестных писем на пиру Валтасара, а дождь все не начинался. Вот что-то зашелестело в саду, вот гуще, шумней. Долгожданный.

Константин Леонтьев, роман «Река времен», сжег будучи монахом, чтобы победить соблазн литературы и славы. На Волге потонул лайнер, почти все погибли, сто человек команды, более двухсот пассажиров. Перевернулся по неизвестной причине. Спаслись только те, кто был на палубе, и несколько человек, кто сумел отдраить иллюминаторы в каютах. Иллюминаторы по приказу капитана были все задраены. В глубоком унынии, говорит, что ждет смерти. Ушла за молоком. Длинная шерстяная безрукавка, резиновые калоши. Томик Огарева. «Или в лиловой мгле

сияния луны». «При блеске солнечном их яркой белизны». «Досадно нежному слуху», как говорил Тредиаковский. Холод, ливни зарядили, неистощимые, неисчислимые. Что-то невесело нам живется в последнее время. Пора к Свидригайлову в Америку. Тредиаковский разбирает оду Сумарокова. «Что то за диковище? или лучше, что то за сумбур? и толь страннейший, что он здесь прилеплен, как горох к стене. Мне в сочинениях толикия важности не любы ни Нимфы, ни Нептуны, ни другие подобные сумасбродные тени: ибо можно без всех сих пустошей обойтись. Автору надобен токмо звон, а кроме того ни что». Не спится, колесо в мозгу. Топчу тоску. Озарение, откровение, слияние. «Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна полезна, как летом вкусный лимонад». Автор «Фелицы». «Потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты на богатый стол». Автор «Деидамии». «Коль бы стихи с рифмами не гремели, в начале своем и середине, мужественною трубою; но на конце пищать токмо и врещать детинскою сопелкою. Согласно ритмическое отроческая есть игрушка, недостойная мужеских слухов». Он же. Четверг, туман, накрапывает. Проводил до платформы. Потухший взгляд. Уехала.

Мглисто, Фрейд, подавленность. Ты пьешь волшебный яд желаний. Один в доме. Поднялся по лестнице и – ночь. На печной трубе играют причудливые узоры отраженных листьев, мятущихся в ветре. Иван Крылов, начал писать свои басни в 40 лет в подражание Лафонтену. Слава и тираж изданий больше, чем у Пушкина. Сербский эпос, битва с турками на Косовом поле. И долго сердцу грустно было. Если бы кто-нибудь проносил передо мной картину неизвестного мира в текучей раме сна, одну минуту, хотя бы одну минуту, – может быть, я успел бы ее запомнить и при пробуждении записать? Нет, навряд ли, навряд ли. Мечты и звуки. На почту, платить за электричество. На шоссе машина обрызгала грязью из-под колес, летела, как сатана. Джакобо Леопарди, библиотека 20 тысяч томов, одна из самых больших частных библиотек в мире. Собрал его отец, потратив на книги почти все состояние. О, как писали в мощны годы!

Идем к Троицкому собору. Синий купол в золотых звездах на фоне темной дождевой тучи. Поставили свечки, за здоровье и за упокой. Вышли – тротуар мокрый, дождь был. В кондитерскую, пирожные. Опять дождь. Бежим под зонтом до метро. Дома распили бутылку сухого красного вина «Фанагория». У нас, говорит, теперь новый период – старость. Прожили вместе уже 32 года. Метро Чернышевская, встреча, луци у них напряжены. Понедельник, месяц в окне вагона, огромный, красный, сентябрьский. Он звуки льет – они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые. У

Аничкова моста расстались: до связи. Сырой ветер в лицо, темно, фонари. Трезвость. На Фонтанку, Антон Рубинштейн. Художнику необходимо признание, иначе его творчество иссякнет, подавленное горечью сомнений в собственном таланте. Богом быть не могу, королем не хочу, я – артист! Две книжных полки с Гражданского проспекта. Облака. Древние индийские трактаты на санскрите, летательные аппараты, виваны. Древний город Мохенджо-Даро (Холм мертвых), уничтоженный взрывом атомной бомбы. Спираль истории. Все уже было и забылось. Хемингуэй, прочитав рассказ Андрея Платонова «Возвращение» в переводе на английский, воскликнул: «Вот мой учитель!». Полнолуние. Заяц толчет в ступе волшебный корень бессмертных слов. Все лишь ступог к имени, даже ночная Вселенная. Среда, ветер, голос горестный: «Когда же ты вернешься?». Две черных собаки у обочины, нехотя встав, отошли в сторону. Ночь, умный череп. Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека. Музей Ахматовой, стихи читал, взвизгивая, глухой. Подскочил какой-то: вы автор этой книги? Тютчев за границу взял томик Державина и там сочинял стихи: сей, сея, сии. А вернувшись через 20 лет в Россию, стал писать только: этот, эта, эти. Стучит кулачком по столу: почему у немцев в Мюнхене есть памятник Тютчеву, а у нас в Петербурге нет? Высокая сосна, выставка графики, набережная Робеспьера. Красный свитер, одряхлел. Примирение. Кепочку потерял, не помню, где. А ведь я в ней так симпатичен был и нравился женщинам. На радио, Петроградская, Карповка 43, проливной дождь, еле нашел. Закон скупых чернил, рукопись мира, этот темный, черный, очень черный путь. Тащусь с гирями на ногах. Пятница, ночь темная, одна единственная звездочка подмигивает, подбадривает. Испугал какой-то странный шорох. Как будто что-то внезапно обрушилось около меня в тишине сада. Оказывается, это слива решила стряхнуть с себя все капли, что остались на ней после дождя. Есть еще чудеса на земле.

Солнце, залив, мы одни. Масонский треугольник, Адмиралтейство, сияющая дельта. Санкт-Петербург или Санкт-Питерсбург? Купили пуховик, китайский, с меховым капюшоном. Именно такой она и искала. Пушкин носил два перстня, верил в их магическую силу. На портрете работы Кипренского эти два перстня есть. Один – с изумрудом, талисман, хранил его от всех бед. Второй – с сердоликом, подарок Воронцовой, с карибской надписью, хранил от предательства. На все свои дуэли Пушкин надевал перстень с изумрудом, и всё заканчивалось благополучно. Отправляясь на дуэль с Дантесом, он снял с пальца перстень с изумрудом и оставил его дома. На его место надел перстень с

сердоликом. В Эрмитаже Вермеер Дельфтский, «Любовное письмо». Выходим, во дворе листья летят, кувыркаясь, сдуваемые ветром с высоких вековых дубов. Золото в лазури. Николай Аполлонович. Невский проспект – прямолинейный проспект. Угол Садовой и Римского-Корсакова дом № 5. В этом доме она жила до 23 лет. Теперь тут отель в 9 этажей. Просит девушку в баре разрешения посмотреть из окна на то место, где был дом. Уже темно, фонари. Вот, говорит, как молнией ударило. Моя жизнь тут. А вот – и жизнь прошла. Поэтесса, финка, слепая, 16 лет живет в Петербурге, стихи пишет по-фински. Переводчица привела ее сюда за руку. У осьминогов голубая кровь и три сердца. Может быть, они явились с другой планеты. Ныне труп искусства, размалеванный натурой, положен в гроб и запечатан черным квадратом. Похороны Малевича по-супрематически: в ногах красный круг, в изголовье – черный квадрат.

Мойка, мглисто, антрацитная вода, веточка, выросшая из щели в граните; дрожат на ветру листочки, еще зеленые. Жизненная сила. Искали выставку, галерея на пр. Бакунина д. №5, около пл. Восстания. Радиопередача, а мы и забыли. Что ты грустишь? Не грусти. Вот у тебя уже в окно новый день смотрит. Малая Посадская, мечеть в утренней мгле, зелено-голубая шапочка. Едем, Шпалерная. Всех скорбящих радость. Помолиться о книге. Вонми, о небо! Что реку. Земля, услышь мои глаголы! Дом Державина, столпотворение. Здесь все, чьи имена внесены на страницы вечности. В зале, где проходили собрания «Общества любителей Российской словесности». Речи составителей Словаря. Битов, плач Иеремии. Вино на подносах. У леопардов рисунок шкуры индивидуален, так же, как отпечатки пальцев у людей. Рюмка водки, поперхнулся, закашлялся. В голове замутилось. Не видела, была занята разговором с вдовой. Вышли, Нева, свинцово, муть, мглистость эта ноябрьская. Чайка на голове сфинкса, мост. Бледная, истомленная, морщинки. Какие же мы с ней уже старые. Ужас. Катимся, катимся. Кто-то крутит калейдоскоп, и мир каждое мгновение предстает в новом, невиданном порядке. А мне не успеть – побыть, пожить в этом новом, другом мире. Калейдоскоп крутится слишком быстро. И вот он уже так завертелся, что все слилось, черно-белое, день-ночь. Светает в половине десятого, фонари еще излучают свое безотрадное электричество. Жду – погаснут, и будет легче. Никого, ничего. Поехали на ул. Декабристов, в жилконтору, оттуда пешком по каналу Грибоедова, дом Екатерины Васильевны. Говорит, что, как только она попадает в эти места, на нее наваливается тоска, готова расплакаться. К Троицкому собору. Пока шли, стемнело, отражения фонарей в мутно-серой воде, вот уже в черной. Через Троицкий вещевого рынок, тряпки, грузины. Белеют титанические

колонны. В соборе пусто, тихо, просторно. Помолиться перед иконой Богородицы Скоропослушницы. Молился о книге.

Сняты ящерицы с зашитым ртом и веками. Пришла девушка, морить клопов и тараканов. Все вокруг меня говорят о своих тайнах, но я не слышу, что говорят мне эти голоса. Спрашивать не умею. Я не знаю, о чем спрашивать. Да и вообще у меня никогда не возникает никаких вопросов. Безразличие. Кто ты, человек во тьме, легкий и текучий, лишенный чувства собственной важности? Мглистый день. Рабочий в куртке, низко нагнувшись, режет газовым резцом что-то железное, из-под ног брызжет златогривая струя. Смутно. Этот мир – место, исполненное тайн, особенно в сумерках. В это время существует только сила. Узор силы. Слушай свою силу и иди на ее зов, не колеблясь. К травнику на Черную речку. Мокрый снег, слякоть. На обратном пути, Владимирский собор, аптека, Кузнечный рынок. Достоевский сидит, мокрый, сутулый, черный. Текст «Варяга» сочинил австрийский поэт пацифист Рудольф Грейц. Мы, футуристы, увидели, в каком жидком состоянии находится язык в русской литературе. Василий Каменский. Постель из струн, Караваджо с лютней. Это антихрист, который явился, чтобы погубить искусство. Он пришел в мир, чтобы разрушить живопись. Так говорил о нем Пуссен. На корабле плыл в Рим, вез свои картины; корабль попал в бурю, затонул, картины погибли. Умер в 39 лет. Даосский трактат «Тайна золотого цветка». В молчании утром ты улетаешь вверх. Шекспир ввел в английский язык 1200 новых слов. Лексикон современного Шекспиру англичанина в среднем 2000 слов. Лексикон современного нам английского интеллектуала – 4000 слов. Кто был Шекспир? 54 версии. Елка у метро, старик в варежках. Светает, ураганный ветер. В парикмахерскую. Стригла девушка с раскосыми монгольскими глазами. Куст у церкви, воробьи расчирикались, как весной. Школа, водяные струи низвергаясь с крыши, рушатся с шумом на бетонное крыльцо и перила. Иду, понурый. Грусть, Вагенгейм, полускульптура дерева и сна. Пятница, пьянство. Потерял шапку. Эх ты, Эккерман. Серенько, бесснежно. Не грусти. Ты написал книгу. Новый год грядет; дракон, его ледяные когти уже над нами.

Январь. Мир не рухнул. Внутри круга, очерченного острием неумолимого циркуля. Поднимаю бессонные взоры и луну в небеса вывожу. Песня как бритва, от этих песен весь рот в крови. И мы от Рюрика. Люблинский переулок, фабрика диаграммных бумаг, чтение нараспев, псалмопевцы. Моисей, взойдя на небо, увидел Бога сидящим и учащим Талмуд. Бог-Книга. Верно, но нервно. Пирамида – огонь внутри. Поехали на Авангардную улицу. Врач спросил: а вы муж? Вы с женой похожи. Когда долго вместе живут, делаются похожи. Ведь у вас,

наверное, больше тридцати лет совместной жизни. Вышли, сумерки, снег, больничные корпуса, огни. Шаткая фигура под фонарем. О винопийца с взорами пса. Пела: гори, гори, моя звезда. Подвернула ногу, разрыв связок, довел до травмпункта, наложили гипс. Удачное начало, ничего не скажешь. Это ты виноват, Аристотель, твой смех сквозь века слез. Младенец начинает смеяться на 40-й день жизни. Февраль, незнакомцы, останавливают на улице: «Вы автор? Разрешите пожать вам руку за то, что вы написали такую прекрасную книгу». Невероятные миры в сверканье белом. Блестящие речи смывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу. Михаил Пселл. Поэзию на другой язык с такою же красотой перелить не можно. Державин – Капнисту. Лук натянут, стрела летит. Звезда севера, явись! Готовится сенсация. Старая Вена, Мирзаев, Земских, Лукин, Шмаков. Сказала, что моя речь была яркая и точная. Обратно пешком, по Гороховой до Сенной площади к метро. Сумерки, мост, Мойка, ее бывшая «Володарка», теперь Дом Торговли, башня, две ярких звезды над зданием, Венера и Сатурн. Суббота, сырой снегопад, слякоть. В «Борей», выставка Ю. Медведева. Алексеев, Михайлов, за столиком. Фотографировались. Генрих фон Клейст, «Марионетки». Грация и интеллект. Интеллект – враг грации, ее губитель. Всякий язык – ловушка для мысли. Вопросы, на которые нет ответов. Плоскость и вертикаль. Мир устроен музыкально, на вибрациях, поэтому музыка – и высшее из искусств. Дуновение губ из-под Гамбурга. Один из оставшихся в живых воинов, 15 из 15 тысяч, это он автор той песни Игореву того внуку. Тарковский, «Жертвоприношение». «Гибель Титаника», потонул 14 апреля 1912 года. Шел от метро, дворами, ломбард, звездная ночь, два ярко-красных огненных цветка летят в небе, чудное сиянье, что такое? Долго не мог понять, стоял, зачарованный. Догадался: самолеты! Теперь они так освещают себя ночью. Кисть танцует, а тушь поет. Прием рисования кистью, особый мазок – чтобы в картине мог проявиться дух, изобразить дух. Круглый стол, Петербург – морская столица России; военные моряки, писатели-маринисты. Флота нет, разгром флота. Тягостное впечатление. Ты же карел, колдун, шаман, из дебрей вышел, магический человек, у тебя же символы выскакивают, как у Кастанеды. Нина Берберова, ее ненависть к семье, к гнезду, к новому элкан, к мишуре. Ураганный ветер. Бесплодная поездка на Васильевский, в Гавань, к закрытым дверям. Солнечно, ветер, трепещущие флаги, зеленая травка. Поехали в Южно-приморский парк; еще прозрачная березовая роща; две девушки, у одной на плече ручной беркут, учат летать.

Гийом ди Вентре, мистификации. Вишвакарман кует в пещере бронзу нового утра. Приснилось, будто я поднимаюсь в гору все выше и выше, и

вдруг замечаю в воздухе какую-то блестящую ниточку. А воздух мглисто-голубой, в дымке, и я не вижу, куда тянется эта ниточка. Вот она совсем близко, поймал за кончик. Вокруг меня все сверкает, радостно трепещут тысячи листьев на утреннем ветру, птицы весело поют, встречая восход солнца. Все играет и переливается, все словно соткано из танцующих цветных лучиков. Внизу закричали: «Хватит! Спускайся!» Ниточка выскользнула из моих рук, и все исчезло. И тут я проснулся. В парикмахерскую. Стригла девушка, серебряный браслет на руке, кольца в ушах. Высоко подняла кресло, так что я сидел, не доставая ногами пола, колени под простыней дрожали от напряжения, и я сползал с кресла. Взглядывал на себя в зеркало – лицо старика, ничего не попишешь. Вот и старик. И ее юное лицо в этом же зеркале. Уехал. Цветущий сад, черемуха, соловей. Гул пчел, солнечно. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда. Не для меня придет весна. Призрачно, бег по гребню. Григорий Сковорода. Мудрая игрушка утаивает в себе силу. Гуляли на закате. Бунин, «Темные аллеи», писал в 70 лет, прощался с жизнью. Склероз легких, слабое сердце, задыхался. Сажу под яблоней. Червячок ползет. Зеленая линия объемлет все вещи, всю Вселенную. Я ее вижу каждое утро, когда выхожу в сад. Она сестра всех, сестра солнца и ветра. В Вырицу, рынок, мрачно, цыганка в черном, зеленые тапки без задников на босу ногу, пятки-кувалды, орет у прилавка, слова страшные, непонятные. Лидия Гинзбург, черная тень от нерожденных вещей. Ощущение: да, это то самое, это похоже на то, что есть на самом деле, да – достоверно. Бездействие превращает силу в яд. Колокол в лондонском тумане. Приснилось, голос сказал: пойдем со свечами. О, если б без слова... Июль, едем в троллейбусе, душный день, Купчино, Будапештская улица. Нашли тот дом. Потемнело, туча черная-черная, будет гроза. Только поднялись на шестой и – ливень.

Пятница, облачно, раскрыл наугад. С первой же строчки – узнаваемость этого когтя. Переживание энергии, данной тебе на срок, то, что ты и называешь – жизнь. Истерика страха у юного Тургенева при пожаре на корабле, ему было 19 лет. Бегал по палубе, отталкивая детей и женщин, моля пустить его в лодку, и кричал: «О Боже! Умереть таким молодым! Спасите, спасите меня! Я единственный сын у матери!» Пошел встречать. Вышла из вагона, качаясь, лицо измученное. Божий зародыш. Родиться внутри вихря. Учиться свободе. Да, надо учиться свободе. Идем в церковь. Годовщина смерти Екатерины Васильевны. Праздник, день Петра и Павла, толпа, поют, золотые ризы. В церковной лавке словарь, церковно-славянский, запах смолы и ладана. Рассказала свой сон. Приснилось, что у нас родился ребенок, девочка, назвали Машенькой.

Идем по улице регистрировать новорожденного, я несу нашего ребеночка на руках, прижав к груди, нашу Машеньку. Входим вслед за другими, несущими своих новорожденных. Внутри в честь каждой входящей пары оркестр начинает играть туш. Когда входим мы, чей-то грубый голос из оркестра говорит: «Ну, этим играть туш не будем». Она возмущенно воскликнула: «Как это – не будем! Ну, конечно, раз родила в 66 лет, то и не будем!» Тогда оркестр грянул туш с таким мощным громом, как никому до нас. Не спится. Используй в тайных вещах луну под лучом не прибывающим, а убывающим. Потерял документы, паспорт и пенсионное удостоверение. Плохо, прерывистый пульс. Когда дрожит тело и болит голова у тех, кто кутил, им нужно окунуть яички в холодную воду или помыть их уксусом – это лучшее лекарство. Агриппа Неттесгеймский. Попался старый номер «Нового мира». Морепоплаватель, витийство. Загадочный, таинственный голос в русской литературе. На платформе ждал поезда, жарко, снял пиджак. Мысли в мозгу живут годами, всю жизнь, добрые и злые. Вечером собирали малину. Ее самоистязания, перед всеми виновата. Растущий луч чудес. Скажи: «солнце» – и солнце явится. Наша основа.

Под кустами какая-то фигура в красном, голова повязана белым платком по-крестьянски. Бродяжка. Увидев меня, притаилась. Я вернулся за калитку, чтобы ее не пугать. Она, подождав минуты две, пошла по дороге в сторону шоссе, волоча за собой большой белый мешок. Лариса под кустом жасмина поет романс: «В лунном сиянии». Ее лицо в прозрачных ночных тенях. Светло. Чудно блестит трава и влажная, черная решетка ограды. Не хочется уходить в дом. Стоять бы тут всю ночь, смотреть на это лицо, слушать этот поющий голос. Многогранное слово. Сила, которая развяжет этот мир от его законов и превратит его в то, чем он сам хочет быть, по чем он сам томится и каким хочет его иметь человек. Одержим демоном своего дела. Холодный мгlistый день, циклон из Арктики. Напала собака, белая в черных пятнах, на левом глазу бельмо. Вот уже второй раз. Этого зверя выводит гулять женщина в меховой коричневой безрукавке. Едва удержала за поводок. Чем-то я не понравился. Свет не заменить блеском. Умер Капица, очевидное, невероятное. В полночь звонил Алексеев, жаловался: «Я несчастный и забытый писатель». Мать языка, дает неведомому дом и имя, во сне в летнюю ночь, тень Шекспира. Странники мы перед Тобой и пришельцы, как и все отцы наши. Тройной сон, тройное эхо в горах Кавказа. Скажи им, что навyleт в грудь я пулей ранен был. Бетховен – любимый композитор Лермонтова. Знаменитая реплика Бетховена. Исполнитель пожаловался на трудность скрипичный партии в бетховенском квартете.

Бетховен ему на это ответил: «Неужели ты воображаешь, что я думаю о твоей несчастной скрипке, когда со мной разговаривает дух!». Огарев Герцену: «Я не могу еще взять те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию». Собинов: «Был я вчера очень в голосе и в ударе». Полнолуние. Озарена дорога за калиткой, трава, решетка ограды. Равновесие. Иду из леса с полной корзиной, сентябрь, закат, лучи пульсируют. Старый двухэтажный дом, ржавые тополя. Любовь к солнцу, ушло и не оглянулось. Ночь грядет, еще одна.

Умер Петр Кожевников, инфаркт, 55 лет. «Не выдержал такого роста горя и жалобно заплакал». Обыкновенный писатель написал бы: «Не выдержал такого горя». Платонов прибавил «роста». Или: «Наступил вечер, комната остыла, потускнела и наполнилась воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба». После «потускнела» фраза становится необыкновенной. Или: «В Епифани из немцев остался только женатый Форх, как любивший свою супругу человек». Обыкновенный писатель написал бы: «... только женатый Форх». Точка. Но Платонов добавляет: «как любивший...». И фраза обогащается большой, широкой жизнью, мощно дышит. Или: «Перри одичал сердцем, а мыслью окончательно замолчал». Обыкновенный писатель написал бы: «Перри одичал и ни о чем не мог думать». Или: «Перри одичал и жил бездумно». У Платонова найдено необычное выражение для этого состояния. Необычное, потому что расширяет, углубляет мысль дальше и глубже обычного, многократно увеличивает тот общедоступный смысл, который первым просится на перо. Платонов въедается в каждую мысль о жизни, жарко, жадно, напряженно, заряженный тысячевольтным электричеством своей пытливости. Каждая мысль у него взрывчата, чревата грозovým разрядом, устремлением развернуть в себе неизвестные, скрытые стороны. В каждой фразе к обычному он добавляет какое-то, расширительное, могучее измерение. Он не чернилами, а серной кислотой пишет; он всей болью и мукой своей упорной зоркости въедается в каждый атом жизни. «Епифанские шлюзы», в конце жутко: «У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза». К вечеру опять пошел в лес, набрал грибов. Шел по дороге, вечер чудный, теплынь, на западе золотистое сияние. Шел и думал: исчерпаны денечки, а вот на донышке еще что-то светится, жить-то еще хочется. Пятница. Все еще один тут. Поезд дождя мчит, шумя и гудя, всю ночь. Не спится, молю: дайте мертвой водицы! Нечем тебе, дружок, помочь, нечего тебе и воду в ступе толочь. Пошел к реке, музыка где-то играет. А небо такое широкое, огромное, манящее. Раскинул крылья и полетел в этом просторе, восторг в сердце, орел молодой. Собрал сливы, с тележкой под дождем. В

городе тьма, фонари, Витебский вокзал, иголочка в небе, тучи, сырость. Происхождение Вселенной, начальная точка взрыва. Организация вещества в этой точке перед взрывом была наивысшей. Дальше – расширение, рост, регресс. Разжижение, рассредоточение. Арабы жгут американские флаги, убили американского посла в Ливии. Теплый вечер, блеск травы, зеленой еще, пронизанной огнем заходящего солнца. Стою на дорожке, смотрю, не шевелясь. Наваждение. Понедельник, купили платье, летнее, светлое, ей очень к лицу. Нельзя повторить – изгиб тела, поворот головы, тон ее голоса, улыбку, смех, грацию жеста, как она поправляет на себе платье перед зеркалом. Туманные дни, рыцарь бедный, Копенкин, пролетарская сила. Проснулся, мышшь скребется в углу. Что ты, сердце? Опять за свое? Бежать за уходящим поездом, с болью в ребрах, с тоской, задыхаясь, хрипя, без сил, пасть на рельсы... Черно и пусто. На Сенную, под арку, «Роза мира», дождь хлещет. Буквы-муравьи, черненькие, непонятные. Засекречены эти вести. Змеиная изворотливость языка.

Оглядываюсь через плечо: огненный шар, полыхая, летит низко над горизонтом. Буйной музыки волна. Мумии крокодилов, набитые папирусами, вопросы к крокодилу. Крокодил – ясновидящий. Аз же во дни глаголах и нощию не молчах. В Пушкин, выставка Николая Грицюка, баgreц и золото; шорох шагов в парке. О поездке в Испанию, Рибера, Сурбаран. Приятная новость: издавать мою книгу они отказываются. Звезда во лбу не горит. Рижский проспект, мгlisto, морось, толпа, машины. Андрей Романов, 2 этаж, «Медвежий песни». И я там был, мед-пиво пил. Балтийский вокзал, оркестр стариков играет «Прощание славянки». Шум взлетевшей голубиной стаи. Наука открыла, что мозг человека сам может сочинять, вне воли и контроля сознания, так что человек верит сочиненным внутри мозга событиям и фактам, как действительно существующим или существовавшим, воображаемую реальность принимает за действительную. Мнози же будут перви последнии, и последни первии. Зализняк, доказательство подлинности «Слова о полку Игореве», белым по черному, яркоглазый, юношески летучий, в отблесках берестяных грамот. Яша Хейфиц: «На вершине одиноко, но чтобы оказаться там, надо пожертвовать очень многим. Я не знаю, кто я. Я знаю это только тогда, когда в моих руках смычок». Гуляли в темноте, сырой снег.

Терпение. Цвет времени клоповый. Утром лейтенант, следовательно, огромный, в форме, фуражка. Ночью кого-то выкинули из окна, этажом ниже, под нами. Звонил Алексеев: «Будь стойким. Что нам осталось: только любовь к литературе». Понедельник. В сберкассе очередь. Мутный день, брызги дождя, сырость. В квартире шум, сантехники чинят трубу в

ванной. «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Возвращение этого ужаса, подстерегающий удар. У Саши Старовойтова обнаружили рак пищевода. Замерзшая трава, лужи во льду. Залив; бурые стебли камыша, озаренные низким солнцем, клонятся под ветром. Ночью плохо, задыхался, открыл окно настежь, дышал мраком и холодом с улицы. Воскресенье. Слава Божия – облекать тайною слово. Вовек слово Твое стоит в небесах. День смерти мамы. Снег слетает на землю при всех. Принесла из ателье переделанную шубу. Шуба испорчена, носить невозможно. Говорит: кругом стена, нет просвета. Таврический дворец, конгресс писателей, посвященный Чингизу Айтматову. Выступления, концерт, вино, коньяк. Азиатки, пышнотелые, декольте, браслеты, кольца, бриллианты. Сестра Айтматова, высокая, седая. Сфотографировались. Истина в красоте, красота в истине, акробатика. Знать, чтобы не знать. Сороконожка задумалась: как это она бежит и не путается во всех своих сорока прелестных ножках. Умер Борис Стругацкий. По завещанию прах развеют с самолета. Гениальны только замыслы, а делать картину – рабство. Я пишу картину, только пока она мне интересна. Если она перестает быть мне интересна, я не пытаюсь ее закончить и бросаю работу. Поэтому у Леонардо так много незавершенных работ, незаконченных картин. Записи Леонардо – более 15 тысяч страниц. Писал всю жизнь до самого конца. Во всем, к чему он проявлял свой интерес, он быстро становился мастером. Осьминоги всё видят в фиолетовом цвете. Каракатицы видят 12 цветов, в отличие от человеческих глаз, которые видят только 3 основных цвета и их производные. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства? А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. От избытка бо сердца глаголют уста его. Вторник, мутно. Пара гнедых, запряженных с зарею. Этнолингвистика. Сестра, диабет, в больнице на Литейном. По Ньютону конец света – 2060 год. Армагеддон. В год, когда будет в третий раз заново отстроен древний Иерусалимский храм. Сейчас на этом месте мусульманский купол, место, где вознесся на небо Мохаммед. Мыслью измерить поля, канитель, форма сапога у Канта. Фантазия, лишенная разума, порождает чудовища, а в сочетании с разумом, она – искусство и источник его чудес. Гойя оглох в 50 лет. Библия Коблин, о космической катастрофе. 17 глава «Египетской книги мертвых» – о том же. Замок Гауска в Чехии, под ним вход в ад.

Буран, серебряные змеи, инки, Макчу-Пикчу, старая гора. У шумеров

на глиняных дощечках 4 тысячи лет до н.э. написано, что с неба прилетели боги с телом змей, и они сделали первых людей. Гены у людей и змей на 70% совпадают. Где-то под землей в тайной пещере хранится магический кристалл Логос, который дает всемогущество и власть над Вселенной. Бай-ди, причал солнца. И будет день один. Свиток войны, сыны света против сынов тьмы. Едем в Красное Село, медицинский полис. Мутно, снег, ночь, пьяные глаза месяца. Молчим, нет в речах никакой потребности, забыли, что вообще существует язык, как будто его и нет. Да, вот ведь какая у нас с ней история, как будто его и нет, языка, и мы всю дорогу молчим, и туда молчим, и обратно. Отвернулись друг от друга и смотрим в разные стороны, она направо, я – налево. Близится Армагеддон, уже совсем близко, несколько денечков осталось. Среда, «Скорая помощь», у Лидии Андреевны, бедной ее матери, опять обморок. Пришла малярша, штукатурила, белила. А мне библиотеку перетаскивать из комнаты в комнату. Зачем я собирал столько, книжный червь? Пирамиды на Марсе. За солнцем прячется неизвестная, невидимая нам планета, во всем схожая с Землей, ее двойник, Глория. На ней точно такая же жизнь, те же дома, те же люди. Следят за нами, у нас за спиной. А мы и не знаем. И мой двойник, где-то тут, рядом, я его чувю. Дуновение Неизвестного в раскрытую форточку, перья бурана, черно-белый орел, разбуженный, пожирающий мятущиеся в вихрях души умерших. Священная гора Кигилях в Якутии, северная Шамбала. Полюс холода, температура воздуха зимой понижается до - 72. Стой, Фалес, в этой твердой точке, из нее увидишь Ось, вокруг которой все вертится. В сумраке щели и трещины мира, скважины, сквозь них брезжит нечто. Неусыпный Страж, зрак Надзирателя. Сергей Аверинцев. «Чтец» – так он просил написать ему эпитафию на надгробной плите. Подводное солнце стилия. Встали рано, мрак, фонари. С ней в поликлинику, УЗИ. Через парк, холод, резкий ветер в лицо. Сидел в коридоре, ждал, когда выйдет. Вячеслав Иванов, прадионисийство, Арей, пьющий кровь перед битвой. Мороз, идем в мебельный магазин. Шкаф да не тот. Обратно, ярко-красное солнце между домов. Весь вечер переставлял книги. Дерево языка, слова-листья. Лес символов. Теория струн, десять измерений. Гравитационные волны, сжатие-растяжение. А говорят, есть и другое, совсем другое в этом темном космосе, там твои законы трещат по швам. Истинно есть свидетельство мое, яко вею, откуда приидох и камо иду. Шел от метро, мороз, месяц. Рожденик – книга рождений, по которой гадали о будущем младенцев. Едем, троллейбус, начало сумерек, мимо сада в снегу, уже горят золотые шары фонарей среди черных деревьев, жутко, странно. Пешком до Нарвских ворот, уже темнеет, город украшен к Новому году, в

арке Нарвских ворот устроены из огоньков часы, стрелки ходят по круглому голубому циферблату. В поликлинику за углом, к психиатру, таблетки для Лидии Андреевны, дорожка в колдобинах, ледяная, голову сломать. К психиатру очередь, сидим на скамье перед дверью, кабинет №12. Конец света, землетрясения, цунами, сдвиг полюсов, потепление, грядет новый потоп, в 2030 году затопит все города на побережьях, волна океана поднимется на 6 метров. Пишу, индус, под пером расцветает небо, земля, трава, древняя Индия, летающие колесницы, виваны, брахмашаstra. Звездный час; струна внутри, туго натянутая, поет. Повторяюсь, путаюсь, кружу в зеркалах, в словарях. Живешь-то один миг, играющая в себе волна, всплеск одинокого слова. Вот так встреча! Тетива звенит, стрела летит. Готовит к печати. А мы-то с ней уже и вовсе отчаялись. Ларьки у метро, колбаса, масло, сало, из Белоруссии. Понедельник, бессонно, мутно, в черном небе кружит рука строительного крана с красным дьявольским глазом. Конец этого года.

Мрак, огни, тающий снег, жижа, еле тащились. Выстрелы. Башни-небоскребы. Моя миссия на земле еще не закончена. Трамвай №6, по Наличной улице в сторону Гавани. Красный огонек в черном безрассветном небе. В языке есть другой язык, тайный, жало мудрых змеи. Смерте страшна, замашная косо! Кто ж на ея плюет острую сталь? Идем по Стачек, мимо церквей, вифлеемская звезда горит, вечереет, снег, трамваи, огни, шум города, стеклянная громада-небоскреб перед нами. Козья тропка над обрывом, скользим, хватаясь за прутья решетки. Тьма имен, бесконечны, безобразны, надрывая сердце мне. Размять ноги. Зимние струнки дрожат на снегу. Феллини «Амаркорд». С ней на Моховую, к главному. Вечером в музей Ахматовой. Юрий Казаков, «Осень в дубовых лесах». Хрупкая плоть этих историй. Хамдамов, кинорежиссер, яркие кадры. Синайский кодекс, предок всех библий, написан в 3 веке в Египте на тончайшем пергаменте, хранится в Англии. 27 тысяч поправок и исправлений. Ужасы сгущаются. Врач так прямо и сказал: «Будет медленно умирать». Белое на белом, Вейсберг. В Капеллу, фортепьянный концерт, пианист Лау. Лыжи, шахматисты, решетка, смутно, метелочки эти на ветру. Зов неизвестности, дверь открывается внутрь. Сказали учителя, что человеку следует всегда наблюдать себя, словно весь мир зависит от него. Книга Зогар. Стравинский, плотность. Мутно, Магеллан. Ворона со сломанным крылом борется за существование, где-то она умудряется добывать пищу. То ковыляет, волоча крыло по снегу, то взберется на березу и сидит на ветке, нахохлясь, одна одинешенька. Каждое утро смотрим в окно: здесь ли наша героическая ворона. Так уже третий месяц, с начала зимы. Вот с кого надо брать пример.

Запах изморози в раскрытой форточке. Лидия Андреевна весь день бредит. Владыка центра Хуан-ди, желтый дракон. Родился от молнии. Выставка авангардного искусства в Русском музее. Норман Макларен, анималист-новатор. Пещера Тайос в Эквадоре, металлическая библиотека, книги на металлических пластинах 20 кг весом, выгравированы неведомые письменные знаки. Эти пластины – из металла, неизвестного на земле. Гигантские подземные лабиринты, вход в пещеру под водой. Самое главное не записывается, священное держится в тайне. Возле Челябинска упал метеорит, сила взрыва, равная атомной бомбе, в домах выбило стекла. Статья Томаса Манна: «Достоевский, но в меру». То, что может быть понято дураком, меня не интересует. Уильям Блейк. Снег идет. Казакевич, «Звезда», «Двое в степи», «Павшие и живые», «Весна на Одере». Отрывок из дневника, «Разговор с Богом»: «Оттиснуть очертания своего лица на огромном, железном, изменчивом лице времени. Так удавалось всем большим художникам». Умер в 49, рак. Звон путеводной ноты, Набоков. Надо рисовать плохо, тогда будет выразительней. Шагал. Надо писать не точно, а похоже. Лучше писать левой рукой, а не правой, потому что правой будет точно, а левой – только похоже, и, значит, выразительней, интересней. Нестеров. Реальность зависит от того, где ты. Микрочастицы играют в невероятный футбол, нарушая все законы физики: бьют по мячу, чтобы забить гол в ворота, в которых стоит наготове вратарь. Все уверены, что мяч полетит в одном направлении. А мяч после удара, вопреки ожиданиям, летит не в одном, а сразу во всех возможных направлениях одновременно. Алексеев, мультипликатор, создатель игольчатого экрана, соединил технику гравюры и кинематографа. Лучший фильм «Ночь на Лысой горе» по мотивам музыки Мусоргского. Андрей Линде, астрофизик, предложил новую модель Вселенной: она состоит из разных кусков, которые живут своей жизнью, по-своему устроены и со своими физическими законами, а мы живем только в одном из этих кусков и думаем, что это и есть весь мир. Куски «Неведомого шедевра». Мировой Дух в шотландской юбочке играет на волынке, наполняя мир духовностью. Пятница, тускло, сырой снег вьется. Писал рецензию. Поехали в Троицкий собор, поставили свечи, молился о книге. Обратно по каналу Грибоедова, мимо дома, где жила Екатерина Васильевна. Печальная, воспоминания.

Идем по льду залива, солнце, мороз, голубая дымка, простор, лыжники, гуляющие, дети, санки. Пазолини «Мама Рома», в главной роли Анна Маньяни. Переломный возраст: я прав, а весь мир не прав. Юрий Казаков у физиков. Они его спросили: «У физиков есть критерий истины: если теория подтверждается экспериментом, значит, она верна. А каким

критерием вы руководствуетесь в своей работе?». Казаков ответил: «Если я знаю, что могу предстать перед Господом и сказать: «Господи, это я писал» – значит, написано хорошо». Талант – самая ядовитая вещь на земле. У Лидии Андреевны высокая температура, вызвали врача. Дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие. Тут жизнь, как она есть – всего насовано. Нет ничего лучше дневников – все остальное брехня. Бунин. Привезли холодильник; два грузчика, один приземистый, средних лет, худой, крепкий; другой – громада, с пузом, рыхлый, старый, краснолицый, кучерявый. Холодильник огромный, едва протащили в дверь. Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона. Идиот Полифемович, о времени и о себе. Сделано несвободной напряженной рукой. Письма Чехова. Я ведь все еще ядовит. Бунин. Болею, бронхит, пятый день. Мартынов, композитор, фольклорист. Для народа важна звуковая культура, а не смысловая. Культура звука. Младенцам, качая колыбель, поют колыбельную песню, которую веками пели младенцам в колыбели, древнюю народную русскую песню. Младенец не понимает ее слов, ее смысла, он воспринимает эту песню не на вербальном, а на звуковом, ритмическом и мелодическом уровне, на уровне звука, на уровне чисто музыкальном. А у каждого народа свои звуки, ритмы, мелодии, своя музыка. И младенец впитывал это в себя с младенчества, это входило в его кровь и становилось его кровью и плотью. Теперь перестали петь эти колыбельные песни над младенцем. Звук народа, музыка народа, песнь народа пропали. Пропал и народ. Все стало смысловым, словесным, идеологическим. На Васильевский. Солнце, высокое голубое небо в клочках облаков. Пронизывающий морозный ветер. Музей современного искусства Ерарта, перед входом скульптуры, нечто черное и жуткое. На стенах кошмары. Долг художника – создавать новое. Увидел себя в зеркале: серо-зеленый после болезни, из гроба встал. Иду по солнечной стороне, сухой асфальт, яркость марта, ясень во дворе у детской площадки, в бахроме сухих семян, провисевших всю зиму. В шесть утра умер Саша Старовойтов в больнице. Все эти дни пронзительный ветер. Мороз. Едем, солнце, яркость, блеск в автобусном окне. До больницы шли пешком, замерзли. Отпевание. Саша в гробу, бледно-пепельное мертвое лицо, нос заострился, птичий клюв. Кладбище, шествие старух по дороге. Кресты, клены, мутный поток справа, талый снег. Утром приходила сиделка, ухаживать за Лидией Андреевной. Соцслужба. Непременно должно описывать современные происшествия, чтоб могли на нас ссылаться. Анастасия Вяльцева, блоковская «Незнакомка». Пела романсы. Умерла в 42 года, в зените славы и красоты. Днем у балетной школы, благая весть. Яркий весенний

день, солнце, блеск тающего снега. Белая полярная сова, распушив перья, летит над Арктикой.

Литейный, через двор, ступеньки вниз. Что я тут ищу, роясь в иероглифах? Подножие Китайской стены? Только совершая абсурдные действия, достигнешь ты невозможного, о совершенномудрый. Две сросшиеся птицы на одном крыле. Объективно измеряемые при помощи приборов параметры, которые мы приписываем микрообъектам, вовсе не являются «объективными», но возникают лишь в сам момент наблюдения и не существуют вне его. Само наблюдение делает мир таким, каким мы его видим. Тот, кто думает о себе просто как о наблюдателе, оказывается участником. Это является участием в создании Вселенной. Сознание шумит в мироздании, широкошумная дубрава. Четверг. В девятом часу утра умерла Лидия Андреевна. 92 года.

Пробирались по сугробам, проваливаясь по колено. Надгробная плита из черного гранита. Плачет, кается, просит прощения. Ее сны, страхи. Полярный холод. Северное сияние, оно ведь еще и слышно, оно что-то шепчет на ухо замерзающему путешественнику, что-то утешительное и чудесное. Патрик Демаршелье. Уроборос, верь в Невидимое. Обручальное кольцо широкогато, сваливается с пальца. Проснулся в поту, сердце колотится, еще не рассвет. Кто боится Вирджинии Вулф? Элизабет Тейлор? Сикорский на вертолете. Мертвым не больно. Мы окружены мертворожденными «шедеврами», получившими успех и широкое признание. Удиви себя, постоянно удивляй себя. Виктор Косаковский, «Павел и Ляля». Лев Толстой, письма. «Чтобы жить честно, надо рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, близкий мне по сердцу, порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или заплакал бы теми же слезами, которыми я плачу».

Ветр с цветущих берегов. Иисус воскрес. Клаус Дона, артефакты, древние предметы, найденные в разных местах мира. Камни с загадочными письменами, 6 тысяч лет д.н.э., эпоха неолита. Пирамида с глазом над ней, глаз горит ярким желтым сиянием. В южной Африке найдена скульптура женщины из гранита, 140 метров, самая высокая скульптура мира, лицо неизвестной расы, не белой, не черной и не желтой. Возможно – атланты. Потеплело. Начало белых ночей. Черная речка, трамвай №48, улица Савушкина, длинная-предлинная, бесконечная, храм из Тибета блеснул золотой башенкой. Яхтенская, 8 этаж. Нас уже ждут за столом четыре женщины. Рядом, за стеной неведомый говорящий океан,

вещие голоса волн, струны-руны. В налоговый центр. Жаркий день, канал Грибоедова, блеск этот, тяжелый, мутный, старые тополя. Опять плакала, терзается виной, покаяние. В Красное Село, форма номер девять. Перепутали, до открытия еще два часа. Гуляли в парке, сирень, жарко, ветер. На выходе из подземного перехода – нежный взгляд юности, брошенный на меня мимолетно. Чудное мгновенье в блеске майского дня. Сегодня я хорошо выгляжу, коротко пострижен, лицо загорелое, черные брюки, белая рубашка. Метро Приморская, жара, она в красном платье. Гуляли у канала под лиственницами, залива не видно, надстройки кораблей.

Оредеж обмелел. Тоска. Всё вспоминает мать, плачет, казнит себя. Говорит мне: «Вот, мы любимся рекой, природой, а наших матерей уже нет в живых, они уже ничего этого не могут видеть, что мы с тобой видим. Тебе не пришла в голову такая мысль? Какой ужас, эта жизнь! Как она жестока!». Гуляли, радуга, зыбкая душа белой ночи, призрачно. Сиверская, Оредеж какой-то не тот, берега высокие. Девушка в купальнике, загорелая бронза, колет дрова на дворе. Узенькая щелочка, в ней мелькнула жизнь, розовый конь. Видел пять цветов, слышал пять звуков, читал пять книг, знал пять человек. Вагнер умер за фортепьяно, играя свое «Золото Рейна», разрыв сердца. Книга вот-вот появится на свет, уже и ножкой стучала в чреве, и головкой повернулась к выходу. Услышаны наши молитвы. Сiju под яблоней. Блажен, кто посетил сей мир. В городе шумно, душно, знойный блеск на Мойке. Квадрат двора, июльское небо, яркость. Вперед, вперед, к Сенной. С новой думой на челе. Смотри на медного змея на скале и спасешься. «Чудовище природы». Сервантес о Лопе де Вега. Дионисий Галикарнасский «О соединении слов». В саду под сливой. В церковь, крещение младенцев, плач, молодой священник в белом, свечи. Равенство души и глагола. Летний сад, Эвтерпа, песнь военна. Тот, кто связывает и развязывает, время-то позднее, пора возвращаться. Хогарт, это его змеевидная линия, влюбленная в красоту. Туманный Альбион, Темза, златокипящая Мангазея, сугробы Вологды. Парфений юродивый, псевдоним Ивана Грозного. Парфений – святой, девственник. Юродивые не писали, а только говорили устной речью. Цари тоже не писали, только диктовали писарю. Нет ни одного автографа Ивана Грозного. Теодор де Банвиль, сотворенное не нуждается в переделке. Черное солнце алхимиков, Сол Нигер. Развоплощение, переход, преображение. Ляпунов, основатель кибернетики: «Философы – это те, кому что-то попало в живот, не побывав во рту». Ему возразили: «Но ведь философия – это прослойка между наукой и действительностью». Ляпунов ответил: «Да, прослойка.

Что-то вроде презерватива». В городе холод, ураган. Дали отопление. Ссоримся. Говорит, пора расстаться. Твердит, как заклинание: расстаться, расстаться. В Петербург пришли с дружеским визитом два норвежских военных корабля, крейсер и фрегат.

Книга застряла в типографии. Печатник ушел в отпуск. Другой в запое. Печатная машина сломалась и до сих пор ее никак не починить. Происки дьявола. Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю. Смердит голубушка. Бесплатно только птички поют, как любил говорить Шалапин. Первый заморозок, ледок на лужах похрустывает. Школа, клены, золото увяданья. Петергоф, замирающий плеск фонтанов, до мая. Пятница, дние лукави, снег с дождем. Ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами. Иногда ошибается, слетает раньше срока, тогда дает тому человеку, кроме его глаз, еще два своих глаза. Тот человек становится непохожим на прочих. Кроме того, что он видит своими природными, как у всех, глазами, видит еще и глазами ангела: то, что недоступно прочим. Видит не как люди, а как существа иных миров, столь противоположно своему природному зрению, что возникает великая борьба в человеке, борьба между двумя его зрением. В океане в 10 раз больше животного мира, чем на суше. Океан производит 85% всего кислорода планеты. ДНК, гены построены по речевому принципу: информация хранится по принципу речевой структуры и обладает своим сознанием и разумом, разумна. Слова «начало» и «конец» от одного санскритского корня: «конедло». Праязык. Ученые зафиксировали послание из космоса, некий шепот, структурно напоминающий речь, фразу, речение. После чего в космосе загорелась новая сверхзвезда. Мишна, мир создан десятью речениями. Вред слов, обет молчания, аскеза, молчальники. Не допускать слова в ум. Речь – энергозатрата и вред организму, его разрушение. Воздержание от слов. Пересвет и Ослабя перед Куликовской битвой приняли обет молчания. Вышел погулять. Полнолуние, сосны, и этот неумолчный шум машин на шоссе. В Турции археологи нашли под землей святилище первобытных времен, 12 тысяч лет назад; огромные, хорошо обтесанные каменные монументы, на них мастерски вырезанные фигуры зверей. Встал в восемь, темно, дождь. К зубному. Бессонница. Тамплиерские кресты на парусах Колумба. Учитель и ученик. Истина в бровях учителя. Среда, встречи, ул. Рылеева. Позвонил издатель, поздравляет: книга вышла!

Казанский, вечерет. Скорее смерть, чем усталость. У сердца самые простые слова. Красота одинокой печали. Встреча в подземном мире, яркость ламп, шум толп. Ждал, сидя на лавочке. Ускользает от нас эта змейка, ускользает, только хвостик мелькнул во мгле, в туннеле. Прощай,

прощай... Тлетворный ветер, клубок фикций. Одно Слово на весь мир, только Оно подлинное, единственное и нераздельное. Заветное. Все прочие – не те слова, не те, не те, их произносят тени, прикованные в пещере. А ты знаешь то Слово? Ты с Ним знаком? Гипсовая маска полнолуния, страшная, слепая. И также лежит человеком единою умрети, потом же суд. Переливают из сосуда в сосуд, из черепа в череп, из книги в книгу. Осуждены вечно переливать. Лучше быть буханкой черного хлеба, чем переводить монологи Гамлета зимой в Чернобыле, быть или не быть. Мы пишем, а время стирает. Бюлов о Малере: «Если это музыка, то я ничего не понимаю в музыке». Родиться язычком огня. О небо, если бы хоть раз! Мозг, мешок нейронов. Найдите самое необычное и исследуйте его. Пчелы способны различать картины разных художников, например, Пикассо и Матисса. Искусственно связывая нейроны в мозге, можно создать новый субъективный опыт, которого в реальности человек никогда не переживал и не имел. Я жажду сразу всех дорог. Ушла к врачу. Один в квартире. Провожал уходящее солнце, переходя от окна к окну, из которых оно поочередно, отблестав, исчезало, пока этот пылающий диск окончательно не скрылся в последнем четвертом окне в комнате, где лежала умирающая Лидия Андреевна. Мистическое действо. Книга заката. Моя книга.

Клубок разматывается, ниточка тает, снег сырой, рукав метели. В зеркало нельзя смотреть больше семи минут. Заберет твою силу, твою душу, твою жизнь. Нельзя спать при зеркале, отражаясь в нем. Зеркало влияет на судьбу человека. Личные зеркала Ивана Грозного строго хранились от чужих глаз. Мастера, изготавливавшие для него зеркала, ослеплялись. Астроном Козырев утверждал, что с помощью системы зеркал можно мгновенно передать весть в любую точку Вселенной. Зеркала съедают время, в один миг соединят прошлое, настоящее и будущее. Нарцисс, эхо, дева за холмом. Провожал в Пулково, помахала ручкой. В Бухару лететь пять часов. Телевидение, Якимчук, том с моим именем. Кирпич призрачных руин. И видех мертвецы малыя и великия стояща пред Богом, и книги разгнушася; и ина книга отверзесе, яже есть животная: и суд прияха мертвецы от написанных в книгах, по делом их. Проснулся в восемь, шум за окном, ураганное утро, мрак, слепящие фары в переулке. В новый Кировский, бывший Дворец Пятилетки, «Иоланта», современная постановка, пиджаки, сапоги. Метро Владимирская, А.Медведев, мастерская, высоконочь забрался, летая умом под облака. Кисточки, перышки, тушь, гуашь. А это – для веселия сердца, на калине, за книгу. От зубного. На трамвайной остановке, стоял, смотрел на солнце, этот сияющий диск, уже низко, между домов, на закате. Русский музей,

Малевич, мокрые хлопья в лицо. Концерт Мирей Матье в Олимпии. В большом коллайдере ученые обнаружили микрочастицу, назвали божественной, божетрон. Из этой частицы создана вся Вселенная. Эта частица во всем; она, развиваясь, создает миры и организмы. Она создала и нас. Она в наших генах, в ДНК. Информация о жизни в ДНК записана в виде слов, буквами, лексически. Это слово Бога. Муть рассвета, небоскреб-призрак, вертикальная цепь желтых огней. Огонь и жупел, и дух бурен часть чаши их. В Доме книги купили календарь с лошадьё.

Дождь хлещет. Горе мне с тобой, сердце темное мое. Во тму идет, и во тме имя его покрывается. Платоновы тела, кристалл Земли, силовые линии. Манускрипт Войнича, растения, которых нет на земле. Аннуаки с планеты Ниберу, глиняные таблички, оставленные пришельцами. Частица времени хрон. На рисунках шумеров человеческие фигуры изображены с часами на запястьях. Вавилон, древние места силы, время там останавливается или замедляется. Хичкок, «Птицы», по новелле Дафны дю Морье. Свастика на стенах Трои. Снегопад. Снятие блокады, парад на Пискаревском кладбище, возложение венков. Самое большое в мире захоронение жертв Второй мировой войны, 700 тысяч человек. Мороз, сплю, Тихуту, тот, кто дарует дух, шаманы с Кольского полуострова. Этим занимался Бехтерев. Венера, выжженная пустыня, ядовитый туман из капелек серной кислоты, не пропускает солнечный свет, всегда тусклое багровое освещение, как в аду, не видно ни солнца, ни звезд. Вращается в противоположную сторону, против часовой стрелки, медленно-медленно, вот-вот остановится, и протрубит седьмой ангел. Мне 67, ребро, жизнь. Талон на место у колонн. Александрийская библиотека, 700 тысяч папирусных свитков, возглавлял Зенодот, грамматик. 10 тысяч этрусских текстов в Ватиканской библиотеке. Письменность этрусков до сих пор не расшифрована. Остатки древней цивилизации, черты и резы. Горизонт ожидания, воздушная громада, Аваддон. Открытие зимней олимпиады в Сочи. Оттепель, сырой снег, упадок, апатия, нет веры в свой пуп. Бессонная ночь. Пустошь и пепел, тень и тлен, пята и хвост. Фигурное катание; юные, гибкие, летящие на коньках тела. В Пушкинский дом, мировой дух на коне. Чудно имя Твое по всей земле. Стараюсь быть кратким – делаюсь темным. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Малевич с черным гимназическим ранцем на спине удаляется по снежному полю. Нуль форм. Ехидство и коханье, горсть иголок. Голый раб бьет в серебряный гонг. На Земле живет 900 тысяч видов насекомых. Стрекоза делает крыльями 50 взмахов в секунду, развивает скорость до 36 км. в час. Креветка мантис обладает самым сложным зрением из всех живых существ на Земле, ее глаза видят во всех диапазонах спектра, оптическом, инфракрасном и

ультрафиолетовом. Производит самое быстрое движение в мире животных, и самое точное. Скорость удара – свыше 20 м. в секунду. Удар ее клешни разбивает раковины. Паук Дарвина плетет самые большие сети на Земле. Катя Десницкая, жена сиамского принца. Якуты жгут конский волос – отогнать злых духов. Девять крутых дорог, священный путь. Дух земли, дух огня. Во всем есть свой дух. Смотрю в окно. Вроде бы и посветлей стало. Да, все-таки посветлей. Зима позади.

Теперь мы с ней вдвоем в квартире. Но как будто здесь ощущается чье-то незримое присутствие. Боится входить в комнату матери, ей все кажется, что мать еще там, лежит на кровати, живая. Солнечно, вербы, наконец-то погулять выбрались. Не будем заглядывать в будущее. Полярный капитан Кучиев, романтик Арктики, завещал похоронить свой прах в водах Ледовитого океана. Ночью пожар в Академии художеств. Анжелина Бозио, и слепая ласточка упала на горячие снега. 26 лет, воспаление легких, простудилась на пути из Москвы в Петербург. Посмертный писатель, посмертные книги. Провалились все середины, нету больше никаких середины. Зело вознесошася. Хорошо жил тот, кто хорошо скрывал. Благонамеренные люди благоразумью отданы. Не им, не им вздыхать о чуде, не им – святые ерунды. Он был существом, обменявшим корни на крылья. Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно и величия чего-то непонятного, но наиважнейшего. Наши ближние нам не помогут, и умрем мы в одиночестве. Не у себя дома, неясно, на какой станции, на какой поляне. Если быть, то быть первым. Чкалов в кожаном шлеме, пролетая над Северным полюсом. Федор Конюхов, кругосветное путешествие в лодке на веслах, еще половина пути, через Тихий океан. Великий мастер молчания. Любимое слово Цветаевой – «Рок», всегда писала с заглавной буквы. Черкасов – Иван Грозный: «Не дадим в обиду Русь!» Ураган в Новороссийске, срывает крыши. Пропал «Боинг», из Малайзии в Пекин. 270 пассажиров. Пятый день ищут в океане, никаких следов катастрофы. Поэзия состоит из нигилизма и музыки. Я ничего не изображаю, я творю. Фальк, раздраженно. Тайна живописи на кончике кисти. Мнение зрителя его не волнует, а существованию лишь то, о чем думал художник во время работы. Преображающая сила тоскующей памяти. Пролетаю в поля умереть. Нижинский: «Я рисовал Бога в виде кругов, ведь Бог – это движение. Я хотел продолжать танец, но Бог сказал мне «довольно», и я остановился». Последний танец Нижинского «Война и безумие». На полу были разостланы полосы черного и белого бархата в виде креста, в вершине этого креста перед танцем встал Нижинский с распростертыми в стороны руками, как распятие.

Зима вернулась, опять снег, слякоть. Каждый день плачет, вспоминает умершую мать. В Якутии погружение аквалангистов в самое холодное озеро в мире, на 60 метров, мировой рекорд. Гойя, черная рука из-под могильной плиты, Ничто. Я почел бы себя безумным, если бы у меня в голове оказалось больше одной мысли. Чаадаев. Согласно Талмуду неуч не может попасть в Царствие Небесное. Невский, площадь Искусств, в Филармонию, пианист Мишук. Георгиевский зал в Кремле, воссоединение Крыма с Россией. Всенародное ликование, салют. Предсмертное прохождение через полное одиночество. Колдовская власть буквы. Весенний день, пушистые облака в голубом небе, заснеженное кладбище, черные сучья высоких кленов. Медленное шествие по длинной-длинной дорожке, парами и поодиночке, с цветами, могила Саши Старовойтова, годовщина смерти. Четверг. Встали рано, метро Обухово, к черту на кулички. В 20.30. по всей Земле на час отключат освещение, в знак экономии энергии. Час Земли.

Землетрясение в Чили. Пруды, чайки. Авария на Стачек, прорвало трубу, дорога залита, клубы пара. В библиотеке Льва Толстого было 14 тысяч томов. Предсмертное, записанное дочерью Александрой Львовной изречение Толстого: «Бог не есть любовь». Умирая, Толстой повторял: «Искать, все время искать». День детей аутистов, сосредоточенность на себе, в своем внутреннем мире, неспособность к общению. Таких детей рождается с каждым годом все больше. Ужас призраков времен отошедших. Пасть мертвым перед неуязвимым призраком. Реальность креста. День холодный, ветер, тучи, замерзшие лужи. Камбоджа, Ангкор, город, затерянный в джунглях. Каждую ночь король поднимается на вершину храма, чтобы соединиться с девятиглавой змеей, дочерью бога. Так поддерживается благополучие государства. Если девятиглавая змея не появится навстречу королю, государство погибнет. Недоверие к слову; мысль тускнеет, исходя из уст. Каждое слово вздымает прах степных дорог. Глас бездны, ему нет толкователя. Рассылал визитные карточки с надписью: «Кит Китович Кентавров». Напророчил себе смерть. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел. Противостояние Марса. Марс в середине апреля приблизится к Земле на максимально короткое расстояние 92 тысячи км. Сейчас светится в 10 раз ярче, чем самая яркая звезда первой величины. Поздно встал. Поздно мелют мельницы богов. С ней в Обухово. Ждал на дворе. Солнце, ледяной ветер, спрятался за угол здания. А все-таки весна. Припекает. В Южной Корее затонул паром, недалеко от берега, корпус торчит над водой. Триста погибших, остались внутри. Умер Маркес, 87 лет. Лесков, как писать: пиши вдоль, потом поперек. Возраст, когда все

силы в сборе. Лесков называл смерть: «интересный день». Пасха, крестный ход. Ул.Генерала Симоняка, яркий день, солнце. Стою на балконе, в раскрытое окно ветви черемухи со свернутыми трубочкой зелеными бутонами листьев. Люди на улице идут в легкой одежде, с непокрытыми головами.

Одесса, огонь попадающий. Дождь, град. Стоял на балконе, зацветающая черемуха, градинки бьются о стекло, отскакивая; люди, застигнутые грозой, лужи, две старухи, одна закрыла голову зеленой миской. Мужчина с георгиевской ленточкой. Библиотека древних рукописей в Армении в Ереване, перевод с древней египетской рукописи и карта, на которой изображен Марс и два его спутника. Как древние могли знать об этом? Ведь спутники Марса были обнаружены только в 19 веке. О двух спутниках Марса упоминали и Галилей, и Свифт в своем «Гулливере», глава о Лапутах, и Вольтер. «Не трудно написать что-нибудь, а трудно не написать». Л.Толстой. В Турции авария на шахте, погибло более 300 шахтеров. А встона, бо, братие, Киев тугою. Донбасс, кровь. Земля наклонена к своей оси на 21 градус, поэтому сезоны года, весна, лето, осень, зима, в разных полушариях наоборот. Четыре миллиарда лет назад Земля столкнулась с другой планетой, поменьше, Теей; Тея разрушилась, из ее осколков возникла наша Луна. Авария при запуске спутника «Протон» на космодроме «Байконур», сгорел в верхних слоях атмосферы. Наводнение в Сербии. Чаплин, всемирная слава, ревущие толпы поклонников, встречающих на вокзалах и пристанях. Вот уже неделя, как я здесь один. Ветер сдувает лепестки с яблонь. Смотрю, смотрю: чудо из чудес! Бреюсь утром у умывальника на дворе: в зеркале старик, голова седая. Старик, старик. Чаплин о писателях, с которыми он был знаком: Стейнбек писал не меньше 2 тысяч слов в день, Томас Манн в среднем – 400 слов в день, Фейхтвангер надиктовывал 2 тысячи слов в день, Сомерсет Моэм – 400 слов в день, чтобы только не потерять темпа письма. Уэллс – тысячу слов в день. Английский журналист Хеннен Суоффер писал до 5 тысяч слов в день. Жорж Сименон писал роман за месяц. Не хочется в такую жару ехать в город. Сажу на веранде у раскрытого окна, Велесов внуче. Род человеческий – Книжки читатель, и на обложке имя творца, имя мое, письмена голубые.

Пьяный старик лежит под сосной, в рваном свитере, на ноге резиновый сапог, другой сапог валяется далеко в стороне; громко сам с собой разговаривает. Когда возвращались обратно, он уже был в канаве у железнодорожной насыпи, кричал: «Эй, девушка! Где я нахожусь? Это какая улица?». Разбудил мотоцикл, гремел на дороге перед домом, как апокалипсис. Оса на окне гудит в свою воинственную трубу. В Москве

авария в метро, 21 человек погиб. Обломки «Боинга» под Донецком, погибло 298 человек. Собирают трупы, везти в Голландию. Чистое утро. Сияльны неба голубели. Гиляровский «Мои скитания». Чехов о нем: «Человечина». Вечером долго стоял в саду, смотрел на уходящее солнце. Гипноз заката. Солнцепоклонник. Вот и стемнело. Засохшее дерево, рогатое, страшное. Твой есть день и твоя есть ночь. Понедельник. Извержение вулкана в Исландии. Семикрылый путь в когтях трескучих плоскостей. Триумф головы Вселенной, арфа и бокс; вси языцы, воспещите руками. 1-го сентября объявят лауреатов, хлопки и вспышки. Большая Морская, Союз художников, вот мы с ней и пришли, а как же иначе, мы герои дня, и все это в нашу честь. На стенах детские рисунки, хороводы лодок в море на восходе веселого, горячего солнца. Это нам весточка из Баку. У нас на глазах слезы радости. Наши тревоги, наши молитвы.

Косые рифмы, перезвон событий. Сердце речаря обнажено в словах. Улетим в Никогдавь. До реки. Солнце уже скрылось, похолодало, ни ветерка. Студеная дымка, трава на берегу покрыта ржавчиной осени, лес черный, вода замерла, матовая зеркальность, тишина, всплеск рыбы, и опять тихо. Утром восход солнца. Вышел за калитку, приветствовал, воздев руки. Орфический гимн Солнцу: «Услышь меня, благословенное, чьи глаза видят всё, услышь мои слова и открой радость жизни посвященным!». Вот для этой радости и живешь, еще день, еще вечер, еще ночь, чтобы опять встретить утро, новое утро, увидеть это чудо восхода. Проводил до платформы, тяжелая сумка, кабачки, яблоки, уехала в город. Говорит, чтоб не грустил, вернется в четверг. Начались дожди, всю ночь стук по крыше, просыпался, опять засыпал. Слезы людские, о слезы людские.

Прижимаю к груди мою книгу. А зал кричит: «Распни, распни его!». О мне глумляхуся сидящий во вратех, и о мне пояху пиющий вино. Умер Любимов, режиссер. В метро девушка уступила место. В тот год, когда девушки впервые прозвали меня стариком. Ветер осени золотой развеял меня на родине красивой смерти – Машуке. Старый фильм, Печорина играет актер Ивашев. В разбитое стекло врывается морской ветер. Уверенность, что пройдешь по водам, не замочив подошв, как призрак. Холодный октябрьский день, яркость солнца солнца раздражает, тоска, нервы, вагон, еду, куда, зачем, абсурд, дурость; ромашки у трамвайных рельс проносятся мимо, гнутся на ветру. Еще не увяли, живые ромашки. Умереть с пулею в груди – стоит агонии старика. Что-то сбывалось над ним. Встал в половине седьмого, в Автово, оттуда на машине, за Лугу, за Кингисепп, деревня Малое Кузмичево. Просторный сельский дом.

Библиотекари, краеведы, поэты, писатели. Пели хором: «Выхожу один я на дорогу». Потихоньку вышел, по старым деревянным мосткам, к реке, через заросли камыша, сухого, выше человеческого роста. Возвращение, ночь, город, наша Лени Голикова, сияющие ореолы в черном небе, пьяно улыбаясь, убегают вдаль, к Стачек. Потеплело, дождь. Леонидов, гений архитектуры, где твои чудо-здания, где твой город солнца? Миражи, построенные на песке. Шнитке – человек, запрограммированный на бесконечное сочинение музыки. Как только прерывалась работа, он заболел. Он болел только в периоды отдыха. «Мы благодарны искусству за то, что оно показывает нам то, что логически сформулировать невозможно». Смотрю, пруд, утки плещутся, хрусталь, ясность, грусть, пустота в сердце, близость зимы, и всё это, всё это... На Южном Урале археологи обнаружили страну городов, загадочная цивилизация, 3,5 тысячи лет д.н.э., множество печей для выплавки железа. Похолодало, мглисто. Делакура, прочитав русские новеллы, «Дубровский» Пушкина и «Фаталист» Лермонтова, замечает у себя в дневнике, что эти новеллы написаны в подражание Мериме. Как будто сам Мериме и написал, взяв русские имена и декорации.

Мглисто. Лина Кавальери. Горчичное зернышко, верь, верь в свою горькую истину. Первобытный человек сначала нашел окись меди и железа для того, чтобы сделать краску и создавать свои наскальные рисунки. Чтобы рисунки дольше сохранялись, их рисовали на большой высоте. Для этой цели изобрели лестницу. И только значительно позже стали выплавлять медь и железо для мечей и утвари, а лестницу использовать для строительства. Тускло. Ньютон стоит на плечах титанов. Голые стволы, черная вода. Старый дом в псковской деревне. Туман, сырой снег. Вот он, на пригорке. Окна заколочены, двор в бурьяне, гнутся на ветру сухие стебли репейника. Сколько же лет прошло, как я тут был последний раз? Тридцать? На похороны Татлина пришло семь человек. Умер через три месяца после смерти Сталина. Утром сажусь за свой стол, снежная равнина безбрежно ясна. Что-то вроде многоярусной пирамиды, наполненной стоящими людьми. Основание, самый нижний ярус, самый большой и широкий, там стояло очень много народа, несметные толпы, и я заметил, что все они слепы, у всех вместо глаз тускло мерцали свинцовые бельма. Толпы слепцов. Чем выше ярус, тем он уже, и тем меньше на нем людей, и тем больше они зрячи, тем яснее и пронизательнее их зрение; я видел, как всё светлее, всё чище становятся их, направленные на мир, взоры. И, наконец, на самом верху этой загадочной пирамиды, на ее острие, как на утесе, стоял один единственный человек; только он один и мог там, на этой высоте поместиться; его глаза сияли, как два солнца. Это

существо смотрело вокруг себя во все стороны, и видело всё, видело все ярусы пирамиды до самого подножия и всех людей, толпящихся на них, его же не видел никто. Он был Невидимка. Киты, ослепнув, кончают самоубийством, выбрасываются на камни. Врубель ослеп. В больнице для умалишенных подолгу стоял у окна. Уверял, что если он простоит здесь 10 лет перед Богом, то Бог вернет ему зрение, даст новые изумрудные глаза, он начнет новую жизнь и опять будет работать, рисовать картины. Третий глаз Шивы. Лучше быть первым в аду, чем вторым на небе. У папуасов – если племя изгоняет кого-нибудь, то по нему поют успокоительную песню, и изгой умирает. То же – у сибирских народов, когда поют такую песню шаманы. Конные монголы охотники с прирученными беркутами на правой руке в зимних горах. Охота на волков. Два беркута нападают на бегущего волка, накрывая его крыльями, он борется с ними. Тут поспевают монгол охотник; спешась, поражает волка ножом.

Умерла Елена Образцова, на 75 году жизни. Кармен, золотой сон. А боги и во сне, как кони, белозубы. Блейк, призрак блохи, тигр во мраке, Иерусалим, гимн Великобритании, заклинатель сов. Глубина, мать тьмы, застольные беседы с мертвецами, рисунок мира на обратной стороне этой скатерти. Стасов Серову: «Правда ли, что вас не интересует содержание?». «Не интересует» ответил Серов. «Меня интересует только художественно написанное». Монах Авель, предсказатель бедствий и войн. Вавилон, ворота бога. В Вавилоне жило 180 тысяч. Ворота Иштар из синего кирпича. Прихожу во двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороны, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску. Лесков. Чертогон. Румыния, книги на золотых пластинах. 400 золотых пластин с древними письменами, сантии Даков, записаны славяно-арийскими рунами. Миртград. Орий из Ирия. Рукописи Леонардо в библиотеке Милана, 6 тысяч страниц. Леонардо писал всю жизнь, каждый день по 2-3 страницы. Не имел ни университетского, ни даже школьного образования. С иронией называл себя необразованным и безграмотным человеком. Не знал латыни, поэтому не мог прочитать многие научные книги. Умер в 67 лет. Мрамор проходит через резец Микеланджело, чтобы превратиться в скульптуру. Когда Микеланджело указали на недостаток сходства его портретов с Юлием и Лоренцо Медичи, он гордо ответил: «Кто заметит это через тысячу лет». Большая книга, большое несчастье, Каллимах. Бедные художники, они погибают, если о них не говорят. Моя госпожа Меланхолия, моя Эгерия, мой злой гений. Встреча Сатурна и Луны в созвездии Скорпиона. По ночам воздух сгущается и это вызывает печаль. Громада невидимого, дождь со снегом. Поэзия – это вино заблуждений, поднесенное пьяными наставниками.

Они плывут в челне безрассудства и обитают в роще безумия. Учился у творящих превращений, черпал в источниках своего сердца. Писал книги и прославил свое имя в мире. Отличался изысканными замыслами, потомкам передал свитки.

Кто-то внутри меня то ли говорит, то ли поет, не дает спать. В Политехнический, путевки. Холод, дождь. Дух искренности, узор письмен. Велика сила Вэнь – вместе с Землей и Небом рождена она! Человек – налитый зерном колос пяти стихий, он поистине сердце Земли и Неба. Когда же сердце рождается, появляется речь, а речь появилась – и вэнь становится ясно видна. Проясняется узор и являются письмена. Узор же речей – сердце Неба и Земли. Речь и письмо обнаружат разницу между благородным и подлым. Солнечно. С книжной ярмарки. Велес, его стада и струны, табуны и свирель. Посидим на скамейке в Екатерининском садике, мороженое, зацветающий каштан. Ницше, впав в безумие, подписывал свои письма: «Распятый Дионис». В ювелирный, выбирали серебряные ложки, в подарок на серебряную свадьбу. Весь май ураганный ветер. Извержения вулканов на Галапагосских островах в Тихом океане, вулкан за вулканом. Такого еще не бывало. В Перми неслыханный ливень, затоплены улицы. Родственные души не растут на деревьях. Григ Чайковскому. Старая съемка, парад Победы в Москве на Красной площади в 1945 году. Льет дождь, толпа под зонтами, солдаты в касках, воины-победители. Жуков и Рокоссовский на лошадях, белой и вороной. Сталин над всеми, вождь народов. Женщины в шляпах того времени, счастливые лица. Вечером салют. Великая Победа.

Полнолуние. Окликает по имени. Федра, Фрейд, голова Орфея. Пушкин, более 50 автопортретов, молодой, в Кишиневе, в Одессе, носил длинные волосы, кудри до плеч. В Михайловском в ссылке отрастил баки. Рост Пушкина 166, 64 см. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Посвящено жене, Гончаровой. Пруд, закат, тростники. Я один, всегда один, даже когда с кем-то, и глубоко-глубоко в душе – один одинешенек, всегда, всегда. Рильке о Родене, отшельничество, «Башня работы». Еду, за окном вагона ливень с градом. Витебский, город затоплен, люди ходят по пояс в воде. Число Фи построило всё живое на земле, божественная пропорция 1,618, резец Фидия, циркуль Творца, золотое сечение-свечение, звон позвонков. И опять Ом, первоначальный, творящий звук. Книжная галерея у Михайловского замка, жаркий день, сцена на солнцепеке, просят выступить с речью о Книге. Велес играет на свирели в полуденный зной на лугу. Я в Киеве, в Софийском соборе, тайна моя всегда со мной, всегда со мной, она во мне; но за мной следят, непрерывно, неотступно следят и подслушивают; с рождения до смерти, до последнего вздоха.

Красил забор. Солнечно, царский знак, фарн. Роза мира, Велга, Звента-Свентана. Подходит к калитке, после бани, счастливая. Зари румянец дальний шевелит мерцание свеч. Аграфия, отвращение к письму, весь день, не могу взять перо, не могу видеть чистый лист бумаги. Поцеловала в лоб и ушла, в цветастом летнем платье, веселая. Ночью гроза, странная, бесшумная, вспышки сквозь пелену туч, со всех сторон, кругом, а молний не видно. Потом молнии стали сверкать зримо, ослепительные, огромные, через все небо. Таких мы никогда не видели. Гроза бушевала часа три. Феерия. Мы стояли у окна на веранде, она у меня за спиной, трепеща и вскрикивая при каждой вспышке. Утром тучи. Опять в депрессии, говорит, что ей никак с собой не справиться, все время ждет какого-то несчастья. Говорит, что погибает. В страхе: приближается день отъезда. Страх растет. На смерть ехать. Завтра же сдаст билеты. Тяжелый разговор. Так жить невозможно. Меня интересует только моя Книга, а больше ничего на свете не интересует. Книга заменила мне жену, заменила всё. Вся моя любовь и нежность обращена на Книгу. Предлагает расстаться. Ее затверженная пластинка: расстаться, расстаться.

В море медузы. Клод Лоррен, закат в золотой дымке. Вечером после ужина пошли в армянскую церковь на горе над бухтой. Уже темно. Грегорианский крест. Библия на древнеармянском, на пергаменте. Луна, оранжевая, над горой. Фотографировались. Вернулись в номер. Бессонно. Всю ночь грохот, рев и вой. Танцплощадка, половецкие пляски, визг нимф в бассейне у нас под окнами. Сад пыток. Гуляли по набережной, тот же оглушительный рев и грохот, кафе, бары, аттракционы, тир, воющие певцы, шашлычный дым. Девушка в кабинке, сидит, опустив ногу в аквариум с рыбками. Рыбки облепили ее изящно очерченную, белокожую ногу. Уж приближается ночь, покориться и ночи приятно. Старинная греческая крепость Никоптия на горе над морем, копченые сардины, вино. Крутятся и танцуют, Амма создал все спиральные миры Вселенной, звезды и зерна. Бледный Лис прилетел с Сириуса, изготовил маски и научил говорить. В день нашей свадьбы нам подарили яблоко из оникса. Ониск избавляет от печали и меланхолии, укрепляет дух, вселяет оптимизм. Полезен пожилым людям. Все пройдет, все пройдет. Сердце шире мира, разрыв всех узлов.

Октябрь, вечер, бреду по дороге. Фонари зажглись. Вокруг каждого фонаря очарованный рой заблудших душ. У Тютчева: «бродит сиянье». «Бродит», а не «брезжит», что, казалось бы логичнее, для неопэта. Веберн, число 23. Всю жизнь не расставался с книгой Гете «Учение о цвете». Перед нами художник, который самые высокие идеи выражает минимумом слов. Свет глаз. Для меня нечистая нота – что-то ужасное.

Веберн весил около 50 кг., рост около 160 см. Убит американским солдатом 15 сентября 1945 года. Ему было 63. Кто такой Веберн, сам Веберн не знал. Шёнберг страдал трискайдекафобией (боязнь числа 13). Он родился 13 числа, что всю жизнь считал дурным предзнаменованием, и 13 же числа умер. Боялся дня, когда ему исполнится 76, потому что в сумме эти цифры составляют пресловутое число 13. Умер 13 июля 1951 года именно в 76 лет в 11.47 вечера за 13 минут до полуночи. Язык, вдохновляй разум! Форма – значит красота. Жить – значит отстаивать свою форму. Разбирала при мне старые письма, записки, поздравительные открытки. Заплакала. Память умерших. Он писал силою Пишущего Имени и отдавал людям. Мудрецы воссияют сиянием небес. Оборванная последняя фраза второго тома «Мертвых душ»: «Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...». Курские помещики хорошо пишут. Ты равен духу, которого созерцаешь. Когда придет Бог, смотри вниз и записывай сказанное. Суббота. К Земле приближается громадный метеорит, прогнозы ученых неутешительны. Мглисто, высокий шаг облаков. Вишну на белом коне в конце времен. Одежда первой четы, знак Каина, радуга и скрижали. Вошедшие во дворец круга и квадрата испортили точку. Во тьме они оборачиваются в образ змея с двумя головами, летят в бездну и плавают в великом море. Сияние посеяло семя, красу мира. Каждому началу видел я конец. Будет день один, он известен Господу, ни день и ни ночь. В мире существует 45 оттенков огня. Понедельник, солнечно, ходили платить квартплату. Блеск еще зеленой травы на газоне. Кошмары. Иоганн Генрих Фюсли, ночная кобыла. Только там затихнет Лилит и найдет себе покой.

Зачем-то понесся на Невский, бес в ребро. Она осталась дома, истерзанная своими черными мыслями. Гостиный двор, через подземный переход, афиша: Ингмар Бергман, неделя ретро фильмов в кинотеатре «Аврора» с 13 по 17 ноября. Фонтанка, мрак, дождь, фонари, толпа. Гул гигантских городов. Жутко, дико. Мое одинокое, бессмысленное блуждание в этот вечер, поступки, достойные сумасшедшего. Что я тут ищу? Число, букву, звук, этих троих серафимов, созидающих нового Адама? Магазин «Порядок слов». Моя Книга лежит среди других книг на прилавке. Сделав вид, что интересуюсь новинками, беру мою Книгу, держу в руках, листаю. Вечер безумных действий. Мое лицо убрано навсегда, безвозвратно из ниши времен. Умер Мамлеев, 84 года. Полночь. Луна в голубом круге. Встала рано, уехала в бассейн. Бэр, биологический момент. В Египте разбился самолет с туристами, возвращался в Петербург. Погибло 224 человека, все, кто был на борту. Призрачно,

Лейбниц. Мнимые числа – это поразительный полет духа божьего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием. Книга – письмо к себе, написанное тенями и отблесками на голой стене. Сорвался с облака, злоба дня, то да сё. Трамвайная остановка, солнце между домов, почернелые листья блестят утренняя серебром. Воскресенье, пошли заказывать для нее очки на дальность. Наладим ли мы опять нашу жизнь? Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Листаю мерцающий лед этих страниц. Что ж, очень интересный, своеобразный писатель, о нем еще обязательно вспомнят. Семь книг облачной библиотеки. Кодекс Гигас, библия дьявола, на пергаменте из ослиной кожи (потребовалось 160 ослиных шкур), высота 90 см., ширина 49 см, толщина 22 см., весом 75 кг. Самая большая и самая тяжелая книга на земле, (сдвинуть можно только усилием двух человек) написана монахом-писцом в бенедиктинском монастыре в Чехии в начале 13 века. Писал 30 лет в затворничестве, посвятив этому всю свою жизнь. Свод средневековых знаний. Изображение дьявола во всю страницу. Имя писца неизвестно. Скрытая мощь, идущая от этой книги, притягивает к себе людей. Кодекс Гигас находится в королевской библиотеке в Стокгольме. Язык ветвей. Имя в шуме волны, плеснувшей в берег дальний, мое, не мое.

Бесснежно. Древний ужас. Седой опыт художников всех времен. Ну вот, выбрались хоть куда-нибудь. Выставка буддизма в Эрмитаже. Число Будд бесконечно, и у каждого Будды своя Чистая Земля. Проклятие девятой симфонии, несущее композиторам неминуемую гибель. Три ноты в такой последовательности вызывают тревогу и страх. «Мрачное воскресенье», песня-убийца – вызвала сотни самоубийц в Венгрии. Шумерский гимн богу Зла. Белое на белом, черное на черном. Что-то там светится изнутри. Она, Гармония, Мелюзина, прекрасная змея моих вещей снов, трепетание крыльев бабочки на грани исчезновения. Ищу опору в себе самом, в пустом сердце, где огни и мрак. Вслушиваюсь в несказанное, люблюсь невидимым. Бритвенная ясность. Декабрь, в метро, старик и старуха, совсем дряхлые, дремлют на сиденье, он – с седыми, обвислыми усами. Вышли, шатаясь, держа друг друга. Луна все в том же голубом ореоле. Ольга Розанова, зеленая полоса. С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна. Стихи говорят о воле. Передай волю в словах. Эта сила поистине велика, родилась вместе с землей и небом. Уши созданы для того, чтобы слушать музыку. Глаза созданы для того, чтобы видеть красоту. Уши и глаза – дверные створки сердца. Поэтому уши должны слышать гармонию, глаза – видеть прекрасное. Понедельник, приморозило. Куда-то едем, троллейбус,

страшный мир. Что ж, все в наших руках, и этот крепко затянутый узелок. Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений, ясно как нож в руке убийцы. Миром правит молния в электрическом утюге. Я меж всеми и вся, потерянная иголочка. Где голова Гойи? Ул. Кузнецова, бесснежно, мороз, мрак, утесы многоэтажья. Ураганный ветер с залива. Идем, сцепясь, нагнув голову. Конец этого года.

Спутник Юпитера «Европа», ледяной кокон, подо льдом вода, океан, испускает звуки, писк дельфинов. У всех геометров глупый вид. Маркиза де Помпадур. Стою на дороге, искорки снега вьются, блестя на солнце. Искал станок для бритв. Афина, вещий ворон в шлеме. Что уму позор, то сердцу красота. Мороз. Эпидемия свиного гриппа, все в марлевых повязках. Полнолуние, Офанизель, блюстителъ лунного круга. Зинаида Волконская, царица муз и красоты, северная Коринна, в волшебном замке музыкальной феи. Умер Виктор Львович, инфаркт, 70 лет. Гулял, гололед, солнце, голубое небо, ручьи, как весной. Грустные мысли. Пусть разрушается тело – душа пролетит над пустыней. Смотрю на мир сквозь магический кристалл, октагон, восьмигранник. Совиные глаза слов. Лежу с женщиной, у нее на лице трагическая маска, Мельпомена. Отдернул штору – метель. Манчжурия. По степи скачет всадник на мохнатом коне, древний воин с трезубцем на шлеме, сын Великой Матери. Украсил себя шрамом на подбородке, бреясь новой бритвой. Спасительная чуточка безобразного, как любил говорить Дега. В театр, «Травиата», Рене Флеминг. Я был на зрелище: какие ощущения во глубину души прельщенные влились!

Оттепель, февраль, голос арфы отзвучал. Жуковский умер в 69. Как мне сейчас. Достать чернил и плакать. Уехала куда-то за Финляндский вокзал, в военкомат, по траурным делам, насчет покойного Виктора Львовича. Тусклость, гаснут угольки в крови. Печальна плоть, и книги надоели. Мы – буквы магической книги, и эта вечно пишущаяся книга – единственное, что есть в мире, вернее, она-то и есть мир. Читаю или пишу, ниже, выше, мне уже не отличить, где я, где они. Когда я пишу, я узнаю, что я хотел написать. Ну вот, теперь-то я знаю, что хотел написать о священной горе Меру в Индии. Мир существует, чтобы войти в книгу. В мою Книгу! Кому это непонятно? Погасшему вулкану? Вернулся с прогулки, ей плохо, давление подскочило, дрожит, руки и ноги ледяные. Солнечный день, почти весенний. Трепет тех метелочек во льду, там, у ограды. Стоял у дороги, перед тем горбатым мостиком, полянка в снегу блестит на солнце, куча свежесрезанных черных сучьев. Их горьковато-нежный запах. Невский, вечер, огни, небо в сторону Невы темно-голубое с фиолетово-розовыми полосами, в сторону площади Восстания – темно-

синее. Шел от метро домой, луна в двойном ореоле: жемчужном и с краю – коричнево-красный. Жозефина Бейкер, танцовщица, мулатка, покорила Париж, изображая обезьянку и исполняя дикие танцы. Под конец танца влезала на пальму. Вирджиния Вулф, 4 тома дневников, 5 томов писем. «Этот туманный мир литературных образов, похожий на сон, без любви, без сердца, без страсти – именно этот мир мне нравится, именно он мне интересен». Слуховые галлюцинации перед приступами безумия, слышала голоса птиц на оливах древней Греции. В Капеллу. Гуго Вольф. Сколь тяжела участь художника, если он не в состоянии сказать что-либо новое! Умер Умберто Эко. В тот же день умерла Харпер Ли, «Убить пересмешника». Метель, струнки на ветру, их трепет, всегда, всегда, белое, черное. Сосны поскрипывают, постанывают. Это мой истерзанный мозг стонет, распятый на кресте бессонницы. Агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать. Приходил сантехник, поставил счетчик воды. Домоуправ, подписать акты. Ясность свидетельств. Голое слово правды, холодно и страшно ему одному в мире. Бегущий Апис с мумией на спине.

Затерялся в зеркалах, в отражениях отражений. Из ненаписанного. Тот, кто увидит в небе призрачный город гандхарвов, того ждет несчастье и гибель. Время убийц с голубыми глазами. Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто подобно его создателю, приобщился тайн. А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего один понимающий читатель. Снежная лавина в горах, Мечислав Карлович, пропавшие без вести, их тени бродят вокруг нас по ночам, но никто их не узнает. Неузнанные, уходят с рассветом, растворяются в воздухе. Возможно, они живут на Луне. А мы с Венеры. Откуда же еще? На Венере красно-красавый, раскаленный песок, скорпионы и раковины. «Принцесса «Турандот» в Мариинке в новом зале. Час поздний, бежим на автобус, шестерка, заворачивает. А остановка-то вон где, едва видно, на краю земли! Скользко, промозгло, по-мартовски. Продрогли на ветру. Минута тоски когда-то давным-давно выбрала нас, а жало ее до сих пор в нас живо; мы с тобой, пронзенные в тот далекий вечер, все еще трепещем на этой игле. Двуетное, сросшееся существо, куда же нам друг от друга деться? Некуда, некуда... «Мальчик и девочка», фильм шестидесятых годов по сценарию Веры Пановой. Врубель о Серове и Коровине: «У них нет натиска и восторга». «Вон из-под роскошной тени общих веяний и стремлений в каморку, но свою – каморку своего специального труда – там счастье!» Последние слова Врубеля: «Николай, довольно мы здесь полежали, поедem в Академию». Проснулись посреди ночи от какого-то

ужасающего грохота за окнами. Семь кузнецов куют счастье для всех людей на земле. Вавилонская башня уже возведена до небес, достраивают последний этаж. Скоро нам туда переселяться. Три года со дня смерти Саши Старовойтова. Кладбище, горсточка пепла в урне. Рядом могильщики жгут костер из веток спиленного тополя. Огонь пляшет, разметав алые космы, такой веселый, буйный. В Ростове на Дону разбился «Боинг» из арабских эмиратов, все погибли. Писать становится все труднее и труднее. Смысл жизни, когда я не работаю, сразу мельчает и теряется. Вирджиния Вулф. Трехмесячный младенец в утробе слышит, как стучит сердце матери, слышит ее дыхание. Умиравший Розанов в розовом женском капоре. Голос из мрака: «Ноты молний! Читай ноты молний!». Артур Рубинштейн, старый, седой, маленький, с крючковатым носом, как попугайчик, пальцы сморщенные, лапки краба, летают по клавишам. Яков Чернихов, архитектурные фантазии, слово заменить знаком. Язык графики станет международным языком. Солнечно, голубая дымка, пруд, горбатый мостик, неизвестность. Навстречу девушка с кошкой и попугаем.

День смерти Павла Первого. В этот день Павел в Михайловском замке, идя в свою спальню, взглянул в зеркало, которое было кривым и искажало отражение: «Посмотрите, какое смешное зеркало – я в нем с шеей на сторону!». За полтора часа до своей гибели. Часовой у ворот Михайловского замка кричит Петербургу: «Император спит!». После этого все в Петербурге должны лечь спать, и никому не позволено выходить на улицы. А с Невского и Марсова поля спешат Пален, Зубов, Бенингсен, ведут гвардейские батальоны. Вином и злобой упоены, идут убийцы потаенны. Зубов ударил Павла золотой табакеркой в висок. Павел упал. Все кучей на него навалились, задушили шарфом. Человек рождается с полностью готовым правым полушарием мозга и не готовым к работе левым полушарием. Правое полушарие – живописные, образные, музыкальные способности, танец, все художественное, творческое. Левое полушарие – язык и логическое мышление, начинает работать только с двух лет. Также и в истории: человечество сначала мыслило только правым полушарием, только образно, и так истолковывало мир, только через искусство и религию. Вначале были искусство и религия. Немецкий ученый Клаудио Шмидт открыл в Средиземноморье древние храмы, которым 11 тысяч лет. И случай – бог-изобретатель. Каждый миг подсовывает всё, что есть в мире. Ах, опять Египет, пирамиды, боги, цари! Семь раз повтори «ах» и улетай в свой рай, хохлатый ибис! Идем, начинает темнеть, холодный ветер, новостроечные колоссы, близко залив, дымящаяся башня слева. Уверяет: что это ядовитый газ, хлор или сера. Ее терзает тревога, говорит о ненадежности этих новых домов, долго ли они

простоят, ей кажется, что они уже шатаются под напором ветра и вот сейчас на нас рухнут. Из-за этого не спит уже третью ночь. Плачет: завтра день смерти матери. На Стачек по жилищным делам, насчет протечки сверху. В кабинете у чиновника разрыдалась. Вторник, Дюрер, меланхолия. Скрыть мастерство в тумане над рекой. О тленности, река времен. Голый человек на голой земле. Каждый раз. Начну на флейте стихи печальны. Шмель и две бабочки с голубыми глазами на краях крыльев, серафимы. Встреча в солнечном луче. Слова и перстни. Брожу неприкаянный все эти апрельские дни. Не понимаю, чего же еще я жду от себя? Звездоносного ниспадения с невозможного неба? Девятого вала? Седьмой беды? Чужд границ, слеп и нем. О как божественно соединение извечно созданного друг для друга! Дышу-пишу, звуки-знаки возникают из вибрации этой жизнестойкой спирали, у нее 70-й виток. Верь в чудеса, и они придут.

Ночью дождь. И сейчас. В вазе у нас на столе распустились листочки тополя. Бальмонт в сюртуке с пышным шелковым галстуком, ромашка в петлице. Поэзия как волшебство. Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых. Как весело, как горестно весной. Пауль Целан, рифма к Незримому. Непременно буду в этом аду, где они все, в кровавой луже оскользнусь. Не могу написать «поскользнусь», хоть режьте. Протестующий вопль пера: не могу я так написать! Не могу! Это самый страшный, смертный грех писателя. Вечность буду в гробу биться без права на помилованье. Цветаева – зеленоглазая рысь, не признавала никаких депрессий, только экспрессии. Ветер желаний надувает паруса языка. Подходим к Михайловскому замку, теплынь, нам жарко, ров, свежая травка зеленеет на откосе. Она в своем сиреновом пальто и берете. Все уже собрались, расселись за огромным овальным столом; звучит Державин, его могучий глагол: «Я здесь умру, – но и в эфире мой глас по смерти возгремит!».

Чудеса-любеса, зеленое солнце, новооперенное. Забытая страна, без конца, без края. Едем навестить родные места, сто лет выбирались. Все те же старые лиственницы, грачи строят гнезда, хлопанье крыльев, крики. Ржавый шпиль школы, где мы с тобой когда-то учились, в давние-давние времена, не в этой жизни. Деревянный сарайчик на пригорке, храм святой Ольги. Сергей Прокофьев в ответ, что его музыка непонятна: «Я родился гением, и мой слух слышит то, что никто не слышит, мой слух опережает время». Александр Прохоренко, героическая гибель, похороны, поселок в Оренбургской области, шествие, солдаты несут гроб. Залп из автоматов. Жизнь камышовок. Болотные камышовки – наилучшие имитаторы певчих птиц. Ни одна из птиц не сравнится с ними в этом таланте. Перенимают

песни любых птиц, которые они слышат, соловья, зяблика, овсянки, жаворонка, ласточки, иволги, всех. После зимовки в Африке приносят более 80 песен разных птиц, которые они там запомнили. Не просто имитируют, а импровизируют, творят из чужих песен свои, свою музыку. Действуют как настоящие творцы. Перенимают чужие песни по принципу эмоциональности. Их привлекает эмоциональность, накал, страсть чужих песен. Камышовки живут три года. Русский язык – самый верный аналог песен певчих птиц: также свободно комбинируются слова во фразе. Утром, раскрыв окно, вижу: журавли! Летят клином высоко в чистом, голубом небе, курлычут. Поехали на пл. Стачек, танк на постаменте, дзот в цветах, в георгиевских лентах. Концерт, песни, участники шествия «Бессмертный полк» с портретами на древках. Часы неба и часы души не повторяются. Если зажечь свечу у себя за спиной, а перед собой поместить кристалл кварца, чтобы свеча его освещала, и сосредоточить взгляд на освещенном кварце, то в голове возникнут все книги, которые тебе необходимо написать, и все мысли, которые тебе надо написать в этих книгах. Майский ветер, колышутся шатры чисто-пенных сил. Сокар, сокол на холме, у некрополя, покровитель мертвых. Смотрю в корень, а из него тысяча лучистых дорог в разные стороны. Читаю, печалюсь, фиолетовый занавес отделяет от леса потусторонних растений. Поднимаюсь по ступеням, бесшумно, без перил. Наконец, настало мгновение, звезда безутешных открывателей в ручке Ковша. Последняя ступень, но она рушится под ногой... И лечу вниз головой, лицо – каменный кулак, щели глаз, приносящих клятву. Сияние, боль, имя. Гаснущий кусок грозно-звездного неба в голове. Отцветающая роскошь, пройти через все коридоры, по обеим сторонам двери, как в гостинице; за каждой дверью другая, неизвестная моя жизнь. Прямое, как струна, соединение. Поющая струна, ее союз с каким-то неизвестным, потаенным словом. Без этого слова не поется и ничего не понять. Но как только приближаешься к нему, оно тут же ускользает, разветвляясь на тысячи лабиринтов, все запутанней, все сложнее. И я вижу: это лабиринты моих же нервов, через них бежит ток первоначального, творящего Звука. Австрийский архитектор и живописец Хундертвассер строил дома-цветы, рисовал непрерывную линию, желая закончить ее спиралью, устремленной в неизвестность. Завещал похоронить себя в Новой Зеландии, без гроба, без одежды, под деревом, чтобы его тело питало это дерево. Земля – святое. Роберт Флат, «Великая тьма», черный квадрат масонов, дракон Китая. Оливер Мессиян, «Квартет на конец времени», сочинил в концлагере. Я хорошо помню эту ночь: сияющую Прагу, какие-то мосты, сады, свое одиночество. Фиксация взрыва сердца на бумаге, проявленность бури, эти

гравюры писем, глубоко врезанных в медную доску времени, эта стая из двадцати зигзиц, зовущих князя на Дунае. Ухожу один, не прощаясь, не оглядываясь. Белопенные шатры цветущих яблонь над обрывом, этот благовонный угол на незнакомой земле, и соловей щелкает, где-то совсем близко, и эта теплая мглистость, облачность, ветер. Четверг, фронтовик, Забежинский, 95 лет, поет, солдаты – белые журавли. «Вот, все, с кем воевал, никого уже из них нет, я один остался, и сам не знаю, зачем я еще живой». Суббота. Уехал – от себя. Куда мы идем? Всегда – к родному дому. Цвет отчаянья – белое. Всплеск перед занавесом. Из каждого моего слова глядит череп. Звон крови гаснет, вечер. Там, по ту сторону зеркала – тьма, крошечная, ничего там нет. А здесь и сейчас идет дождь, тихий, теплый, майский дождь, и каждая капелька – зеркальце, и в ней, дрожа от счастья, отражается весь мир. Дуновение новых душ из будущего. На каком лепестке оборвется разговор? Чёт и нечет, самозарождение.

Звук стеклянной бутылки о камень, из ниоткуда и в никуда, шумерская песня «Гильгамеш и Небесный бык». 27-е, праздник города, 313 лет с основания Петербурга. Медный Всадник – мы все находимся в вибрации его меди. Петербург лежит почти на 60 параллели. Эта параллель – критичная для самого существования человека. У живущих на ней состояние психики все время напряженное, тревожное, сон сбивается. Границы реального и потустороннего размыты. Невротическое состояние, напряженное ожидание неизвестного, неопределенность границ возможного и невозможного порождает пограничные феномены психики, близкие к галлюцинациям. Подходим, белая сирень у парадной. Нас ждут, мать и дочь. Стол накрыт. Жизнь двух женщин.

Во сне явилась строчка, боялся забыть. «Вошел в лес: клещи, пауки, змеи». Ну и зачем мне она? Мелькнуло что-то за стволами, что-то невыразимо чудовищное, будто бы вдруг увидел изнанку всех вещей, их неизвестную, всегда скрытую оборотную сторону. Больше одного мгновения видеть «Это» невозможно, человеческий мозг не выдерживает: умрешь или сойдешь с ума. Уехала куда-то, ничего не сказав. Грядет похолодание, температура снизится сразу на десять градусов. В Европе наводнение, Париж затоплен, из Лувра вывозят картины. Вышел в сад, ветер, петух поет, где-то далеко; или поезд, жалобный голос, печальный труженик железных дорог. Вот я стою тут, в этой случайной точке, а ко мне летят со всех сторон, отовсюду, со всех уголков Вселенной всякие звуки и разные мысли. Это я их притягиваю, я чем-то их привлекаю. Наверное, какое-то излучение, дрожь, вибрация. Какая-то потаенная косточка светится. Времечко-семечко. Демокрит, атомы и пустота. Титанические тела облаков. Запах персидской сирени на пустынной улице

с неизвестным названием. Брожу весь день, то молчалив, то весел вновь, музою взлелеян. Шиповник у реки, алые всплески, гул пчел, своеструнно. Есть слова как бы и не слова: полуслова, полушорох, полусвет. Тоска осужденных планет. Полурыба, полуптица. Мрамор форм, пробегают голубые искорки, расколотые куски сахара в темноте. Поэты пишут не для зеркал. Бар в Фоли-Бержер. Гуляли в Михайловском саду, холод, дождь, фигуры из цветов, замерзли. Вы никогда не видали красного цвета, а я вам буду говорить о нем. Из дневника Достоевского. Бальмонт, весь мир есть изваянный стих. В 70 лет умопомешательство, психиатрическая больница, буйные припадки, вдребезги разбивал мебель, гнул переплет железной кровати. Отвращение к еде, еле могли уговорить съесть ложку жидкой каши. Забыл все языки, которые знал, забыл все свои стихи, утратил все свои огромные знания, забыл всё. Потерял способность писать и читать. Полнолуние, мать всех живущих. Сломать закоренелую привычку жить, перелом, крушение, катастрофа. И семь воздушных ступеней моих надежд не оправдали. О белая Леда, твой блеск и победа! Не я мыслю словами, слова мыслят мной. Слова говорят что-то без слов, чем-то несловесным. Это они говорят душой, это душа слов говорит. Душа слов бессловесна. Душа слов – это Душа мира, мировая Душа, *Anima mundi*. У шумеров истинная ученость – знание заклинаний, искусство магии. Загробная жизнь жалка и бестелесна, мрак и уныние. О сестра моя, посмотри: я лежу в прахе, и мне никогда не подняться с этого черного ложа. Все труды шумеров анонимны, неизвестно имя автора ни одного из дошедших до нас великих произведений. Подражание образцам, копирование древних текстов – вот что шумеры считали задачей писателя. Оригинальность и новизна их не вдохновляли. Шумерский художник не стремился к свободному творчеству, его заветной целью было скопировать образец до мельчайших деталей. Он – ремесленник, его личность ускользает от него самого. Шумеры устанавливали статуи в таких местах, где их невозможно было увидеть, зарывали в основание храма. Достаточно того, что их увидят боги. Человеку их видеть незачем. Маска быка с бородой, найденная в городе Ур. Когда вверх. Энума Элиш. Нашествие улиток, весь сад заполонили, большие и маленькие, и совсем крохотные, с букашку. Божьи создания, как ими не любоваться. У них такие нежные, беззащитные тельца и чуткие рожки. И они носят у себя на спине свои изысканно раскрашенные, витые домики и кибиточки. Я бы отдал все на свете за то, чтобы хоть раз взглянуть их глазами. Но мир не стоит на месте, завтра уже все изменится, опустеет сад, и мы уедем, забыв наши заветные желания, забыв что и как, и откуда, забыв всё. И кто-то крутит калейдоскоп злополучных историй.

Стол в саду, день жаркий, душный. Встреча. Столько лет! Седая, а глаза те же, смеющиеся карие вишенки. Время золотое. Когда же жизнь прошла? Едем, а там-то что делается, посмотри! Ураган разыгрался, дождь хлещет в стекла вагона. Любая попытка анализа и истолкования произведений художественного творчества вульгарна и отвратительна. Карл Блум. Где-то я слышал это имя, цветок, певец. Все как-то устроено и в то же время никак не устроено, а только как-то неизвестно строится, может быть построено или само построятся, непредсказуемо. Ничего мы не знаем, а знает пчелка и цветок акации; они из масонов, когда они встречаются, то один говорит: «Бояз», другой отвечает: «Яхин». Третий день непрерывный дождь с ветром. Сад залит. Крыша протекает, подставили тазы. Молчим, как будто у нас обет молчания, кольцо во рту. Голый по пояс, в одном башмаке, с закатанной по колено штаниной на левой ноге, глаза завязаны, грудь исколота циркулем до крови. Ляг в гроб и лежи в нем часа три, мертвым, и тебе дадут новое имя. Проснулся посреди ночи от внезапной боли, сердце как будто шилом пронзило. Это мой зеркальный двойник смертельно ранен в грудь на другом краю Вселенной. Глубокая еще дымится рана. Эйнштейн, близнецы кванты. Боже, как все запутано, перепутано в твоём мире! Есть ли в этом хоть какой-то музыкальный или ритмический смысл? Тогда бы я еще мог утешиться, проснуться от мертвого сна в долине Дагестана и написать стихотворение, от которого бы содрогнулись сердца. Встречал на платформе. Вышла из вагона, усталая, сутулится. Говорит, что едва уговорила себя уехать. Так бы и осталась в городе. Гром гремит устрашающе, туча наползает, черная-черная. Лежу мертвый. Мимо проносятся, гремя, вихри ночных электричек. Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить. Или промысел, или атомы. Скоро ты забудешь обо всем, и все забудут о тебе. Брезжит во сне лунный корень слова. Пробую писать изнанкой языка, но все рассыпается, не та алхимия. Жди ясного на завтра дня. Идем к реке, стала жаловаться: «Скажи, что мне делать? У меня постоянно тоска, жуткая тоска, я с ума схожу. Может быть, я уже сумасшедшая, и мне нужно лечь в больницу? Принимать какие-то успокоительные лекарства для психически больных?».

Приснилось, что не могу вспомнить имя шотландского поэта. Пробудясь, вспомнил: Роберт Бёрнс. Подходим к церкви, зазвонили колокола, праздничный перезвон. День святой Ольги. В церкви венчанье. Новобрачная пара. Последнее слово Нижинского: «мамаша» – обращаясь к жене Ромоле, или же звал свою мать. Смерть – отказали почки. Когда заболел, лежа, в бессознательном состоянии танцевал пальцами,

изображая танцевальные жесты из балетов. Левой рукой стал исполнять пор-де-бра вокруг головы, как делал, танцуя «Призрак розы». Всего Нижинский танцевал 10 лет, в 29 лет сошел с ума, 30 лет – сумасшествие. Вся жизнь – 62 года. Ученые определили, что человек выражает свои эмоции словами только на 10%. Всё остальное – взглядом, мимикой, жестами, интонацией. Поздно вечером пошли прогуляться к реке. Розовая полоса меркнет. Укорочена струна дня. Беспесенно. Кто даст ми криле яко голубине; и полещу и почию.

Самоосуществление. Капниста я прочел и сердцем сокрушился: зачем читать учился. Кюхельбеккер, десять лет в одиночной камере, изучил древнегреческий, читал Гомера в подлиннике. Изучил английский и читал Шекспира. «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом. Утешения, которые доставляла мне поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не колебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзией я предпочел бы счастью без нее». Из письма Кюхельбеккера. Дрожащие напевы. Блеск той жемчужины, недоступный ничьим глазам. Тень и тело, Ахайя, Геликия, море не вернет своих мертвецов. Олимпиада в Бразилии. Всю ночь ливень, потоп. Открыл окно, шум, несмолкаемый, в темноте. Почто ж печальная распространилась мгла? Говорили о повторяющихся снах. Ей долго снился один и тот же сон: будто бы она взбирается по лестнице в старом доме на Римского-Корсакова, а лестница вдруг оказывается без ступенек, какие-то обрывки, обломки, и она в ужасе, никак не добраться до квартиры. И часто снилась та старая квартира. Умер Эрнст Неизвестный, на 96 году жизни. Будут ставить памятник в Екатеринбурге. Приснилось молодое женское тело, я его обнимал, а оно было холодное и безжизненное, как мрамор, и у него не было головы. Четверг. Полнолуние. «Что до меня, я не только догадываюсь, но могу сказать твердо – уверен, что Луна и все тела небесные обитаемы: мне кажется, что это и быть не может иначе». Кюхельбеккер. И думал я, подобно Оссиану, блуждать во мгле у края гроба стану. Горька судьба поэтов всех времен. Вышли смотреть на звезды. Ученые говорят, что такой звездопад – величайшая редкость, впервые за всю историю человечества. Звезды падают дождем, по всему небу, звездный ливень. Феерия. Елизавета Кульман. Сегодня счастье, завтра счастье, помилуй бог, когда-нибудь должно же быть и умение. Суворов. Дай мне себя обнять, добрая, старая летопись, ты, что так уже

давно ходишь рука с рукою с временем. Заря-обманщица, два утра персов, фальшивый и настоящий рассвет. Наказание художников, в День Страшного суда они должны будут вдохнуть жизнь в свои творения. Там пишут белым огнем по черному огню, для бессмертия двадцатитрехлетних, Шиллер, трава блестит после дождя, ртутные капли. Моя единственная звезда – смерть, бедняга Нерваль, безумец, принц дураков, повесился на улице Старого фонаря. Ночью свело ноги, судороги, хоть кричи. Тони Крегг в Эрмитаже, скульптуры из стекла, завихрения. Толпа китайцев под аркой Казанского собора, впереди высокий китаец с красным флажком в руке. Гюисманс, рак языка. Карл Юнг, «Красная книга». Еду, за окном летит ржавый лес, конец лета. Создание химер, скрещивание генов мухи и человека. Гены слышат нашу речь и фиксируют в генетическом коде, передавая мутацию дальше по цепочке поколений. Записки Патрика. Жутко кричала в третьем часу ночи. Ей приснился кошмар, будто бы она в гробу, пытается приподнять крышку и никак не может. Зовет на помощь, а никто не отзывается. Третий день в городе. Дождь начался, ночной дождь, его всхлипы и вздохи за окном. Сокровища Мьянмы. Созрело ли ты, яценное зернышко, для вечной разлуки? Менделеев, мастер чемоданов, бог химии шагает через семь ступеней. *Werde der du bist*. Но не дается, как назло, твое заветное число. На заливе шторм, водород с кислородом разбушевались. Оляха, вывернутая ладонь, это потаенное серебро, и шелест, шелест. Скрытые сокровища на каждом углу, скрытые навсегда.

Отворяю калитку, она на дворе у рукомойника, в своей толстой шерстяной безрукавке; увидев меня, улыбается. Идем, мгlisto, тихо. Вьется путь золотой и крылатый. Церковь в цветах, белые лилии, гладиолусы, розы, хризантемы. Какие мы с тобой непростые, непутевые, все-то у нас трудно и сложно, совсем запутались. А здесь чистые молитвы, и бремя легко. И опять летим, разрывая сердце. За окном вагона закат, пурпурные столбы на горизонте. Говорит, такой закат – к ветру. Вот и проверим завтра. В городе дождь, фонари, мрачно. Еле дотащились с двумя тележками. Возврат в точку. Сплю. Бескрайнее поле знаков-знаков, колеблемое золотыми волнами спелой ржи, их колышет дыхание Бога. И каждый колос полон спелых значений. Наводнение в Приморье. Купили зеленый коврик, в прихожую, положить у порога. Идем обратно, а солнышко уже зашло, и стало темно и холодно. А час назад, когда сюда шли по Стачек, какой роскошный закатище пылал-сверкал, какое сияние! На прощанье! Ничего, ничего, не будем грустить. Завтра вернется, всё вернется. В божьем мире нет атома, в котором бы не играла радуга и не пел петух, возвещая утро. Разговариваю сам с собой, а кто-то

подслушивает, тысячеглазый и тысячеухий. Прячусь от ветра у вокзальной стены, солнце слепит, струна внутри дрожит и сотрясается, отзываясь на какие-то неслышные голоса. Весь я – эта струна, вся моя жизнь – в ней. Мозг состоит на 80% из воды, это в нас Вода мыслит. Тот, Кто создал мрак покровом Своим. Буквы бессмертны. Можно сжечь свиток, но буквы неуничтожимы, они поют на устах Набу, бога писцов. Письмо – это рассеивание букв, из них прорастут новые песни и новые гимны. Снится черная вода, кто-то в халате, с левой полы капает кровь. Дует другому через бараний рог из рта в рот, целитель. Одноглазый сильнее двухглазого. Проглотишь глаз – воскреснешь. И они также пойдут туда, где им написаны дни и времена. Я, Енох, писец Бога, за посмертным столом, передо мной Книга жизни и смерти, прошлого и будущего. Я должен быть здесь, за столом, в полном уединении, только при Боге и слушать Его голос. Пишу в этой Книге то, что мне диктует Бог. Узоры письма возникают на границе двух миров, этого и того, потустороннего. Наша галактика сближается с галактикой Андромеды. Через 4 миллиарда лет мы столкнемся. Тогда ночное небо будет представлять фантастическое зрелище. Приснилось, что я упал в гигантский водопад, низвергающийся с высоких скал. И – чудо! Остался цел! Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей. Руны найдешь и постигнешь знаки. Явились 18 рун, как только схватил их, умер. Проснулся, пятница, ураганный ветер. Сел за стол. Страшно писать! В каждом слове столько горя и боли, накопленных в мире, что бьет током, как будто попал под провод скорбного и грозного напряжения. Как только я прикасаюсь острием пера к бумаге и начинаю выводить первое слово, так во мне уже кричат все слова со всего мира, всех времен и народов, всех живущих и когда либо живших, вызывают ко мне, стеная и рыдая. Они разрывают мне сердце. Невозможно, невозможно сегодня писать!

Клювик уже пробует прочность скорлупы. Скоро вылупится, ураганно, огонь и жупел и дух бурен. Духом бурным сокрушиши корабли фарсийския. Мать-молния держит над головою два зеркала, освещает молнией сердца людей, рождает отмеченных вещим даром. И это она же, мать умерших, ведет их на суд, в зал взвешивания сердца. Соль морей и пыль дорог у нас за плечами. Одетый в Имя щелкает меня по носу, и я, просыпаясь, опять забываю все, что знал. Да, забываю всё, что знал. Собрав с миру по нитке, я опять с пустыми руками, опять ни с чем. Понедельник, едем, оса, Эпиктет, осеннее, желтый центр наших унылых мыслей. Железный запад. Кто-то разматывает два клубка ниток, белый и черный, справа и слева от нас, день и ночь. Мозг – это орган, которым мы думаем, что мы думаем. Барс, пропавший без вести в мексиканских лесах.

Тускло, постригся, пошли платить за квартиру. В Орле поставлен памятник Ивану Грозному. Пятница. Умер Алексеев, инсульт. В рай ведет мост Сират, тонкий, как волос, острый, как меч. В сторону он отошел и сел на песок, перед морем, весь красотою светясь. И в Аркадии я, Пуссен. Население Земли – 7,2 миллиарда. Похороны Алексеева, Северное кладбище. Ждем автобуса, замерзли. Смотрим – высоко-высоко в небе летят журавли, два клина, один за другим, их удаляющиеся голоса: «Прощайте, прощайте!». Напротив нас, через дорогу – дуб, еще не опавший, сияющий, еще держит все свои золотые листья. Темная энергия космоса, ничего мы о ней не знаем. У речи четыре степени, они от Брахмана, который мудр и познал их: три степени – тайные и неподвижные, а четвертая – это человеческая речь. Тот, кто искренен в каждом слове, будучи тем, что есть. Эти звуки ускользают от произнесения и начертания, их можно услышать только в глубочайшей тишине души, в молчании. Вечер, сумрачно, дождь, снег, безлюдная улица, лохмотья листьев. Три кошки греются на канализационном люке. Узнаю тебя, Сатурн, глагол времен, пожирающий своих детей. У Слова широкий зев, все поместится. Франц Кюсс, «Амурские волны», в подземном переходе, слепой трубач. Калека у метро, на обрубке ноги прикреплено зеркало, в нем он видит всё, что происходит на свете, все сокрытое и тайное. В Иерусалиме археологи вскрыли гробницу Христа; найден папирусный свиток, датируется временем первого храма. Сенсация. Свиток выглядит, как комок черной грязи. Проснулся посреди ночи, боль в виске, задыхаюсь, не хватает воздуха. В темноте мерцает стол, лунный кварц, суровый повелитель, призывает к жертвоприношению. Сажусь, начинаю писать на каких-то призрачных листах из тусклых мерцаний. Всё, что я пишу, тут же стирается и исчезает. И я понимаю: всё, что я пишу – это только попытки восстановить целостность, свою и мира. Воссоздать целостность. А она не воссоздается, она опять и опять распадается у меня под пером. Но я не оставляю своих попыток. Я упорен. Мое упорство сокрушит все преграды. Погибну за этим столом, но не оставлю поле сражения. Нет, не оставлю!

Понедельник. Пошли искать поликлинику на Стачек, дом № 142. Метель в лицо. Сюда поплыла Лейли, семь струн у нее в руках, морской конь везет ее, и чистая струя подымается, как знамя. К Элизе, нотная запись, обнаруженная через 40 лет после смерти. Ибо вселенная эта простирается до пределов, до которых простираются слово и образ. Имя и Форма, две великих силы Брахмы. Тот, кто знает эти две силы, сам становится великой силой. Климат, наклон, Гипарх. Метет третий день. Что за звуки!.. аль бесенок в люльке охает, больной. Бес скуки мучит

душу. Сегодня ночью гигантолуние, поминание предков. Не пригласить предков за стол – наихудший проступок перед духом. Сядем за этим столом, а стол наш – вся земля, и споем в едином хоре, все живые и мертвые, древнюю песню, сочиненную ветром в поле и волной в море. На этой лютне играют только один раз в жизни. Генрих Восьмой, зеленые рукава. Узнай же себя, испытай себя крепко! Заратустра, не говори, а пой! Умер Фидель Кастро, 90 лет. Вечер, фонари, запорошенные листья на земле, шелест сыплющегося снега. Лицо Олега Когана, бледное, трагическое, с опущенными веками, со скрипкой в безвольно повисшей усталой руке. На дереве Фусан десять золотых воронов, десять солнц. Посланный с небес стрелок И поражает из лука девять лишних солнц-воронов. Среда, снегопад. Просит сопровождать ее, иначе ей одной будет не справиться со своими страхами. С Невского на Малую Конюшенную. Пока шли, и стемнело; мрак, фонари, снег опускается, опускается, как занавес, мягкий, пушистый. Четверг. Ушла на концерт, пусть развеется, а я один побуду. Костер из соломы на льду пруда, танец с алыми гиацинтами. Стою, смотрю на это зрелище в сумраке зимнего вечера. Только бы в эту ночь не мучиться, не думать о безвозвратном и спать спокойно. Мозг в спокойном состоянии голубой, во взволнованном – красный, как кусок раскаленного железа. Кристалл человека, октагон, меркаба, служитель священного воображения. Просветление во облацех. Красота в деснице твоей, Гермес. Тибет брезжит, свод из цветного стекла, белый луч вечности. «Книга о развязывании узлов». Что ж, пора нам, времечко-семечко, развязать эти узлы. Вижу перед собой образ другого себя. Этот другой стоит на последней, седьмой ступени; он смотрит на меня с высоты лестницы грустным взором. Он прощается. Он говорит: книга написана. Книга для всех и ни для кого. Твоя и моя, наша с тобой книга. Поворачивается спиной и уходит в нее, в книгу, в ее призрачную, мгlistую даль, и там исчезает.

СОДЕРЖАНИЕ

Серебряная пыль	7
Клубника	8
Эдда	9
Ребенок	12
Кариатида	13
Грезящий часовой	14
Удар дракона	15
Первые встречи	16
В нашем доме нет тишины	17
Голубая цапля	17
Паутинка	18
Гора	19
Смутный год	19
Победительница	20
По морям	21
Дом	22
Ярое око	23
Лодка	23
Летнее путешествие	25
Моя ель	26
Отчим	38
Мать	46
Севрюгины	47
Штурман Сумов	55
Сад Бахуса	65
Оборванная нить	80
Плавание на «Пайде»	84
Док	94
Суздаль	100
Тетушка	102
То лето	106
Плачевные узоры	108
Последний всплеск	118

Миниатюры	124
Грезащий	134
Волна	136
Керосин	139
Книга Велеса	140
Сны Шумера	152
Сампо (из Калевалы)	170
Четыре прогулки	186
Моя Макаровка	194
Адмирал Макаров	195
Особняк Брусницыных	202
Жизнь с книгой	207
Тот день	217
В тени Водолея	260

Вячеслав Александрович Овсянников

Повести и рассказы

Т. 2

ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК

Редактор В. И. Чернышев

Подписано в печать 13 апреля 2019
Формат 60х90 1/16 25,75 п. л., 380

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ

© В. А. Овсянников. Последний всплеск. 2012 -2019.
© Издательство «SUPER». 2019

Санкт-Петербург
2008 – 2019

ДЛЯ ЗАМЕТОК

=====

